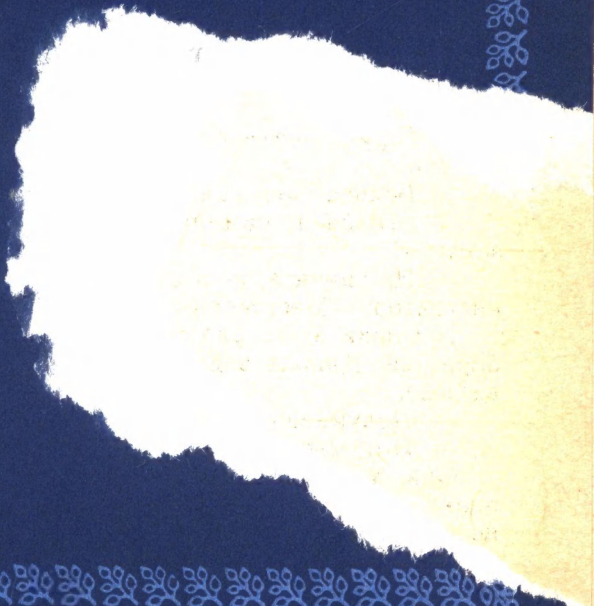




Лилия Беляева

СЕМЬ ЛЕТ

НЕ В СЧЕТ



Лилия Беляева



СЕМЬ ЛЕТ

НЕ В СЧЕТ

ПОВЕСТИ

«Сельская библиотека Нечерноземья»
издается по решению коллегии Госком-
издата РСФСР для тружеников села
Нечерноземной зоны РСФСР.



ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕДКОЛЛЕГИЯ:

ДЕМЕНТЬЕВ В. В.
председатель

АКУЛОВ И. И.

БЕЛОВ В. И.

ВАСИЛЬЕВ И. А.

ВИКУЛОВ С. В.

ВОРОНИН С. А.

ГРИБОВ Ю. Т.

ГУСЕВ Г. М.

ШКАЕВ В. В.

ШУРТАКОВ С. И.



122234 а5
4

Лилия Беляева



*СЕМЬ ЛЕТ
НЕ В СЧЕТ
ПОВЕСТИ*

БИБЛИОТЕКА
сбъединенного комитета
профсоюза треста
„Начинаррудстрой“

Художник Б. А. Диодоров

СОДЕРЖАНИЕ

Бессонница	5
Семь лет не в счет	219

Беляева Л. И.

Б44 Семь лет не в счет: Повести.— М.: Сов. Россия, 1988.— 384 с.— (Сел. б-ка Нечерноземья).

Произведения Лилии Беляевой, начинавшей свой творческий путь в качестве журналистки, автора многих книг, очерков, рассказов и повестей, отличаются напряженный сюжет, тонкий психологизм, направленность против бездуховности и забвения высоких нравственных завоеваний нашего общества.

Обе повести, вошедшие в сборник, неоднократно переиздавались не только у нас в стране, но и в странах социалистического содружества: ПНР, ГДР, Венгрии, Чехословакии, Болгарии.

Б 4702010200—208
М-105(03)88 137—88
ISBN 5—268—00534—0

P2

Лилия Ивановна Беляева

СЕМЬ ЛЕТ НЕ В СЧЕТ

Редактор В. Ю. Попова
Художественный редактор Н. Д. Викторова
Технический редактор Л. А. Платонова
Корректор М. Е. Козлова

ИБ № 7106

Слано в набор 04.08.87. Подп. в печ. 03.02.88. Формат 84×108/32. Бумага книжно-журн. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,58. Уч.-изд. л. 21,63. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1761. Цена 1 р. 60 к. Изд. инд. ЛХ-200.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им 50-летия СССР Росглавополиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.



© Издательство «Советская Россия», 1988 г.



БЕССОННИЦА



— ...Гражданин! Гражданка! Ваши фамилии, спрашиваю! Ваши, ваши! И адрес, живете где! — Милиционер держал в руках блокнот и карандаш. На его груди горел фонарик, прицепленный к металлической пуговице мундира.

— Зачем вам это? — спросил Ваня.

— Свидетели, — ответил милиционер.

— Мы — свидетели? Вряд ли, товарищ милиционер, — сказал Ваня. — Мы слышали только его последние слова, бред, судя по всему.

— Почему последние? — прошептала она, Варя. — Почему последние?

— Я не в том смысле, Варенька, — быстро ответил Ваня. — У нас в городе отличные хирурги. И надо надеяться... Будем надеяться.

— Какого черта! Фамилии, говорю! — крикнул милиционер. — Адрес, говорю!

— Пожалуйста, если считаете необходимым. Белокуровы, Океанская, восемь, квартира двенадцать, — ответил Ваня раздельно, не повышая голоса. — А грубить, между прочим, вы не имеете права.

— Верно, — сказал милиционер, сплюнул и втоптал каблуком в грязь. — Все верно, а человека уколошили. Знал я его. Понятно?

Варя внимательно посмотрела на милиционера. Со всем молодой, только-только из мальчишек. Пухлое нежное лицо в веснушках, упрямый обидчивый взгляд исподлобья. «Я его где-то видела», — подумала она.

Милиционер ушел. Они вдвоем остались в темноте и сырости.

— Мы что стоим? — спохватился Ваня. — Ты замерзла, дрожишь! Скорей, домой!

— Домой? — переспросила Варя, и ее зябко передернуло под мохеровым шарфом. — Не хочу. Боюсь.

— Чего?!

— Тетю Анну.

— Новости!

— Боюсь ее видеть. Это ужасно. Все это.

— Ох, Варенька... Вы, женщины, всегда так: «Ужасно, ужасно...» Для матери это горе, огромное горе. Но ты тут при чем? Или я? Ты стреляла? Нет. Слабачок ты мой, слабачок! — Он нашел под шарфом ее стиснутые руки. — Как ты только обходилась без меня! — Провел губами по ее виску и ниже, до уха. — Обопрись. Понесу, хочешь? — спросил, не отнимая губ.

Она никак не ответила ему.

И тогда он очень серьезно сказал:

— Тети Анны нет дома. Тетя Анна в больнице вместе с моей матерью. Я видел, они сидели в «скорую».

Осторожно обнял, стронул с места и повел за собой. Она шла и слышала, как чвакает под ногами и туго ползет подмороженная весенняя грязь.

— Вешать их, вешать надо! Проклятые пьянчуги! Выродки, ничтожества, бандиты! — говорил Ваня, изредка целуя ее в висок и ускоряя шаг. — Церемонимся! Николай справедливо сказал: «Не люди — куски сырого мяса...»

Грязь чвакала и чвакала под ногами, и того, что впереди, не было видно — туман заволок.

— Он не так сказал, — откликнулась Варя.

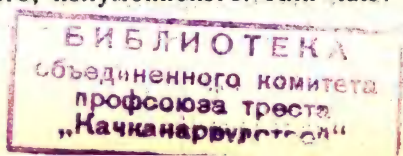
— Ну, примерно. Ненавидел он пьяниц — вот факт.

— Он кричал: «Все эти, эти! Не люди, нет! Куски сырого мяса! Негодяи, розовые, благополучные, безнаказанные! Прямо конец света... Нет! Не может быть!» Я рядом стояла, я слышала, я и сейчас все время слышу. У него кровь на губах, в глаз натекла, в волосах кровь... «Розовые негодяи...» Почему?

— Николай вообще любил выражаться оригинально, ты же знаешь... Бедняга... Бред, по-моему, был у него. Скорее всего, бред.

— Нет, Ваня, нет, глаза у него открылись, мне даже показалось, он узнал меня, улыбнулся и закричал: «Все эти, эти...»

— Улыбнулся? Тебе явно показалось. Я тоже слышал — это был голос человека, которому слишком больно. Не придумывай лишнего, возьми себя в руки, постарайся думать о чем-нибудь другом, ты и так дрожишь не переставая. Вот придем домой, я тебе кофейку приготовлю. Горяченького, крепкого, колумбийского. Или чаю? Что хочешь?



..В комнате, где вдруг очутилась Варя, от двери к окну тянулась широкая пушистая дорожка изумрудного цвета. «Какая красивая!» — удивилась она, останавливаясь. Но тотчас узнала и эту дорожку, и расprostертую на ней медвежью шкуру с разинутой мертвой пастью, и японскую ширму в правом от окна углу.

Эта ширма... Белые аисты по нежно-голубому шелку... А за ней — кресло, низкое, широкое, бесшумное кресло на поролоне. До чего удачно придумали они с Ваней!

Торопливо, нога об ногу, скинула туфли, босиком пробежала по медведю за ширму.

И все, и прекрасно, так оно и есть: вот ширма, вот аисты и она, Варя, маленькая, тихая девочка в кресле, в уголке, подобрал под себя озябшие ноги. Какое, в самом деле, она может иметь отношение к тому ужасному, мерзкому, что произошло на грязной окраине? Что постоянно происходит на этом свете то там, то тут? Смешно и глупо. Нежно-голубой шелк... и аисты... белые, белый шелк, только носы и лапки чуточку красные. Но почему это именно аисты? А может быть, цапли? Давно хотела спросить, но так как-то все... Волосы мокрые, фу, как противно липнут к лицу. Мокрые-премокрые... Отчего? Туман. Обыкновенный проклятый сахалинский туман... Этот пьянчуга тоже ругал туман. Как его? Лебедев. Его ведут, а он ругается:

«Проклятый туман! Ошибка! Не в того попал! Не в того! Так и растак...»

— Варенька, ты где? Ты чего спряталась? Держи кофе!

— Вовсе я не спряталась. С чего ты взял? — вдруг обиделась она, испугалась чего-то. Обеими руками обхватила чашку, понюхала, но пить не стала — расхотелось. Тошно-о-о!

— Ты опять? — Ваня вздохнул. — Прошу тебя, проси — пей, согревайся. Вот так, вот и умница.

— Все из-за них, из-за них! — проговорила Варя не очень уверенно и просительно посмотрела на мужа.

— Разумеется! Еще бы! Естественно! — немедленно подхватил он. — Проклятые пьянчуги! — Подождал, пока она допила чашку, потом сел в кресло напротив, под зажженным торшером, и, долгими глотками отхлебывая из бокала, говорил: — Из-за них, из-за пьянчуг проклятых, столько всевозможных случаев, невероятных, возмутительных. Столько всего.

— Вот-вот! — горячо отзывалась она, взглядом бла-

годаря его.— Все они рано или поздно совершают преступления. Разве нет? Непременно! Да? И тут уж ничего не поделаешь... А?

— Естественно! Автокатастрофы, воровство...

— Казенные деньги растрачивают. Да? Пьяница — потенциальный преступник. Я читала! Профессора пишат, члены-корреспонденты!

За дверь, приотворенной в темноту коридора, что-то упало. Варя вздрогнула.

— Пьяниц кругом — ужас! — нетерпеливым, вздрагивающим шепотом проговорила она, во все глаза глядя на мужа.— С утра, как придешь в магазин... А вечером! А? Смотреть противно. Откуда только берутся? А? Откуда?

— Откуда? Разные причины есть,— сказал Ваня, покачал бокалом, зевнул деликатно, не раскрывая рта, откинулся на спинку кресла.— У кого наследственность, кто сам пристрастился. Я скажу — хорошо живут, вот и пьют. Часто. Тот же Лебедев...

— Что Лебедев?

— Четыреста в месяц, а то и побольше. Да-а, не повезло Николаю. Не повезло...

— Лебедев случайно? — быстро спросила она.— Ты считаешь, случайно?

— Случайно? — Ваня задумался на миг.— Нет, я не в том смысле. Я в том смысле, что он случайно попал в Николая, и именно в голову. Мог бы в другого кого... Туман, темень! И, например, в руку, в плечо. То же и Николай. Надо было лезть ему в эту историю! Как всегда, не обдумал — и шарах! Впрочем, девочка моя, случайности тоже своеобразное проявление закономерностей. Вас же в институте учат. Не проходили еще? — Поднял к лицу руку с часами.— Ого! Час с четвертью. Пожалуй, пора позвонить, узнать, чего стоят наши хирурги.

— Не надо! — Варя качнулась к нему.— Рано! Очень рано!

— Хорошо,— согласился он.— Подождем. Возможно, моя мать позвонит или тетя Анна.

— Тетя Анна нет, не позвонит,— Варя замотала головой, растрепывая прическу.

— Почему же нет? — не согласился Ваня мягко.— Тетя Анна знает, что мы не спим.

— Откуда?! Почему?!

— Потому, что близкие люди не могут спать в тот момент, когда товарищ находится на грани жизни и смер-

ти,— сурово сказал Ваня и поставил бокал на пол.— Иначе это было бы свинством, которое вызвало бы всеобщее и справедливое возмущение. Элементарно.

...На нежно-голубом шелке японской ширмы белеют одинокие, задумчивые, длинноногие птицы — то ли аисты, то ли цапли. Желание внезапно и необъяснимо: губами прижаться вот к этому, с потершимся крылом, крепко-крепко, нежно-нежно, закрыв глаза...

— Какая грустная старая ширма,— говорит она.

— Почему старая? — отзывается он.— Всего шесть лет, как дядя Коля подарил. Ему — японцы, он — мне... Да ты же слыхала. Иди, Варенька, поспи, чего тебе на эту ширму глядеть? Как только что прояснится, разбуду.

— В самом деле — чего? — спрашивает она и замолкает.— В самом деле? Голубая чашка, поролоновое кресло, ширма из Японии, море за окном... Настоящее море! Большое море! А вот тут я... Сахалин... Я на Сахалине. А то где же!

Все это, оказывается, она произнесла вслух.

— А меня, выходит, тут нет? — сказал Ваня слегка обиженно.— И все, выходит, ни к чему и зря? И зачем эта ширма? И зачем это кресло? И зачем ты со мной на этом Сахалине? Так?

— Не знаю,— сказала она и посмотрела ему в глаза.— Я сейчас ничего не знаю, ничего не понимаю. Господи, ужас какой!

— Ты совсем разнервничалась, девочка моя,— сказал Ваня и встал.— Скорее в постель. Отнесу, хочешь?

«Послушай, в самом-то деле, ты зачем тут, на Сахалине?» Этот неожиданный и как будто случайный вопрос показался ей вдруг необыкновенно важным.

— Сейчас, спасибо, я сама,— отстранила она сильные мужские руки, пошла к кровати, сняла чулки, но совсем раздеваться не стала — долго. Легла поверх одеяла.

Дверь в коридор оставалась приоткрытой, чтоб лучше слышать, когда зазвонит телефон, и из нее дуло по голым ногам, слегка щекотно, как будто это пляж, и ты загораешь, и ветер шевелит волоски на коже.

— Умница,— Ваня подошел, осторожно вытащил из-под нее одеяло, прикрыл ее, поцеловал в лоб, в волосы.— Согревайся, спи, все будет в порядке,— пообещал он и бесшумно ушел к своему креслу под торшером.

— Спасибо,— сказала она ему с некоторым опозданием, отворачиваясь к стене, к голубовато-зеленоватому ковру.

«Так зачем ты приехала на Сахалин? Чего тебе не жилось в Москве? А?»

...Серовато-голубое, зеленовато-желтое движется, колеблется, играет чистым, мгновенным блеском. Море. Нет, не все море, а узкая полоска глубоко внизу, между «стенкой» и бортом парохода, пахнувшая сладкой, студеной сыростью. А поверху окурки налипли, самые обыкновенные. Ну и ну! Никогда раньше не думала, что в море можно швырять окурки, нахально, бесцеремонно, как это делают все эти мужчины, обвешанные багажом. Неужели они такие, сахалинцы?!

Пароход, высокий, величавый, ослепительно-белый, похож на крепость, которую штурмом берут сотни крикливых, нахрапистых людей.

Возле трапа — милиционер, громко, бесстрастно выкрикивает:

— Граждане! Без паники! Граждане! Без паники!

Проверяет паспорта. Ах, да, как же! Сахалин — пограничная зона, и туда не всякому можно. А вот ей, Варя Родионовой, можно.

Она поставила чемодан на землю, сверху рюкзак положила, полезла в карман.

Теперь надо снова поднять рюкзак и чемодан, но как это сделать, если кружится голова и вянут руки? Грипп, гнуснейшая болезнь, которой все равно, что Варя Родионова решила бросить Москву и ехать на Сахалин, что ее девять суток мотало в поезде и что она все-таки своими глазами видела Урал, Западную Сибирь и Восточную, Байкал — «самое глубокое озеро в мире», а вот здесь, во Владивостоке, в ресторане «Золотой рог», ела скоблянку из трепангов.

— Разрешите, помогу? — На нее глядел молодой парень в отлично выутюженной морской форме. На его груди уйма значков — в глазах рябит, — и лишь один знакомый ей — комсомольский. Парень что надо: широкоплечий, стройный, скуластое, волевое лицо, открытый взгляд... Ну совсем такой, каким описывают в «Юности» главных положительных героев! Ну, честное, честное слово!

— Пожалуйста, помогите, если вам не трудно.

«Если не трудно»... «Пожалуйста»... Юмор! Какой же ты, Варвара, колоссальной дурой оказалась! Ой, смех... Ой, горе-е!

— Варенька? Что ты? Не уснула еще? Спи, милая, спи, я тут. Все нормально, спи, спи...

«Ванюша... Твой голос... Какой, Ванюша, у тебя нежный голос! Нежный-нежный, преданный-преданный... «Спи, спи...» Спать? Прямо взять сейчас и уснуть? Послушаться и уснуть? Захотеть и уснуть? Ты не шутишь, милый?»

— О чем думаешь, Ваня?

— Я? Что такое человеческая жизнь.

— Как это?

— Да вот нашло на меня нечто... Думаю: как все бесполезно и обидно, в сущности. Ешь, пьешь, дышишь — живешь, одним словом, а приходит час — и нет тебя. Зачем, спрашивается, жил? Кто объяснит? Как у Горького: честный ты или вор, все в землю ляжем, все прахом будем. Да-а-а... К черту! Лучше не задумываться. В конце концов, уже одно то, что я сижу, гляжу, вижу тебя — счастье. И все же справедливей было бы, если бы для людей особо полезных обществу жизненный срок соответственно был продлен. А что? Идея!

— О ком ты? О Николае?

— Я вообще, в принципе... Николай? По чести — я признаю только бесспорно полезных, а Николай... Если не принимать во внимание случившееся, тут еще крепко подумать надо...

«Что-что? Он признает только «бесспорно полезных»? Вот оно что!»

Ей захотелось увидеть его. Она подняла голову. Ваня полулежал в кресле, вытянув ноги так, чтобы не мялись брюки. Его густые, слегка поседевшие волосы лоснились в свете торшера ярко и дорого, как новый чернобурый мех. Его большие, как сквозь линзы очков, бледно-серые глаза устало, но ласково наблюдали за ней. «Да, он не из тех, кто слова на ветер бросает, он знает, что говорит. И он почти никогда не бывает не прав, — соображает она. — Даже не вспомню, когда он был не прав. И это бесспорно: «Близкие люди не могут спать в тот момент, когда решается судьба их товарища, когда...» Бедный мой, и ты не спишь! Так ты поэтому не спишь? Но ведь не только поэтому? Не только? Нет?»

— Ваня, ты о чем думаешь?

— Ты уже спрашивала, я сказал.

— А сейчас? Дальше?

— Ругаю себя за то, что сказал.

— Но Николай действительно не дважды два, и счастливая жизнь с ним...

— Опять мы повернули к Николаю. Вот за это я и

ругаю себя. Хватит, Варенька, на эту тему! И так случившееся произвело на тебя слишком большое впечатление.

— Слишком?

— Даже очень, не ожидал... чисто женское... Спи...

«...и счастливая жизнь с ним невероятна. Это факт. Это-то факт».

«Счастливая жизнь? А с чем ее кушают, куколка?» — «Не притворяйся, Ник-Ник, ты отлично понимаешь, что я имею в виду. Я имею в виду нормальную, хорошую жизнь». — «А что такое нормальная, хорошая жизнь, очаровательная Варвара Александровна?» Вот так бы он все повернул, заговори она с ним. Непременно стал бы сбивать с толку. И что за удовольствие? Вот человек...

«Счастливая жизнь... Это — ты, Ваня, ты, милый! Да, да, это мы с тобой. Ты понял и дал. Спасибо тебе. Спокойно, просто, с любовью. Спасибо, спасибо тебе!»

— Ник-ник, ужасно хотела бы посмотреть на ту дуру, которая рискнет тебя полюбить.

— Деточка, а что ты понимаешь под словом «любовь»? — Он вдруг нехорошо, почти зло, усмехнулся. Не глядя подхватил лопатой неуклюжий пласт слипшегося снега и, стиснув зубы, отшвырнул в сторону.

Было раннее утро после пурги. Город туго увяз в снегу. От одноэтажных домов на поверхности остались чернеть только крыши да трубы. Сахалинская экзотика! Но вдали уже погромыхивали транспортеры, рыкали бульдозеры, а над гигантскими сугробами — там, тут — взлетали лопаты: люди рубили в снегу первые тропки-ущелья.

Ник-Ник отправился подышать свежим воздухом. Она проснулась от лязга замка, — как всегда, он не сумел тихо закрыть за собой. Они встретились внизу, у парадной двери, открытую которую оказалось невозможно — так плотно она срослась снаружи со снежной стеной. Они отыскали в подвале лопаты и через окно над парадным выбрались наружу и сразу по пояс провалились в снег. Начали с того, что откопали друг друга, а потом и дверь, и им было весело швырять лопатами снег, щуриться от солнца и болтать о разных пустяках. «Мне весело видеть так много снега, он так искрится! А тебе?» — «Мне тоже». — «Конечно, я понимаю, что вообще это беда, стихийная сила, нарушающая ритм городской жизни... Моя первая информация в газете была о пурге — как горожане быстро справились с ее последствиями. Как справились — напечатали, а какой красивый снег — вычеркнули. Ух, переживала!» —

«А если бы сейчас вычеркнули?» — «Ну! Мало ли с тех пор вычеркивали! Привыкла!» — «Конец света! Что ты там делаешь, в газете, не представляю! Ты — и газета... Нет, не представляю!» И они поссорились, и она решила сделать ему больно и сказала, что хотела бы видеть ту дуру, которая рискнет его полюбить. Это действительно его задело.

— Деточка, а что ты понимаешь под словом «любовь»? — У него были злые губы, а глаза растерянные и жалкие.

— Ник-Ник, — виновато сказала она, — любовь — это нежность, невероятная нежность, когда весь мир кажется прекрасным.

— Прямо конец света! — Он рассмеялся ей в лицо, и его опять не было жаль. — Да ведь это... пена с любви! «Нежность, нежность...» Это пена, это на вкус, на цвет. А глубже? Глубже?!

— И глубже — любовь. Ясно? И уверенность, что ты не одна, что рядом с тобой спокойный, сильный человек, который не хватается за голову по каждому пустяку, не мудрит, вот именно — не мудрит, не раздражает своей отвратительной привычкой запутывать всем понятное. Ясно?

— Предельно, Варюха Александровна. «Язык мой — враг мой» — еще в Библии сказано обо мне. Оттого-то я и помру холостым. Грустно-та-а...

Вот человек, в самом-то деле! Вот беда... И ведь вот фокус: ему рассказала, а Ване — нет.

Вот фокус... Хотела рассказать Ване, а рассказала Николаю обо всей этой премиленькой пароходной историйке с красавцем морячком...

Они с Ваней ушли в сопки, сели на поваленное ветром дерево и говорили обо всем на свете, прутиками мешая муравью тащить хвоянку, куда он хотел. Их локти впервые так близко и часто касались друг друга. Ваня изредка поглядывал на нее ласковыми светлыми глазами. «Рассказать ему, как было на белом пароходе, как испытала самое ужасное унижение в своей жизни?» И начала было, но вдруг взглянула на его красивый неподвижный профиль, и что-то подсказало ей: «Оставайся перед ним без этой подробности». Осеклась и позволила муравьишке ползти своей желанной, выстраданной дорогой.

А Николая почему не постеснялась? Насмешника? Грубияна? Малоознакомого к тому же?

В тот день, помнится, она и Ваня сидели вот тут, в

комнате, друг против друга, и ждали, когда закипит чайник. Их руки переплелись, губы горели, тянулись друг к другу, обжигались, и не было конца этим тайным, вспыхивающим, сближающим ласкам.

— Милая,— шептал Ваня,— милая, милая... Мне так хорошо с тобой, так спокойно и просто... Откуда ты такая? Как попала ко мне? За что мне такое счастье? Скажи, скажи! Я так счастлив, что... во мне родилось стихотворение... сию минуту буквально.

И он прочел стихотворение, в котором были слова «ненаглядная», «смutila», «откуда ты такая»...

— Откуда я такая? — Ей пришло в голову вспомнить свое детство. — У меня было самое заурядное детство заурядной московской школьницы, — начала она и рассмеялась от удовольствия, что вот как это прекрасно, когда рядом с тобой любимый, любящий человек, которому каждая пустяковая подробность твоей жизни дорога и желанна.

— Представляешь, почти весь наш шестой класс жил в громадном доме на Масловке. Одновременно во все квартиры поставили телефоны. И началось! Только попрощаемся у подъезда, только в прихожую войдешь — телефон: «Ты, Варька?» — «Я. А это ты, Динка?» — «Я. Ты что делаешь? Я пальто снимаю, пойду руки мыть». — «Я тоже. Ну ладно, пока». — «Пока». Будто и не расставались, будто все время рядом! Представляешь?

Ваня слушал внимательно, он вообще умел очень хорошо слушать, ей нравился его взгляд — серьезный, знающий нечто большее, чем она, и все-таки терпеливый, устойчивый.

— Только шагнешь от телефона — опять звонок. «Варя! Это я, Таня Пирогова! Я обедаю. А ты?» — «Я сейчас буду. Ты застирала пятно от кислоты?.. Не вышло? Ой, жалко!» Вот так мы жили в шестом, потом в седьмом, как одна семья, понимаешь?

Ваня пошевелился на месте.

— Да,— сказал.— И что же дальше?

— Так, ничего,— сказала она, внезапно смутившись, и чуть не заплакала, встала, подошла к окну, стиснула подоконник пальцами и сколько ни звал он ее, сколько ни спрашивал, в чем дело, не произнесла ни звука. В конце концов не выдержал, ушел.

...В открытое окно приливал непрерывный шипящий шум морских волн. В приемнике отчаянно и неуместно в такой яркий, солнечный день страдала скрипка. За стеной брнчала гитара. Николай, Ник-Ник.

Походила по комнате, подвигала стульями, пошла на кухню и ни с того ни с сего постучалась к Николаю. У него тоже было открыто окно. С полотенцем через голое плечо он сидел на залитом солнцем подоконнике, свесив до полу длинные ноги в спортивных брюках. Его уши розово просвечивали на солнце, а влажные волосы ерошились на ветру, дувшем в спину.

Перед ним стоял мальчик лет шести с пятнами зеленки на лице и шее. Коленом придерживая гитару, Николай брал на ней примитивные аккорды и на пару с ребенком тянул: «Там вдали, за рекой...»

Не прерывая пения, он кивнул Варя. Варя постояла, послушала. Мальчик показался ей неприятным с этими закрашенными болячками.

— К концерту готовитесь? — насмешливо спросила она.

— Уходи ты! — угрюмо ответил мальчишка.

— Василий! — прикрикнул Николай. — Забыл уговор?

— Ладно, извиняюсь. А чего она мешается?

Варя ушла к себе, выключила приемник, села у окна. Рядом не в лад, но громко дотягивали песню:

Он упал во-озле ног вара-но-ва коня-а
И закрыл сва-а-и карие очи-и,
Ты, конек ва-рано-ой, передай да-ра-го-ой,
Что я чест-на-а пагиб за-а рабочих...

Когда наступила тишина, Варя услышала голос мальчика:

— У меня в детстве, что-либо, была такая гитара, только маленькая, я ее сломал, за что — не помню.

— Жалеешь теперь, башибузук? — спросил Николай.

— Жалею. Добрая вещь.

— Это хорошо, что жалеешь. Так и быть, считай эту гитару наполовину своей. Половина — твердо моя, половина — твердо твоя.

— Это не худо! Не худо! А зеленки на мне много? Ребята будут смеяться, если во двор выйду?

— Дураки разве. Я же вот не смеюсь.

— Так ты! Ладно, я им наподдам, если полезут!

— Если полезут, наподдай.

Варя подождала. Хлопнула дверь — раз, два — две двери. Кажется, мальчишка ушел.

На столе в вазе из гладкого прозрачного стекла лежал одинокий усыхающий мандарин. Испытующе прищурясь, Варя поглядела на него, потом повертела в ру-

ке, положила на место, решительным шагом вышла из комнаты и без стука вошла в соседнюю дверь.

Ник-Ник не выразил удивления, он просто посмотрел на нее, когда она подошла совсем близко.

— Я тут кое-что вспомнила,— сказала она.— Нет, не так. Я все время таскаю это в себе и мучаюсь.— И, продолжая стоять, глядя прямо в его темные, открытые навстречу ей глаза, сухим, насмешливым голосом рассказала о своем пароломном приключении, безжалостно по отношению к себе самой перечислила подробности.

122234
Красивый морячок подхватил, значит, ее вещички и пошел впереди, мужественно кренясь то в одну, то в другую сторону. Они миновали трап, поднялись на палубу.

— Ваша каюта, девушка? — Приостановился, глянул на Варю недолгим пристальным взором.

— У меня третий класс, номер сорок, это где? — пробормотала она и виновато улыбнулась оттого, что красивый порядочный человек несет ее барахло, из морской вежливости несет,— есть такая особая вежливость, читала,— а на самом деле ему скучно-скучно, потому, что он, может, думал, что она красавица незнакомка, а когда разглядел получше, то сразу понял, что она обманула его надежды.

Моряк вел и вел Варю по неудобным, крутым лестницам и окончательно увел от голубого солнечного неба куда-то в потемки, в глубину, где тесно, бестолково копошились люди, двигали вещи, кричали на детей, где дети кричали сами по себе и где надо было спать на виду у всех на жесткой полке, как на вокзале.

Моряк аккуратно поставил вещи на полку № 40.

— Желаю приятного плавания! — проговорил культурно, козырнул и ушел по своим важным морским делам.

Все ясно. Нужна ему была такая! Видал он таких! А-а, плевать! Главное — лечь, укутаться в теплое, выпить крепкого, горячего чаю. А где, собственно, взять крепкого, горячего чаю? Вот дуреха, не заправила термос, набросилась на трепанги — заморское блюдо. Варька-Варька, идиотка несчастная...

Попыталась положить голову на рюкзак, но голова закружилась сильнее, и перед глазами все закачалось и поплыло душным табачным дымом.

— Девушка, что с тобой? Побледнела-то!

Села, пригляделась, кто это еще заинтересовался ею?

— Сердце? Боязно? На воздух иди, помогает! — Румяная женщина с веселыми глазами участливо глядела на нее и кормила грудью ребенка, а грудь ее, большая, розовая, была независимо оголена. «Как на картине, — мелькнуло в больной голове. — Хотя на картине не так вульгарно...»

— Я схожу, а это мои вещи.

— Присмотрю, не переживай!

Превозмогая дрожь во всем теле, кое-как хватаясь за поручни липкими пальцами, выбралась на палубу. На нее тотчас набросился студеный, до белых вспышек в глазах, ветер. Нет, нет, скорей назад, где душно, но тепло! Ах, да ведь это же не простой ветер, а настоящий тихоокеанский! Пароход отошел от пристани! Такой момент! Она чуть-чуть не пропустила его! Вот жалела бы!

А крепкий морской ветер бесцеремонно трепал ее одежду, забирался под комбинацию. Она совсем продрогла. Но близкое солнце сверкало так живо и весело, а настоящие морские брызги, вырываясь из-под форштевня или еще откуда-то там, так забавно кропили лицо! Варя вспомнила давешнего морячка. «Глупый! — сказала ему. — Ничего ты в жизни не понимаешь!» Вот она, молодая девушка с тонкими русыми волосами, серыми глазами и гордым маленьким ртом. Ты скажешь, много таких? А вот и неправда! Где ты видел девушку, которая не просто хороша собой, а которую ни разу никто, кроме мамы, ни один мальчишка, не поцеловал в губы? Думаешь, не было таких, которые хотели? Но она не такая, хоть ей уже двадцать два. Она не станет целоваться просто так! Только если ее полюбят по-настоящему, на всю жизнь... И если она полюбит по-настоящему и поймет, что если не этот человек, тогда не нужен никто и лучше смерть! Варя гордо, с вызовом, огляделась вокруг. И вдруг заметила, что большой, величавый, белоснежный пароход тащится на привязи у крохотного чумазого катерочка. Вот уж никогда не представляла... Нелепость какая, смешно и глупо... А?

Нечаянно взгрустнувшая, вернулась в трюм, покрепче завернулась в плащ и попробовала положить голову на ту сторону рюкзачка, куда мать сунула напоследок свой великолепный сиреневый шарф-мохер. Наступило забытие. Она будто раскачивалась на качелях в облаках теплого ядовитого пара. Пар все густеет, набивается в рот, в ноздри, и нечем дышать, а качели то вверх, то вниз. Люди! Остановите!

— Девушка! — позвали ее в самое ухо. — Девушка! Оторвала распухшую голову от рюкзака, поднялась, села.

— Вы в первый раз? Вам плохо? — спросил все тот же голос. — Душно, да?

В трюме и впрямь душно, по-банному тускло тлеют электрические лампочки, под ногами, в преисподней, топчется взаперти кто-то огромный, угрюмый, в железном. Распластанные, бесчувственные тела спящих. И неожиданный во сне смех ребенка, и счастливый старческий голос:

— Ишь залился! Небось на коне скачет! Всю дорогу мечтал на коне скакать!

— Как это все ужасно! — шепчет Варя дрожащими губами в склонившееся над нею волевое скуластое лицо. — Вы меня нашли. Как вы меня нашли?

— Обыкновенно. — На волевом скуластом лице чуть дернулась длинная блестящая бровь.

— Мне плохо. Совсем. Я не знала, что третий класс — это так... Я думала, раз пароход такой высокий, белый, прекрасный внешне...

— Положение можно исправить, — негромко, вразумительно сказал моряк. — Вы хотите, чтобы было удобнее? Хотите?

— Еще бы!

— Идемте.

— Куда?

— Туда, где вам будет удобно.

— Да? — Варя чуть-чуть помедлила еще, приспустила взгляд. На черном сукне морского кителя значки поблескивали очень солидно, и один из них знакомый — комсомольский.

— Вы вот носите, а я вот... — сказала Варя и, опершись на ладони, встала.

— Это ты ж куда ж надумала?! — изумилась встречанная со сна, но еще пуще прежнего румяная женщина, прилаживая ребенка к своей картинной груди.

— Иду, — проямлила Варя, совестливо думая про себя: «Бедная, остается здесь...»

Варя и моряк поднялись наверх, прошли до конца длинного коридора с одинаковыми коричневыми дверями слева и справа. Возле одной из них моряк наконец поставил Варины вещи на пол, полез ключом в замочную скважину. Дверь отворилась. Варя шагнула в прохладный, зеленоватый полумрак, остро, освежающе пахнущий лимоном.

Ах, как все здесь было хорошо! И белая пышная подушка, полуприкрытая мохнатым одеялом в отглаженном пододеяльнике, и белые астры на столе, и репродукция картины Пукирева «Неравный брак», и белоснежная улыбка бесподобной Лоллобриджиды.

Моряк твердым жестом подвинул с середины стола стопку книг и журналов, сверху поставил «грибок» под шляпкой зеленого шелка, потянул за ус «Спидолу». Пока приемник наполнялся звуками, придвинул к Варе стакан, налил в него из термоса горячего, крепкого чая, вынул из шкафчика аккуратно нарезанный лимон.

— Я так мечтала о таком чае! — У Вари от благодарности чуть не брызнули слезы из глаз.

— Все мы люди, — обронил моряк, коротко взглянул на нее и стал медленно, терпеливо крутить на «Спидоле» колесико, спрашивая как бы между прочим: — По вербовке на остров либо осммотрительно, в гости?

— Ну, как сказать... — Варя жадно глотала горячий чай. — В общем, был у мамы знакомый. Еще по фронту. Он маму спас, с поля боя вынес... Мама санитаркой была... И все время потом про это рассказывала. Как он сам раненый был, и стонал, и матом ругался, а маму все равно не бросил. Высоченный такой, с усами и веселый. Весь в орденах. Мы его по газете нашли. Он сам с Сахалина написал, искал однополчан... В прошлом году. А я сама по себе ехать решила, работать хочу, самостоятельно. Лебедеву телеграмму дала... его фамилия Лебедев. Он встретит, он такой!

— А уполномоченный ваш где ж? По вербовке? — Моряк оставил в «Спидоле» негромкую, баюкающую музыку.

— Я заболела в дороге, отстала. Догоняю вот...

— Понятно. — Моряк посыпал кусок лимона сахаром, кинул в рот. — Я пошел. На ключ не надо. Потребуется за чем — тихо войду и выйду. Постель только из прачечной, не сомневайтесь.

«Какой заботливый! Вот что значит настоящий моряк! И за что мне такое везение?» — легко и нежно подумала Варя, оставшись наедине с чистой постелью, тихой музыкой и очаровательной улыбкой Лоллобриджиды. Скинула туфли, шерстяную кофточку. Но платье не рискнула снять. Все-таки он будет входить, и вдруг она во сне повернется как-то не так... Нет, нет! Со сладким стоном забралась под одеяло, закрыла глаза.

Где-то далеко-далеко, не заглушая музыки, мелодич-

но гудят моторы, от чая с лимоном по телу растекается блаженное тепло, тело становится легким-легким и стремительно уносится в сон.

Проснувшись в темноте от странного, тревожного чувства. Померещилось, будто ее связали по рукам и ногам. И через мгновение с ужасом поняла, что к ней кто-то плотно прижался и чья-то холодная, судорожная рука шарит под платьем по ее теплomu, сонному телу. Хотела крикнуть, двинуться, но испуг стянул дыхание, свел мускулы. «А! Вот что произошло: дверь осталась незапертой, и вошел кто-то, увидел спящую, беспомощную... Где же моряк? Он же обещал заходить! Где же он?!»

Чужие, жесткие губы ткнулись в шею. Она рванулась наконец, и, видимо, больше от неожиданности, чем от силы толчка, неизвестный свалился на пол.

— Во-он! — закричала и вскочила, дрожа от ужаса, от вращения и ярости.

Но ее нашли в темноте и снова сграбастали сильные наглые руки.

— Ну, чего ты, чего? — нетерпеливо, вкрадчиво шептал мужчина. — И тебе нужно... и мне... Все мы люди...

Варя почувствовала у самых своих губ мокрое частое дыхание. Ее вытошнило.

— А, черт! — Мужчина отпрянул.

Щелкнул выключатель. Мужчина повернул к ней лицо, скуластое, волевое, открытое, как...

— Ну, дуру нашел! Не поняла, что ли?

Он подался к ней. Она вскрикнула, бросилась к двери и что было сил помчалась прочь по длинному пустынному ночному коридору. И когда увидела вдруг перед собой высокого седого человека в черном, схватилась за него, прижалась, залепетала:

— Как же, как же это? У него же комсомольский значок, газеты на столе!.. Спасите меня!

— Где? — спросил седой, когда Варя выдохлась и умолкла, всхлипывая.

— Там. — Она неопределенно махнула рукой.

— Идем. — Седой взял ее за руку и повел за собой, как водят детей.

Он сам нашел среди множества одинаковых дверей ту, что была нужна. У этой двери Варя подобрала поясок от своего платья. Отворил, вынес ее вещи и даже кофточку не забыл, которую она оставила на спинке стула, а потом Варя слышала, как громко и четко приказал:

— Зачем тебе этот значок? Комсомольский, имею в виду? Зачем, спрашиваю? От-вечай, сук-кин сын!

— Как... зачем? — пробормотал в ответ некто маленький, обиженный и беззащитный.

— Снимай значок! Та-ак. Теперь ремень снимай. Живо!

— Что вы? Как же? На каком основании?

— Живо ремень, говорю!

«Мама! Мамочка-а! Всюду мерзость, всюду! И на Дальнем Востоке, выходит, тоже! Но должно же, должно же быть место на земле, где можно просто, достойно, благородно! Должно же быть такое спокойное место! А если не на Дальнем Востоке, то где же?! Как страшно жить! Мамочка моя!» Варя схватила свои вещи — и скорей прочь, подальше, сбежала в трюм, забилась в угол, под укромный полусвет электрической лампочки, достала блокнот и ручку. «Что ж, сразу так и признать, что ее правда и нечего было тащиться киселя хлебать? Неужели сама по себе я ничего не стою? Вовсе?» «Мамочка! Родная моя! Родненькая! Мамуленька! Вот я и плыву на пароходе, — писала она. — Пароход настоящий океанский, огромный, белый, прекрасный. А океан — это вообще невозможная красота. В общем, все так, как я и представляла себе, — такие волны, такой простор! И ничего-то со мной не случилось. Ты опять очень и очень ошиблась. Я еду в уютной каюте, пью чай с лимоном, у меня на столике стоит симпатичный зеленый «гриб», а кругом прекрасные люди. Я целую тебя крепко-крепко, я очень крепко целую тебя, моя родная. Как далеко мы друг от друга».

На Сахалине она получила потом телеграфный ответ: «Варвара пренебреги ты слишком ласкова тебе плохо кончай никому не нужный эксперимент целую мать».

«Пренебреги, Варвара!» Расшифровка обычная: «На основании своего не такого уж малого жизненного опыта и как любящая мать (надеюсь, что когда-нибудь ты поймешь все это) советую: а) будь выше того, что случилось, б) наплюй с большой горы, в... и г) жизнь-то идет, жить-то надо!» Просто, четко и здорово. Прекрасный, прямой, мужественный почерк. Ух, и гордячка у меня мать! Ух, и гордячка! Такая гордячка — прямо конец света!»

Ник-Ник слушал, тихо перебирая струны одну за другой, от самой глухой до самой звонкой. На мгновение ей

стало неловко за свою неожиданную откровенность. Закрыла глаза.

— И всего-то? — услышала. — И только-то? Наплюй, Варюха, пренебреги! — сказал Ник-Ник, который никогда не был знаком с ее гордячкой матерью. Подхватил, поднял, посадил рядом с собой на подоконник и опять взял в руки гитару. Она чувствовала затылком, какое теплое солнце в этот день.

— Ты, Варюха, знаешь ли вот такую лихую песенку:

Оружьем на солнце сверкая,
Под звуки лихих трубачей,
Дорожную пыль поднимая...

— Знаю с тех пор, как ты под нее зарядку делаешь. Но лучше всего дурацкий припев.

— Идет! Дурацкий припев хором!

И они запели песенку про беззаботного, безответственного в вопросах любви гусара, который все-таки так всесторонне обаятелен, что женщины от него без ума и не думают о последствиях. Ах, эти гусары! Ах, эти женщины! Они спели песенку до конца, сидя на теплом подоконнике и болтая ногами.

— Ваня! Ты не спишь?

— Нет. А ты что же? Я думал — уже.

— Ваня, выходит, я была права.

— В чем?

— Тетя Анна... до сих пор...

— Действительно странно. И мать ни звука. Вот что — пора нам самим напомнить о себе. Возможно, уже есть результат, а мы... Друзья, называется.

— Какой результат?

— Ну-у... или — или...

— Подожди.

— Почему?

— Не знаю. Но подожди.

— Не понимаю! — Ваня встал, потянулся. Его крепкие, сухие мускулы расправились с электрическим потрескиванием. — Не спим... не звоним... ждем. Чего ждем? Бестолковость какая-то. — Он шагнул мимо Вари в прихожую, к телефону.

— Стой! — Варя вскочила с постели, ухватила его за рубашку. — Стой, Ваня, Ванечка! А может, это стыдно — наш звонок? Ты не думал? Стыдно и ни к чему?

— Что с тобой? — Он бережно поднял ее, отнес в постель, укрыл до подбородка, сел рядом. — Родная моя... ну нельзя же так. На тебе лица нет.

— Лица нет? — Она широко открыла глаза. — Было-было и вдруг... «Жили у бабуси три веселых гуся...»

— Родная, любимая, ты веришь мне? — Он смотрел на нее, недоумевая и страдая. — Надо разумно. Подумай: сколько ты знала Николая? Около трех лет. Всего. А я? Всю жизнь. Как бы там ни было, в одном корыте купались, с одного стола ели. Но я же держусь, не распускаюсь. И ты... и тебе... Не надо, бессмысленно. Принести воды?

— Не уходи!

— Я рядом, рядом. На секунду только. Ну куда ж я без тебя? Между прочим, любопытная история. — Ваня осторожно, ладонью, приподнял ее голову, в другой руке он держал стакан с водой. — Я как-то смотрел один научно-популярный фильм, на активе показывали. Пользуясь собаками, свинками, обезьянами, ученые пришли к заключению, что всякая эмоция происходит от недостаточности информации.

— Как-как? — Варя перестала пить, задумалась, приоткрыв рот. — Вот чушь! — Она потрянула головой так, что повывлетели шпильки.

— Почему же чушь? — Ваня осторожно, сострадательно погладил ее по руке. — Ученые занимаются! Не зарубежные, а наши, на основе диалектики. Вот пример: девушка любит парня. «А почему?» — спрашивают ученые. — Ваня поискал глазами упавшие шпильки, нашел, собрал в кулак. — «А потому, — отвечают ученые, — что девушка недостаточно информирована о нем».

— Ого! — сказала Варя. — Ого! — Прижала к груди Ванину ласкающую руку. — А если они врут? А если наоборот? Чем меньше знаешь, тем меньше переживаешь, чувствуешь? Опыты с обезьянами... А я вот чувствую: лучше не знать, не докапываться. А ты? Ты точно знаешь, почему с Николаем случилось такое? Ты уверен, что точно, и честно, и до конца?

— Конечно, уверен! — сказал Ваня громко и убедительно. — Тут все ясно: пьяный мужик, не целясь, стреляет и попадает в Николая.

«Все ясно? Абсолютно все? Для кого, милый? Для тебя? Может быть... Для меня? Разве?! Кто это сказал? Кто? Я — нет, не говорила, мне еще нечего говорить, я не знаю, я ничего не знаю, я знаю только, что я есть, что я сижу

вот тут. Вот это одно — и ясно, и правда, что я сижу здесь? Это уже неясно, и есть ли здесь правда? Да ведь вот он, ее настоящий вопрос! Все остальное — это потом, а настоящий вопрос — этот: зачем ты, Варвара, очутилась на Сахалине? Почему ты лежишь, дышишь, кофе пьешь и все после... после всего этого ужаса, после его лица в крови? А ты так, как будто ничего особенного не случилось и не было его лица в крови... Но как же не было? Если бы не было?!»

Она обращалась к стене, вернее — к тому, что было за стеной, и изредка прислушивалась, словно надеялась получить ответ. Но за стеной было тихо, очень тихо, удручающе тихо.

Она продолжала прислушиваться и смотрела на стену и вдруг увидела все, что находилось сейчас там, за этой стеной. И длинные полки из еловых досок, прогнувшиеся посередине от тяжести книг, и стол, заваленный ученическими тетрадями, гербариями, разноцветными камешками и другой ерундой. И то, что осталось от его отца: старинный барометр на стене, мерцающий металлическим ободком, а под ним темную морскую шинель, тяжелый бинокль, свесившийся с того же гвоздя, и толстопузого японского божка, самодовольно улыбающегося медными губами... И гитару увидела она, как та лежит — навзничь, неподвижно, словно мертвое тело... «Глупости! — сказала себе. — Но ведь похоже? Но я тут при чем? Кто он мне, в конце концов? Сосед. Жил за стеной... Нет, почему «жил»? Еще ничего не известно! Он живет за стеной, за толстой кирпичной стеной! Вот там! Там его книги, вещи. Вещи — это страшно, — пришло ей в голову. — Особенно в темноте. Чужие вещи всегда друг за друга и против тебя. Вещи всегда ждут своего хозяина. Молчат. И ждут. Насторожились и ждут... И подозревают... Да, но я-то тут при чем? Да, я здесь, дома, потому что это мой дом. Почему его нет? Ну, знаете ли! Я вовсе не обязана отвечать на этот вопрос! У меня своя семья, свои заботы, все свое. Ясно? А он...»

Она крепко зажмурилась и стиснула зубы. И вдруг подумала: «Ты тут действительно ни при чем? Совсем-совсем?» Открыла глаза, увидела свою тонкую руку, беспомощно, ладошкой вверх, лежащую вдоль тела, и нежно, жалостливо погладила ее другой рукой. Бедная, бедная Варька. Пожалейте ее хоть кто-нибудь! Подумать только — убить человека! Разве она способна убить человека? Она, которая в детстве жалела даже мышей!

«Варька! — насмешливо позвала себя тотчас. — Ах, как трогательно, как жалостливо... Но все-таки почему ты здесь и почему все кончилось так, а не иначе? Почему? Послушай-ка, а не тогда ли началось все это, когда ты с Инкой Чинчиковой собралась бежать в дальние края? Как же, нашли старый компас, насушили сухарей, копили деньги, чтобы купить хотя бы старое ружье. Вы мечтали найти в тайге пустую избушку, жить охотой и рыбной ловлей, мужественно, гордо и беспечно. Сколько лет тебе было тогда, Варвара? Двенадцать, должно быть, или чуть больше... Охо-хо, а кто в двенадцать не мечтает бежать в дальние края?»

Но первой отказалась от задуманного Инка. Вернулась из армии ее отец, и они уехали на все лето в Крым. На собственной черной блестящей машине с сиденьями из красной кожи. И это была самая большая обида, гораздо больше той, если бы Инка уехала в Крым просто на поезде, как все люди.

— Варвара, пренебреги! — сказала мать, заметив слезы, размазанные по лицу, и дала длинную яростную очередь на машинке. Она уже тогда классно строчила на машинке последней своей рукой. Она строчила на машинке и, еще не зная, что там случилось и почему слезы, все твердила и твердила: — Пренебреги! Пренебреги, Варвара!

Мать сидела на табуретке лицом к окну. С ее узкой прямой спины свисала рваная шерстяная шаль. За окном в ящике из-под мыла торчали ростки лука — их подсобное хозяйство, их дача и... в общем — называй, как хочешь. А на голой стене справа висел портрет Джека Лондона, вырезанный из газеты. Джек Лондон — золотоискатель.

«А может быть, тут все дело в Джеке Лондоне? Как это там... «Биль! — крикнул он. Это был призывный клич сильного человека, попавшего в беду, но Биль не обернулся». Вот странно... Помню. Джек Лондон, любимый писатель матери. Когда не бывало электричества и очень хотелось есть, она зажигала коптилку, брала Джека Лондона, голубую тяжелую книгу, и требовала:

— Садись, Варвара, слушай. «Способность волноваться и интересоваться чем-нибудь оставила его. Он был нечувствителен к боли. Его нервы заснули. Но жизнь, которая еще теплилась в нем, гнала его вперед. Он смертельно устал, но жизнь в нем не хотела умирать», — читала мать медленным, низким голосом, и тонкие ноздри ее вздрагивали от возбуждения. Отрывалась от книги, нетерпеливо спрашивала: «Понимаешь?» И с надменным на-

слаждением повторяла вслух: — «...но жизнь в нем не хотела умирать». Понимаешь?

В ее холодных зеленых глазах вспыхивало по живому, влажному огоньку.

«Джек Лондон», — произнесла про себя Варя. И эхо этого имени как бы прокатилось по голой сверкающей равнине, которая представилась ей. Бесконечная, пустая, выстланная снегом равнина, чуткая к каждому звуку. И синяя, толчками скользящая тень одинокого мужчины, и синяя призрачная тень винтовки за его спиной.

Да-а, это он, Джек Лондон, уверил ее в том, что жить бессмысленно, не испытав соприкосновения с жуткой прелестью первобытной природы. Он влюбил ее в образ могучего, немногословного, вооруженного мужчины, одного против всех.

«И все-таки это не ответ, — сказала она себе. — Подумай, сколько людей читают Джека Лондона, а все, что ли, мчатся потом к черту на кулички? Но какая-то часть правды тут есть, — поправила она себя. — Это не ответ, но недаром мать сказала: «Джек Лондон. Книжкино увлечение. Но где-то у тебя должен остаться разум? Не думала! Думала — воспитала! — Мать стучала на машинке и ни разу не оглянулась, словно в тот момент для нее главным было стучать на машинке. — Да ни черта не поняла ты в Джеке Лондоне! Ни черта! Говоришь, на Сахалин собралась? Превосходная идея! Не-ет, отговаривать не стану. Надумала, самостоятельная, я тебе не нужна — кати! А когда понадобятся деньги на обратный билет, не стесняйся, телеграфируй, вышлю, всегда готова — ты-то для меня одна-единственная. — Она так стучала на машинке, и грохот стоял такой — оглохнуть можно, честное слово. — А ты знаешь, что там тебя ждет? Да все то же, легковерная Варвара, увы, все то же, что здесь, везде, — и люди, и трудности, и праздники, и будни. Не веришь? Мне? Ладно, обожжешься, поймешь! Романтика? Ах, романтика! Ненавижу это слово — «романтика»! Расслабляет, рассиропливает, демобилизует! Ладно, обожжешься и вернешься. Вот мне и утешение, вот мне и...»

Мать встала, надела пальто с пустым рукавом и ушла. На листке, торчавшем из машинки, после слов: «В СССР уже давно выведен гибрид белуги и стерляди», — шло сплошное, беспросветное «Зачем? Зачем? Зачем?..».

Попробовала разгадать одно из этих «зачем?». Вы-

шло: «Зачем иметь детей?» Второе «зачем?» могло означать: «Зачем ты, Варвара, опять обижаешь меня?» Очень может быть. Бедная, бедная мама...

За окном на мокром ветру шевелились последние листья, падали, прилипали к асфальту — и почти все глянцевой стороной вниз, задрав вверх кривые черенки. «Бедная, бедная мама... Никогда у нас не получается длинного, вразумительного разговора. И почему? Раз, два — готово, разошлись. Но ведь ты любишь меня, я люблю тебя, а разговора, настоящего разговора не получается. Почему?»

...Она вышла на улицу следом за матерью, постояла у витрины цветочного магазина, заваленной влажными, нежными, растрепанными астрами.

Увидала двух парней. Они шли, согнувшись под тяжестью рюкзаков. В руках и тот и другой тащили по два ведра грибов. Из-под козырьков их матерчатых спортивных шапочек растекался пот. Встала перед ними, сказала:

— Давайте помогу.

Переглянулись. Один из них сказал неуверенно:

— Ну, зачем это вам!

— Затем, что это я могу.

Улыбнулись, как будто поняли.

— Ну, тогда вот вам ведро. Понесете?

А потом едва не рассорились друг с другом из-за того, кто пойдет ее провожать и все такое прочее. Так и выразились: «и все такое прочее». Что они имели в виду?

— Дурачье! — сказала она им.

«Как будто у девушек всегда только одна цель! Дурачье! Как будто у меня нет других возможностей! Как будто я совсем уродина!»

— Не в себе, — сказали они ей вслед. — Хорошая такая девушка, а не в себе.

«Настоящее дурачье! Но это они. А ты? Что, если ты и в самом деле не в себе? Если ты и на Сахалин покатила потому только, что ненормальная? Говорили же знакомые... О да! Вот уж кто все понимает, как надо, — знакомые. Знакомые всегда в норме. По крайней мере они в этом убеждены.

А ты в чем убеждена? Я? Я убеждена в том, что... у меня есть Ваня. И он не скажет обо мне так, как скажут знакомые. А что скажет он? Подумать только, о чем она спрашивает! Почти три года рядом — и о чем она спрашивает! А все-таки, что скажет Ваня? Хорошо скажет.

Но что? Надо разобраться? Опять разобраться? А есть, в чем не надо разобраться? Может, и есть. Но надо разобраться в том, в чем надо разобраться. У тебя накопилось. Когда-нибудь да надо будет во всем разобраться. Так почему не сейчас? Во всем сразу — и никаких вопросов. Вот и Ваня... Только осторожно! — предупредила она себя. — Очень-очень осторожно...»

«И если врачи сумеют вот так, осторожно-осторожно, — подумала вдруг. — Если! Помоги, помоги им, врачам этим, ты, господи! Ты, господи, всеильный, всемогущий! Но тебя, к сожалению, нет! И все-таки! Помоги...»

Она молится? Прямо конец света! «О чем ты молишься? Ты что же, за себя боишься, что ли? Ты думаешь, если он не умрет, тебе легче будет думать о себе? Легче и проще? О себе и обо всем, что связано с тобой? Ну, честно?»

«И поэтому, — не сразу ответила она. — И поэтому, если честно».

«Но разве только поэтому? Разве мне не больно, не ужасно все, что произошло? Замолчи, — сказала она себе. — Нашлась сострадалица. Кому нужно теперь твое сострадание? Кому? Только не ему. И не тете Анне. Тебе это нужно! Чтобы ты могла хорошо думать о себе. Подлая. Все-таки ты подлая. А выхода у тебя все равно нет. Или попробуешь все понять, или... живи, как жила. А как ты жила? Как, как, как! Вот в такие минуты и спиваются. Наверное, в такие. Как говорят наши редакционные ребята: «Настроение хемингуэевое, ремаркнем, что ли».

— Ваня, слышишь? Ваня? Давай выпьем.

— Что? Ты разве не спишь?

— А ты разве спишь?

— Подремываю.

— Гм... Ну, так выпьем, что ли? Водки, коньяку!

— Сумасшедшая!

— Вот! Я и хочу узнать — очень я ненормальная была, когда на Сахалин приехала? Как тебе показалось?

— Ты опять? Всерьез? Варенька...

— Да, Ваня, да.

— Ну что ты, в самом деле...

— Ладно, ладно, но все-таки, по-твоему, какой я на Сахалин явилась? Ну, объясни! Прошу тебя!

— Скорей бы кончилась эта проклятая ночь! Какой ты была? Да милой же, юной, красивой и милой. Только очень уж растерянной. Я таких растерянных еще не встречал. Как будто тебя подбросили и не поймали. Оглушенная, одним словом. Впрочем, «оглушенная» к тебе не хочу применять, слишком грубо, не то.

— Нет, нет, Ванечка, очень даже то.

Именно «оглушенная». Или, как сказала бы мать, «пыльным мешком по голове ударенная». Знала, была уверена, что уж кого-кого, а ее, Вареньку Родионову, непременно встретят. Как же, Лебедев Петр Петрович, фронтовой друг матери, «редкостный человек»! Раз она послала ему из Владивостока телеграмму, значит, он ее получил и, следовательно, не может не стоять где-то здесь, в толпе встречающих... Не имеет права!

— Мне, Варенька, всегда было с тобой просто, ясно, одна радость,— сказал Ваня.— Тебе действительно выпить хочется?

— А почему бы нет? Почему бы нет?

Почему она должна была надеяться только на себя? Если был Лебедев? Если он должен был быть?

...Ну да, она хотела быть во всем самостоятельной, она и не хотела брать у матери адрес Лебедева, она верила в себя... Но вся эта гнусная история на пароходе и этот грипп...

Умница ты, Варвара, ловко это ты про грипп. Вот ведь как может пригодиться даже грипп. Недаром твои школьные сочинения «отражали быстрый ум, свободное владение фактами при наличии своеобразного воображения».

Ах, как ты ждала Лебедева! Ты стояла на совершенно незнакомой земле, к которой сама же и стремилась, но не видела ничего, кроме толпы встречающих. А толпа встречающих повсюду одинакова. «Миленький, родименький, ну где же ты есть?!» Это ты о Лебедеве. Если бы мать могла в те минуты видеть твою убогую фигуру, она бы плюнула и, может, даже закатила тебе оплеуху. «Миленький, родименький, я все равно верю в тебя!» О как! «Верю в тебя!» Так где же ты, почему не оправдываешь такого высокого доверия? «Это безусловно порядочный, безусловно редкостный человек». Мать ни о ком другом из живых не сказала так.

Но вот на берегу не осталось ни встречавших, ни приплывших. Безмолвно колыхалась в «ковше» зеленая, нечистая вода и пахла гнилью, гнилой рыбой. Выходило, что высокий черноусый дядька с веселыми глазами горчичного цвета (шрам от виска до подбородка) бросил ее на произвол судьбы.

— Все ясно. Мне все ясно,— сказала она Лебедеву, которого не было.

— Ну вот он, твой редкостный человек,— сказала она матери, которой здесь тоже не было.

Подняла вещички и сторонкой-сторонкой пошла прочь.

Огляделась. Первая увиденная сахалинская улица тянулась вправо и влево. Новые пятиэтажные дома вперемежку с узкими дощатыми строениями, у которых окна висят над землей, как балконы, а из форточек торчат вверх длинные металлические трубы. Иногда по три таких трубы, и все три дымят. Похоже на самовар, а не на жилье. Остатки японской цивилизации. Экзотика! Эту единственную прямую улицу теснит к морю сопка, застроенная как пришлось, исполосованная крутыми тропинками, завешанная лесенками. Еще экзотика! Да ведь интересно-то как! Вот автобус — это обыкновенно. Но и хорошо! Мчит себе красно-желтый увалень, как по какой-нибудь Нижней Масловке. Всюду жизнь! — это называется. «Кажется, вы совсем осмелели, деточка? Во всяком случае, ни за что теперь не пойду искать Лебедева, вот и адрес в кармане, а не пойду. Окончательное решение? Да, твердое, принципиальное. Варвара, ты молодец! Ты начинаешь мне нравиться!»

— Где тут гостиница, скажите, пожалуйста,— спросила у женщины, рыжей с черными глазами и в белом кружевном платье и в белых туфлях с золотой пряжкой, вероятно, самой красивой женщины в этом городе, а может быть, и на всем Сахалине.

— Их у нас две,— тотчас ответила женщина, счастливая своей красотой и потому такая добрая.— Одна гостиница для просто приезжих, другая — для моряков, но там иногда всяких устраивают.

Две гостиницы на одну девушку! Не слишком ли?

В гостинице для «просто приезжих» и в той, что для моряков, все места оказались занятыми. Это было обидно, тем более что какие-то люди хотя и подходили следом за Варей, но их как-то устраивали, их оберегало военное слово «бронь».

— Вот подождите до утра, что-нибудь для вас устрою, — только и сказала ей администратор.

Варя села в кресло перед пустым журнальным столиком и стала ждать. Раз, два, три, четыре, пять... А может быть, ей надо было понастойчивей поговорить с администратором, сказать, что больна, что... «Унижаться, значит?! А старая тетка с пергидролевыми локончиками сама, что ли, не видит, как мне хочется отдохнуть? И отдохнуть и вымыться. В ванне, под душем — все равно где, но поскорее бы! Вымыться, отмыться, вернуть себе свое тело! — думала она. — Как это все-таки ужасно — чувствовать свое собственное тело чужим и грязным! Но каким же его можно чувствовать после... Бр-р!...»

Полированная гладь журнального столика приятна на ощупь, как прохладная вода. В ней четко отражался циферблат больших стоячих часов с цифрами и стрелками. Шесть, семь, восемь... десять. На низком, плоском потолке вспыхнула люстра — несколько одинаковых бумажных цилиндров, укрепленных на металлическом треугольнике. «Такая же, как в кафе на Арбате. Совершенно такая же», — подумала Варя грустно и разочарованно.

В соседнее кресло плюхнулся толстый мужчина, прикрыл лицо отворотом драпового пальто и захрапел.

С улицы вошли две девушки в расстегнутых телогрейках и резиновых сапогах. Одна кривоногонья, пучеглазенькая — лягушонок настоящий. Зато вторая, с черной косицей из-под алой косынки, стройнехонькая, просто прелесть... Но как только они появились, в помещении крепко запахло рыбой — как будто приоткрыли бочку подпорченной селедки.

— Пфу-у! — заворочался в кресле мужчина в драповом пальто.

— Больно нежный! — презрительно кинула красивая.

— Его бы к нам на рыбобазу! — подхватила пучеглазенькая.

— Не кричите, не в общежитии, — строго сказала администратор. — Мест нет.

Девушки сели рядом с Варей. Запах рыбы стал забористей. Дядька в драповом демонстративно пересел подальше.

— Подумаешь! — фыркнула красивая.

— Подумаешь! — повторила пучеглазенькая.

Они посмотрели на Варю в поисках поддержки и в полной уверенности, что поддержку эту получают. И внезапно разбуженное чувство женской солидарности, и мысль,

122237
что она могла быть на их месте, что и на нее могли смотреть с нескрываемой брезгливостью, заставили Варю среагировать мгновенно и решительно.

— Действительно, подумаешь! — заявила она громко и гневно. — Аристократ какой нашелся!

Мужик отмолчался, ушел в хrap. А девушки разговорились.

— Кто на засолке, всегда пахнет. Ну и что! Кому-то надо? — строго спрашивала красивая, но в ее высокомерном голосе Варя уловила нежную дрожь обиды и поспешила согласиться:

— Конечно! Я понимаю! Ну, и как там у вас вообще?

— Как? — Девушки усмехнулись и протянули к ней руки, припухшие, покрасневшие, в порезах и ссадинах. — Видишь? Работаем. Вкалываем. Песни поем. Вечером танцы. Обыкновенно, как везде. В самодеятельности участвуем. Баянист вот отказался, уехал. И чего? Нас за новым в «культуру» послали. Обещают прислать.

— А ты не к нам ли собралась? — спросила пучеглазенькая и рассмеялась весело, самозабвенно, как хорошей шутке.

Что же получалось? Получалось, что работу на рыбобазе никто тут не считает делом исключительным, героическим, каким представлялась она Варе в Москве. Даже сами девушки-рыбообработчицы... Даже им показалось забавным, что вот такая милая девушка из Москвы вдруг захочет к ним.

— Мы из Воронежа. На институт деньги собираем, — пояснила красивая. — А Галка, — кивнула в сторону подруги, — еще мотоцикл мечтает купить. Мы на сезон всего. Хватит. Хорошенького понемножку.

Девушки прислонились друг к другу висками и уснули.

Варя смотрела на них и удивлялась. Чему? Сама не могла б сказать. Но чем дольше смотрела, тем неопределеннее и тревожнее становилось у нее на душе.

Пучеглазенькая улыбалась во сне. А на мысках ее грязноватых сапог тускло и слепо отражался свет люстры.

Ну, а если честно — она, Варя, хотела бы носить вот такие сапоги? И чтоб ее руки были в ссадинах, хотела б? «Тогда чего бы ты вообще хотела? Чего?!» — словно услышала насмешливый, непримиренный голос матери. «Ну, мама! Ну, мама же!» — «Что, что дуреха? Легко хотела? Красиво? Под аплодисменты?» Мать и в воображении оставалась такой, какой была, — договаривающей все до конца. Безжалостной.

В темных окнах сияли огни, много огней. Чьи-то квартиры, чей-то уют, чье-то тепло. А она? А у нее? «Ну, мама! Ну, мама же!» Одно дело, если бы все на этом сахалинском берегу жили в палатках. Собственно, она так и представляла себе там, в Москве. Тоже глупо, да?

Огни... Какой-то из них принадлежит Лебедеву? Вот с Лебедевым действительно глупо получилось... Трах-бабах! Почему она так плохо подумала о Лебедеве? Какое имела право? Основание? Стыдно, стыдно, Варвара!

Раз, два, три, четыре, пять. Она подняла свои вещички. Кто-то тоненько посмеялся. Над ней? Кто? Мать? Чушь! Пучеглазенькая рыбообработчица во сне. Толкнула дверь во мрак и пошла искать Лебедева по адресу, который мать заглавными буквами напечатала на своем ундервуде.

Лебедев жил на улице Невельского, 23, там, где, как объяснили, была конечная остановка автобуса.

Она забралась в автобус с помощью рукастого дядьки в брезентовом пальто.

— Откуда едешь-то? — спросила старуха, сидевшая спиной к шоферу и лицом к ней.

— Из Москвы, — ответила, глядя на старухину сетку, в которой лежало красное, гладкое, многолапое животное. «Краб, — догадалась, и ей стало весело. — Настоящий морской краб!»

— Из Москвы-ы! — уважительно пропела старуха. — Ну, и как там, в Москве-то, народу много?

— Много.

— Да-а. — Старуха покачала тяжелой головой. — А у нас помене. У нас помене народу-то. А тоже грому хватает.

Автобус остановился. Варя была последней пассажиркой. Слезла и очутилась у дощатого павильончика. Тихо. Блестят под фонарем мелкая листва березы и металлический почтовый ящик, прибитый к калитке. За калиткой светят два низких окна. Но света их не хватает, чтобы разглядеть номер дома.

Внезапно раздалось пронзительное мяуканье. Мимо Вари промчалась кошка. Следом за кошкой вылетел «комар» лет семи, босой, с забинтованной головой и камнем в поднятой руке.

— Ты что? — Варя бросила вещи, схватила его за плечо. — Как не стыдно — в кошку, в животное! Думаешь, так хорошие, смелые люди поступают? Вон и голову разбил.

— Подумаешь, кошка! — дерзко ответил «комар». — Это мне мальчишки голову разбили. И хорошо: теперь я на Чапая похож!

— Глупый! — строго сказала Варя. — Брось камень, а то родителям скажу.

— «Родителям скажу»... Тебя еще там не хватало, — грубил «комар». — Да на, на, бросил!

Вдруг Варя увидала на его клетчатой рубашке знакомый металлический кружок — медаль «За взятие Берлина». Медаль, вместе с другими наградами оставшуюся ей от отца.

— Откуда у тебя? — спросила она, крепче вцепляясь в костлявое плечо маленького разбойника.

— Дедова! — с достоинством ответил тот, выдернул плечо, крикнул: — Дура! — и исчез.

Ни с того ни с сего Варя расплакалась.

Подошел очередной автобус, постоял, поджидая пассажиров. Шофер тихо насвистывал полонез Огинского, высунувшись из окна. Варя крикнула ему со своего места, не знает ли он, где находится дом номер 23. Шофер прервал свист и ответил, что она стоит у калитки дома номер 23. Варя спросила еще, есть ли там собака.

— У Лебедевых? — переспросил шофер, и она услышала, как он усмехнулся в темноте. — Сбежала небось. Или убил. Давно не лает.

Пока автобус стоял, она поспешила открыть калитку. Калитка была тяжелая, на тугой пружине, и захлопнулась за ней мгновенно и плотно, как капкан. «Придумала, что капкан. Глупости. Но все равно тебе и на этом острове не везет, бедная ты, бедная, кому ты тут нужна?» — сказала она себе так или как-то в этом роде. Но два низкие окна светили впереди вполне благопристойно и даже красиво сквозь белый тюль и розовые занавески. Варя пошла к ним по узкой тропинке, плутавшей в густом сыром чертополохе.

Дверь в сени оказалась открытой настежь. Сеничная тьма мирно и терпко пахла укропом. На стук выскочила маленькая женщина с растрепанными волосами. Ожгла ненавидящим взглядом темных глаз, спросила:

— Вам чего?

Одной рукой она держала себя за горло, и Варя не сразу разглядела, что яркий шелковый халат на ней порван от плеча до колен.

— Вам чего? — повторила женщина и грубым, и низким, и все-таки приятным, волнующим голосом.

— Мне Лебедева, — нерешительно ответила ей Варя. Женщина походила на сумасшедшую.

— Ах! Вам Лебедева! — обрадовалась она внезапной, мстительной радостью. — Проходите, проходите! — И схватила, потянула Варю за собой.

Варя очутилась в просторной комнате с длинными атласными занавесками на окнах. Вокруг были дорогие, добротные вещи: тахта, застланная толстым пурпурным ковром, большой сервант, большой шифоньер, большие кресла, сверкающие полированными плоскостями, телевизор с огромным экраном, холодильник «ЗИЛ» и на нем пылесос «Вихрь». Таких вещей у них с матерью не было. Увы, такие вещи, достойные витрин, не для них с матерью. Для них продаются другие вещи, за которыми надо постоять в очереди и послушать, как нахальная продавщица командует: «Ну, чего копаетесь? Это вам не первый сорт, ясно написано».

— Идите, идите! — Сумасшедшая женщина тащила Варю в дверь, завешенную синими плюшевыми портьерами. Под ее ногами скрипело и трещало.

Варя стронулась с места, оставив чемодан и рюкзак возле холодильника, и под ее ногами тотчас заскрипело и затрещало. Это были осколки стекла. Варя обернулась и только тут разглядела, что у большого великолепного серванта выбиты все стекла до единого, а на пурпурном ковре валяются половинка блюда и еще какие-то фарфоровые черепки.

В комнате за синими плюшевыми портьерами было темно, глухо и жгуче пахло одеколоном. Женщина щелкнула выключателем.

— Вот он, ваш Лебедев, — зло, презрительно и беспомощно зашептала она. — Любуйтесь! Ну, что скажете? Что?! Да за что мне такое наказание? За что-о-о?!

Она заломила худые, детские руки и принялась бесцельно, ногами разбрасывать по полу книги, шахматные фигуры, флаконы из-под одеколона, скомканные листы газет.

На двуспальной кровати, занимавшей почти всю комнату, лежало тяжелое, неподвижное тело мужчины. Его руки и ноги в грязных сапогах раскинулись по атласному покрывалу ярко-оранжевого цвета, а лицо было повернуто к стене, на которой висело двуствольное ружье. Кровь запеклась в белокурых волосах лежащего и жирным пятном расплылась по атласу.

— Мертвый?! — ужаснулась Варя.

— Мертвый! — язвительно повторила маленькая женщина глубоким, выразительным голосом. — Эх вы-ы! Да и что вам?! Что вам всем?!

Сзади тихо стукнула дверь. Женщина отдернула портьеру в сторону. В большой комнате стоял мальчик с забинтованной головой. На его клетчатой рубашке болталась медаль «За взятие Берлина». Он держал за руку белокурую чумазую девочку лет трех.

— Где шлялись? — закричала на них женщина. — Где шлялись, говорю?

Мальчик хотел что-то сказать, но увидел Варю — и ненависть поджала его губы.

— Где шлялись, где?! — Женщина стиснула сухие кулачки и бросилась к детям, но вдруг рухнула перед ними на колени, обняла их, притиснула к себе. — Деточки мои, родимые мои, да зачем же я вас родила, да зачем же вы живете на этом свете?! — заголосила неправдоподобно низким, пугающим голосом.

Мальчик кривился, как от боли. И вдруг положил свою маленькую грязную руку на голову матери и стал водить по ее встрепанным волосам.

— Ну, мам, ну, мам, я думал, обошлось... ну, ладно, мам, — виновато приговаривал он. — Ты не думай, я Катьку умою, и молока дам, и приберусь. Проживем. Иди ложись, спи.

Неожиданно двуспальная кровать заскрежетала. Мужчина длинно, страдальчески замычал и повернулся на бок, лицом к комнате. Потное, бледное, с темными взъерошенными бровями и большим алым ртом лицо его было и красиво, и молодо. Глаз он не разомкнул.

— Мне Лебедева, — сказала Варя. — Мне Петра Петровича. — «Какой ужас все это! — подумала про себя. — Какой ужас!»

Стоя на коленях, женщина бессмысленно посмотрела на нее снизу вверх, теснее прижала к себе детей, выкрикнула:

— Другие разве так живут?! Другие — тихо, семейно, для дома, детей помнят, жалеют. А он? Дурак он у нас дураком. Опять все побил, покорежил и денег не дал, десятку дал — живите, мне не жалко! Масла нет, мяса нет, жизни нет.

— Без масла проживем, — сказал мальчик, зло косясь на Варю. — И без мяса проживем. Подумаешь! Молока Катьке купим и проживем.

— Пойду, Ленька, к начальству, опять пойду, пусть бьет, пойду расскажу... Неужели не помогут? Дети же! — ожесточенно, сквозь брызнувшие слезы, спрашивала женщина. Из-под ее рваного халата видны были желтые рейту-

зы на резинках. «Какой ужас! — думала Варя. — Не дай бог мне когда-нибудь так опуститься!»

— Ну, чего надо? — оборвал ее деликатную мысль мальчик, освобожденный от рук матери, подошел к Варе вплотную.

— Лебедева, — покорно повторила Варя, несколько пугаясь своего собеседника. — Он с усами, он воевал, у него шрам от виска до подбородка. — «Вырастет бандитом, грубиян несчастный, — порешила она о мальчике, не желавшем щадить ее самолюбие и воспитанность. — А кем же еще? Ну и семейка, однако!»

— Понятно, — сурово сказал мальчик и смерил Варю с головы до ног. — Его? — Он ткнул пальцем в воздух, туда, значительно выше ее шляпы. Там, над дверью висела фотография черноусого мужчины. Насмешливые глаза с портрета тотчас поймали Варин растерянный, обиженный взгляд.

— Понятно, — повторил мальчик тихо и покосился на мать. — Нет деда. Понятно? Умер дед. Нет деда, нет! — вдруг с отчаянием вскричал он. — Чего вам тут? Чего не видели? Нет деда, совсем нет! Нечего глядеть!

— А-а-а-у-у-о-о! — грянул с кровати яростный рев.

Мальчик вздрогнул всем телом. Женщина, стоявшая на коленях, не шелохнулась.

— Гады-ы! У-у, гады-ы! — Пьяный сел, бессмысленно вращая глазами. — И я гад, и все гады! Холодильник, телевизор им, тахту! Все?! Или еще чего? Чего молчишь, дура набитая? Пой! Это я о твоих мозгах говорю! Это ты ничего не понимаешь, ты! А я — все, все! «С того и мучаюсь, что не пойму, куда влечет нас рок событий!» Все понимаю и не желаю! Ясно? А ну, прочь с дороги, к-кому говорю!

Его белокурые, рассыпающиеся кольцами волосы всколыхнулись и свалились на глаза. Он ладонью оттер их в сторону и, напрягаясь, двинулся вперед. Варя успела заметить, что и у мальчика, вставшего на его пути, такие же крутые белокурые кольца топорщатся на лобастой голове, и успела удивиться: отчего мать его, эта страшная женщина с красивым голосом, не делает попытки убежать, спрятаться, а равнодушно или обреченно дожидается своей участи? В следующее мгновение Варя уже ничего этого не видела. Она стояла на осколках стекла в соседней, большой комнате и с этого счастливо обретенного безопасного расстояния слышала, как за синими плюшевыми порттьерами дико и беспощадно кричит ребенок:

— Не смей бить маму! Бей меня! Лучше, пожалуйста, папочка милый, бей меня!

«Какой ужас! Какой ужас!» — думала Варя, глазами отыскивая свои вещи — чемодан и рюкзак. Они, слава богу, находились там же, у холодильника. Но за ними, скорчившись, сидела маленькая чумазая девочка. Она посмотрела на Варю снизу вверх огромными серьезными глазами. Было неловко, очень неловко разорять ее наивное убежище, но что поделаешь... что поделаешь, если так складываются обстоятельства! «Какой ужас! — думала Варя, хватая чемодан и рюкзак. — Бедные, бедные дети! Я? Ну чем же я могу им помочь? Что я против такого хама? Вот и мать не может, даже мать! Милицию позвать? Но как, где? Я ничего здесь не знаю, мне здесь даже негде ночевать! И за что мне все это?!»

— Ладно, ты, гаденыш, — прохрипел снисходительный голос. — Защитник, подумаешь! Хрен с вами, дышите дальше. «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым!» Топчите меня дальше! Не стесняйтесь! «Увяданья золотом охваченный, я не буду больше молодым».

И что же тогда подумала Варя Родионова? Она подумала, спешно покидая порог ужасного дома: «Обошлось! Ну, конечно, обошлось! Кажется, он и не бил ее, и ребенка не бил. Я не слышала ударов. Если бы он бил, я бы слышала. Нет, нет, он только хотел, а теперь все тихо, абсолютно тихо, и для них вообще все это, наверное, очень обыкновенно. Хорошо, что я не вмешалась! Говорят, муж и жена — одна сатана. Народ говорит! Разве прежде я не пробовала вмешиваться? И что же? Хватит! На этом Сахалине тем более. Хватит того, что было в Москве. Ученая! Не хочу!»

— Не спишь? Все еще не спишь? — возник огорченный голос там, за изголовьем. — Старайся, милая, спи, спи...

— Спать? — с неожиданным для себя грубым раздражением спрашивает она. — Спать и спать? Спать и спать?

— Обиделась? Не понимаю... За что?

«В самом деле — за что...»

— Прости, Ваня... Я... Прости...

— Понимаю. И чувствую себя виноватым. Не удержал. И ты увидела все это... эту картину... Бедная моя...

«В самом деле — за что? — переспрашивает она себя. —

Ни с того ни с сего... Ох, не спеши! Куда тебе теперь-то? Осторожно-осторожно... И о том, и об этом — обо всем... Обо всех... Только так! — просит себя. — Только так!.. И если врачи... Помоги им, помоги этим врачам, ты, чистое, светлое, невозможно какое везучее «осторожно-осторожно»! Он не может умереть просто так — и нелепо, и глупо, и ни к чему. Это не его смерть, я знаю... и мне страшно... Отчего мне так страшно и все страшнее? От беспомощности. А если бы я сама могла и умела?... Что? Мне тоже было бы страшно? Наверное. Но только по-другому, должно быть... А ведь я, в самом деле, могла бы и умела, если бы... Если бы, если бы...»

На другой день после школьного бала подала документы в мединститут. Конечно, может быть, и зря, что согласилась с доводами матери и подала документы в мединститут. Но взрослые очень убедительны, когда захотят наставить молодых на тот самый истинный путь, который одолели сами или мечтали одолеть. А мать непременно стала бы хирургом, непременно, если бы для этого достаточно иметь одну здоровую, решительную руку.

...Примчалась домой с распухшим от слез лицом:

— Мама! Мама! Разве это экзамен?! Я все поняла, все! Парням — четверки-пятерки... девушкам — тройки, тройки, тройки. Странные вопросы! Совсем не из школьной программы! И все нам, нам! Этот профессор нарочно против девчонок, не верит, что они на Камчатку поедут. Не верит — и все! Я сказала ему: «Как не стыдно?!» А он... Уж если профессор — представляешь? — профессор поступает так, как ему вздумается, кому же верить? Во что? Как дальше мне жить? Все нечестно, все ложь! Все, все!

— Провалила? — спросила мать чужим, беззащитным голосом. — Ну и что?! — Громко, насмешливо и так знакомо крикнула следом, ее глаза сузились, словно мгновенно прицелились в неожиданного врага, там, за окном: — Пренебреги! Наплюй! Все сначала! В этой жизни первое, что нужно уметь, — это начинать все сначала. И ничему не удивляться. Всякое есть, жизнь! Как же может быть иначе? Принимай и не удивляйся. Я знаю, что говорю.

Она сжала свой единственный кулак. Ее прекрасные зеленые глаза излучали презрение к жизни, к той жизни, которая пыталась ее сломать, но не сломала и с которой они все время один на один — кто кого.

У нее было два мужа. Со вторым она не успела распи-

саться. Его убили из-за угла в германском городе Виттенберг в тот же час, когда он проводил ее, беременную, в Россию. Она никак не могла поверить, что есть трудности, которые невозможно пережить, и что вообще у молодых, сытых, обутих, одетых, живущих в домах с паровым отоплением могут быть трудности, достойные внимания.

Спорить с нею? Она не спорила. Может быть, потому, что заранее была уверена в поражении? Может быть... Хорошо или плохо, что у нее была такая мать? Отвечать, пожалуй, не обязательно. Важно, что была, и вот именно такая, и ты не знала, обижаться или радоваться, когда она твердила тебе:

— Держись за меня, солдатик! Будешь держаться — не пропадешь, родимый!

Только ведь не помогло, мамочка... Хотя Варька старалась «держаться».

В тот раз она «пропала» примерно через восемь месяцев.

— Начинать все сначала, — сказала ты. — Послужи в больнице. Кем? Кем возьмут. Понюхай медицину годика два. Врачи всегда всюду нужны. А когда ты нужна — уже человек.

Разве неразумно? Для семнадцатилетней?

А через восемь месяцев Варька пропала. Ее сняли с работы и еще собирались вписать в трудовую книжку статью 47«г». Да, да, именно эту статью! А она тогда представления не имела, что такое статья 47«г». И неизвестная эта статья ее мало испугала. Ее испугала Кострицына, и даже не сама Кострицына, а собрание. Тот ласковый, небрежный, снисходительный тон, с каким выступавшие обращались к ней:

— Девочка, ты же не успела еще прийти сюда, а уже свару заводишь, склоку... Товарищ Кострицына двадцать лет здесь трудится, отличный специалист. Почему мы должны верить именно тебе, а не ей? Взятки... Да ты понимаешь ли, какую ответственность берешь на себя, бросая подобное обвинение? Нет, деточка, в коллективе надо уметь жить. Разве тебя в школе этому не учили?

— Я не хотела говорить, но теперь обязана, — горько, лживо и беспощадно шепчет Кострицына, прикладывая белоснежный платочек к сухим глазам. — Эта девушка сама признавалась мне, что многие обязанности няни выполняет через силу, с брезгливостью... Брезговать больными людьми! Какое кощунство! И собираться в мединститут... Какое лицемерие!

Да не так! Не так! Вы врете! Врете!

— Грубить старшему товарищу мы вам не позволим! Выйдите за дверь и ждите решения!

Вот тебе и раз... А она-то! Она! Рассчитывала, верила, представляла, как вдруг все, абсолютное большинство, счастливо улыбнутся, очарованные ее отвагой, искренностью, желанием отстоять правду-истину...

— Я же сделала, сделала все, как ты хотела! — кричала ты матери. — Я начала сначала! И что?! Какой ужас, ужас, ужас!

— А то, Варвара, — ответила мать, — что никто не просил тебя лезть не в свое дело. Это не твое дело, потому что оно не по зубам тебе. Я что советовала? Служи честно. Не с твоими силами ввязываться в драки. Я об этом много думала и считаю: кому не по силам — сиди на своем месте, честно служи Родине, и довольна с тебя. Ты почему на рожон лезешь? Потому, что настоящего горя не видела, необстрелянная, точнее сказать.

— Все, все сначала бывают необстрелянными!

— Точно. Только потом одни становятся обстрелянными, а другие лежат убитые. Что выбираешь?

— Я хочу говорить правду!

— Тебя убьют. Тебя уложат в первой же серьезной перестрелке. Или контузят. Что не намного лучше. «Говорить правду»! Выброси из головы! За правду приходится бороться. Так было и так будет. А бороться надо уметь. Без расчета на овалы. Это тебе не театр! Жизнь! Ох ты, горе мое... Я многого не знаю, но это знаю наверняка. Что же, я зря это узнала? Не вру — моей порции борьбы хватит и на тебя, и на внуков, сколько их ни будет. А ты все удивляешься, все удивляешься и пробуешь лезть на рожон. И все по мелочам. Мелочей много — не одолеешь, нет. А потом реवेशь. Не веришь мне — вот и реवेशь. Только потому. Зряшные мои старания.

«А ведь неправда, не зряшные, — подумала она. — Сейчас ты не скажешь, что то, чему учила мать, прошло для тебя бесследно. Плохо ли, хорошо то, чему учила тебя мать, — другой вопрос».

Впрочем, и тогда ты не считала, что мать все говорит зря и мимо. Мать была превосходным учителем. Она не только провозглашала свои тезисы. У нее в запасе были случаи из жизни, из ее жизни и из жизни тех людей, которых она хорошо знала. Эти случаи частенько соперничали с тем, чему учила школа.

Ух, и гордячка ты у меня, мать! Ух, и гордячка! Надо

же, ни разу не спросила: «А что за учителя тебя учат, Варвара?» По-своему спрашивала:

— Не лодырничаете? Бери у своих предметников все, что они могут дать. Знания о как нужны! А дальше мы с тобой сумеем определиться на честный хлеб.

«Мы» — вот как она хотела и во что верила, не сомневалась, моя умная, гордая, обманутая мать.

«Смешная, — подумала она сейчас. — Смешная и милая, ученая и неученая. Сколько вас таких по свету бродит! Романтики, черт вас возьми!»

И поймала себя на мысли, что думает словами Николая и что на этот раз его слова не обидели ее. «Это что еще за новости?!» — поразились вдруг, потому что успела понять: не обижает мнение только того, кого уже нет.

«Можешь, можешь смеяться надо мной ты, Ник-Ник! — сказала она сердито, так, как говорят с теми, кто с вами рядом и спорит. — Но я была не только смешная. Я была искренняя. Я была тогда такая искренняя, что действительно смешно. Смейся, смейся, Ник-Ник!»

Внезапно Варя вспомнила о Ване. «Ваня мой муж, — тревожно подумала она. — А я забыла о нем, как будто его никогда не было и нет. То есть я хочу сказать, — поспешила поправить себя, — в комнате так тихо, так тихо, словно его и нет. Но он есть, я знаю, он там, в углу, в кресле под торшером. Вон там, вон он. Спит или дремлет».

И даже оглянувшись, словно тот, кого требовалось убедить в существовании ее мужа, не спешил верить ей на слово.

«Интересно, — думала она дальше, — все-таки, как бы они встретились? Мать и Ваня?»

Почему-то никогда ей не удавалось ответить на этот вопрос так, чтобы ответ удовлетворил и успокоил ее. Вежливо — вот что она знала наверняка. А еще как?

Она никогда не могла ответить на этот вопрос, но сейчас, показалось ей, она ближе к ответу, чем когда бы то ни было. «Надо только не спешить, — предупредила себя еще раз, на всякий случай. — Надо хорошенько вспомнить все, как оно было, и тогда ты сможешь ответить на все свои вопросы, начиная с самого запутанного: зачем тебя, дуреху, понесло на Сахалин?»

Ольга Васильевна Татищева — вот о ком тебе надо сейчас подумать как следует. Ольга Васильевна, маленькая, седая и кудрявая, как херувим. Второй твой учитель.

Днем тебя учила она, а вечером мать — своими случаями из жизни. Мать родилась в 1918 году. Можно себе представить, сколько у нее накопилось всяких случаев! То-то она была так уверена в себе и так долго не подозревала о существовании соперницы!

...Что же было у Ольги Васильевны, кроме внешности состарившегося херувима, охраняющего врата в рай? Тихий, теплый и как бы сияющий голос. Слушая отвечающих, Ольга Васильевна ходила по рядам и всех гладила по голове, даже двоечников. Их она гладила дольше и спрашивала со вздохом, в котором объединились всепрощение и скорбь по невозможному для них блаженству:

— Ну что же делать нам с тобой? А, Миша? А ведь все могло быть иначе!

Объясняя, Ольга Васильевна становилась к столу, и кроткий свет ее голоса озарял равно всех.

— «Человек — это звучит гордо». Слова великого Максима Горького. Вы понимаете, что имел в виду выдающийся пролетарский писатель? Какие перспективы открывал он для нас всех? — Ольга Васильевна тянула обе руки вверх, слегка разводила их и какое-то мгновение стояла не шевелясь — маленькая, трогательная и величественная жрица храма школьной Науки. Вот это-то, кажется, и не учла мать, понадеявшаяся на случаи из жизни. Но одно дело — говорить от своего имени и совсем-совсем другое — от имени «великих», «признанных», «гениальных», «открывших горизонты», «которыми восхищается весь мир». Совсем-совсем другое дело. От имени и как будто по поручению.

Остается что? Тебе, шестнадцатилетней? Слушать и благоговеть. Во всяком случае, когда «великие» говорили голосом Ольги Васильевны, они словно бы цитировали сами себя, и выходило: а) все «великие» одинаково категоричны в своих суждениях; б) все они только и делали, что разоблачали гнилой царский режим и загнивающий капиталистический строй; в) все они жили и трудились единственно для того, чтобы мечта их о лучшей, справедливой жизни наконец-то нашла свое полное, идеальное воплощение в прекрасном настоящем Варвары Родионовой и подобных ей.

Ольга Васильевна отличала Варю из всего класса. И когда объясняла, непременно смотрела на нее. Ах, как жилось Варе в школе! Дивный, неповторимый сон! Утерянный рай! Или как там такое еще называется...

— Миша Крутиков! И тебе не стыдно регулярно получать двойки по алгебре? Позорить коллектив класса? Фор-

менное безобразие! — высказывалась Варя Родионова на очередном классном собрании. — Я, конечно, могла бы промолчать, но я не привыкла скрывать свое мнение!

— Твое мнение? У тебя есть мнение? Ну, Варька! Ну, насмешила! — попытался фиглярничать этот невыносимый индивидуалист Крутиков.

Но Ольга Васильевна зорко блюла райскую дисциплину и всегда вовремя стучала костяшками пальцев по столу:

— Молодец, молодец, Варя! Принципиальное высказывание. Поступай и впредь подобным образом, и люди всегда оценят твою прямоту и юношескую непосредственность.

И еще стоит вспомнить, как тогда, после первого и последнего разговора с Ольгой Васильевной, ворвалась в квартиру мать.

— Я поняла! Наконец-то поняла, кто тебя опилками набивает, кто тебе фарфоровые глаза вставляет! — неистовствовала она. — «Ваша девочка, ваша милая девочка, ах, какая очаровательная, непосредственная, такая чистая, доверчивая, прямо хоть сейчас в коммунизм!» Это она, твоя Ольга Васильевна — так, что ли, ее величают? Не бойся, я ей не грубила. Что ее лишней раз обижать! И так обиженная! Что я, не понимаю? Я ей не грубила, только спросила: «А жить она, Варька моя, как станет, по-вашему? Жить-то ей на первых порах вроде бы при социализме предстоит. Есть разница?!»

— Как ты можешь? Что ты говоришь? — ужаснулась Варя.

— Что думаю, то и говорю, — ответила мать.

Вот какие воспоминания были у нее, когда она притащилась на Сахалин. Неужели не интересные? И еще не все! Стоит вспомнить кое-что еще! Хотя и без того как будто бы ясно, какое замечательное воспитание получаешь под перекрестным огнем противников. «Ясно или не ясно?» — подумала Варя и усмехнулась с открытыми, недобрыми глазами.

И тебе, мать, и вам, Ольга Васильевна, надо было видеть, как неслась я от дома Лебедевых к автобусной остановке! Надо было видеть!

Ах, какое могучее, блаженное чувство испытывала она, когда наконец дверь автобуса плотно задвинулась и отгородила от нее преступную темноту и тишину чужой окраи-

ны и тот ужасный-ужасный дом! Навечно! Навсегда! Полу-пустой автобус катил легко, как по рельсам, пружинное сиденье так нежно, так мягко, так чудно подрагивало под ней. Чуть-чуть — и она завизжит от щенячьего восторга. Чуть-чуть!

Получали или нет Лебедевы ее телеграмму, уже не имело значения. Не было в ее жизни этих кошмарных Лебедевых — и все. Навечно. Навсегда.

— Гражданка! Курить в автобусе запрещается! — кричала время от времени толстая, сердитая, но в общем-то симпатичная кондукторша. Ее маленькие строгие глазки глядели из-под наивно нарисованных бровей куда-то за Варю. И в конце концов Варя позволила себе отвлечься от своих переживаний и оглянулась.

На заднем сиденье она увидела женщину с седыми волосами, туго натянутыми у висков и свернутыми на макушке птичьим гнездом. Женщина была одета в дорогой темно-серый костюм-джерси с перламутровыми пуговицами. Сильно щурясь, она глядела в черную звездчатую дыру разбитого окна. В ее тонких, сухих пальцах дымила сигарета, другая ее рука сжимала спичечный коробок.

— Гражданка! Ну, в который раз! — кричала кондукторша.

Женщина, не глядя на нее, смяла горящую сигарету в кулаке и сунула в карман костюма. От ветра, дувшего в разбитое окно, ее седые волосы растрепались и лезли в глаза. Через минуту она закурила опять, и опять раздался крик бдительной кондукторши:

— ...запрещается!!!

«И люди все какие-то тут, — грустно помыслила Варя. — И ночевать негде...»

— Дальше автобус не пойдет! — прокричала кондукторша в последний раз.

Варя сошла под тускло горящим фонарем и поставила вещи у правой ноги и у левой и едва не разрыдалась от жалости к себе.

Женщина в костюме-джерси постояла неподалеку, пока не закурила очередную сигарету, и, скользнув по Варе рассеянным взглядом, пошла прочь.

— Завтра в восемь! Не забудь! — крикнул издали счастливый голос.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся в ответ еще более счастливый — Не завтра, а уже сегодня!

Женщина в джерси внезапно остановилась, повернулась и пошла назад, к столбу, под которым торчала Варя.

— Вы что... здесь? — отрывисто спросила она.

— Ни-че-го! — грубо ответила Варя. — Расписывают: «Сахалин, Дальний Восток! Спешите ехать!» Какое вранье!

Женщина слушала ее, то и дело длинно втягивая в себя сигаретный дым.

— Вам что... ночевать негде? — вдруг спросила бесстрастным, неживым голосом.

— Да! — крикнула Варя, давясь злыми слезами. — Вот и негде! А вам-то что?

— Пошли! — негромко приказала женщина, швыряя сигарету. — Слышите? Пошли!

Ты не стала долго думать. И противоречить тем более, — подсказала Варя ее услужливая и удивительно ясная в эту темную весеннюю ночь память. — Ты подхватила свои вещички и потопала следом за дорогим, достойным доверия джерси с перламутровыми пуговицами. В сущности, если ты и была в чем-то убеждена всегда, и тогда тоже, так это в том, что тебе кто-то должен помочь. Почему? Все потому же. Как же: девушка, рискнувшая уехать на край света, обречь себя на необычайные, романтические трудности — и вдруг одинокая, бесприютная, отчаявшаяся, непонятная!

Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда! Вот!

Женщина вела ее мимо участка, заваленного строительными материалами, и еще мимо одного, тоже заваленного строительными материалами, мимо котлованов, штабелей железобетонных панелей, через рельсы подъемного крана, высотой, должно быть, с Эйфелеву башню.

— Строим, — произнесла женщина, останавливаясь на миг. — Строим. Одно слово, а сколько в нем?

Варя хотела было ответить нечто, из вежливости, но не успела — женщина ушла далеко вперед.

Вслед за ней Варя вошла в подъезд трехэтажного каменного дома старой, но добротной постройки.

На третьем этаже женщина открыла дверь, без ключа, просто толкнула рукой, и дверь отворилась.

В прихожей, где в полумраке мерцало зеркало, Варя с восторгом вдохнула в себя запах свежего кофе, смешанный с ароматом духов.

В прихожую выходили четыре белые двери: две справа, две слева, и одна из них, дальняя слева, была приоткрыта и пропускала слабый, задымленный свет. Там разговаривали, а может быть, это работал телевизор.

Женщина молча указала на вешалку, подождала, равнодушно глядя в зеркало, пока Варя с трудом пристраивала свое пальто поверх тугой горы других пальто и плащей, молча подошла к ближней двери справа, подумала и открыла ее.

— Прошу,— сухо сказала она, когда Варя с вещами в обеих руках переступила порог.

В комнате было темно, и что-то таинственное, странных очертаний чернело на полу посредине.

— Прошу,— повторила женщина, тряхнула спичечным коробком и вышла.

«Мне сделали одолжение,— оскорбленно подумала Варя, продолжая глядеть на дверь, за которой исчезли дорогое джерси и светлые безучастные глаза.— Вот именно — одолжение».

«И что же? Что далее? Что последовало за столь неместным для вас открытием? — спросила сегодняшняя Варвара у той, давней Варвары.— Вы оскорбились? Ваша гордость взбунтовалась и заставила вас бежать прочь от небрежных милостей этого дома? Не так ли?»

«Не так. Сама знаешь, что не так»,— ответила та Варвара, давняя и беззащитная, слишком беззащитная, черт ее побери...

Она нашла выключатель, включила свет, бледно-розовый свет из люстры, похожей на цветок ландыша головкой вниз, и огляделась. Можно ведь и так считать, что ей некуда было идти...

Ах, какая прелесть, какое чудо лежало на полу! Настоящая медвежья шкура! Огромная, лохматая, с когтями! Варя скинула туфли и наступила на мех мертвого зверя.

И ширма. Ширму тоже увидела сразу. Прелестная, легкая ширма — нежно-голубой шелк и белые аисты, вышитые гладью. А может, не аисты? Может, цапли? Может... Может... Может...

Еще в комнате стояла широченная тахта, накрытая тяжелым дорогим ковром, и стояли необыкновенный письменный стол и стеллаж, длинный, во всю стену, заставленный книгами в новых обложках. На черной полированной поверхности письменного стола как бы плыли розовый, сверкающий искрами минерал и медная чернильница в форме парусника.

Комната вполне могла принадлежать женщине, если бы не ружье, висевшее над тахтой, и не болотные сапоги

большущего размера между изящно изогнутыми ножками письменного стола.

И если бы не две черно-белые фотографии на стене. Одна, поменьше, до самых золоченых ободков была заполнена светлыми младенческими кудрями, сквозь которые поблескивали круглые смышленные глаза.

Другая... «Этот уберезет, этот спасет, этот не даст в обиду. Ни за что!» Варя встала коленями на тахту, чтобы лучше видеть, чтобы убедиться, что не ошиблась.

Это был хозяин комнаты. Она уверена в этом! Она так хотела верить в это! Вон ружье, конечно, то самое, что висит сейчас здесь. Он смотрит прямо на нее, чуть исподлобья, задумчиво, ласково и так понимающе, так пони-мающе, что она невольно потянулась к нему и сказала: «Здравствуйте, товарищ геолог!»

Конечно, геолог! Только у геологов, чаще всего у геологов,— она читала, знает,— вот такая борода, кудрявая, веселая, обывдевшая. Сколько же ему лет? Тридцать, должно быть. Или чуть больше. Или чуть меньше. Не имеет значения!

Имеет. Неужели ты, дуреха, думаешь, что такой сильный, красивый человек до сих пор одинок и бесприютен и ждет не дождется, когда явится некая Варвара Родионова и осчастливит его?

Но если бы, если бы он был одинок и несчастлив!

Он любит красивое. Вся его комната говорит о том, как он любит красивое. В ребятах это так редко! А ты, Варька, красавица разве? Не очень. Но все-таки. Если приглядеться. А у него такие хорошие, внимательные глаза!

«Новая жизнь... Все это моя новая жизнь. То, что будет. А что будет? Что будет? Рыбобазы? А что? Пусть! Разве это позор? Только такой неотесанный человек, как тот, в драповом, способен низменно, грубо судить о жизни. Ничтожество. А этот... Смешно даже сравнивать. Интеллигентный, умница, книг сколько! «Да, на рыбобазу, представьте, из Москвы». Его не покоробит. Наоборот. Он поймет, оценит. Товарищ геолог! Где же ты? Сильный, добрый человек! Я хочу, чтобы ты сейчас открыл дверь, вошел, увидел меня и...»

Дверь открылась. Варя соскочила с тахты и долго от смущения не могла попасть ногами в туфли.

— Вам надо умыться. Прошу,— сказал знакомый бесчувственный голос. В комнате запахло табачным дымом.

Женщина в сером джерси провела ее в ванную.

— Полотенце. Вода. Пользуйтесь.

Варя закрылась, разделась догола, встала босыми ногами в ванну, повернула кран. Струя жидкого холода ударила в плечо. Но другой, горячей воды здесь не было. «Я на Сахалине», — напомнила себе Варя, и, надо отдать должное ее самоотверженности, без огорчения и недовольства. Она густо намылила мокрые, заолодевшие ладони и, сжавшись от страха, положила их на грудь и стала быстро-быстро, но осторожно тереть ее и потом ниже и кое-как спину и сильно, крепко бедра, ноги. Она мылась старательно и долго, с наслаждением растирала полотенцем стянутое холодом тело.

«Уф! Наконец-то! — сказала своему свежему, покрасневшемуся лицу, причесываясь перед зеркальцем. — Очистилась от скверны! Да, да, совершенно! И больше никто никогда не дотронется до меня «просто так», никакая грязь, нет! Не допущу! Моя новая, новая жизнь! Я жду тебя, верю тебе!»

Посреди большой комнаты тянется длинный стол под белой скатертью в красных цветах. На столе стоят голубые чашки. Белое, красное, голубое. Неожиданно и празднично. В голубых чашках дымится черный кофе. И нарду-у-у...

Это была та комната, дверь в которую все время оставалась приоткрытой и пропускала задымленный свет. Сюда Варю привела женщина в сером джерси, усадила за стол, пододвинула к ней чашку с кофе, а сама ушла на диван курить свои сигареты. Тут вообще много курили, почти все, и одно окно было отворено, и дым медленно плыл над светловолосой головой мужчины, сидевшего у этого окна спиной к остальным.

Рядом с Варей, постукивая чайной ложкой по голубому тонкому блюду, огорченно вздыхала женщина лет пятидесяти, с широкой, сильной спиной, лоснящейся зеленым шелком платья.

— Мыслимое ли дело, Анна? — спрашивала она у той, в сером джерси. — Вдруг исчезнуть, никого не предупредить... Где ты была? Не представляю. — Она покачала головой, и в ее больших ушах стали заметнее золотые серьги с блестящим камушком в середине.

— Где была... — как эхо, повторило серое джерси, уставясь взглядом в противоположную стену, в то место, где висело фото пожилого человека в морской форме. Человек склонил голову к плечу и улыбался из-под козырь-

ка высокой фуражки серому джерси. Получалось, они не отрывали глаз друг от друга, и нечего было им мешать. Сигарета в худых, тонких пальцах часто-часто дрожала.

— Сумасшедшая! Неужели опять? Мыслимо ли! — Женщина в шелковом платье вскочила со стула. — Ребята! — крикнула тем, кто находился в комнате. — Ну скажите ей! Ночью, на кладбище, одна! — Встряхнула темно-рыжими крашеными волосами и на длинных, стройных ногах подошла к серому джерси, села рядом, крепко обняла за плечи. — Анна! Лапочка! Ну хоть бы меня позвала! В такие минуты нельзя оставаться одной!

— Да, Аня, да, ничего не поделаешь, вымирает наше поколение, вымирает. Правде надо смотреть в глаза. Да, — сказал самый высокий и тяжелый мужчина из всех сидевших в комнате. У него был громкий, уверенный голос. Бостонский костюм с тремя наградными колодками обтягивал его плотное тело так, как если бы это был мундир.

— Полковник прав. Неизбежное есть неизбежное, — сказала тщедушная женщина, зябко ссутулившаяся под двумя вязаными кофтами. — И Лиза права тоже. В горе человеку нельзя оставаться одному. Надо отвлечься от горя, непременно отвлечься.

— Дорогие вы мои ребята! Дорогие! — прошептала толстенная старушка в круглых очках, и на ее слабых счастливых глазах выступили слезы. — Все собрались, все. И Викентий Тихоныч время нашел... Хорошо-то как!

— Как же, Оля, как же! — торжественно произнес солидный большеголовый человек. — Я же не какой-нибудь там Фома, не помнящий родства. И вообще со всей очевидностью следует признать, что наше поколение, — продолжал он в том же тоне суровой торжественности, — наше поколение — о-о-о! — Поднял к лицу руку, погладил белый, пухлый, тщательно выбритый подбородок. — О-о-о! — Приласкал волосы, которых имел немного, наподобие венка или нимба. — Со всей очевидностью!

Тот, что сидел у окна, светловолосый, с длинной, сутуловатой спиной, заскрипел стулом, протяжно, как от зубной боли, мыкнул с закрытым ртом и вдруг грубо сказал не оборачиваясь:

— Прямо конец света — ваше поколение!

Зябнущая женщина смутилась и покраснела.

— Коленька, лапочка! Нельзя ли хотя бы поделикатнее? — укоризненно произнесла Лиза, посверкивая камушками в ушах.

— Нет, нет, красавица, не препятствуй! — сказал пол-

ковник. — Ну-ну, молодой человек, ну-ну! Рад сразиться! Вы, оказывается, из забияк? Приступим, прошу, развейте вашу генеральную мысль. Кажется, вот это и называется проблемой отцов и детей? — У полковника были массивные черные брови и широкие, внушительные движения больших костистых рук.

— Никакой такой проблемы, товарищ полковник, не существует, спешу доложить, — ответил тот, у окна, и круто повернулся лицом ко всем.

«Какой молодой и сердитый! — подумала Варя. — А под глазом синяк, да еще какой!»

— Есть одна проблема, если желаете знать мое мнение: соответствие человека возрасту. Старость, молодость — что это значит? Ничего. Есть такие, что с детства постарели, с детства и до самой смерти живут в привычных формах и считают их единственно возможными. И есть другие, уважаемый товарищ полковник. Они воспринимают жизнь не как данное навсегда, а как глину и чувствуют себя творцами.

— Хорошо ползешь, Иванов! — весело крикнул полковник.

«Ага! Философ местного масштаба, — подумала Варя. — Светлые волосы и темные брови — неожиданно и красиво».

— И все-таки, юноша, чем вам не угодило наше поколение? — строго спросил большеголовый и значительный Викентий Тихоныч, грузно откидываясь на спинку стула.

— Не угодило? Именно в этой формулировочке? Извольте: мне не угодило ваше «о-о-о». Я не вижу в нем рационального содержания.

— Дерзишь, Николай! — прикрикнула Лиза.

— И ваша теория, тетя Лиза, насчет горя, мне не нравится тоже. Ишь выдумали — «отвлечься от горя». А может, надо наоборот? Сосредоточиться в горе, чтобы что к чему уразуметь?

— Хорошо ползешь, Иванов!

— Глупости! — сказала тетя Лиза. — Как всегда, лезет на рожон, ему с детства нравится всех оскорблять. Не обращай, Викентий, внимания. Как я... Верный способ!

— Что же это такое? Ребята! Мы же на поминках! — подала голос толстененькая старушка в круглых очках.

— На самых правильных поминках, Оля! — сказал полковник. — Если и меня помянете вот таким забористым разговором, а не скулежом, благодарю заранее!

— И все-таки, — не отставал большеголовый Викентий Тихоныч, — все-таки, молодой человек, чем вам не угодило наше поколение? На ошибки намекаете? А мы и не скрываем — были и ошибки. Но было и другое: победы, взлеты, достижения, каких до сих пор не знала история! — Он несколько возвысил голос. — И благодаря нашим достижениям, нашим победам вы живете сейчас так, как ваши деды и не мечтали жить!

— Товарищ начальник, — кротко сказал Николай, — вы хотите сказать, что живем мы прекрасно? Не так ли?

— Именно! Прекрасно!

— О-о! А вы, оказывается, счастливый человек!

— Глупости, юноша! Увы, наше поколение допускало известные ошибки, ошибалось, иначе говоря, но как? Я лично горжусь... вот именно — горжусь тем, как я ошибался! Ибо не один, а вместе со всеми!

— Вы очень счастливый человек, Викентий Тихоныч! — тихо повторил Николай. — Я теперь это точно знаю. Итак, по-вашему, мир создан богом и потому раз навсегда прекрасен? Вы — страшный человек, Викентий Тихоныч...

— Договорился! — воскликнула тетя Лиза. — Человеку, который всю жизнь отдает на благо людям, и такое сказать в лицо...

— А он что, предпочел бы, чтобы я сказал это за его спиной?

— Всю жизнь на ответственной работе, всегда там, где трудно, где нужнее, — и вот благодарность потомков! — не сбиваясь продолжала тетя Лиза.

«В самом деле, — задумалась Варя, — чего этот Николай так? В конце концов, его тут никто не обижает!»

— Всю жизнь! И на одном месте! — фальшиво восхитился Николай. — Да как же это вам удавалось, Викентий Тихоныч? Что, разве и жизнь сидела-стояла на месте?

— Лапочка! Ты немыслимый грубиян! — Тетя Лиза стукнула каблуком об пол.

— Лиза, красавица, да пусть поговорит! — сказал полковник. — Все мы в свое время были молодыми да задиристыми. Возраст! Молодость! Пускай его!

— Благодарю вас, товарищ полковник! — сказал Николай. — Вы совсем не то, что Викентий Тихоныч. Вы чрезвычайно, чрезмерно благожелательны. Отчего это, позвольте узнать?

— Очень просто, молодой, чрезвычайно молодой человек. Я держу себя в форме. Регулярно... заметьте: регулярно — купаюсь в море, не сплю после обеда, не нервни-

чаю по-пустому, то есть вполне слушаюсь врачей. Да, вот еще — курить бросил.

— Это похвально,— сказал Николай.— Вы великолепно сохранились. А знаете,— он сделал шаг по направлению к полковнику,— мой отец умер. Позавчера. А вчера мы его хоронили.

— Я знаю,— сказал полковник, пожимая могучими плечами.— Я же сам его хоронил!

— И вы, вы тоже, и Викентий Тихоныч, я точно так и представляю себе это,— ответил Николай.

— Товарищи! — тревожно позвала зябнувшая женщина, и Варя увидела вдруг, какие у нее острые, умные глазки.— Товарищи, я вот что вам хочу рассказать. У меня, знаете ли, на пенсии объявилась глупая такая привычка. Я красить полюбила, знаете, детские игрушки, что в детях, в садиках,— колеса там разные, пароходики, скамеечки... Меня уже знают и приглашают. Я ведь бесплатно. Только бы во мне нуждались.

— Колька! — резко сказала с дивана женщина в сером джерси и крепко чиркнула спичкой о коробок.— Эх ты, Колька! Зачем сейчас все эти твои разговоры? Ведь только позавчера... А ты о чем?

— О нем, как раз об отце, мама.

— Да-а, инфаркт никого не щадит,— примирительно сказал полковник.— Подвело, подвело Николаю сердце.

— Чушь! — высоким голосом крикнул Николай.— Чушь и ерунда! Отец умер не от инфаркта. Это слишком дешевое, слишком удобное объяснение! Отец умер от забывчивости.

— Наш невозможный ребенок! — воскликнула в отчаянии тетя Лиза.— Иногда он мне ужасно напоминает Лошарева Федю, ужасно!

— Колька! Сын! — позвала Анна.

— Да, мама, да! Он забыл... столько забыл! Один деятель обозвал его склочником за то, что отец отказался работать с холуем. И что же? И это отец поспешил забыть. Заторопился на якорь, на пенсию. Помните, как вы отца на пенсию провожали? Весело, дружно, с песнями. Отличные проводы. Как и поминки... Решили, что отец счастлив бросить дело, которому служил сорок лет, бросить, как не было... так решили? А это он себя веревками вязал, кляп себе в рот вбивал,— хотел верить, что проживет сам по себе, ни во что не вступая. Очень надеялся! Садик садить придумал, журналичко «Сад и огород» выписал. Решил, что изобрел способ уберечься от жизни! И отсиживал-

ся в садике ото всех ее сложностей. Ух! А когда садик покоржили, пообломали — умер. Так и должно было быть. Ему уже некуда было отступать.

— Сумасшедший! — вскричали все разом. — Замолчи!

— «Цветы цветут всюду, для всех, кто только желает их видеть». Умный человек сказал. Вы что ж, не хотите понять, почему не стало вашего товарища?

— Однако не много ли берешь на себя, молодой человек? — спросил полковник.

— Нет. На каком-то месте отец должен был встать на смерть. Конец неизбежен. Но каждый выбирает его сам. Мне жаль отца. Он был слабым человеком. А слабые люди нуждаются в примере.

— Ну и ну! — сказал большеголовый Викентий Тихоныч. — Юноша все знает, все понимает, во всем разбирается лучше всех взятых вместе! Вопиющая самоуверенность!

— Я? Во всем? Если бы! Кое в чем... пытаюсь, тшусь. И считаю: если не сказать то, что хочу сказать, — это никогда не будет сказано и никого не заденет, а скажу...

— Ах, достаточно! — сурово сказала тетя Лиза. — Ты, лапочка, лучше скажи, кто тебе глаз подбил. Стыд ходить с таким пятном в школу.

Николай посмотрел на нее со своей позиции и опять отвернулся к окну.

— Трудненько вам жить, молодой человек, — глядя ему в спину, устало сказал Викентий Тихоныч. — Не умеете с людьми ладить. Не подлаживаться, — не дергайтесь! — призываю... А ладить. Легко врагов наживаете. Да и не всегда принципиальные расхождения тому виной. Сдержанности, такта не хватает... Что, и тут я не прав? Прав. Припоминаю, мне даже Калёнов на вас жаловался. А он-то какое к вам отношение имеет?

— Горисполкомовский? По культуре? — полюбопытствовал полковник и небрежно махнул большой, сильной рукой старого солдата. — Слыхал говоруна. Закроет глаза и поет... Из этих, которые по принципу: «Откукарекал, а там хоть не рассветай».

— Не-ет, от такого легко не отмахнуться, — озабоченно вздохнул Викентий Тихоныч. — Два института кончил. По форме вполне современный кадр, не нам, старикам, чета. Расторопен весьма, энергичен, мобилен... Зарывается подчас. Есть такое, настораживает. Что ж, поправляем, наблюдаем...

— Во всяком случае, для нас, для газетчиков, —

вступила тетьа Лиза,— Калёнов Анатолий Викторович настоящая находка, активнейший внештатный корреспондент. Когда ни попросишь, всегда готов написать, и секретарша его час в час материал приносит. Не обижайся, Викентий, но не в пример тебе. У тебя одна отговорка: «Дела, дела...» А он,— тетьа Лиза пальцем указала на Николая, притихшего у окна,— он все-таки ужасно похож на Лошкарева. Горластый и без удержу, совершенно без удержу. Анночка, помнишь, как Лошкарев преследовал тебя? Ногу рубанул, чтоб только ты ему перевязку сделала. А как кричал от боли! Ужас! Хотя мог бы сдержаться, в конце концов. Но проявил свою сущность. Конечно, плохо говорить о человеке, которого нет, не в принципах нашего поколения...

— Он не от боли кричал,— сказала Анна.— Теперь можно сказать... Он кричал после того, как я сказала ему «нет».

— И все-таки, лапочка, он сбежал. В ту зиму, когда у нас, кроме соленой горбуши, не осталось ничего. Голода испугался!

— Лиза, да ведь ты любила его! — сказала Анна.

— И что же, лапочка? «Цезарь мне друг, но истина дороже». — Лиза встала с дивана, печально и строго посмотрела перед собой.

— Не мог Федя от голода сбежать, Лиза.— Анна взмахнула рукой с сигаретой.— Исключается! Тут что-то совсем другое.

— Товарищи! — поспешно сказала зябнущая женщина.— А ведь у нас гость! Откуда вы, девушка? — Она посмотрела на Варю тоскующими глазами.

— В самом деле, Анночка, откуда взялось здесь это юное существо? — осведомилась Лиза, поднимая плечо.

— Человеку надо где-то ночевать,— сказала тетьа Анна, возвращаясь взглядом к фотографии на стене.

— Вербованная? — Лиза всматривалась в Варю строго и без снисхождения.

— Да,— сказала Варя,— вербованная.

— Ясно,— сказала Лиза, отворачиваясь. И Варя как бы перестала для нее существовать.

«А ты, однако, препротивная! Мало тебе Николай наподавал! — подумала Варя, и человек у окна стал ей симпатичен.— Не выдаст, не даст съесть»,— решила она.

— Да, я завербовалась на три года, а там видно будет,— решительно произнесла Варя, не упуская из виду

длинного, сутуловатого человека у окна.— А взялась из Москвы, если вас действительно интересует все это.

— Тетя Лиза чрезвычайно интересуется всякой информацией,— тотчас откликнулся Николай.— Неискоренимая привычка старого газетчика. Хотя тетя Лиза, как известно, и без того все знает.

— Моим-то оружием! — сказала тетя Лиза, кривя губы.— Но, Коленька, я-то уж конечно понасмотрелась на вербованных.

— Мне тоже приходилось этим вопросом заниматься,— доложил Викентий Тихоныч.— Весьма трудный контингент. Вербованные — необходимость, с которой пока что нашему краю приходится мириться.

Николай захохотал, обернулся и глянул на Варю:

— Ну, что ж вы? Отвечайте! Такие блестящие возможности! Что? Никак плакать собрались? Ну, детка...

— Между тем я еще не кончил,— сообщил Викентий Тихоныч.— Я отнюдь не отвергаю возможности, что у девушки подлинный патриотический порыв.

— Да не молчите же! — Николай аж зубами заскрипел от нетерпения и ярости, глядя на Варю.

«Они все, все против меня! — подумала Варя.— Каждый по-своему, но все. За что?!»

— Девочка, зовут-то тебя как?.. Варя? Хорошо-то как! — радостно сказала толстенная старушка в круглых очках.— Родные мои! Да о чем тут толковать? Мы-то сами какими на Сахалин в тридцать четвертом ехали? И как нас только всякие спекулянты не обзывали! Не другие ж мы и теперь, те же, те же, родные мои!

— Правильно, Оля. Хотя и не совсем,— сказал полковник.— Выпьем за молодость, за нашу замечательную молодость. Молодежь может присоединиться.

Полковник налил Варе бокал вина. Варя впервые в жизни с отчаяния выпила, как все, до конца, и сразу таким ярким стало для нее белое, красное, голубое, и ей захотелось признаться в этом, рассказать, объяснить...

Но ее опередил полковник:

— Вспомни-ка, Лиза, как ты за книжками для нас ходила. На лыжах. И заблудилась в тайге. Мы еле отыскиали, еле оттерли! На себе вынесли красавицу.

— А помните, помните! — сказала толстенная старушка.— Как бревна при луне катали. И рубили, и пилили, и катали... И лозунг наш: «Луну на службу промфинплану!» Трудно-то как было, до чего же трудно!

— Помню море, ночь,— произнесла Анна, не отрывая

глаз от фотографии.— Темно, глухо. Огни японских лесовозов вдали. Тяжелый, сырой ветер. Голос Коли: «Майна! Вира!» Такой же густой, тугой, как ветер, как волны... «Майна! Вира! Майна! Вира!» Живой голос... Помните? «Майна! Вира!» Кричал, командовал, был...

— Как же, как же,—сказал Викентий Тихоныч.— Мы с Николаем вместе были стропщиками. Отлично понимали, как важно загрузить лесом «японец». Золотом Япония нашему государству платила, золотом! Впрочем, в нашем леспромхозе все жили только этим, все!

— Не только этим,—тихо, но неуступчиво сказала Анна.— Ты забыл, как бывало?.. Мокрые, голодные, с ног падаем, а притопаем в барак, повалимся на нары и просим Колю стихи читать. Ветер за стеной гудит, «буржуйка» потрескивает, лежим, слушаем... Плачем. Молчим, слушаем и плачем... Юные, необразованные, наивные, славные...

— Чудесное, неповторимое время,—сказала зябнущая женщина.— И все-таки энтузиазм энтузиазмом, а приходит старость, и никто о тебе, по существу, не помнит. Ну, имею десятки грамот, ну, пятое-десятое... Обидно.

— Почему? — негромко, серьезно спросил Николай.— Мне кажется, уже само сознание, что жил так, а не иначе, должно удовлетворять. Удовлетворение и удовольствие — высшая плата за все.

— Я вас понимаю,—сказала зябнущая женщина,— есть и удовлетворение, но и обида тоже. Хотя, возможно, это и не по правилам.

— Все равно вы... вот вы все — счастливые! — выпалила Варя.— Жили в бараках, грузили лес, все вместе, дружно... и все у вас ясно, определено... А вот мы...

— Кто «мы»? — потребовала уточнения тетя Лиза, и Варя, к своему удовольствию, заметила, какие дряблые у нее плечи.

— Мы! — пожалуй что торжествующе сказала Варя.— Кто кончил школу пять лет назад. Вот я о себе. Меня как в школе учили? Жизнь прекрасна, безоблачна, и все в ней прекрасно. И я верила! Так верила! И думала о жизни, как о празднике! Вошла — все радуются!

— Ка-ка-я девушка! — сказала толстенная старушка.— Какая непосредственная! Прямо из книжки!

— Она и есть из книжки,—сказал Николай, и, пожалуй, небрежно, очень небрежно сказал.

— А вы, вы... — Варя хотела ответить ему обидное что-то, но полковник не дал, улыбнулся ей и сказал:

— Наташа Ростова — вот кто это! В живом виде! Обнадеживающее явление!

«Этот большой полковник все понимает, все, все! Какой милый!» — подумала Варя и сказала полковнику, сильно потянувшись к нему через стол:

— Только не надо, не считайте, что в ваше время молодежи было труднее, а в наше и легко, и просто. И нам приходится... Честное слово!

— Что же вам приходится, милая девчушка? — Глаза полковника улыбались Варе.

— Ну-у, разное... Вот я, например, я взяла и сказала профессору: «Это несправедливо! Не имеете права!» Он не имел права, я взяла и сказала!

— Ну, а профессор?

— Профессор?... Профессор сделал вид, что ему мои слова ни о чем. В том-то и ужас!

— Очень неглупый профессор, — обронила тетя Лиза.

— Интересненько, — сказал со своего места Николай. — И что же дальше? Что вы сделали?

— Заплакала, — сказала Варя. — Было так обидно, так обидно! И потом, — она посмотрела на Николая в упор, — потом в больнице. Я нянечкой стаж набирать пошла... И сказала нашей медсестре, что она взяточница, раз от больных подарки и деньги принимает. А она прямо на собрании такое на меня наплела! Такое!

— Ну, — сказал Николай, — и что же вы сделали дальше?

— Мне было ужасно, понимаете вы это? Ужасно! — крикнула ему Варя. — Все идеалы... И вот я приехала сюда. Решила и приехала.

— Молодец, лапочка, если все так, как рассказываешь. — Тетя Лиза снисошла и подошла к Варе и похлопала ее по плечу. — Сахалину нужны молодые, крепкие руки.

— Но при голове! — сказал Николай.

«Чего он задирается? Я же к нему не лезу!» — возмутилась Варя и сказала вот так:

— Вы-то обходитесь без головы!

И все, почти все рассмеялись, а ей стало до того хорошо, до того хорошо... До того, пока Николай не крикнул:

— Самоуверенная девчонка! Маменькина дочка! Пустое место! На кой черт ты притащилась на Сахалин, хотел бы я знать?!

— А вы, а вы... — В ту минуту Варя ненавидела этого длинного, сутулого парня до злых слез.

— На кой черт? — кричал он. — Воображает, что что-то стоит! А тут еще ее в Наташи Ростовы произвели! Чушь! Горе ты луковое, несчастье ходячее — вот ты кто!

— Молчите! Вы! — Варя бросилась из-за стола и подскочила к Николаю так близко, что кончики ее туфель чиркнули о его ботинки. — Вы злой! Злой и циничный, злой и противный! Молчите! Не хочу, не хочу вас слышать!

— А может, ты покой души искать приехала? — хладнокровно спросил он. — Такие недоумки тоже наблюдаются у нас на Дальнем Востоке. Послушай, а кроме ссоры с профессором и медсестрой были в твоей жизни другие подобные потрясающие случаи?.. Ладно, кончено. Иди доигрывай героиню. Благо доверчивый зритель заполнил партер.

И отвернулся. И замолчал. То есть сделал так, как она и хотела. Самое время ей тоже повернуться и уйти. А что же она?

— Вы ничего, ничего не понимаете! — крикнула ему. — И не хотите понять! Да?

Он не откликнулся. Как будто и не слышал, и не было ее для него вовсе. А она стояла рядом...

— Молодежь, молодежь, — отозвался большеголовый Викентий Тихоныч, — даже друг с другом договориться не умеют, а туда же... мудрят!

— Брось, Викентий, — поморщился полковник. — Не брюзжи, как перестарок. А мы с тобой что, по всем параграфам единогласны и никогда не спорим? То-то! Люблю молодых солдат. Душой цвету, ей-богу. Гляжу на такого вот свеженького забияку и себя в нем вижу, будто и не старился, ни в каком валидоле не нуждаюсь и ни с каким артритом-радикулитом знакомство не свел. Эхма!

— Ох, уж этот Коля-Николай! — воскликнула тетя Лиза. — Да не обращайтесь на него внимания! Лучшее средство против таких! На, Варя, на, неси и вымой и не злись по-пустому.

Варя прижала к животу стопочку голубых блюдец и как можно достойнее прошествовала к двери и позволила пролиться горячим слезам только в коридоре.

В кухне она отвернула кран, сполоснула лицо, постояла, слушая, как успокоительно льется в раковину тугая, чистая струя, и не заметила того момента, когда начался этот безмолвный, яростный, бесконечный диалог ее с ним, с его насмешливыми глазами, нисколько не доверяющими ей.

«Вы ничего, ничего не понимаете и не хотите понять! — твердила она ему. — Я вовсе не считаю себя героиней, но я все-таки сказала профессору то, что думала о нем. Другие не сказали, а я сказала! И медсестре. Только я!»

Он молчал и слушал. Так ей хотелось. С тех пор он в ее воображении всегда молчал и слушал и все-таки не доверял ей. А ей хотелось, чтобы он, именно он, непременно он, и доверял тоже. Но, если вспомнить, с тех пор так и пошло, из дня в день, из месяца в месяц и почти три года: она говорила ему, а он молчал и слушал и все равно не доверял ей.

А, собственно, что он был ей? Почему, обдумывая очередное решение, касавшееся только ее жизни, она мысленно непременно объясняла... нет, доказывала! — ему, что абсолютно права в этом своем решении, что поступает и правильно, и разумно, и достойно? «Он мне никто, он мне никто!» — убеждала себя из дня в день, из месяца в месяц и почти три года, а наступал момент — и бежала к нему, только к нему, и доверяла ему то, что не смела доверить никому другому. Почему? Почему она бежала от него и бежала к нему? И сколько тут правды и сколько лжи?

«Господи! — не разжимая суровых губ, позвала Варя, Варя Белокурова, лежа на постели прямо и тихо и закрыв глаза как мертвая. — Я все скажу, я ничего не скрою, я во всем сознаюсь и разберусь, но только он должен жить! Я ничем, ничем не могу уже помочь ему, я... остановилась и задумалась. Это он хотел, всегда хотел, чтобы я остановилась и задумалась. Больше ничего не могу. Должна же быть справедливость на этом свете! Единственное, всемогущее «осторожно-осторожно», я ведь не выдумала тебя? И ты спасешь, ты не предашь? Ты понимаешь? Я скажу тебе еще раз, а может быть, я и не говорила тебе этого до сих пор? Он знал, для чего жил. О, как твердо он это знал! Тверже не бывает. Прими это во внимание, и прошу тебя еще раз, и всегда, и каждую секунду...»

...И бежала от него, и бежала к нему... Во сне, в воображении и наяву. С той самой первой ссоры в большой комнате, как это ни странно. Хотя ушла на кухню, — и она это точно помнит сейчас, — ненавистно вспоминая даже кончики его черных, обыкновенных из обыкновенных ботинок.

Осторожно подставляла под ледяную струю голубые

блюдца, залитые кофе, одно за другим и клала их друг на дружку посредине стола доньшками вверх. И вдруг услышала:

— Ты что, любила ту старшую медсестру? Ту, что взятки брала?

И обрадовалась. Да, да! Обрадовалась! Как же, появилась возможность свести счеты и... доказать. Вот-вот, и это главное — доказать!

— Что вы все выдумываете? Что вы все ерунду городите? — спросила она в свою очередь и не обернувшись, между прочим.

— Тогда ты, наверное, любила больных, которые, возможно, ей последнее несли?

— Я их не знала. А вы грубиян. Я их совершенно не знала. А вы мне отвратительны. Я просто за справедливость! Вообще! Теперь-то поняли?

— Ах, «просто» и «вообще»... Прямо конец света! Да, я грубо говорил с тобой, но иначе ты бы меня не слушала. Ты чрезвычайно нравилась сама себе. Ну, а в искусстве, что тебе нравится в искусстве?

— Это что, вопрос от нечего делать? — Она домыла последнее блюдо, выключила воду и наконец-то повернулась к нему, сжимая в кулаки онемевшие от холода пальцы.

— Напротив. Живой человеческий интерес. — Его глаза смотрели на нее совсем иначе, чем там, в большой комнате. Они смотрели на нее так, что она подумала: «А ведь не брови, не волосы, а глаза самое красивое у него. И зачем такому злему такие глаза!»

— Ну, и что же тебе нравится в искусстве? — повторил он свой вопрос, и голос его прозвучал устало и как-то очень свойски.

— «Давид» Микеланджело, — поддалась она неожиданно для себя.

— За что ему такая честь?

— Это очень красиво.

— Ага. Ну, а ты помнишь ли, что Давид — сын пастуха, восставший против угнетателя Голиафа?

И она решила, что подходящий момент наступил.

— Если уж на «ты» пошло, я тебе на «ты» и скажу, — поспешно заявила она. — Ты ведь ничего не знаешь обо мне, а судишь! Ты не знаешь, что, кроме того... вон того... я еще на Иле летала, по маршруту Москва — Симферополь. Пять рейсов Стюардессой. Обо мне в книге жалоб одни благодарности.

Он стоял рядом, смотрел на нее, и глаза его оставались красивыми, и она продолжала уже не так быстро:

— Томка, подруга, попросила меня на комсомольском собрании выступить, осудить от имени иловцев тех, что на Ту работают. Они, с Ту, когда узнали, что их время от времени на Ил переводить будут, а нас на их рейсы, чуть скандал не подняли. Не понравилось, что зарплата уменьшится. Зато у нас увеличится. И всего-то на чуть! Чего скандалить? Я выступила и сказала. А на меня как накинутся! Эти, с Ту! И помолчать бы мне, как новенькой, и как не стыдно на отдельных, нетипичных случаях внимание заострять! И никто из иловцев ни слова! А Томка обещала — все поддержат! Может быть, конечно, иловцы и собирались говорить, но я не дождалась. Так обидно все показалось! Ну, и в отдел кадров за документами... А ты говоришь...

— Ты хочешь, — сказал он, — чтобы я оправдывал тебя. Ты оправдываешь — и чтоб еще я? Зачем?

— Не хочу вовсе! — сказала она, не глядя на него. — Хочу просто тишины и спокойствия. — Она посмотрела в сторону темного окна. — И вот здесь вижу — тишина и спокойствие.

— Опять неправда, — грустно сказал он, и она почему-то не стала возражать ему. — Ты просто хочешь, чтобы была тишина. Нет тишины. Прислушайся... Ни там, ни тут. Ребенок плачет. Слышишь?

— Нет, не слышу, тихо и ночь.

— Плачет, — упрямо повторил он. — И люди шепчутся в своих постелях, что делать завтра, послезавтра, потом... Как жить? Что будет? За кого? С кем? Куда? Корчится живое мясо, сожженное напалмом. Думаешь, далеко? От Сахалина многое близко. И мне страшно, мне очень страшно, Варюха...

— Ты собрал в кучу все ужасы и трусишь. Вот занятие! — шепотом отозвалась она.

— Милый, индифферентно журчащий голосок, — сказал он и замолчал. Потом сказал еще: — Сколько же таких очаровательных дурах штампуются у нас ежедневно! До чего же ты беззащитна, до того беззащитна, что даже не представляешь себе, как страшно, как опасно и, значит, как ответственно жить на земле.

— Я все понимаю правильно! — сказала она. — И я боролась. Ведь я боролась, да? Я же рассказала тебе! И хватит! Не хочу!

— Чушь. — Он покачал головой, вздохнул. — Такие,

как ты, наивные, честные и слабые, бороться не способны. Вы способны только декларировать высокое. Вас и учили-то лишь декларировать, декларировать... А маленькое препятствие — и все. В лучшем случае вы «болеете за»... Ох, и развелось же в наш век болельщиков! Слишком хорошо они о себе думают, голубчики, не по времени хорошо...

Он и она уже сидели по обе стороны кухонного стола, и она спрашивала его, изо всех сил стараясь быть язвительной:

— Учителя разыгрываешь?

— Большая беда в том, куколка, — отвечал он, покусывая палец, — что учителей нет. Истинных. Просветителей. Физики есть, лирики есть, а учителей — раз-два, и обчелся. Хотя наше время о как нуждается в учителях, в воспитателях умов и душ!

— Ох-ох, как возвышенно и категорично! — сказала она. — Только почему я должна верить именно тебе? Кто ты такой, чтоб...

Он протянул ей руку через стол, через голубые мокрые блюда, уложенные пирамидкой.

— В самом деле, пора познакомиться. Но предупреждаю, фамилия у меня смешная — Гавриков.

И он крепко сжал своей рукой ее руку, крепко, но не больно, и рука у него была теплая и сухая, и Варя сказала вдруг:

— Странно... я ни разу никому не рассказывала о себе столько, сколько тебе... сейчас. А ты ведь все равно грубый... и-и-и... мне кажется, не очень счастливый.

— Может быть, — ответил он, продолжая глядеть на нее красивыми глазами и все еще не выпуская из своей руки ее заледеневшие пальцы, — очень может быть... Думаешь, ты холодная и рассудочная? Ты маленькая — вот и все, и тебе надо заново учиться жить. В тебе есть и кое-что, кроме чепухи. Ты сможешь. Ты не такая, какой хочешь казаться...

Вот что он сказал ей тогда, темной-темной ночью, такой же темной, как и эта. В кухне, не выпуская ее руки. Он правду сказал? Или как? Правда... Неправда... В ту ночь она еще могла, имела право задать себе этот вопрос, в ту ночь...

В ту ночь она должна была ответить ему. Она почувствовала это и то, что он зависит от нее, он, который совсем недавно был так вызывающе самонадеян и недоступен ей. И она улыбнулась вдруг, глядя на него весело, доверчиво и чуть-чуть свысока.

— Вот ведь как бывает...— начала было тихим, сближающим голосом, но тут вдалеке, в передней, длинной напористой трелью залился звонок.

«Что это? Кто это? И вообще — куда я тороплюсь? — спросила себя так или примерно так. — И почему он смотрит на меня и пристально, и уверенно? Не слишком ли уверенно? Да, да, слишком уверенно, как будто уже все решено и у меня нет выбора! Ах, какой он, однако, самоуверенный! Нет, конечно, он милый, милый, но такой спорщик, и резкий, и люди, почти все, против него, — сказала она себе. — С ним вообще можно пропасть, — согласилась она сама с собой. — Надо подумать, — посоветовала она себе. — Надо подождать. И я подожду», — решила она, прислушиваясь к голосам в передней, опустила глаза и осторожно, а вернее сказать, а точнее сказать — замедленным, лживым жестом, но решительно, вытянула свою руку из его теплой, доверчивой руки.

Он встал и стоял долго, видимо все-таки надеясь, что она скажет ему что-то, кроме того, уже сказанного ею. Не дождался.

— Ты, — сказал сам, — ты, — повторил вызывающе, бесповоротно, — очень, очень славный звереныш.

И пошел.

— Вы слишком хорошо обо мне думаете! — крикнула вслед, уверенная, однако, что он не примет ее слова всерьез.

...Правда... Неправда... Как бы там ни было, она честно предупредила его. Но он все равно видел ее такой, какой хотел видеть. С того самого вечера, и изо дня в день, и почти три года. Наивная девочка, которую надо оберегать, спасать, выручать... Как-то ему удавалось это? И почему именно ему, а не Ване? Сколько раз ей бывало обидно, до внезапной тоски в сердце, оттого, что вот он, этот ужасный Ник-Ник, — может, а Ваня — нет и нет. Сколько раз она готова была разрыдаться при мысли, что, может быть, он один, этот ужасный выдумщик Ник-Ник, один на всем белом свете, способен всегда видеть в ней славную семнадцатилетнюю девочку и больше никто, никогда...

«Господи! — позвала она и, как впервые, увидала перед собой книжные полки, тускло отражающие дальний, ночной свет, и дверь — приоткрытую в темноту на случай телефонного звонка. — За что же ему так жестоко? За что?!»

— ...очень славный звереныш,— сказал он и ушел, и уже вдали от нее, где-то в передней, зазвучал его насмешливый, вызывающий голос:

— Ванёк? Да неужли? Вот сюрприз! Радости-то сколько!

— Не стану оправдываться, Николай,— смиренно отозвался густой, мягкий баритон.— Но — так вышло. То есть не вышло. Я привез цветы. Я любил твоего отца, о чем тут еще толковать...

«Он! — чиркнуло в ее сознании.— Геолог! Дождалась!» Ее подняло со стула, потянуло в коридор. Выглянула. Что-то очень большое, прочное, мужское... Такая широкая спина возвышалась перед ней, что никакой возможности увидеть коридорную перспективу! И только сбоку, над бледным пятном с мерцающими в полутьме глазами,— худое лицо Ник-Ника.

— Хочу потолковать, хочу понять,— глухо твердит он.— Хочу знать: почему не успел? Цветы... Цветочки... Почему не успел?

Спина не шелохнулась. Спина как стена. Дождевыми каплями по ней упрямые, бесцеремонные слова Ник-Ника. «Опять лезет в драку,— думает Варя.— Вот ведь характер! И чего к человеку пристал? Человек по-хорошему, цветы принес... Неужели он не видит, какая это спина?»

— Объясню,— отвечает спина вязким, совестливым баритоном.— Стройматериалы добывал, цемент в частности. План добывал. Конец квартала. Рабочие не должны остаться без прогрессивки. Принцип материальной заинтересованности. Устраивает тебя такое объяснение?

— Меня? Сойдет. А тебя?

— Ты, Колька, даже в такой день... Постой-постой, кто это тебя подбил? Ну-у, блямба!

— Особенно в такой день, Иван Егорович. Особенно. Ладно, чего уж, топай, выпей и произнеси. Небось приготовил, что произнести, поднастроился? Валяй, Ванёк, самоутверждайся!

— Даже в такой день! — вздохнула спина.— Невозможный ты человек.

«Совсем-совсем невозможный! — тотчас душевно откликнулась Варя, притаившись за кухонной дверью.— Ваня... Совсем простое имя. Никогда не нравилось. Ваня... Но как он хорошо, прочно стоит и не поддается...»

— Ваня! — позвала Варя сейчас громким будничным голосом, в котором не было ни смущения, ни задора, а какая-то противоестественная, настырная требовательность. — Ваня! Спишь, что ли?

— А? Что? Телефон? — Варя слышала, как он вскочил с кресла.

— Лежи, лежи, — остановила нетерпеливо. — Телефон тебя не позовет, — сказала насмешливо, но сейчас же поправилась: — Нас телефон не позовет. Это я тебя. Хочу узнать, почему ты не приехал хоронить его отца, почему опоздал.

— Что-что? Ну вот еще! — страдальчески протянул он, вновь устраиваясь в кресле. — Проклятая ночь!

— И все-таки — почему ты опоздал?

— Послушай, Варенька, а не дать ли тебе снотворное? Себя мучаешь, меня мучаешь...

— Тебе трудно ответить?

— Это почему же? Я же уже отвечал тебе, объяснял еще тогда. Неужели не поняла?

— Выходит... Но я очень хочу понять, и ты объясни мне, пожалуйста, так, чтобы я поняла и больше никогда не спрашивала.

— Ну что мне с тобой делать сегодня! Тебе так уж нужен мой ответ? Хорошо, если ты забыла...

— В том-то и дело, что ничего не забыла, в том-то и дело, что, оказывается, все помню. Я даже то помню, что не могу помнить... когда с твоим отцом... все это... несчастье, несправедливость... и как отец Николая взял твою мать и тебя в свой дом. Вот я и хочу понять: почему ты опоздал? Будь убедительным. Прошу! А то, что ты выжимал план и потому не приехал... Понимаешь? Сегодня для меня это неубедительно.

— Странно, — сказал он. — Станные вещи мне в тебе открываются. Как же так, ты, умница, газетчик, не понимаешь абсолютно ясного вопроса. Я же, пойми, не о себе заботился. О людях, об их интересах!

— Без тебя в такой момент некому было подумать об этом?

— Да ты в самом деле не понимаешь! — досадливо воскликнул он. — Да ведь наш участок еще ни разу не выполнял план, чтоб тютелька в тютельку! Наш участок регулярно перекрывал план, наш участок показательный не только на весь район, но и в области. Да ты же в курсе! А если бы я решился и передоверил все это хозяйство, значит, поставил бы на карту не только свою честь, не только! Поняла, наконец?

— Кажется... Спасибо. Кажется, начинаю понимать кое-что...

— Ну вот,— сказал он с облегчением.— А теперь выпьем, что ли? Чего тебе — чаю, кофе? Я мигом.

Он прошел мимо нее большими шагами, а она вдруг поймала себя на том, что наблюдает за ним каким-то косым, посторонним взглядом. Он сел у нее в ногах и редкими, вкусными глотками опять потягивал кофе. Сквозь белый нейлон сорочки просвечивали черные волосы на его груди. Ей всегда казалось это красивым. «Почему? — спросила себя неожиданно.— А потому, а потому, милая! — зло прикрикнула на себя.— Что было, то было. Где он, там и ты, где ты, там и он — только так, если почестному. Открещиваться поздно!» — закончила свою мысль с какой-то ожесточенной и печальной поспешностью и выпила кофе залпом.

Муж протянул руку за опустевшей чашкой, загорелую руку с длинными, сильными пальцами, руку, которая умела так надежно поддерживать ее под локоть, так нежно, неумоимо ласкать ее волосы, грудь... Она перевела взгляд на свою чашку, голубую хрупкую чашку из японского фарфора, и сказала упрямо:

— Не надо, потом, я сама.

Он ушел в кухню, а она, как заворуженная, всматривалась в матовое свечение голубого фарфора и опять видела перед собой белую скатерть в красных цветах, а на ней вот такие голубые чашки, двумя рядами уходящие к дальнему концу длинного стола. Голубые чашки на белой с красным скатерти... Это было красиво. Но самым красивым в большой многолюдной комнате был, несомненно, он, плечистый, чернобородый пришелец из глубины холодной осенней ночи. Его огромные, ясные, бледно-голубые глаза скорбно смотрели на портрет человека в морской форме.

— Дядя Коля,— негромким, но чрезвычайно проникновенным голосом позвал он, обращаясь к портрету и как будто вовсе не замечая никого вокруг.— Дядя Коля...— Встал, внушительно возвысившись над голубыми чашками, дымившими паром от кофе в сторону темного, отворенного окна, и все смущенно притихли — каждый на своем месте и в той позе, в какой застал его настойчивый и печальный зов.

Некоторое время он постоял молча, не шелохнувшись, опустив голову. И Варя видела, как подрагивают его темные ресницы и длинные тени от них. И еще видела

Варя, как туго распирают его неподвижные плечи толстую вязку модного свитера и как сияет сквозь черные завитки его бороды белоснежный воротничок сорочки.

— Это был такой человек,— наконец произнес он и медленно поднял голову.— Не стану бояться громких слов. Это был такой человек... Удивительно сочетались в нем самые лучшие человеческие качества — воля, настойчивость, талант и необыкновенная скромность. Необыкновенная, если учесть его положение. Когда дядя Коля шел по улице со своей простенькой тросточкой, в серой дешевой кепочке, в плаще не дороже двадцати рублей, трудно было поверить, что это известный человек, заслуженный моряк, депутат...

Он не успел договорить. В прихожей позвонили. Тетя Лиза фыркнула и пошла открывать, бросив на ходу:

— До чего вовремя! И кому взбрело!

Было слышно, как, удаляясь, стучат ее каблуки.

— Ты?! Неужели?! Как же?! Не верю глазам своим! — испуганно закричала она вдруг, но внезапный сквозняк, должно быть, от двери, открытой на лестничную площадку, наглухо прихлопнул дверь комнаты, где находились все, и оборвал ее вопль.

Быстрее всех очнулся от недоумения Ваня и первым поспешил в прихожую.

Там, в прихожей, стоял человек, высокий, седой, в черном костюме. Дверь за его спиной продолжала оставаться открытой, и ветер, дувший с лестничной клетки, слегка топорщил его седые волосы, зачесанные назад, к затылку. Сверху вниз и очень спокойно и чуть вприщур он смотрел на суetyающую подле него женщину.

— Ты, Федя? Ты, Лошкарев? Я не ошиблась? Нет? — Тетя Лиза взмахивала полными оголенными руками и продолжала бессмысленно бегать вокруг нежданного гостя.

— Вы? — крикнула ему Варя из-за чужих спин, узнав в нем своего пароходного спасителя.

Но Лошкарев не услышал ее голоса. Он вдруг рванулся мимо нее напролом и только тогда, когда очутился лицом к лицу с худой маленькой женщиной в сером джерси, остановился и стих.

— Анна! — позвал он глухим, настойчивым голосом и положил ей на плечи свои большие руки.

— Федя! — робко откликнулась она, шевельнув онемевшими губами, и машинально поднесла к ним потухшую сигарету, которая тут же выпала из ее пальцев. На худом, бескровном лице, устремленном вверх, дрожало беззащитное, доверчивое, плачущее выражение.

— Наконец,— сказал Лошкарев, крепко и еще крепче стискивая руками слабые плечи женщины.— Хотел дотерпеть — и завтра, честь по чести, в приемное время... Нашел газету. Кто-то оставил на подоконнике в номере. Прочел, узнал... Приехал сегодня в полдень, пароходом, старым путем...

— Федя, Федя! — позвала она поспешно и так, как зовут, когда хотят вернуть издалека. И вдруг ухватилась за лацкан его черного пиджака, потянула к себе.— Идем, Федя, идем, я тебе кофе, ты хочешь кофе?

Он кивнул ей и еще раз кивнул и послушно пошел за маленькой женщиной, которая вела его, не выпуская из пальцев лацкан, и все остальные пошли следом за ними молчаливой, присмирившей толпой.

В большой комнате тетя Анна усадила гостя за длинный стол, а сама села напротив, забыв о кофе, и так они сидели, серьезно глядя друг другу в глаза, пока кто-то не заскрежетал стулом по полу. Лошкарев вздрогнул, оглянулся и вдруг вскочил, поднял руки.

— Братцы мои! Наши! Родимые! Да ведь это ты, Сенька? Ты, Шурик? И Кешка, гляди ты на него! Оленька! Здравствуй, Оленька! Невероятно!

— Федя, Федечка! — прозвучал фальшиво-беззаботный голос тети Лизы.— Ну, мы-то — это понятно, а вот ты, ты откуда взялся, где пропадал? Все это так странно!

Лошкарев медленно, очень медленно повернул высокую седую голову, прищурился, поглядел тете Лизе в подведенные глаза и отдельно произнес:

— Я был в долгой командировке, Елизавета. Сейчас — на пенсии. Персональный пенсионер, если тебя интересуют подробности. Предъявить документы?

— Ну что ты, что ты! — смущенно и все-таки с облегчением ответила постаревшая красавица и с поддельным ужасом замахала оголенными до подмышек руками.

— Нет, нет, непременно документы! — вдруг заявил Николай, о котором все забыли, и Варя в том числе.— Как же без документов? Городок наш маленький, мало ли кто что подумает... А? Мол, собрались ответственные работники, а среди нас есть такие ответственные... вот Викентий Тихоныч, например,— а бдить забыли. Как же это получается, товарищи? А вдруг...

— Что вы! Неправда! — не сдержалась Варя.— Это очень-очень-очень хороший человек! Я знаю!

— Не-ет,— зло отрезал Николай,— бдительность тети Лизы нуждается в утешении! Ваши документики! Тетя Ли-

за, да куда же вы? Смутились как будто? Не идет вам смущение. Что-что, а смущение...

Лошкарев внимательно слушал Николая и усмехался концом сомкнутых сухих губ, а когда Николай кончил, поднял глаза на Варю и спросил ее веселым голосом:

— Здесь? Я искал... Думал — куда пропала?

— Что, что такое? — поторопился спросить полковник Сеня, загораживая от холодных глаз гостя растерянную фигуру тети Лизы.

— Да так, одна историйка, — ответил ему Лошкарев, круто повернулся и впервые взглянул на Николая, который в этот момент стоял у стены, привалившись к ней сутулой спиной, скрестив длинные, худые руки и ноги. — Чей? — спросил и сам себе ответил: — Николин. Его глазищи.

— Ты такой же, Федя, — грустно произнесла тетя Лиза. — Но ты попробуй меня понять. С тех пор, как с мужем произошла беда, — голос ее ожесточился и окреп, — я разучилась доверять, да, с тех самых пор. Где же тут моя вина? И что же тут непонятного? Мне трудно. И тогда, и сейчас.

— Ну да, ну да, — как будто согласился Лошкарев и неожиданно резко сказал: — Только кому же это легко жить, Елизавета? Кому? Но это еще не оправдание, — добавил он тише. — В том-то и дело, что трудности — это одно, а оправдание — совсем другое. — Он нашел глазами Анну. — Хочу выпить. За Николу, за наш тридцать четвертый, за трудное время, за трудную жизнь.

— За ваше трудное время? — вкрадчивым, прощупывающим голосом поинтересовался Николай, особо выделив слово «ваше». — За ваше исключительное время, не так ли?

— Исключительное? — вразяжку, задумываясь на миг, переспросил Лошкарев. — Не так. Вообще за время нашей жизни, молодой человек, если быть точным. За время, которое для каждого, кто мыслит, не бывает легким, — закончил он властно.

— В таком разе как не выпить! — Николай сорвался с места и скоро вернулся из кухни, прижав к груди темные тяжелые бутылки с вином. Торопясь, ввернул в одну из них штопор, потянул на себя, покраснел от натуги, но только оторвал кусок пробки.

Ваня молча взял от него бутылку и штопор и короткими, точными движениями вырвал пробки из горлышек, и все, в том числе и Николай, — надо отдать ему должное, — с удовольствием наблюдали за такой ловкой работой.

— Мой сын,— сказала тетя Лиза Лошкареву, счастливыми глазами указывая на Ваню.

— Силен, бродяга! — ответил Лошкарев и приметливым взглядом окинул молодого человека.

— Ребята! — растроганно позвала тетя Лиза. — Ваня еще речь не кончил. Пусть кончит.

— Да, конечно, непременно, — согласились все, успокаиваясь на своих местах.

Ваня поднялся с рюмкой на весу, повел вокруг ясным, задумчивым взглядом, тряхнул головой как бы для того, чтобы придать себе решимости, сказал:

— Я прочту стихи. Если не возражаете. Они сложились во мне, пока я ехал сюда.

— О-о! — промолвил Лошкарев. — У тебя, Елизавета, сын и поэт к тому же?

— Да вот...

Ваня читал стихи, свои собственные, посвященные неожиданно умершему человеку, которого он хорошо знал, ценил, уважал, и ни разу, пока он читал их, рюмка, полная темного вина, не дрогнула в его пальцах. «Какой сильный! Как умеет владеть собой!» — восторженно и завистливо подумала тогда Варя Родионова. И зачем-то оглянулась на Николая. Николай сидел на подоконнике, опустив узкие плечи и закрыв глаза. На его бледном, неподвижном лице чернел кровоподтек. «Устал и сдался, — определила Варя. — Да и куда ему против...» И вдруг на мгновение, на одно только мгновение, ей захотелось подойти к нему, такому невероятно сумасшедшему и неожиданно присмиревшему, и положить руку на его растрепанные светлые волосы. Почему? Может, потому, что он и она были из одного лагеря, из тех, кому не везет, кто не способен, читая стихи, твердо удерживать на весу полную рюмку, и она почувствовала это? Но она тотчас почувствовала и другое — неудержимое желание оторваться от таких обреченных, крикливых к тем, которые и стоят, и сидят, и смотрят, и слушают спокойно, уверенно, внушительно, так как знают, убедились, что разум, а следовательно и сила, — на их стороне.

Ваня читал стихи, обыкновенные, в которых все как будто на месте и не вызывает никаких сомнений. И все сидели тихо и тихо слушали. И только Лошкарев вдруг...

«Что же это были за стихи?» — с неожиданным интересом подумала Варя, Варя Белокурова. Она попыталась припомнить хоть несколько строк. Не сразу, но ей это удалось.

О таких вот людях непременно
Нам, поэтам, надо песни петь.

А дальше — сравнение: «Жизнь прожил, подобную сиянью...» Кажется, в этом месте Николай громко сморкнулся в платок, и всем почудилось, будто он рыдает. Ваня умолк и несколько мгновений зорко наблюдал за ним. А Ник-Ник делал вид, что ничего не замечает, сунул платок в карман, сложил руки крестом на груди и уставился на Ваню самым невинным, простодушно-прилежным взором туповатого ученика.

Ваня отвел взгляд и повторил со спокойной настойчивостью терпеливого педагога: «Жизнь прожил, подобную сиянью...»

Конец стихотворения он прочел особенно громко, внятно, высоко подняв голову:

Мы над вами плакать не согласны,
Вам, герою, плач наш не к лицу.

И вот тут вдруг Лошкарев спросил:

— Смею поинтересоваться, почему же не к лицу?

— Образное выражение, — с вежливой готовностью ответил Ваня.

Лошкарев прищурился и продолжал глядеть на него так, словно ждал чего-то еще.

— Образное поэтическое выражение, — повторил Ваня. — Прозой объяснить невозможно. Как и всякое поэтическое выражение, оно потеряет от прозаического истолкования.

— Ну-ну-ну, — медленно, соображая что-то, произнес Лошкарев и перевел взгляд с Ваниного красивого, непроницаемого лица на рюмку, так ни разу и не поколебавшуюся в его руке. — Значит, прозой невозможно? Буду знать.

Ваня скромно, но достойно кивнул.

Лошкарев встал, несдержанным движением взметнул свою рюмку и грозно произнес:

— За Николу. За нашего Николу. Не умел просто и легко. Мыслил и страдал, ошибался, жил. Искренне, от души. За тебя, Анна. За всех таких! Непросто это, до чего не просто быть искренним, истинным, не по форме жить, а по существу. Но иначе — на кой?

После того как все выпили, загудел общий разговор. О чем? Не вспомнить. Но вот что помнится точно, как ей, Варе, стало вдруг обидно за Ваню, который скромно

сидел на своем месте и донышком пустой рюмки выводил на скатерти невидимые круги и кружочки. Ведь вот же какая несправедливость! (Ведь вот как она считала тогда!) Он прочел этим людям хорошие стихи, а они уже забыли о нем и о его стихах! Неужели они в самом деле не видят, не чувствуют, что он — самый яркий, особенный, лучший из них?! И какой удачный момент для нее, чтобы чуть открыться и обратить внимание... А чего ей робеть? Она же не собирается навязываться. Она просто скажет...

— Послушайте,— сказала она, но он не услышал ее зова в гудении других голосов, и она должна была повторить.— Послушайте!

Он поднял на нее огромные спокойные глаза.

— У вас хорошие стихи,— сказала она заносчиво и упрямо, спасая свою пострадавшую гордость.— И все.

— Спасибо,— кивнул он ей и вдруг улыбнулся. В густой черной его бороде сверкнули белые крепкие зубы, глаза сморгнули и потеплели, и он впервые за весь вечер внимательно посмотрел ей в лицо.

— Что-что, а на это у нас Ваня мастак! — сообщил очутившийся рядом Николай.— Умеет, черт его возьми!

— А вы завидуете? — насмешливо спросила Варя, вновь счастливая оттого, что выпал случай еще раз показать красивому, серьезному человеку, как она самоотверженна в своей симпатии к нему.

— Я? Ване? — Николай хмыкнул и тяжело вздохнул.— Прямо конец света, какая пронизательность! Но в общем, ты права, Варюха, я завистник, да еще какой! — сказал он вдруг с тихим, страстным отчаянием.— К примеру, я до смерти завидую и не перестану завидовать тем, кто воевал.

— Как это? — быстро спросил Лошкарев, сидевший вдали, на том конце длинного стола. Непонятно, каким образом он разобрал слова Николая сквозь многоголосый гул.

— А вот так! — ответил ему Ник-Ник.— Всем, кто воевал, кто знал, видел, нутром чувствовал: вот — враг, а вот — свои. «Бей фрицев!» «Наше дело правое!» И ты бьешь, бьешь проклятое ничтожество, и никто тебя за это из своих в спину не саданет: мол, уймись, зарвался, — а напротив...

Ударом ладони он отбросил со лба потемневшие от пота волосы.

— А сейчас все, абсолютно все вокруг тебя за Советскую власть. И жук, и жаба. А который жук, который жаба? Негодяй нынче особый пошел, благоденственный, чин-

ный, такой, что и негодяем-то его назвать неловко как-то. Удивительно...

— Ну мыслимо ли это! Опять! — воскликнула тетя Лиза, взглядом ища сочувствия у окружающих. — Ну к чему, Коленька, эти бессмысленные, заумные разговоры? Ну...

— Погоди, Елизавета, погоди, — сказал Лошкарев. — Так что же вам удивительно? — сурово спросил у Николая.

«Пожалуй, мать и Николай нашли бы, о чем поговорить», — решила тогда Варя. Мать никак не хотела расставаться с военными словечками, с теми, которые говорила раненым, когда вытаскивала их с поля боя. И со многими другими. Они всегда были при ней и выдавали ее с головой. Она редко вспоминала о том, как там было и с нею и с другими, но когда произносила вдруг свои военные словечки, сомневаться не приходилось: война была для нее незабвенной порой жизни. Есть ли на свете еще такие сумасшедшие?! И вот пожалуйста...

— Удивительно то, — заявил Николай, нисколько не смущаясь острого, крутого взгляда Лошкарева, — что сегодняшний подлячишко ничего не имеет против Советской власти. И голосует, голосует за все про все, первым, не колеблясь, не сомневаясь. Как же так? А так. От Советской власти ему одна только польза, одно удовлетворение его постоянно растущих потребностей. Вот и разберись: энтузиаст он или приспособленец? Передовой труженик или передовой прохвост?

— Погоди! — приказал Лошкарев и нахмурился, исподлобья изучая длинную, худую фигуру Николая. — Но ведь и такой негодяй не лоботряс, однако? Так или иначе — работает, создает материальные ценности! Не для себя только, но и для общества!

— А что ему делать остается? Что? — Николай впился в Лошкарева блестящими от злости глазами. — Он ведь любит вкусно жрать и тряпье высокосортное, в гарнитурах разбирается. Ради этого и работает, планы выполняет-перевыполняет. Но только не ради идеи. На идею ему тьфу! Хотя при случае треплется, что на идею, мол. Впрочем... впрочем, его продукция помогает общей идее.

— Подумаешь, какие тонкости! — язвительно отозвался Лошкарев, исподтишка, зорко наблюдая за Николаем.

— Конец с-света! — сквозь стиснутые зубы просвистел Николай и, нагнув голову, сжав кулаки, двинулся к Лошкареву, как будто собрался драться с ним.

Лошкарев не пошевелился. Только в жестком его

взгляде появилось удовлетворенное, азартное выражение. Николай остановился от него в полушаге.

— Да как же без этих тонкостей?! Вы что, в самом деле не понимаете? Вы?! Да ведь в любой момент, когда интерес передового подонка, — а их поразвелось! — когда интерес такого передовика войдет в противоречие с общим, он перестанет и работать, и жить так, как считал до этого нужным. Надо предвидеть будущее. Чтобы обеспечить это будущее. Как же этого-то не понимать!

— Ты это все всерьез, братец? — грубо — так показалось Варе — спросил Лошкарев. — Ты это точно всерьез?

— Сегодня не тот день, чтоб пошучивать, — сказал Николай, повернулся и вышел из комнаты.

— Наш невыносимый, невозможный ребенок! — воскликнула тетя Лиза и воздела голые руки кверху.

— Ты за него извиняешься? За него-о? — с холодным изумлением протянул Лошкарев и вскочил со стула. — За него, Елизавета? — Зажмурился и вдруг рассмеялся долгим, счастливым смехом. Подошел к Анне, которая сидела в углу дивана и с напряжением в усталых, воспаленных глазах прислушивалась к разговору Лошкарева и сына. — Счастливая! — тихо сказал ей Лошкарев, склонился, поцеловал ее худую руку. — Как бы то ни было, ты счастливая, Анна.

— Что ты, Федя, какое счастье? Я все время боюсь за него! — сказала женщина, подняв на Лошкарева серьезный, сосредоточенный взгляд. — Он сумасшедший, вы оба сумасшедшие...

— Я и говорю, что твой Коля, что Федя... — начала было тетя Лиза рассудительным, обличающим голосом.

— Бедная Елизавета! — горько сказал Лошкарев. — Спой ты нам лучше. Ты же как запевала! А мы подхватим. Нашу любимую: «Сбейте оковы, дайте мне волю...» Иль забыла?

— Настоящий голос теперь не у меня, а у сына, — сказала Лиза, не глядя на Лошкарева и, видимо, соображая, обижаться ей на него или не стоит.

Ваня никак не отреагировал на слова матери. Он по-прежнему сидел у стола, вертел в пальцах пустую рюмку и, ни во что не вмешиваясь, прислушивался к разговорам.

«Какой же ты, какой же ты-ы-ы!» — подумала Варя, с тайным, мучительным, неожиданным наслаждением вглядываясь в Ванину фигуру.

— Да, голос у Вани! И что за голос! — подтвердил Николай, возникая в дверях. — Ваня часто запекает. —

Он прошел мимо Вари, обдав ее запахом выстуженной на улице одежды. — Вообще от общественных организаций жалоб на Ваню отродясь не поступало. — Николай остановился напротив Лошкарева и лихо, дерзко взглянул ему в самые глаза.

— Ох ты, ох ты, чертов сын! — весело откликнулся Лошкарев.

И выходило, что они вовсе не поссорились, как показалось Вале, а, наоборот, между ними завязались какие-то особые, загадочные, понятные им одним отношения.

— Николай, Коленька, — негромко, хладнокровно позвал Ваня, продолжая играть пустой рюмкой, — не пытайся, не трудись понапрасну. Все равно из себя меня не выведешь. Ты? Нет. Что ж поделаешь, бодливой корове бог рог не дает. Богу виднее.

Варя? Она была довольна. Варя Родионова была очень-очень довольна. Вот ведь сидел человек тихо, скромно, никому не мешал, а задело его, ответил — и в самую точку, и как спокойно, как достойно опять же! Ну чего, чего он задирается, этот худой, издерганный, несчастный Гавриков! На свою голову только!

Но Варя Белокурова, неподвижно, с сухим, строгим лицом лежавшая на постели, вспомнила вдруг и другое, чему прежде не придавала значения. Как встал Лошкарев и с высоты своего роста окинул могучую Ванину фигуру растревоженным, сумрачным взглядом.

— Ты прав, ни силы у меня, ни голоса, — раздельно сказал Николай, делая в сторону Лошкарева быстрый протестующий жест. — Обстоятельства таковы, что сила порой на твоей стороне и таких, как ты. Да-а, к твоему голосу прислушиваются иные охотнее, чем к моему. Абсурд! Преходяще. Пройдет. Ты сам торопишь этот день. Не желаешь, а торопишь.

— Есть, — сказал Лошкарев в наступившей тишине, — есть! — как о пуле, попавшей в цель.

— Что же это мы? Давайте споем, давайте же! — торпливо потребовала зябнущая женщина, встревоженно мигая маленькими умными глазками. — Ваня, запевай, запевай, пожалуйста, любимую Колину, хватит говорить, запевай скорее!

— Давай, Ваня, давай! Мы подхватим! — закричали со всех сторон.

Ваня кивнул, встал, оправил на бедрах свитер, вобрал

в грудь через рот и ноздри воздуху, и первые густые волны звуков, налитые суровой скорбью, расплылись тяжело и веско, как органнй гул.

— Силен, бродяга! — пробормотал Лошкарев, сел и, вслушиваясь, закрыл глаза. А Ваня, бегло глянув на него, еще шире развернул грудь, еще выше закинул голову и выдохнул из себя череду таких мощных, раскатистых звуков, что казалось, и воздуху, и всем предметам в комнате, и каждому сердцу передалась их напряженная, рыдающая дрожь.

«Как же можно тебя не полюбить? — спрашивала себя Варя сквозь дивные слезы умиления и восторга. — Ну, скажите, скажите мне, люди!» И с жаром, страстно, как признание, подхватила припев:

Сбейте оковы, дайте мне волю,
Я научу вас свободу лю-любить...

«Так начиналась ее любовь», — подумала Варя Белокурова о себе в третьем лице. «Не ее, а твоя, — тут же одернула себя она или кто-то второй, недоверчивый и всегда настороже. — Твоя, твоя любовь начиналась так».

Песня осталась недопетой, ее оборвали три длинных звонка у входной двери.

— Кто бы это еще? — вслух удивилась тетя Лиза и пошла открывать. — Вы?! Зачем? — услышался ее растерянный голос минуту спустя.

— Гавриков Николай Николаевич здесь находится в данный момент? — суровым юным тенором спросил тот, кто явился вдруг.

В большой комнате переглянулись. Соскользнула и упала со спинки стула дамская сумочка. Это Николай задел ее, шагнув быстро и угловато по направлению к выходу.

— Прости, — сказал он, останавливаясь на миг у ног матери и костеня бледным лицом. — Это за мной. — И длинными, косыми шагами ушел от нее в дверь.

Тетя Анна посмотрела ему вслед и, казалось, ничего не поняла. Но вдруг вскочила и побежала за ним, за сумасбродным своим сыном, вытянув перед собой руки, как бы готовые схватить, стиснуть и не выпустить. И все, очнувшись, бросились в прихожую, где стоял милиционер: шеренга блестящих пуговиц по синему сукну, кобура на боку — все как полагается. А Варя отметила про себя: со-

всем молодой, только-только из мальчиков. Пухлое, нежное лицо в веснушках, упрямый, обидчивый взгляд...

И придет день... Потом, через три года, сегодня ночью он скажет ей и ее Ване:

— Все верно. А человека уколошили.

Но тогда, в прихожей, он, судя по всему, впервые увидел высокую сутулую фигуру Николая и смутился, совсем как мальчик, и пробормотал, глядя на Николая снизу вверх:

— Приказано доставить в отделение. Вы шофера побили?

— Я,— ответил Николай осипшим голосом.

— С самосвала?

— Я.

— Черный такой, фамилия Рыжов?

— Плевать мне на его фамилию. Знаю — мразь!

— Тогда пройдемте,— успокоенно сказал мальчик-милиционер и сам открыл дверь и посторонился, пропуская Николая.— А то я вас по старому адресу ждал-ждал...

— Коля! — позвала тетя Анна.— Коленька!

Николай задержался руками за дверные косяки, обернулся и почему-то шепотом сказал:

— Все идет как полагается, мама. Бедная ты моя...

Лошкарев стоял сзади тети Анны и поддерживал ее за плечи. Николай заметил это, попытался улыбнуться Лошкареву, но губы не послушались его, сложились в кривую, нелепую усмешку. Внутренним усилием он вернул лицу выражение деланного спокойствия, заметил Варю и крикнул ей:

— Тишь да гладь, говоришь? Ах ты милая...

Оттолкнулся от косяка и ринулся вперед и вниз по ступенькам. За ним испуганно и тяжело затопал сапогами милиционер.

Похватав кто что с вешалки, все спустились на улицу. Там было стыло, безмолвно и серенько. Неживой осенний рассвет едва-едва просветлил низкое небо. Сквозь застывшие полосы холодного тумана тускло виделись неподвижные предметы — деревянные сарайчики на том конце двора, рядки молодых деревьев с тонкими побеленными стволами, детский грибок с зеленой шляпкой. Сразу же за узкой асфальтовой дорожкой, опоясавшей дом, бугрилась черствая, обындевевшая грязь с втоптаннами желтыми листьями в следы подошв.

Николай, не оглядываясь, стремительно шел мимо зеленого грибка, мимо деревьев, слабые кроны которых как

будто запутались в паутине тумана, и мальчик-милиционер вынужден был почти бежать за ним, придерживая рукой пустую кобур.

Неожиданно Николай остановился там, где крайние деревца странно завалились набок и где, если приглядеться, торчали из земли культы сломанных стволов и перемолотые ребра штакетника.

Первым успел подойти к Николаю Ваня. Он оглядел покалеченные деревья, заметил следы грузовиков, вмявшие в грязь щепу и ветви, и сказал голосом, не помнящим обид:

— Дела-а! Угораздило же! Вот дурень, вот сообразил...

— Сволочь! — перебил его Николай, изо всех сил наступая на след шины, как на гадину. — Рационализатор! Выискал дорогу покороче, стервец! Песок возить! Песок на стройку коммунизма! Я ж ему говорил, объяснял! Сколько же?

— Шоферюга негодяй, это ясно, — сказал Ваня. — Только бить его по физиономии... И — чтоб тебя в милицию вели... — Ваня поморщился. — Разве нельзя было как-то иначе, достойнее? Все-таки ты-то интеллигентный человек...

— Можно было! — тряхнул головой Ник-Ник. — Поцеловать шофера в зад. По-твоему, интеллигентнее? — Оторвал от мерзлой земли сломанную ветку и зашагал прочь.

Варя видела, как юный милиционер едва сдержал улыбку и деланно нахмурился, поворачивая следом за ним.

— Николай! погоди! — крикнул Ваня и шагнул. — Я с тобой! Я там знаю кое-кого!

Ник-Ник не отвечал, словно не слышал.

— Коля! Пусть Ваня! Пусть! — позвала просительно тетя Анна.

— Мать! — обернулся Ник-Ник. — Ну чего ты вдруг? Пошли, браток, шибче! — сказал милиционеру, и они очень скоро исчезли из глаз.

— Характерец... — вздохнул Ваня.

— Не одобряете? — Лошкарев искоса глянул на него.

— А что тут одобрять? Выдержки ни на грош. Я что? Вместе росли. Нагрубит, сморозит — не обращаю внимания, и точка. А вот другие... Другие ему не спускают. Если бы не такой его характер! С его умом! «Во имя истины, справедливости...» Звучит красиво. А по существу? Раз — и по физиономии, раз — и слова разные без разбору, не считаясь с чужим самолюбием. Сломает голову ни за что ни про что, если не остановится.

— Ну-ну,— сказал Лошкарев,— ну-ну... А где б найти лом, топор и прочий инструмент?

— Прекрасная идея! — догадался Ваня, согнул руки в локтях и несколько раз с силой отдернул назад, поправил рукава и отличной спортивной походкой направился к дощатым сарайчикам.

«До чего! Какой!» — думала Варя, глядя, как легко, красиво идет он по трудной, бугристой земле. И продолжала любоваться всеми действиями Вани, и все они — и когда он открывал дверь сарайчика, и когда выносил оттуда разные вещи — казались ей почти такими же значительными, осмысленно-изящными, как выступление гимнаста.

Ваня скрылся в темноте сарайчика и не показывался дольше обычного. И вдруг Варя испугалась. Ей представилось, что он остановился там в глубоком, гнетущем раздумье обо всем, что наговорил ему Николай, и что одна из его удручающих мыслей — о ней. В самом деле, она так долго ничего не говорила ему, так долго, что он мог решить, что она не одобряет каких-то его слов, что она вообще заодно с Николаем. «Ах, глупенький, ах, бедный... И Николай тоже... И его жаль. Но ведь Николай сам виноват! Побил шофера... Ах, да что я, вот еще!» — оборвала она свои рассуждения, чувствуя, что еще чуть — и запутается в них и что они уведут ее от главного и желанного. А главное, желанное сейчас — видеть Его, слышать Его и надеяться...

И Варя Родионова заспешила к сарайчику, заглянула внутрь и, успокаиваясь, услышала, как Ваня копошится в темноте, выискивая нужное.

— Давайте помогу! — громко сказала она.

— Помогайте,— отозвался он.— Несите то, что снаружи. Лом не надо, тяжело, я сам.

«Какой ты простой и хороший! — подумала Варя, подхватывая грабли, топор, молоток и жестянку с гвоздями, от которой резко и приятно пахло на нее запахом холодного металла.— Ты тоже держал это в своих руках... Неужели я нисколько не нравлюсь тебе?»

Для работы она выбрала маленькие грабли и принялась с их помощью выскребать из земли ломаные ветки, щепочки — сгребала в кучу.

Лошкарев скинул черный «дипломатический» пиджак на руки тети Анны, загнал за локти рукава белой сорочки и орудовал ломом рядом с Варей.

— А неплохо начинается наше знакомство с Сахалином! — сказал он ей, с треском выдирая из мерзлой земли свежий шербатый пенек.

— Неплохо, — согласилась Варя, неумело скребя граблями, и покраснела, решив вдруг, что старый, дошлый ^{жэн} Лошкарев угадал все ее тайные мысли.

Ваня заделывал пролом в штакетнике. Быстро очинил топором колышек, несколькими точными ударами всадил его на одну треть в землю и принялся прилаживать к нему концы поперечных досок. Мерные удары молотка по гвоздям все ближе, ближе подбирались к тому месту, где работала Варя...

— Ну вот, и вся недолга, — совсем рядом услышала она густой баритон. — Эх, Колька!

Украдкой, не поднимая высоко глаз, она покосилась на Ваню и увидела сильные, широко расставленные ноги в брюках с четкой складкой от колена к носку.

— Небось на медведя свободно ходите? — спросил Лошкарев. Он бросил тюкать ломом, движением согнутой в локте руки вытер с лица пот.

— Доводилось, — ответил Ваня. — Я вообще спорт признаю. Рыбалку, дичь пострелять. Места у нас богатые для того, кто умеет.

— От девушек, поди, такому спортсмену отбою нет? А? — Лошкарев шурился. Варе почему-то не нравилось, когда он шурился, как будто дым ел ему глаза. — Или жена есть?

Варя еще ниже склонила покрасневшее внезапно лицо и с особым усердием принялась скрести землю граблями.

— Свободен, — ответил Ваня и улыбнулся. — Не тороплюсь. Всему свой черед. Хочу наверняка.

Варя разом вдохнула глубоко в себя столько холодного воздуха, что раскашлялась до слез.

— Как это? — Лошкарев не сводил с Вани глаз.

— А так! — Ваня рассмеялся. — Сойтись, чтобы разойтись? Как сейчас модно? Не хочу. Глупейшая ситуация. Хочу с первой попытки, но чтоб на всю жизнь. И друг, и жена, и сестра. Надежный тыл, одним словом.

— Что ж, это так трудно?

— Но и нелегко. Вы, наверное, не представляете себе, сколько в последнее время эксцентричных девиц развелось, всякого рода неврастеничек! — заговорил весело. — Необыкновенное пишут, необычайное! Готовы тебя в микроскоп рассматривать, психоанализу подвергать. Нет, чтоб просто, по-человечески. Говорят, говорят, спрашивают,

не ожидая ответа, восклицают без особых причин, — в общем, ноют, как вот эта заноза. Кстати, мне булавка нужна, у вас не найдется случайно?

— У меня есть! — крикнула Варя и с необычайной нежностью вспомнила на миг о матери, которая к каждому ее платью приколола по булавке.

Ваня протянул ей руку, левую, с часами на браслете. Варя тотчас увидела длинную занозу, глубоко застрявшую в плотной мякоти его ладони.

— И вы терпели, терпели и терпели? — спросила она все тем же счастливым, возбужденным голосом.

— Не неженка вроде, — сказал он. — Тащите! Что ж?

Она дотронулась до его руки и как укололась о гладкую кожу.

— А вы, собственно, откуда будете? — спрашивал он, пока она осторожно ковырялась в ранке.

— Из Москвы.

— О-о! Интересно.

— Ничего интересного. Стандартная мамина дочка, примчалась сюда в поисках необычайного. — Она оторвалась взглядом от ранки, глянула в его близкое, улыбающееся, красивое лицо и неожиданно бойким, кокетливым голосом спросила: — Вы именно таких называете неврастеничками?

— А как же ваша мама? Ведь вы, должно быть, и единственная дочка к тому же? — шутливо вторил он ей.

— Несомненно! В лучших традициях литературного стандарта! И моя мама, конечно, только и делает, что недоумевает: как можно было бросить все?! — Она слышала этот свой новый, разбитной, неестественный голос, и он был странным, неприятен ей, но остановиться, сойти с ложного тона как-то уже не могла.

— Что же именно «все» бросили вы?

— Что? Ну, например, квартиру... То есть, — она видела у самых глаз плотную гладкую манжету его дорогой нейлоновой сорочки, плоские золотые часы на массивном золотом браслете, и ей показалось стыдным так вот, сразу, и признаться ему в том, что у них с матерью вовсе не отдельная квартира в современном высотном доме, а всего-навсего комнатка в многолюдной коммуналке, где дети Бурштейнов там и сям разбрасывают грязные колготки. И она, изобразив губами и бровями гримасу беззаботного презрения, протянула с притворной иронией: — Все-таки прекрасная квартира в прекрасном районе...

— Забавная вы девчушка... И всегда такая веселая?

— А почему бы нет, почему бы нет? — Она улыбнулась ему самой щедрой из своих улыбок, помня в ту минуту, что у нее превосходные зубы, и чувствуя, что нравится ему, и желая понравиться как можно больше.

«Вот так начиналась твоя любовь», — мысленно подвела итог Варя Белокурова и тотчас подумала, что если бы произнесла это вслух, прозвучало бы так, словно она не вполне доверяет себе.

Она замечает вдруг, что устала лежать на спине, но пошевелиться не смеет. Нелепая, глупая мысль приходит ей в голову. Ей кажется, что она не имеет права позволить себе какое-то удобство, и продолжает лежать тихо и спокойно в надоевшей позе.

«Вот так начиналась твоя любовь», — говорила она себе сурово и убедительно. — Ваня — твоя любовь, только Ваня, непременно Ваня, один из тех мужчин, чья упорная одинокая тень скользит по дикому снегу и которые, несмотря ни на что, выходят в этой жизни победителями. Так ты решила. И еще решила, что Ник-Ник не из тех, кто побеждает и за чьей спиной можно спрятаться от жизни. Разве не так? Ну хотя бы и так, — обрывает она себя, — что же тут такого ужасного? Что?! Ничего «такого», — отвечает себе. — Ничего «такого»... Но если это все правда, а ведь это все правда, значит, твоя любовь началась вовсе не тогда и не там, не на Сахалине, не в большой комнате на третьем этаже и не во дворе, где ты скребла граблями мерзлую землю, а раньше, значительно раньше, — подумала она внезапно. — Да, да, раньше, а не вдруг! Хотя ты решила тогда, что вдруг. Но это неправда, этого не было, не бывает ни с кем, хотя многие думают, что полюбили вдруг. Постой! — оборвала она свою торопливую, опасную мысль. — Но ведь тысячу раз писали, что любовь бывает и вдруг, с первого взгляда, с первого мгновения. Писали, пишут... Бывает же! И вообще — разве не бессмысленно, не бесплодно хотеть понять, где, когда, как, почему начинается любовь? Другое — да, но любовь?! Кто пробовал? Кому удалось?!»

«Не кричи. Опять? — сказал за нее тот, кто совсем не умеет жалеть женщину за то, что она женщина, Варю Белокурову за то, что когда-то она была милой, наивной, безгрешной девочкой Варей Родионовой. — Пусть никто ничего не понимает. Но ты должна понять». — «Должна?» — перестроила она на всякий случай. И вместо ответа увидела кровь, липкую кровь, натекающую в глаза, и на губах

тоже кровь, и светлые волосы, темные от крови... «Негодяи розовые, бодренькие, все нипочем. Все эти, эти...»

Она опять слышит этот крик, вначале глухо, как бы за стеной, но вот он ближе, ближе, накатывается на нее из темноты приотворенной двери, чтобы оглушить ее и уничтожить. Она стискивает уши ладонями, судорожно ежится, корчится, ей хочется выть от ужаса.

Гудит пароход, громко, долго, призывно. Она приходит в себя. Тишина. Дальний неподвижный свет торшера поблескивает на корешках книг... А там, откуда исходит этот слабый свет, позади нее, в углу, должен быть Ваня. Крикнуть ему, позвать его, пожаловаться, как ей одиноко и страшно? Но как тихо, как удивительно тихо в том углу, где должен быть Ваня, так тихо, что кажется — его там вовсе нет, пусто... «Он спит, ну конечно же он спит, и потому там так тихо, — говорит она себе, прежде чем обернуться. — Он спит... И пусть спит, если он хочет спать». И она не оборачивается — раздумала.

Любовь — вот на чем она сосредоточится сейчас. «Любовь, твоя любовь, — твердит себе мысленно, как условие задачи. — Твоя любовь, которая началась...»

А разве она жила когда-нибудь без любви? Ей нравились мальчики. Нет, не просто мальчики, а непременно «похожие». Почти все девчонки в классе увлекались «похожими» мальчиками. Так и говорили друг другу:

— Ой, какого интересного сегодня встретила! На Есенина похож. Умный небо-о-сь...

Смешно? Ну, так смейтесь, смейтесь, и ты, Варвара Белокурова, смейся! Ну? Чего не смеешься? Ведь все это до того смешно, до того...

Вот так начиналась ее любовь. И только ли ее? Чем она была лучше или хуже других девчонок?

И был морячок, похожий на... И был, есть Ваня, тоже похожий на...

«А могли бы не быть?» — спросила у себя и вспомнила вдруг...

...Пришла домой. В прихожей, как всегда, было темно и пахло старой обувью. Захотелось принять ванну. Но ванна оказалась запертой, в ванной мылось семейство Бурштейнов, была их очередь. Что она могла поделать? Перед дверью ванной, как обычно, валялся детский носок, заносенный до лоска на пятке.

Туалет тоже оказался занятым. В кухне хозяйничала полуглухая старуха Полонская, варила овсяную кашу и слушала радиопередачу «Твоя любимая сказка». Коробка репродуктора, пущенного на полную мощь, тряслась и билась об стену.

В комнате мать стреляла на машинке, боролась за свою маленькую, неизвестную жизнь, отстаивала свою грустную независимость до последнего патрона. Не оборачиваясь, будто не придавая своим словам никакого значения, сказала:

— Звонила Таня, выходит замуж, тушеная картошка в духовке, доставай, ешь.

— О-о! И Таня тоже? Вижу нечто розовое, благоухающее, нечто...

— Брось городить! Еще все в твоей жизни устроится. Погоди! Не все сразу. Выбьешься. Я не допущу! — сказала мать, стремительно и упорно отстреливаясь и за нее, за свою единственную дочь тоже.

— Мать! А мне, представь, надоело! Представила? Мне надоело, я устала, больше ждать не могу. Жду очереди на ванну, на туалет, на счастье... Не долго ли? Не хочу, не верю!

— Быстро же! Эх, ты! Иди-ка умойся, бери картошку, ставь чайник.

— Мне двадцать два, уже двадцать два! Я все в том же положении. И последняя, Танька, уходит от меня... Не пойду умываться, не нужны мне твоя картошка и твои советы, указания, приказания, — спасибо, хватит! Буду пробовать сама. Все снова и все сама, своим разумом. На новом месте, обязательно на новом месте.

— Прекрасно! — сказала мать, отрываясь от своего пулемета, и покосилась испуганным зеленым глазом. — Прекрасно, поезжай на лето в Троицкое, к тетке Дарье. Можешь и работать там. Некоторое время. Что ж, поскучаю немного...

— В Троицкое? Милая мама, вернусь годика через два, спросят: где была-то? В Троицком. Ни у кого и волосок на голове не дрогнет. Нет, если уж ехать, то далеко-далеко — и все-все снова. С чистого листа, без единой пометки. Я уже не та дурочка, кое-что поняла в этой жизни и хочу не ждать, а жить.

Позвонила Танька, а потом звонила каждое утро:

— Варька! Варенька! Какая же я счастли-и-ивая! Ты видела, какие у него руки? Схватит меня, прижмет и носит по комнатам. Мне с ним ничего не страшно! Знаешь, чего

хочу больше всего на свете? Ребенка! Его ребенка!
— Интересненько, а как же театр, сцена? Ты же умира-
ла по театру.

— Что ты! Театр... Дикая фальшь по сравнению с
любовью! Любовь, любовь, любовь, Варька,— счастье, на-
стоящее, живое, сумасшедшее!

А что, если так и есть? Что, если Танька Пирогова,
рыжая, крикливая, бешеная Танька, открыла самое истин-
ное? Что, если на свете для женщины существует одно-
единственное счастье — женское? Счастье иметь дом, семью,
детей... А все эти шальные поиски справедливости, все эти
бесконечные, удручающие сравнения книжных и житейских
истин, вся эта изматывающая тоска по правде, по соответ-
ствию идеалов и действительности, все это бессмысленное
донкихотство — только для тех дураков, которым семнадцать?
Болезнь возраста, нечто вроде свинки... В самом деле,
разве не смешно в двадцать два года, накануне стародиви-
чества, не имея профессии, собственно, не имея ничего
определенного, прочного, достойного уважения в глазах лю-
дей, заниматься подобной ерундой? Другие же, вот и Тань-
ка, обходятся же! И живут, счастливы!

— Но почему именно Сахалин? — спросила мать,
закрывая окно на улицу.

— Если бы я выбрала Воркуту, ты спросила бы точно
так: «Почему именно?» Разве нет?

Мать ничего не ответила. Села на диван, подобрала
ноги к подбородку.

— Ты бы обязательно, обязательно спросила так...
Мать не отвечала.

— Ведь спросила бы? А?

Мать молчала. И впервые за долгие годы Варя видела,
как текут слезы по ее сухим, блеклым щекам, как тяжело
падают они на худые коленки, обтянутые дешевым кап-
роном.

«Кругом были волки». И те, кто не хотел с ними связы-
ваться. Так она, Варя Родионова, представляла себе жизнь
тогда, когда ехала на Сахалин. «После всего», — добавляла
мысленно, со значением. Возможно, находились и другие,
не боявшиеся волков, но их, должно быть, было совсем
не много. Во всяком случае, ей такие не встретились. А с
нее хватит, хватит и хватит. Она не желает все время оста-
ваться в дураках. Она будет с теми, кто обходит волков
стороной. Разумеется, она не собирается предавать свои

чистые юношеские убеждения, она останется прежней, честной, отзывчивой, славной Варей Родионовой, но только — как бы это сказать? — сама по себе. Она искренне верила, что такое возможно. Честной, чистой, но — сама по себе, в стороне ото всего, что будет происходить вокруг. Не обывательницей собиралась стать она, нет, нет! Да и как бы это она сумела, если ей противно само слово «обывательница», столько раз заклеянное в книгах, которые учили ее благородству, — нет, она собиралась стать просто выдержанным, сдержанным человеком. И работать на рыбобазе. Это же вам не где-то в ЖЭКе или в банно-прачечном комбинате. Это же «звучит»! Правда «звучит»?

«Звучит»! — подтвердила Варя Белокурова. — Еще как «звучит»! И сегодня. Сегодня особенно. Хотя уши затыкай.

А он, Ваня? Что он? — удивляется внезапно ровной, широкой, комнатной тишине. — Спит? Действительно, спит?»

Она поспешно оглядывается на тот угол, где должен быть муж. Он там и есть. Сидит в кресле и, слегка, благо-родно откинув голову, спит.

«Ну и что? — сердится она на себя. — Устал. Завтра на работу».

Из-за его прямого длинного плеча чуть проглядывает алая покатошь кресла.

И как будто теплая от света... И как будто липкая, как кровь... Но это и есть кровь... кругом кровь, столько крови! Натекшая в глаз... И на губах... и волосы в крови... «Негодяи розовые, благополучные-е-е!»

Крик взрезает тишину, эту странную тишину, которая давно кажется ей искусственной и непрочной. Спасаясь, она сует голову под подушку и чувствует, как одиноко, загнанно бьется в матрац ее сердце.

«А Ваня? Ваня? — Вопрос возникает раньше, чем меркнет крик. Она отбрасывает подушку и смотрит, и видит, и все-таки изумляется: — Неужели он ничего не слышал? А только я?»

Она задает этот вопрос его сомкнутым глазам, его чуть свисшим с подлокотников сильным, красивым рукам, его крупным, ярким губам, которые умели так целовать... «О боже мой!.. Что же это я?.. Куда? Как же? Не может этого быть! Не может быть, чтобы он сам по себе, а я сама по себе!»

Теперь ей самой хочется кричать, и разбудить его, и

спросить: «Неужели ты не слышишь того, что слышу я?»

Но она не кричит. Обида пережимает горло.

А на стеллаже, у подножия подписных томов, шагает, опустив голову и не двигаясь с места, прозрачный слоник из чехословацкого стекла. За ним бежит, стоя на месте, белый бархатный песик. И стоит игрушечный глиняный кувшинчик с кривой голой веткой не то березы, не то осины. Все, как всегда, на своих местах, привычное до такой степени, что можно глядеть и не видеть.

Но это теперь, после трех лет... А тогда, в первую ночь на Сахалине, она завороченно и нежно глядела на аккуратные ряды книг в новых обложках, на стеклянного слоника, на бархатного песика и чувствовала себя самой счастливой на всем белом свете.

Было это? Было! Так же ровно, уютно, розово сиял в дальнем углу торшер, а она лежала в постели, в Его постели, и вдыхала чистый запах одеколона, исходивший от белой крахмальной наволочки, улыбалась, ежилась от удовольствия, от смутных радостных предчувствий. Он спал за стеной, в соседней комнате. Изредка она поворачивала голову и бросала на эту стену ласковый, благодарный взгляд.

— Что ж, раз расположились... и вещи тут... оставайтесь, — решил он великодушно перед тем, как уйти спать. — А я там, за стеной... у Николая... Спокойной ночи...

А если он решил так, значит, она ему не совсем безразлична?

В прихожей негромко разговаривали тетя Анна и Лошкарев.

— Он у тебя никак чемпион по самбо? — звучал медленный, насмешливый голос Лошкарева. И длилась пауза, примерно в три раза дольше, чем сам вопрос. — Или по классической борьбе? — Пауза длилась бесконечно. — Или по классической борьбе, Анна? — устало и горько, а Варе казалось — и надоедливо, допытывался Лошкарев.

— Куда ему! — отозвалась тетя Анна и тоже умолкла надолго. — Откуда в нем такой силе быть? Он в детстве столько переболел...

Эти тусклые, будничные голоса, толковавшие о чем-то тоже неприятном и будничном, мешали Варе полностью сосредоточиться на охвативших ее радостных предчувствиях и заставляли страдать, совеститься, думать о Ник-Нике, о милиции, представлять, как он там, где, на чем сидит или лежит... Хотя сам виноват! Сам!

Но вот тетя Анна спросила испуганно:

— Куда ты?

— Я скоро, я вернусь, — ответил дальний голос Лошарева, хлопнула входная дверь, квартиру наполнила долгожданная тишина.

Варя беззвучно рассмеялась, скинула с себя теплое одеяло, осторожно поставила босые ноги в медвежий мех и, стараясь ступать как можно бесшумнее, прошла по комнате.

Ей было зябко в одной шелковой сорочке, но эта зябкость приятно волновала ее. «Вот так же и он чувствует себя здесь, когда встает из тепла, — думает она с умилением. — Подходит к окну и видит то же, что вижу я: пустое шоссе, пятиэтажный дом с темными, загадочными окнами, дальние смутные огни... И так же скользит под его пальцами полированная крышка стола... Его комната, его вещи... Они знают тепло его рук, его дыхание. ...Счастливые!» Внезапно ей захотелось прикоснуться ко всему, что находилось вокруг, и она, замирая от тайного восторга и собственной дерзости, подняла со стола тяжелую медную чернильницу в форме парусника, подержала, поставила на место. Потом потрогала розовый искрящийся минерал, весь в острых углах, поводила ладонями по корешкам книг, стоявших на стеллаже, сняла с полки бархатного песика, поднесла к губам... «Как будто приручаю, — подумала лукаво. — Как будто привораживаю. Как будто я ведьма». Прикрыла ладошкой смеющийся рот, прокралась тихонько к постели, нырнула под одеяло и тотчас уснула крепким, удовлетворенным сном.

Проснулась в час, когда медвежья шкура на полу золотисто блестела от солнца и яркая солнечная полоса, преломившись о край стола, тянулась до самой двери гладкой, веселой дорожкой.

В прихожей звучал бодрый, громкий, властный голос тети Лизы:

— Две полосы есть? Читаете?.. Ладно. Сысоев пусть никуда. Ему на два дня в «Победу». Подготовка к зимовке скота, срочный репортаж. В областной сегодня вся первая полоса об этом. Надо читать и соображать. Федя в гараже?.. Пусть поторопится, выхожу.

Голос умолк, звякнула телефонная трубка, хлопнула дверь. «О чем это она? — Варя потягивалась под одеялом. — Ах, да, работает в газете... Интересно, что значит работать в газете? Я-то вот буду на рыбобазе. И от меня будет пахнуть рыбой... Нет, нет! Я буду хорошо мыться!

И все-таки — почему именно рыбобаза, а не в лесу каком-нибудь кем-нибудь?»

Она еще продолжала наслаждаться последними секундами беззаботного отдыха, но сердце ее уже стиснула безотчетная тоска.

907. Проходя в ванную, увидала в открытую дверь неподвижную, скорчившуюся в углу дивана фигурку тети Анны. Ее глаза были закрыты, а тонкие брови напряженно подняты, словно она чему-то горько удивлялась во сне. «Рыбобаза... Зачем мне рыбобаза?!» — вдруг испугалась Варя. И вздрогнула от неожиданного звука голосов. Разговаривали в кухне двое. Один голос, хладнокровный, размеренный, принадлежал Лошкареву, другой, раздраженный, — как будто Николаю. Точно — Николаю.

— Я вас не просил? Не просил. Обходился? И обошелся бы! Спаситель, благодетель, прямо конец света, до чего трогательно, товарищ Лошкарев!

— Дури дальше. Ты мне в общем-то — тьфу! Мать, Анну, жаль.

— Моя мать, если хотите знать, жалости терпеть не может, не нуждается... Мальчишка, милиционер этот, его не заметили? Вот он — что поймет? Стоял, смотрел, слушал, думал: мол, что значит именитых знакомых иметь, мол, закон что дышло... Я видел его глаза.

— Ой, брат, до чего же ты принципиал! До тошноты! Сломаешь голову, как обещает друг твой Ваня.

— Голову, а не хребет. Разница!

«Опять выставляется! — сердится Варя невесть почему. — Тебе-то что! Тебе не надо на рыбобазу, вот ты и...»

— Так ты что ж, частенько с милицией тет-а-тет? — спрашивает невозмутимый Лошкарев.

— Сколько надо, не реже, — дерзит Николай.

— Убедительно. Ну, а перед этим по какому случаю задерживали?

— По случаю насилия над родителем, ежели вам любопытно знать.

— Какой такой родитель?

— Не мой же. Ученика. Пьяный и буйный. Связал я его веревкой для белья. Не понимаете? Учитель я. Теперь понятно?

— Учитель? Вот не ожидал!

То же самое подумала и Варя и еще, помнится, кое-что от себя: «Всего-то навсего! А зазнайства! Ха!»

— Это почему же не ожидали? Почему? — пристал к Лошкареву Николай.

— Характерец у тебя... не того, не учительский. Ну разве порядочного учителя в милицию таскают?

— Значит, таскают. Что вы знаете о настоящем учителе, если такие пустые вопросы задаете? Или насмешничаете?

— Насмешничаю. Поводов сколько! Первый — врал ты, Колька.

— Например?

— Например, ох, до чего Ваню не любишь! А вида стараешься не показать. Очень стараешься! Выходит, плохо. А ведь Ваня — хороший, в норме человек, спокойный, деловой, здоровый такой парнище. На медведя ходит, песни поет, стихи сочиняет... Завистник ты, Колька!

«Ну, точно, ну, точно! — поспешила согласиться Варя и от себя добавила: — Он только у других недостатки видит, а сам за собой — никаких. Конечно, станет издеваться, если узнает, что не хочу на рыбобазу... А какое вам, собственно, до этого дело, Николай Гавриков?! Я же к вам не лезу, не навязываюсь?!»

— Очень вы подозрительный, очень вы хитрый и опасный, товарищ Лошкарев! — сказал Николай и рассмеялся. — С таким хитрым и дотошным товарищем ухо надо держать востро-о-о!

«Они заодно, они по-прежнему заодно, — догадалась Варя и осторожно притворила за собой дверь ванной. — Они против Вани и против меня будут, если узнают... Слушай ты, Гавриков! — заносчиво, про себя, позвала она, глядя на набор зубных щеток в пластмассовом стаканчике. — Ты хочешь, чтобы все было таким, как хочешь ты? Невозможно! Разве жизнь — это урок, который задаешь ты? Не желаю я чувствовать себя ученицей, которой ты собираешься ставить двойку! Ничего у тебя не получится».

Выходя из ванной, пугливо, крадучись, чтоб не попасться на глаза этому сумасбродному, сумасшедшему, беспардонному Гаврикову, она увидела, как тетя Анна быстро отворила дверь в кухню и внезапно остановилась в проеме, встрепанная со сна...

— Ты и ты?! Вместе? Давно явились? Слышу — кричите. Обошлось, значит... Еще раз... Ох, Колька-Колька-а-а! — Она намотала на руку рассыпавшиеся сзади волосы и с силой и, верно, больно дернула книзу.

— Мама! Мамоchка! — неуверенно, виновато отозвался Ник-Ник. Но его опятьхватило ненадолго. — Как же-с! — вздохнул насмешливо. — Мог ли друг твоей светлой юности

бросить на произвол судьбы пусть и глубоко порочное, но твое единственное дитя?!

— Закуролесил! Опять! Артист,— сказал Лошкарев.— Ох, и наобижала тебя жизнь, Николай, ох, и наобижала, стало быть! Так и притворяешься, и врешь, и кусаешься.

— Мама! Мамочка! Ха-ха-ха! — фальшиво рассмеялся Ник-Ник.— Ну и чудак твой товарищ Лошкарев, ну и чудак! Скажи скорей ему, мама, что наша семья отродясь шла в милиции по разряду благополучных! Я не подыхал с голоду, на чердаках не ночевал, в мусорных ящиках, представьте, тоже...— Замолк и просто спросил: — Мам, а девушка где?

Варя вздрогнула и быстренько на носках пробежала в свою комнату, неслышно затворилась, прислушалась: не несется ли следом, господи ты боже мой?!

В прихожей зазвонил телефон.

— Девушка? Какая девушка? — Тетя Анна прошла мимо по коридору.— Ах, да, с рюкзаком и чемоданом... Спит у Вани.

— Вот как? А что же Ванечка? — Ник-Ник тоже прошел мимо, следом за матерью.

— Ваня спит у тебя, в твоей постели.

Телефон примолк было, но ненадолго.

— А Ванечка на моей? Конец света! Невероятно, но факт! Восхитительная, ха-ха! Многообещающая, ха-ха-ха! Завязка!

Телефон настойчиво звонил.

— Не надрывайся, сын мой, тебе совсем не смешно. Алло! — Телефон замолк, тетя Анна сняла трубку.— Да, я... Извиняться ни к чему... Сколько лет? Ясно. Готовьтесь. Буду.

— Анна! — позвал удивленный голос Лошкарева.— В твоём состоянии...

— Пальто, Федя, пожалуйста.

— Неужели, кроме тебя, Анна...

— Пальто, Федя, пальто!

Хлопнула дверь. В прихожей стало тихо, словно ушли все. Первым заговорил Ник-Ник:

— Что с вами, товарищ Лошкарев? Чего мы здесь застряли? Удивительно? Из серии «Будни простого советского врача», не более того. Очередной маленький паршивец засунул себе в дыхательные пути пуговицу. Или монету. Или еще что поинтереснее. Останавливать ее? Мою мать? Бесплезное занятие! Она совершенно не понимает, как это можно не бежать, переждать, если есть ноги, есть руки,

есть голова. А если бы вы попытались остановить ее силой, она бы вас ударила. Да, да, не смотрите на меня так. Уверен — ударила бы! — И сумасшедший Гавриков рассмеялся веселым, торжествующим смехом. — Нет у нее морального права критиковать меня! Вы теперь понимаете, отчего между нами мир во веки веков? Ударила бы!

— Ан-на, — задумчиво выговорил Лошкарев и, едва звук его голоса замер, повторил: — Ан-на-а. Да знаешь ли ты, как тебе повезло, протопоп Аввакум? Чувствуешь? Жалей ее, жалей, сколь возможно. Голову свою подороже цени, под топор задаром не суй, приятель. Если уж со-
вать, то...

— Есть! Учту, товарищ Лошкарев. К слову: четыре года назад я ушел из этого дома. Были причины. Впрочем, они и сейчас не исчезли. Вчера вернулся. Ради нее, матери. Упросила жить в отцовском кабинете. Не посмел отказать. Так что снова за одним столом с тетей Лизой щи хлебать придется. Мать притерпелась. Старое знакомство, общие воспоминания. Понять можно. Только мне-то? Тете Лизе несколько раз предлагали отдельную квартиру в новом доме. На днях тоже. Отреклась, не пожелала. «Анночка, я тебя не брошу». Тоже ведь не совсем смешно, что-то такое держит чувствительное. Ну ладно, пора, потопал я к моим недотепам.

Ник-Ник нежно, и ласково, и радостно, и сострадательно как-то произнес последнюю фразу, и Варя вдруг почувствовала, что готова сдаться. «Сумасшедшенький! Вот ты ведь как можешь. Не вредничаешь, не злишься. Ну, и мне, если начистоту, не слишком спокойно и весело. Скажи мне что-нибудь своим хорошим голосом. Мне жаль тебя и жаль себя. Почему мы не вместе — вот глупость...»

Стремительные шаги мимо двери.

Те же шаги в обратном направлении. Остановились рядом. Что это он собирается делать? Дышать в полную силу поостереглась — опять же на всякий случай, замерла, затаилась.

Прошуршала бумага. Из-под двери, прямо под ноги ей, выполз листок в клеточку.

Но только тогда, когда за ними двумя захлопнулась дверь, она подняла записку и прочла: «Варюха! Никуда не девайся. Всегда, во всем готов помочь. Только свистни. Вернусь в два. Я».

Длинные колющие буквы, сильно скошенные влево, Вздорный почерк. Почерк человека, от которого все-таки лучше подальше... У Вани наверняка другой. Какой же?

Она не знает, и ей с грустью думается, что, быть может, она никогда и не узнает этого...

И стало ей, помнится, совсем одиноко. Покосилась с надеждой на стену, ту, за которой должен спать он. Он, которого выбрала, предпочла, точнее — предпочла бы, если бы... Ни шороха, ни звука... Может, встал давно и ушел, уехал? Занятой же человек... И все занятые, все ушли. Одна ты ни туда, ни сюда. Чувства! Эмоции! Значит, уехал... Значит, ты ему, как говорится, до лампочки. Что же теперь... «Пренебреги, Варвара, раз ничего другого не остается. И действуй. В самом деле, чего стоишь, чего ждешь? На каких ты тут правах? «Девушка с рюкзаком и чемоданом». Ага, твоя гордость уязвлена? Прекрасно! Да не стой же, не тяни, уходи! Хватит путаться у людей под ногами!»

Огляделась в комнате, стало быть, в последний раз. Вещи, уже знакомые и недавно еще такие мирные, доброжелательные, как будто замкнулись в себе, настожились и наблюдают выжидающе, насмешливо. «Глазеющая толпа вещей», — пришло ей в голову.

Вынула из кармана рюкзака многоцветную шариковую ручку, оторвала от записки чистую полоску и самым красивым своим почерком, избрав черный цвет, написала: «Спасибо за все! В. Р.». И положила написанное посреди черного полированного стола. Теперь вещи не знали, что о ней и подумать. Она покинула их, независимо задрала голову, — пусть шушукаются, пусть сплетничают, если не пропала охота!

Когда одевалась в прихожей — увы! — еще надеялась, и вела себя шумно, и все смотрела на белую дверь, вторую справа по коридору, но дверь оставалась глухой и неподвижной.

«Как нелепо все и ни к чему!» — решила вдруг, чувствуя себя обманутой, униженной и глубоко несчастной. Входная дверь туго защелкнулась за ней. Точка в конце длинного, маловразумительного предложения.

На улице, бесшумно, безнадежно сеялся холодный дождь. Подняла воротник. Мимоходом взглянула на садик, загороженный с одной стороны новыми мокрыми досками. Вспомнился равномерный, уверенный, приближающийся стук молотка. Помедлила... «Уходи! Глупо все — и только! Эта ночь, эти разговоры, голубые блюдца, стук молотка... И куда ты вообще? И зачем ты? И места в гостинице тебе опять не дадут...»

Не угадала. Место ей дали. Оно оказалось широкой кроватью с тяжелой мягкой подушкой торчком. Еще в номере стоял новый письменный стол, зеркальный шифоньер и было тепло.

И что же? «Ах, лапочка!» — как говорит тетя Лиза. Все твои свежие, недавние, нераспробованные как следует горестные мысли истаяли от тепла, а на смену им пришла тихая, баюкающая, блаженнейшая радость от того, что тебе и уютно, и сонно, и что в общем-то все не настолько плохо складывается и сама ты не настолько уж нелепая и никчемушная, какой казалась себе совсем недавно. Бытие определяет сознание. И если что продолжало раздражать, так это убогое, скучное слово «рыбобазы». Ну, да ладно, не век же, как-нибудь... Обидно, конечно: Сахалин Сахалином, но и тут, оказывается, все по-разному живут. Одни — в городах, с водопроводом, за столом работают, а другие — где придется и как, у черта на куличках, в грязи, в холоде, небось привязанные к этим угрюмым, безжалостным, вонючим рыбобазам. Вот если бы всем одинаково трудно было! Вот именно — одинаково, тогда и она бы с радостью на палатку в тайге, на любую трудность согласилась бы, ей-богу! Она и готова была к трудностям. А так — обидно. В самом деле, что изменится в мире, если она проторчит на этой чертовой рыбобазе три года? Три года! С ума сойти! Ну, да ладно! Не ты, дуреха, первая. И все-таки — целых три года... Ах, ладно, ладно, как-нибудь!

Откинула покрывало, легла на постель, встала, села на стул, встала, постояла у окна, подошла к шифоньеру и отразилась в длинном чистом зеркале от макушки до пят. Решительная поза, вызывающе откинута голова, изгиб жестко сжатых губ ей очень понравились. Не понравилось, помнится, штапельное платьишко, надетое в дорогу и давно не глаженное. Его обвисшие в петлях пуговицы, примятый подол продолжали намекать на какую-то скрытую неполноценность, непрочность ее теперешнего настроения, мешали укрепиться уверенности в себе.

Решила переодеться. Вынула из чемодана белый шерстяной костюм — лучшее, что имела, — тщательно отгладила его, изменила прическу, начесав волосы кверху и перехватив их чуть выше челки бархатным ободком.

— Ну что ж, Ваня Белокуров, — произнесла вслух, поигрывая перчатками и с удовольствием наблюдая за своим великолепным одиноким отражением, — если я вам так-таки все равно, не стану рвать на себе волосы и грызть

землю не стану тоже. Почему? Да потому, должно быть, что мой свет еще не сошелся клином ни на вас, ни на ком другом. Пойду-ка в горисполком, узнаю, как добраться до этой дурацкой, чертовой рыбобазы.

Пришилила к волосам яркую косынку, надела пальто...

Но что значит судьба! Тело как вспыхнуло... Первый, кого встретила на бетонных ступеньках горисполкома, был Ваня Белокуров. Белая в голубых складках рубашка с закатанными рукавами выше крепких локтей, блестящие полуботинки. Вдумчиво насупив красивые брови, преклонив голову, Ваня Белокуров слушал, о чем сердито тараторит энергичный плешивенький человек в ратиновом пальто.

Не спеша, усмиряя себя, Варя прошла мимо вверх, слегка, с вежливым достоинством кивнув Ване Белокурову пышной головой, и проследила краем глаза, как он встрепенулся и проводил ее недоумевающим взглядом.

Маленькая, но победа! Сердце трепещет, и во всем жарком теле такая пружинящая легкость, как будто оно только что взлетело над землей и плавно, безаварийно опустилось.

И не успела Варя передать гардеробщице пальто, как услышала звенящий стук входной учрежденческой двери и поспешные, приближающиеся шаги. Она не оглянулась, она уже не сомневалась в том, что будет дальше.

— Как же, как же так, Варя? — Мягкий знакомый баритон, несколько более протяжный, чем ночью, примеривающийся.

— Да? — Она чуть-чуть удивлена, да, да, чуть-чуть, а в общем рассеянна, равнодушна, стало быть, и потому не дает себе труда обернуться, а только скашивает глаз и приподнимает бровь — беспронгрышный прием кино-примадонны, как известно.

— Как же так? — Ваня смотрит на нее пытливо и укоризненно, и все это тоже слегка; прелестный партнер, однако. — Куда же вы исчезли? Зачем? Разве вам было плохо в моей комнате? Я решил — еще спите.

«Думал»! Врешь, голубчик, врешь!» — сказала она ему мысленно, не осуждая, скорее даже весело, и спокойно заглянула в его большие, ожидающие, умные глаза.

— Я думала, — заговорила не торопясь, расчетливо, а следовательно, прекрасно владея всей клавиатурой своего голоса слева направо и справа налево, — я думала, вы вовсе забыли, что я есть. — «Ишь как могу!»

— Что вы, как же! Вот только срочно вызвали сюда... Но я знал, отлично знал, что вы есть,—осторожно и приятно лгал он, накручивая на крупный палец завиток бороды.

«Я не верю тебе, и ты догадываешься, что не верю»,—отвечала она ему про себя и с удивлением обнаружила, что именно сейчас, когда хладнокровно, рассудочно играет с ним, нравится ему больше и больше.

— Зачем вы здесь? По какому делу? Могу помочь? — Он чуть ниже, покровительственно склонился над нею.

Она постаралась изобразить губами небрежную, ироническую усмешку, но, когда заговорила, голос невольно выдал ее растерянность и страх. Страх в чистом виде, как если бы ее собирались без суда и следствия засадить в одиночку. «Презираешь? Пожалуйста!» — едва не крикнула ему, кончив объяснять, но сдержалась, только отвела в сторону похолодевший, заносчивый взгляд.

— Рыбобаза? Пойдите, пойдите... Вы — и рыбобаза? — услышала искренне озадаченный голос. — Не понимаю! Во имя чего? Вы так хотите? — Его рука, твердая, горячая, коснулась ее беспомощных, вялых пальцев.

Она благодарно взглянула на него и легко и почти восторженно, как если бы вдруг запела, призналась:

— Нет, нет, что вы! Уже не хочу! Ужасно не хочу! Только и делаю, что не хочу! Но я завербовалась, вот дура, и как же? Как? Неудобно и вообще...

— Что именно? Кому именно? Деньги? Вернете — и точка. — Он был человеком дела, а разве не так? И он все понимал, как она хотела, чтобы он понимал, а значит, он все понимал великолепно. — Более того — вы же с деньгами, полученными у государства, не в Калуге остановились, вы все-таки приехали на Сахалин. Так? Есть другие: получают денежки — и поминай как звали. А вы не...

О да, да! Она не!.. Она совсем не!.. И она рассмеялась от удовольствия.

— Но что сделать, чтоб...

— Минуточку, — сказал он. — Минуточку. — Потеребил бородку, поглядел вокруг помудревшим взглядом. — Пойдемте, — предложил решительно, — пойдемте со мной.

И легким, летящим, спортивным шагом пошел вперед и по коридору направо. И она потопала следом. Он сказал — она потопала. Разве не логично?

У двери, похожей на обложку толстой, солидной, прекрасно сохранившейся книги с черно-золотым названием «Д. Д. Горбушко», он жестом велел ей ждать, а сам

вошел внутрь. Она прислонилась спиной к холодной стене, крашенной масляной краской, и, как было велено, принялась ждать, прилежно и изо всех сил.

«Масляной холодной краской»? Охо! И это помнишь, голубушка!» — попыталась усмехнуться Варя Белокурова, но ничего из этого не вышло. У ее длинного, жесткого, унылого тела, как будто пригвожденного к постели, было такое же жесткое, одеревеневшее лицо, не имеющее ясного выражения.

И это, и то помнит она, оказывается, как в пустом коридоре с большим окном в конце звучали чьи-то безобразно громкие шаги и мешали ей, Варе Родионовой, подслушивать, о чем говорилось за дверью, и надеяться. Разве могли у них быть дела важнее, чем ее собственное?!

— Ну как, Демьян Демьянович? — уловила она бодрый, непринужденный вопрос Вани Белокурова за дверью. — Насчет воскресенья? Машина есть, компания прежняя, форелька не перевелась...

— Давненько не захаживал, Иван Егорович, давненько! — отвечал нутряной, какой-то лохматый голосище. Дело небось? Выкладывай, поглядим.

— И дело, и дело, Демьян Демьянович. Ты, как говорится, на законах собаку съел, тебе и...

И вот тут-то кто-то там прошел по коридору, и еще кто-то, и еще, будь они прокляты по отдельности и все вместе взятые!

Конечно, ей не мешало бы там, под дверью, почувствовать нечто называемое угрызениями совести, смущением, замешательством, наконец. Блат! Незаконные действия! Жалкое выжидание! О, как она презирала все это когда-то! Ну как же, как же! Но тут...

— Вот вы и свободны, — прошептал Ваня Белокуров, прикрывая за собой тяжелый том с черно-золотым названием «Д. Д. Горбушко». Золотая рябь по черной застывшей воде.

— Правда? Вот и все? Неужели? — Она бежала по коридору, потом по лестнице, а высокий бородатый человек с полуулыбкой удовлетворения на красивом лице делал сильные, широкие шаги, чтоб не отстать от нее. Внезапное безрассудное чувство благодарности к нему остановило ее. Она схватила его руку и — хоть стой, хоть падай! — лицом, как маленькая, прижалась к ней.

— Ну-ну... — пробормотал он, испуганный, смущенный и польщенный.

На улицу они вышли молчаливые и сосредоточенные, казалось — каждый на своем. Но когда смотрели друг на друга, взгляды долго не расставались, полные взаимного интереса, симпатии и, стало быть, понимания.

— Какая чудесная погода! — сказала она, поворачиваясь в сторону слабющего солнечного сияния.

— Если бы и завтра такая, — откликнулся он без задержки.

Ах вы, бессмертные, бесценные реплики в унисон ка-саемо погоды! Великое начало всех начал! И, может быть, — Варя Белокурова усмехнулась-таки, совершая нечаянное открытие, — может быть, благодаря единому мнению о погоде — плохой, хорошей, ничего себе, дождливой, туманной, дрянной, великолепной, идиотской, тихой, славенькой — и не оскудевала уверенность супругов Белокуровых в том, что они прямо созданы друг для друга, и в том еще, что они удивительно современны, можно сказать, идут в ногу со временем, проявляя неугасимый интерес к окружающему миру?

— Сегодня в восемь я выступаю по телевидению, — сказал Ваня. — До чего некстати! Но в десять буду непременно. Покажу вам город, если захотите.

— Ага, — сказала Варя. Она снизу вверх смотрела на Ваню и чувствовала, как в целости и сохранности к ней возвращается утраченное было ощущение его убедительной, уверенной в себе и красивой силы, под покровительством которой отныне и во веки веков ей нечего опасаться в этой ужасной, ужасной жизни. Ох ты, Варька! Ох ты, Варюха!

Вон там, во-он там, в простенке между дверью и стеллажом, должна висеть эта фотография, вспомнила Варя Белокурова и слегка приподняла голову и прищурилась, чтобы разглядеть и убедиться.

Фотография была на месте и глянцево блестела. Блеск мешал поймать взгляд той, что была изображена на ней. Но белый костюм был виден хорошо, и высокая прическа, и то, что голова откинута, а губы улыбаются победоносно, обольстительно... и... нагло, пожалуй.

— Эй ты, Родионова! Романтик! — позвала Варя Бело-

курова и, чтоб лучше видеть безглазую девицу, приподнялась на локтях.— Ну, а так называемые угрызения совести? Ты же, как ни крути, струсил, отступил, предала!

— Предала? — фальшиво изумилась безглазая девица.— Кого предала?

— Себя, милая, себя, дорогая. Ни больше, ни меньше. И ах, как быстренько! И до чего легко, однако!

— Глупости! — огрызнулась девица.— А другие? Рассуди сама: ну кто бы на моем месте отказался от такого соблазна? Кто предпочел бы какую-то рыбобазу — городу, зависимость — свободе? Ну, и так далее.

— Умница,— успокоила ее Варя Белокурова.— Какая же ты оказалась умница! Раз — и нате вам быстрый и общедоступный ответ: «А другие?» Уж чего убедительней.

— Вот именно! — упорствовала и наивничала безглазая девица.— И нечего из меня преступницу делать, раздувать случай до величины события.

Варя Белокурова опять упала навзничь и отвернулась от фотографии. Не век же глядеть на нее. Все, что могла сказать безглазая девица в свое оправдание, она уже сказала еще тогда, почти три года назад. И была убеждена, что последнее слово осталось за ней, что лучшая, безопасная, счастливейшая пора жизни — это когда сами собой приходят быстрые и легкие ответы на любой неожиданный вопрос. И никак не предполагала, что последние слова могут быть сказаны много-много дней спустя и это будут действительно самые последние и окончательные, как приговор, оставленный в силе Верховным судом. «Все эти, эти! Не люди, нет! Розовые негодяи!» Последнее слово осталось за ним. Нет, нет, не вообще, это невозможно, это нельзя! Еще молчит телефон, еще никто не стучит в дверь, и я ничего не знаю, я еще верю...» Последнее слово осталось за ним в споре, который он начал в ту первую бессонную осеннюю ночь и не кончал все эти долгие годы — вот что она имеет в виду. Его можно было возненавидеть за такое упорство, и за ярость, и за беспардонность. «Что же мешало тебе возненавидеть его?» — спросила себя.

Ответ, как ни странно, подзадержался. Он, должно быть, был где-то в пути. Пора быстрых и легких ответов — ау-у! — где ты?

А тогда эта благодатная пора только наступила для тебя. Или наступала на тебя? Праздничная, многообещающая пора быстрых и легких ответов на все случаи жизни... И Варя Белокурова опять вернулась туда, где была почти

три года назад, — сначала на бетонные ступеньки горисполкома, где они с Ваней Белокуровым сказали друг другу первое «до вечера», а потом — в свой уютный, душно натопленный номерок.

В стареньком байковом халатике, подвернув ногу, она сидела за столом, пила чай с остатками московских конфет. Немного шальная от пережитого, думала о Ване Белокурове, о том, какой он решительный, волевой, умный и так далее человек.

И все? И ничего кроме? Да нет, конечно. Она замечала в Ване и кое-что такое, что не совсем... не то... о чем стоило бы задуматься, о чем нельзя не задуматься. Что же именно? Но в том-то и дело, что она не хотела задуматься, не хотела — и все. Хотела и думала: «Какое счастье, что встретила его! Какое счастье!» Хотела и думала. Так ребенком она боялась смотреть в темный угол, где, казалось ей, стоит страшный зверь. А если не смотреть туда, все обойдется.

«Прямо конец света!» — восхитилась Варя Белокурова, ясно и четко представив себе сцену чаепития, выдержанную в умиротворенных вечерних тонах. Прямо конец света, до чего мило, и мирно, и благопристойно могут выглядеть подлость и ничтожество. Тихонькая, трусоватая подлость в образе задумчивой девицы, аккуратно срывающей бумажки с конфет. Пора быстрых и легких ответов... Стоило только начать... Привычка, задубевающая от повторения, и уже нет места удивлению... Да и было ли это началом? Увы, нет, если честно. Это было продолжением.

А Ник-Ник думал, что это просто заблуждение наивной, чистой души семнадцати лет. И когда он ворвался в тот вечер к ней в номерок, он увидел то, что хотел видеть: нежная, непорочная, растерянная девочка сосет конфеты, ей страшно лицом к лицу с неизвестностью, ей срочно нужно помочь.

Разумеется, он не присел. Он вообще предпочитал говорить стоя — знакомая учительская манера. На нем болтался расстегнутый черный пиджак, кое-где захватанный пальцами в мелу. Ворот рубашки тоже, конечно, расстегнут. Рубашка светло-коричневая, под цвет глаз, если думать, что он придает этому значение. Он уперся длинными руками в стол, вытянул шею и ждал, уставившись на нее дерзкими, но пока вполнакала, глазами. Непонятно почему, но она видела не все его лицо, а только эти глаза, словно

подстерегающие ее. И она решила спрятаться. Она скакнула взглядом в сторону и вниз и натолкнулась на портфель. Туго набитый портфель с измочаленной ручкой он бросил перед собой, едва подошел к столу. «Так и в классе, должно быть»,— догадалась она, с беспричинной неприязнью оглядывая бесформенный, потрепанный и все-таки самоуверенный портфелишко.

— Итак — чем могу?

— Спасибо. Ничем.— Она пожала плечами.— Погода хорошая, вот что хорошо.— И переставила пустой стакан.— Спасибо тебе за... но все устроилось уже.— Она глядела куда угодно, только не на него. Ну, положим, потому, что не обязательно было глядеть на него. И у нее было такое чувство, словно она держит экзамен и очень хочет не провалиться и все-таки вот-вот провалится.

— Что же именно устроилось, Варюха? — Он еще ни о чем не догадывался и оставался в рамках приличий, как говорят. Он не хотел ставить ей двойку, он ждал от нее достойного ответа.

— Как что устроилось? Все устроилось,— наивничает она и пощелкивает ногтем по пустому стакану.— Может, чаю? У меня конфеты московские остались, есть...

— Так что же устроилось? — не поддается он.

— Все. Я же говорю.— Она еще держит тон непорочной души и, кажется, способна поднять на приставалу наивные, простодушные, неискренние глаза, но все-таки не может... И взрывается вдруг и кричит: — Что смотришь? Что тебе надо от меня? Я не еду на рыбобазу, не хочу, остаюсь здесь, в городе. Ваня все устроил! Ясно?

Его рука медленно, с липким звуком оторвалась от клеенки стола. Варя вздрогнула. Растопыренной пятерней он накрыл кучу конфетных бумажек и начал мять ее, пока бумажки не превратились в маленький жесткий шарик.

Молчит, крутит бумажный шарик по столу, словно волчок. Сдался или выжидает? И сколько времени он собирается молчать? Сколько времени она будет чувствовать себя виноватой? А какая за ней особенная вина? Даже Ваня понял... Вот именно — «даже»... Ни в какое сравнение с тобой. Умный, серьезный человек понял, а ты... Если б он не был умным и серьезным, разве б его пригласили по телевидению выступать? Ну?

— Что ты молчишь? — не выдерживает она.— А другие? Кто бы на моем месте отказался от...

— Я,— сказал он.

— Ну, ты.— Она поверила ему сразу.— А другие?

— Для меня этого достаточно на первый случай,— сказал он.

— А другие, другие? Кто предпочел бы какую-то рыбобазу городу, зависимость — свободе?

— Умница,— сказал он ей нежно-нежно.— Какая же ты умница! Что за быстрый и легкий ответ! «А другие»? Универсальность! Надежно, выгодно, удобно! И убедительно до чего!

— Вот именно! — кричит она зло и бессильно.— И нечего из меня преступницу делать! Нашел повод и рад!

— Нисколько. Это ты нашла повод,— говорит он медленно и четко, словно переводит ей с иностранного.— Мелкий повод для грандиозной радости. Эх ты, Варька! Тот, кто не хочет или не умеет жить по существу, у кого нет внутри своей морали, тот всегда будет первым делом оглядываться на других и всегда отыщет мелкие поводы для мелкого торжества, для мелких переживаний, для уступок...

— Целая лекция! — Она пытается удержать свой голос на высоте небрежного высокомерия.— Жизнь по поводу, жизнь по существу... С ума сойти! А я живу так, как живу.

— Отлично. Лучше не придумаешь. Живи так.— Он продолжал переводить ей с иностранного.— Только не считай, что живешь иначе. Что ж, благоденствуй на избранном пути. Если получится.

Он поднял портфель и шагнул к двери.

«Ты пришел нарочно раздражать, издеваться, унижить, оскорбить, отнять мою радость,— думает она и с ненавистью глядит на его узкие плечи, худую шею и тугое сжатые, точно обескровленные, губы, но не выше, черт побери! — Ага! Понимаю! В отместку за то, что я предпочла Ваню. Ну, погоди, проповедник и праведник!»

— Не уходи, пожалуйста,— кротким голосом просит она.— Не уходи.

И с бессердечной радостью видит, как осекся его шаг и какой растерянный, доверчивый взгляд уронил он на нее. И ей стало немного жаль его, право. Только он разве пожалел ее? Нет, нет уж, получай! По заслугам!

— Ник-Ник,— прошу.— Она поднимает умоляюще брови и наносит мгновенный, точно рассчитанный удар: — Прошу, очень, расскажи про Ваню.— И наблюдает исподтишка, и видит, как краснеет его лицо, как темнеют, наливаясь усталой печалью, его остановившиеся, застигнутые врасплох глаза.

— Что именно, куколка? — Он глядит мимо нее, в пустой угол.

— Ну... вы ведь жили вместе... — Она вполне удовлетворена местью, и теперь ей действительно жаль его, но она не знает, как оборвать разговор.

— Не вместе, а рядом. Разница.

— Послушай! — Порыв великодушия! Она торопится подойти к нему, торопится быть участливой. — Когда ты перестанешь быть таким дерганым, недовольным, злым? Или в школе своей мораль читать не надоедает?

— Варюха, — он уставил в нее указательный палец, ну как пистолет, — остановись, оглянись, задумайся. Что-то будет с тобой?.. А в школе у меня, — не двинувшись с места, он дотянулся рукой до ее плеча и стиснул его ненадолго, — в школе бывает так, что не я мораль читаю, а мне. Сегодня вот — Лебедев.

— Какой? — Она приостановилась, как бы для того, чтобы взять с разбегу небольшое препятствие. — Лебедев?

— Ленька Лебедев, восьми лет от роду.

— Восми лет от роду? — повторяет Варя, чтобы успеть подумать о другом. — И какую же мораль? — выдавливает она из себя. — Если ему восемь, а тебе...

— Двадцать восемь, — подсказывает он, и в голосе его невеселая усмешка.

«И Ване, значит...» — соображает Варя попутно.

— Я им сочинение дал на тему «За что я люблю своих родителей?». Вместо сочинения Ленька притащил мне лист бумаги и на нем четыре строчки:

У меня отец пьет и пьет,
А как выпьет — дерется, орет.
И за что мне любить его?
Мамку жалко и Катьку — и все.

И все. Не справился с темой, а? Двойку заслуживает. Как считаешь?

— Ну-ну... С темой действительно... В этом смысле двойку заслуживает...

— Кому двойку? Кому?! — вдруг накинулся он на нее, на тихую такую, покладистую, ни в чем не повинную Вареньку Родионову. И отчего только Варенька смутилась и покраснела? Просто оттого, что подумала: «Неужели знает, как убежала от них? Но откуда? И все-таки...»

— Видела бы ты этого Леньку. — Он крепко зажмурился, точно в лицо ему ударил ослепляющий свет. — Синяки родительские с него не слезают. Дед был жив — легче жил.

А теперь... И тут я, блаженненький, со своей среднеарифметической: «За что ты любишь своих родителей?» А он мне бац по морде, бац, бац!

— Да, нехорошо получилось как-то,— соглашается Варенька. «Не знает, ничего не знает!» И опять ей легко и свободно, и она рассуждает: — Но не у всех же такие родители. Почему же другие из-за него не должны писать такое сочинение? Целый коллектив страдает из-за одного...

— Если бы! Если бы всякий раз любой коллектив умел страдать за одного! Не получается. Наоборот чаще. Средние цифры глаза застят. «Отдельные недочеты, отдельные недостатки...» Так привыкли. Парад обожаем. Утешаемся, лжем друг другу в глаза и не краснеем даже. «Так надо»,— думаем. Кому это надо? Кому?!

— Спору нет, ты говорить умеешь,— сказала она, снисходя, конечно, и, конечно, удивляясь его ничем не оправданной горячности: что она, спорит с ним, что ли? — Но что ты можешь? Пусть ты и самый праведный, и самый красноречивый? Что?

— Могу быть искренним.

— Как это?

— Очень просто: не оставлять без протеста плохое, без поддержки хорошее. Лезть на рожон, как выражается... выражаются некоторые.

— Пижонство говорить, что это просто,— обрезала от души. И тут ей показалось, что она слишком близко стоит к соблазнителю и вот-вот он схватит ее, сомнет, как недавно конфетные бумажки, и швырнет в водоворот пусть и благородных, возвышенных, но бесполезных, напрасных волнений. А она уже, слава богу, выкарабкалась на берег и сушит волосы, и солнечное тепло согревает ей спину... И Варя быстро отошла от него к окну, на вполне безопасное расстояние, и громко, не без иронии, проговорила оттуда: — Первый попавшийся пример — война во Вьетнаме. Ты можешь уничтожить эту войну? Никак. Со всем твоим благородством.

— Один не могу,— согласился он.— Значит, вообще ничего не могу? Демагогия! Слабительное для тихой сволочи. Всегда есть что-то, что в твоих силах. Вот... женщина-мать. Она не повернет каменную глыбу, но воспитать своих детей людьми может.

— Прописные истины.— Варя украдкой глянула на часы. Через несколько минут она увидит на экране Ваню! Телевизор в вестибюле. Работает ли? От нетерпения постучала ногой об ногу, покусала ноготок. Куда там! Бесце-

ремонтный, упрямый и нелепый Гавриков продолжал торчать у порога и смотрел на нее до того грустно и снисходительно, что даже смешно и непонятно.

— Уколола! Глупая. «Прописные истины». — Он стукнул кулаком в стену. — Быть искренним, быть человеком — все прописные истины. Да только их невозможно вызубрить. Они требуют, чтобы каждый из нас выстрадал их сам. Что не раз плюнуть, Варюха.

Непонятливый, настырный, он тянул, тянул время. Господи боже мой!

— Ошельмовать истину — чего проще! И до того современно, интеллектуально, на высшем разговорном уровне! «Постимпрессионизм, сюрреализм, Кафка» — дежурное, из вечера в вечер... «Потрясно!», «Потрясающе!» И мнить себя ужасно просвещенными, ужасно свободомыслящими, отчаянно смелыми защитниками прогресса. Потрепались, поохали, обменялись анекдотами и разошлись — баю-баюшки, чтобы наутро встать партикулярными, благопристойными. И до того приятно, словно чешут себя там, где чешется!

— Фу! — выразилась чистая душа Варенька Родионова.

— Смешны, нелепы, а значит, безопасны. А уж смешливы-то! Первыми гогочут, если кто пытается за конкретную справедливость постоять. Мол, во дурак, плетью обуха... Удобненькая философия, черт побери! — Он сказал последние слова твердо и по складам, как гвоздями приколотил, и рванул на себя дверь, словно стоп-кран, сам себя остановил на курьерской скорости. — Сегодня я тебе не нужен, — сказал, не оборачиваясь в открытую дверь. — Но если понадобится, свисти.

Варенька Родионова осталась одна. И ничком упала на кровать. Вот уж устала, ох, и устала... И было у нее такое ощущение, словно только что она чудом избежала опасности, увернулась, убереглась. Ум-ни-ца! Ай-яй-яй, какая умница, черт тебя побери!

...Телевизор работал. Когда Варя подошла, из-под облака белокурых волос проглянули нежно-улыбчивые глаза теледикторши и ее профессионально одомашненный голос сообщил о значительном похолодании на севере острова. Теледикторша время от времени заглядывала в бумажку, и тогда ее подбородок утопал в кружевном жабо. Варя села в свободное кресло и обнаружила, что на ней старый байковый халатик. «С ним-то можно, — поразмыслила она, имея в виду Николая. — А для него...» Она имела в виду Ваню и не домыслила, как говорится: в этот момент бело-

курое облако и кружевное жабо исчезли, а приоткрывшуюся было пустоту экрана занял Ваня. Его тщательно уложенные волосы поблескивали, как лакированные. Просторный лоб хранил серьезную, благородную тайну. Его сильные, красивые руки, обрамленные белыми манжетами, гибко вытянулись поверх гладких листов бумаги.

Варя поспешно засунула между коленками полы халатика и решила категорически: «Переоденусь, чтоб такой не видел».

Ваня читал свои стихи. Те самые, что ночью, в честь умершего отца Николая, и другие голосом одинаково внушительным, сосредоточенным, глядя прямо перед собой большими ясными, убежденными глазами.

Время от времени на его мужественную, бородатую физиономию наплывало белокурое облако, и кротко соблазняющий голос сообщал о том, что видимый с экрана поэт, он же инженер-строитель, начальник передового стройучастка, «с которым вы, дорогие телезрители, не раз встречались», готовит к изданию новый поэтический сборник под поэтичным названием «Сахалин — любовь моя», и еще о том, что темы его стихотворений глубоко патристичны, глубоко гражданственны, ибо поэт с непреходящей любовью воспекает уголки родного острова, являющегося одновременно уголком нашей великой и необъятной Родины.

Варя слушала улыбчивую дикторшу, пользующуюся небось услугами лучшего сахалинского парикмахера, и ревновала к ней Ваню. И считала, что она компрометирует его творчество своими бездумными, бездарными комментариями, в то время, как...

Впрочем... сказать, что стихи И. Белокурова очень волновали ее, будоражили, пьянили, увлекали воображение, — сказать это она не могла. И тогда, когда ее любовь смотрела на него во все глаза, восторженная, всеоправдывающая... Стихи как стихи — вот что ее утешало. В рифму, как положено. О том, что море плещет о берег и это красиво. О том еще, как хорошо весенним вечером сидеть на берегу и смотреть вдаль, на погранкатера, стерегущие вселенский покой. И как приятно смотреть на дом, который строил и ты. И еще о том, что поэту нравится бродить по городскому парку культуры и отдыха, ибо здесь он наливается свежей бодростью.

Все на месте, и все правильно, и все ясно. И как будто чего-то не хватает, увы. Как будто слишком все ясно.

Но тогда, когда ее любовь смотрела на него восторжен-

ными глазами, она искренне считала, что ему несколько не хватает мастерства, и не позволяла себе думать иначе. А мастерство, как известно, благоприобретается.

О, до чего ловок, изворотлив, изощрен женский ум, и если ему хочется оправдать что-то или оправдаться, он не отступит, какие бы праведные аргументы ни преграждали путь, и отыщет еще более праведные, и заставит себя довериться им безоглядно, чтобы не о чем было беспокоиться...

Около десяти вечера заново причесанная, в белом, заново отглаженном костюме Варенька Родионова сидела за столом, благонаравно сдвинув коленки, и делала вид, что почитывает затрепанный гостиничный «Огонек», а сама прислушивалась к тишине за дверью.

Ваня был точен. Он постучал ровно в десять. Редкое качество в наши дни!

— Дело сделано,— доверительно сказал, входя и улыбаясь.— Имею право дать себе команду «вольно».

Она пригласила его сесть. Он сел к столу, не забыв поддернуть брюки, чтоб не измялись. Рядом с его рукой в белой манжете, которую недавно видели тысячи телезрителей, оказался стакан с остатками чая. Варя сконфузилась и убрала стакан за занавеску.

— Часто вы по телевидению? — спросила, усаживаясь напротив и так, чтобы он видел ее прекрасную улыбку анфас.

— Довольно часто,— скромно ответил он.— Я для телевизионщиков клад в известном смысле. Производственник и стихи пишу, хобби имею, выходит. В некотором роде эталон молодого современника.— Его чуть насмешливый, отдохновенный голос гудел успокаивающе.— Я их понимаю. Свой план выполняют. Не хотят от Москвы отставать. Просят — даю. Стихи с краеведческим уклоном? Пожалуйста. С чисто лирическим — «он и она» — почему ж нет? Говорят, получают. Как вы находите?

— По-моему... да,— Варенька Родионова была польщена оказанным доверием.

— Возможно, я совсем в поэты уйду,— задумчиво проговорил он.— Обещают издать второй сборник моих стихов. Большое дело. И если...

Он смолк, посмотрел ей в лицо внимательно и с некоторым сожалением, как на подходящий в общем, но недостаточно зрелый плод, и заговорил о другом.

— Знаете, где вы будете работать? Я нашел вполне приличное место. В редакции газеты. Литсотрудник отдела писем. Я с матерью по телефону согласовал уже.

— Что вы! — изумилась Варенька. — Да я же никогда-никогда! Только отличная память, говорили, и сочинения вроде ничего получались. А в газете...

«Это как же теперь понять? — Варя Белокурова захватила зубами край пододеяльника. — Это что же — она таки зывала к своему здравому смыслу? К совести своей? Сопротивлялась, выходит?»

Но он не дал ее совести ходу. Вот-таки взял и не дал. Он сказал:

— Чушь. Не боги горшки обжигают. Не на стройку ж к себе я вас возьму! Что стройка, что рыбобазы... грязь, тяжело, однообразно, «мать-перемать»... Это на обложках журналов все блесит. — Он заглянул ей в глаза, подождал, как бы проверил, созрела ли, и сказал: — Буду с вами совершенно откровенен. Я ведь тоже собираюсь с этим распрощаться. Начальник стройучастка... Звучит? Положим. А что в действительности? То тебе в срок панели не завезли и план горит, то сантехники нахалтурили, госкомиссия от тебя нос воротит, план опять горит, а работники недовольны, премию ждут, надеются, что как-нибудь да уломаешь начальство. Крутишься-вертишься... Собираюсь сделать второй сборник стихов и буду в Союз писателей пробиваться. Поэт... Другая жизнь...

— Но ведь газета — это ужасно ответственно!

Не правда ли — она опять пробовала удержаться на поверхности совестливого благоразумия?

Только, ах, как он был убедителен!

— Разделяю. Ответственно. И опять — не боги горшки... Поосмотритесь и... В конце концов, что вы, воровать собираетесь или честно зарабатывать?

Что, разве все это звучит недостаточно веско?

— Ну, если вы так считаете...

Итак, девица в белом парадном наряде сдалась отнюдь не сразу. (Аплодисменты в публике.) Можно даже сказать, что она сдалась лишь тогда, когда из ее рук выбили оружие. (Громкие аплодисменты, переходящие в овацию.)

— Не слишком ли вдруг? А что, если она была вовсе безоружная? (Вопрос из публики.)

«Между прочим, куколка,— сказала себе Варя Белокурова, зубами стискивая край пододеяльника,— ты лежишь под пуховым двуспальным одеялом, за которое заплачено не абы чем — стихами! Как-то: «Очарован тобой, сахалинский рассвет!», и «Серебристая рыбка сайра», и «Сахалинский вальс», и «Не пленить меня крымской экзотике...», и «Светлым взором вдаль гляжу я...», и так далее и тому подобное. Ну, не обязательно именно этим выдающимся вкладом в сокровищницу мировой литературы, но подобным из второго сборника поэта Ивана Белокурова под общим названием «Сахалин — любовь моя», из того самого сборника, который сделает для Вани абсолютно доступной дорогу в Союз писателей. С Сахалина или с Камчатки она, как ни странно, значительно короче, чем из Москвы. Ваня не какой-нибудь там прожектор, он знает, что говорит».

— Я не прожектор, слава аллаху,— говорит Ваня,— я точно знаю: в Москве таких поэтов, как я,— пруд пруди. Так что стоит подзадержаться на острове, вступить в Союз, а потом уж и Москва нипочем.

Это образчик их семейного разговора. Ну, знаете, того, что в постели. Неторопливого, вдумчивого, после вечернего чая, чтения газет и душа.

— Ну, это завтрашнее. Ближайшее — Южно-Сахалинск. Если со сборником все пойдет хорошо, месяца через три поедем получать авторские экземпляры.

— Я сошью новое платье. Все-таки там будут местные знаменитости разные. Нарядное, даже несколько экстравагантное. Как думаешь?

— Почему же? Сшей. Юмор юмором, а хорошо одетая жена немаловажное добавление к авторитету мужа.

Наверняка такие разговоры ведут все супруги. На чистых простынях, под портретом любимого писателя или поэта...

— Заголовок чересчур лозунговый,— делился с ней Ваня возникшими сомнениями.— «Сахалин — любовь моя». Чересчур. Но, с другой стороны, вполне определенный. Невозможно истолковать ни в ту, ни в другую сторону. Калёнову понравится, чувствую. «Без загиба»,— скажет.

— Но ты же не для одного Калёнова! — несколько сердилась она. — Впрочем, пока зависишь от таких, глупо игнорировать их мнение. Лишние нервы.

Вот такая она стала рассудительная. И такая, рассудительная, нравилась себе все больше и больше.

— Точно, — хвалил ее Ваня. — Надо поступать рационально, беречь энергию. Крути не крути, мир делился и делится на тех, кто правит, и тех, кем правят.

— Представляешь, — говорила она, — сегодня я звонила по одному письму в горжилотдел, не называясь, как любой простой человек. Секретарша мне хамским голосом ответила! А и надо было узнать только, когда у них прием. Через несколько минут нарочно звоню туда же и говорю, что из газеты. Совсем другое дело! До чего же вежливо, любезно эта же самая стерва со мной говорила!

— А как же! — отвечал он. — Газеты она боится, а простого рядового с чего б? Стропщик мой сегодня бадью с раствором кое-как прицепил, а она и ухнула метров с двадцати, — говорил он. — Чуть плотника не пришибло. Мне-то сообщили: «Кончился». Бегу, думаю: «Ну, влип я на этот раз крепенько». А плотник с земли поднялся, покачался, пошел! Чуть не расцеловал я его, право... Нет уж, будет, скорее сборник соорудить бы...

Да, о чем только они не говорили в постели! На этом суверенном островке полного взаимного доверия и абсолютной независимости! Тут они подводили итоги прожитым дням и отработывали тактику поведения на следующие дни. Они чувствовали себя армией во время передышки, которой с утра предстояло продолжать бой.

Она и не заметила, право, как уверилась в том, что именно так все и живут в шестидесятые годы XX века, приберегая самые сокровенные сомнения для всестороннего обсуждения в супружеской постели, а в обществе держатся настороже и — как бы это точнее выразиться? — соответственно, что ли... «Соответственно моменту, мнению начальства и так далее», как говорил Ник-Ник. Она присматривалась: такие были, и много, Ваня уверял — большинство именно таких. Ну, а кто глуп...

Глуп был Ник-Ник. «Ну и что?! — говорил он. — Что из этого следует?!» Они с Ваней часто так и начинали свои постельные беседы:

— Этот глупый Ник-Ник опять отчудил...

При этом они вовсе не желали Ник-Нiku зла. Наоборот, они жалели его. Лишний раз пожалеть сумасшедшего Ник-Ника доставляло им удовольствие. Жалея его, они как

бы возносились на некую высоту, самоутверждались, чувствуя себя и благоразумными, и добродетельными одновременно.

Варя Белокурова лежит под пуховым одеялом, за которое заплачено стихотворениями из сборника «Сахалин — любовь моя». «Но не только этим,— думает она.— Если бы только этим были оплачены и это одеяло, и весь этот уют, и полоса быстрых и легких ответов, и так называемая спокойная, «не хуже, чем у других», жизнь...»

...Под одеялом, стоящим нескольких патристических, гражданственных, лирических стихотворений, из которых не помню ни одного! Разве не логично? Для такой куколки, как ты? Очень даже логично, если подумать.

Впрочем...

Как мне с тобой в тишине осенней,
Как мне с тобой хорошо...

Ага! Неправда! Помню! Кое-что, но помню. Плюс посвящение: «Другу моему, жене моей Вареньке Б.». Простое, но полное сдержанного чувства предложение. Оно стоило им одного постельного собеседования. Поначалу были разные варианты. В том числе и такой: «Моей любимой...» Повторили несколько раз вслух, подумали и отказались. Что такое «любимая»? Это может быть и любовница. Поэты, как известно, с особым пылом посвящают свои стихи именно любовницам, несерьезным, мимолетным увлечениям. Тем лучше, решили Ваня и Варя. Их посвящение будет выгодно отличаться. Ясно выраженная, глубоко моральная позиция никогда не помешает, а напротив... В частности, Калёнов примерно так разовьет мысль в своем очередном выступлении перед городской интеллигенцией: «Поэт Белокуров не стесняется признаться в своей чистой любви к жене. Он стоит на высоконравственных позициях социалистического реализма...» Ай, как хорошо!

«Жена поэта...— Варя Белокурова несколько раз произнесла эту фразу.— Не удивительно ли? Ты — и ни много ни мало — жена поэта. А какие они, жены поэтов? Их представляют обычно как нечто загадочное, неземное, чудо совершенства и тому подобное. А может, я такая и есть?!»

Ей почудилось, что это не сама она подумала, а ей крикнул кто-то посторонний злым, насмешливым, скандальным голосом:

Как мне с тобой в тишине осенней...

Голубушка-а! А дальше, дальше! Нельзя же, в самом деле, не помнить даже того, что написано в твою честь!

— Неужто задумалась, жена поэта? Прогрессируем! — Это Ник-Ник неожиданно очутился рядом, положил ей на плечо живую, горячую руку там, в Доме культуры моряков, на районной учительской конференции. Выходит, ее воображение отлетело на полтора года назад...

— Что усмехаешься? Что? Читал?.. Как? Есть дельное — скажи, а нечего... — Она не стала высвобождать свое плечо из-под его руки. Она к тому времени перестала избегать его. Избегать — значит уступить, признать, что прав он, что жизнь ее вовсе не та, какой хочется видеть ей. Встречи их напоминали рукопашную. Никто не хотел умирать и отступать тоже. Или разведку боем. Мучительное, изнуряющее чувство раз навсегда уязвленного самолюбия требовало реванша и всякий раз толкало ее к нему. Ей во что бы то ни стало хотелось доказать ему, именно ему, упрямому, сумасбродному Ник-Ник, что все в ее жизни идет как полагается и как ей хочется. И он всякий раз не перебивая выслушивал ее и не верил ей. Выслушивал, глядя мимо сильно суженными глазами, и не верил. И всякий раз, уходя от него, разобиженная, беспомощная, взбешенная, она решала никогда больше не говорить с ним, но...

— Стишок-то? Стишунчик? — Он жалостливо поглядел на нее. — Еще б! Ого! Уже и областная газета приметила... И недалек день...

— Да, и областная! — Она дернула плечом, его рука упала. — Ну, и что дальше? — Она, значит, заняла боевую позицию, изготавилась...

— Дай-ка мне. — Он потянул из ее рук блокнот, щелкнул шариковой ручкой и что-то быстро написал на чистом листке. — Прочти и передай товарищу.

Она подняла к глазам страницу, исписанную его особым, скошенным влево почерком, прочла: «Прежде всего лирика не может и не должна быть благополучной. Ты любишь ее, она любит тебя. Ну и целуйтесь на здоровье. При чем здесь читатель?»

— Глупо! — веско сказала она, выдирая страницу из блокнота. — Глупо и нагло!

— Так его, так! — поощрил Ник-Ник, блестя взвеселившимися зрачками. И она поняла, что попалась в расставленную ловушку. — Так его, куколка! Он был предельно глуп, этот мало кому известный Михаил Светлов. Эх ты, Варюха Александровна!

114 Он хохотал.

Не-е-ет, он никак, ни за что не хотел признавать в Ване поэта. Хотя сам-то небось ни одной рифмы придумать не умел. Зато другие — признавали. И телевидение, и издательство, и... Издательство даже попросило дополнить сборник несколькими новыми стихотворениями на гражданскую тему. И чтоб за короткий срок. Разве это не показатель веры в творческие способности молодого поэта И. Белокурова?

Разумеется, как всякая достойная жена поэта, она тотчас начала подбадривать его, настраивать и тому подобное. Они вместе думали, о чем бы написать. И одну темку она подсказала ему, и, кажется, он уже сочинил, вернее — написал, точнее — сделал такое стихотворение. О пограничнике, который верно стережет границу, в то время как люди делают свои мирные, будничные дела. Конечно, это не бог весть какое открытие, но если учесть сегодняшнюю международную обстановку... дальневосточные проблемы... Злободневно — вот главное, а уж гражданственно как — и говорить нечего. Там, в издательстве, должны оценить. И если придумать еще нечто такое же... бесспорное... Господи, которого нет! А хирурги-то? Благородные сахалинские хирурги, например! Например, о том, как ночью, глухой весенней ночью, они выполняют сложную операцию, в то время как...

«Чего там! Чего там стесняться! Жена поэта И. Белокурова не должна упустить такой случай, — сказал Варя тот самый посторонний злой, насмешливый голос. — Жена поэта И. Белокурова должна срочно разбудить своего мужа, и пусть он пишет о хирургах, как они темной сахалинской ночью склонились... Пусть ищет подходящие рифмы, сравнения, метафоры и все такое прочее! Пусть прославляет! Он согласится! А почему бы ему не согласиться, скажите, пожалуйста? Какая тема! Сама гражданственность! Она, несомненно, обогатит сборник, тот самый, который откроет дорогу И. Белокурову в Союз писателей. Кроме того, каждое лишнее стихотворение — это лишние деньги. А деньги в семье всегда пригодятся». Варя хотела остановить этот захлестнувший ее ледяной поток слов, но не знала — как.

О нет, нет! Деньги, без сомнения, не всё! И они с Ваней никогда не говорили, что деньги — всё! Они говорили о том, что и помимо денег есть в жизни приятные, стоящие вещи. Например, рецензия. Как там было, в той рецензии на первый сборник «Сахалинские зори»? «Поэт И. Белокуров не чурается больших тем, не впадает в мелкое кри-

тиканство, не поддается влияниям очередной поэтической моды...» Не, не, не...

И далее, если продолжать в соответствии, они не воры, которых ловят, сажают, не хамы хозяйственники, не растратчики казенных сумм, не... Не, не, не... И совершенно очевидно, что не они нынешним вечером стреляли из дробовика в живого человека по имени Николай Гавриков. И точка. И никаких сомнений, углублений, никакого риска. Варю Белокурову бил озноб под пуховым одеялом. Вот именно — никакого риска. Пусть рискуют те, которым это нравится, как говорил Ваня. А она его слушала и не возражала, потому что прямо конец света, до чего они хорошо понимали друг друга. И чем дальше, тем лучше.

— Варенька, — говаривал Ваня поначалу, когда они вместе выходили на работу, — прошу тебя, никаких твоих особых мнений-суждений! Сдержанность и еще раз сдержанность. Делай то, что требуют, делай хорошо — и точка, и будет все в норме. До вечера!

А вечером, укладываясь в общую постель, он предлагал ей нежным, отдохновенным голосом:

— Теперь можешь высказаться. Слушаю.

Позже, когда они стали еще лучше понимать друг друга, он говаривал по утрам короче:

— Будь умницей. До вечера!

И она была умницей, она старалась быть умницей и тогда, когда у нее вдруг не выходило быть умницей до конца.

Память поторопилась услужить и как бы выдула ее из-под пухового одеяла, и Варя Белокурова увидела себя и остальных так примерно с год назад за столом под голубоватым светом люстры.

К ним в город приехали известные московские поэты Петр Ермаков и Борис Гастынский. Ермаков прямо с парохода пересел на сейнер и ушел с рыбаками в Алюторку.

Борис Гастынский не выносил качки и остался на берегу. Он намеревался, как объяснил сам, посвятить Сахалину цикл стихов, в которых бы ощущался пьянящий настой островной романтики, и с этой целью наметил себе довольно сложный маршрут: посещение шахты, рыбозаводного завода, леспромхоза, нефтепромысла, санатория и птицефабрики. Горисполком, глубоко уважая предстоящие перед москвичом задачи, выделил ему из своих не шибко солидных фондов хорошую машину «газик».

Местный кружок «пишущих» воспользовался тем, что Борис Гастынский и вышеозначенный «газик» смогут воссоединиться лишь утром следующего дня, устроил в честь московской знаменитости небольшое вечернее торжество с армянским коньяком и сахалинской красной икрой.

Варя сидела за столом напротив гостя и зорко наблюдала, как говорит и ведет себя знаменитость. И видела, с каким старательным вниманием в выпуклых влажных глазах он выслушивает каждого докучливого рассказчика, воодушевленного возможностью показаться свежемужеловечу.

Одной рукой с длинными бледными пальцами поэт поддерживал голову, охваченную черным курчавым пламенем, другой поигрывал рюмкой с коньяком. Изредка при всеобщем уважительном молчании он произносил, заменяя букву «л» странным сочетанием, нечто вроде:

— Да, суава вещь, несомненно, поуезная, она подстегивает и умножает творческие снуаы.

«Ну чем, чем он особенный, лучший?» — думала Варя, ревниво, дерзостно сопоставляя некрасивого, жидкого человека и своего Ваню, который сидел рядом с поэтом, но, в отличие от других, не лез к нему с расспросами, а молча, вдумчиво прислушивался к общему разговору.

И Варя дождалась-таки момента своего маленького торжества. Она увидела, как внезапно насторожился, затвердел медлительный, текущий взгляд Бориса Гастынского. Это он наконец заметил рядом со своей бледной, тонкой рукой налитую силой, медную от загара Ванину длань, которая, накренив большую бутылку, опрокинула в стакан точную струю спирта.

Борис Гастынский поспешно отодвинул от себя невесомую рюмочку, поблескивающую золотым ободочком, и запросил своенравным тенорком:

— Позвоуайте мне тоже.

Ваня налил ему полстакана спирта, добавил воды. Глубокими, громкими, судорожными глотками, скрывая отвращение, гость выпил жгучую смесь, вытер платком кривящиеся губы и выступивший пот на висках и зависимо, искательно улыбнулся Ване, сказал неискренним, рафинированным голосом интеллигента, приспособляющегося к обстоятельствам:

— Ох, чегт, до чего хогош этот спигтяга!

Ах, как Варя смеялась! Вслух, делая вид, что смеется над словом, брошенным невпопад начинающей поэтессой,

продавщицей книжного магазина Леночкой Окуневой.

А на другой день она с Ваней торопилась на работу, когда поперек их дороги встала длинноногая фигурка Леночки. Болезненно напрягая шею, Леночка рассказала тихим, удивляющимся голосом о том, как после вчерашнего Борис Гастынский попросил разрешения проводить ее домой и, оставшись с ней наедине в темноватом подъезде, попытался притиснуть ее к себе, призывая дрожащим, плаксивым шепотом: «Пгекгасное создание, умоуаяю, дай почувствовать твое уачезагное теуао!»

— Я ему по морде дала,— сказала Леночка и передохнула.— Взяла и дала. Он об стену затылком ка-а-к трахнется! Ругался. Поэт! Что он думает? Что мы здесь такие, что безо всякого, да? — Она спрятала нежное, раскрасневшееся от обиды лицо между торчащими отворотами дешевого волосатого пальто и заплакала.

— Да-а,— сказал Ваня. И строго задумался.

— Вот подонок, вот сволочь, а?! — сказала Варенька и гневно, и вполне удовлетворенно.

— И все-таки,— Ваня раздумчиво глядел вперед и выше,— не стоит, по-моему, Леночка, всем и каждому рассказывать об этом. Известный поэт как-никак. Не стоит подрывать состоявшийся авторитет. Ударила — и будет.

— Как, как? — Варя подскочила на месте.— Состоявшийся авторитет! Пошляк он и больше ничего!

— Ну зачем же, Варенька, сразу такое сильное и несправедливое выражение? — Ваня улыбнулся ей, теребя бороду.— Хочешь не хочешь, а он поэт, признанный, больше десятка сборников выпустил. Ну, сорвался вдруг... Бывает...

— Вдруг... признанный,— Леночка Окунева вскинула голову и, пронзительно глядя зареванными глазами то на Ваню, то на Варю, сказала: — Липкие тощие пальцы, лезут, хватают за грудь, мычит, дрожит... — Она прерывисто вдохнула в себя воздух, не прощаясь прошла между ними с жестким, беспощадным выражением на мокром лице, к которому пристали темные ворсинки от пальто.

— Девчонка! — вздохнул Ваня, снисходя и оправдывая, пожал плечами и пошел вперед.

— Это что ж, порок? — крикнула ему вдогонку Варя, продолжая стоять на месте, словно им было не по пути.

— Я имею в виду излишнюю болтливость,— обернулся он и подождал ее.

— Сначала было его хамство,— сказала она, продолжая стоять на том же месте.— Он хам! Пошляк и хам! Слышишь?

— Варенька! — Ваня зажал бороду в кулаке, большими скорыми шагами подошел к ней. — Конечно, не джентльмен. Только не надо так громко — люди. Все это ерунда, в общем. Ну что произошло, что? Перепил, полез, ему дали в физиономию. Зло наказано, добродетель торжествует. Не изнасиловал же он ее, в конце-то концов! Остынь, будь умницей. Давай я тебе шляпу поправлю. Вот так... вот... — И поцеловал ее в щеку, пахнув резким, но приятным ароматом «Шипра».

«Интересно, скольким людям в час, в день, в год говорятся подобные успокоительные слова? — подумала Варя, ежась под пуховым одеялом. — Нет, не раздраженным, нетерпеливым голосом, а мягко, сочувственно, вкрадчиво. И кому удастся устоять? Кто, рискуя семейным миром, все-таки сказал: «Нет, не хочу и не буду умницей! Нет, нет и нет!»

Она хотела. В том-то и дело. А не в его тоне. Она сама выбрала себе свою любовь и хотела быть умницей и была умницей, верной, благоразумной женой поэта, сочиняющего стихи, которые нелегко запомнить, даже если они посвящены тебе... Хотела, и у нее получалось. И чем дальше, тем лучше. Так ведь оно и должно быть по идее...

«Сахалин — кладезь тем для творца, который спрашивает с себя по большому счету», — вспомнила она нечаянно застрявшую в памяти строку из рецензии на стихотворения мужа. И далее о том, что «начинающий поэт И. Белокуров радует сердце читателя желанием отобразить как можно больше сторон нашего многогранного островного бытия». Рецензию написал пенсионер Д. Чесноков. За гонораром он пришел в зеленых очках больного глаукомой. Когда же узнал, что Варя — жена поэта И. Белокурова, наивно изумился, снял очки. На Варю глянули честные, доверчивые старческие глаза.

Но не слишком ли перехвалил наивный старик поэта И. Белокурова? Настолько ли поэт И. Белокуров неудержим в своем стремлении черпать из кладезя сахалинского бытия?

Варя села в постели и, глядя перед собой тоскующим взглядом, позвала:

— Ваня! Проснись! Я нашла для тебя. Какая тема! Ей-богу!

— О чем ты, милая? — спросил сиплый со сна голос мужа, оттуда, из угла, из-под торшера, где, невысоко разлившись, застыл мирный полусвет.

— О теме, об одной темке, — зашептала она зло и

вкрадчиво и не поворачиваясь к нему. — Нам надо доделать сборник? Надо. «Сахалин — любовь моя». Ну?

— Надо, — осторожно согласился он. — Но...

— Вот я и предлагаю тему, — поспешно перебила она его. — Представь — ночь. Глухая, холодная ночь. Все спят. Но только не хирурги. Хирурги делают операцию. Сложнейшую! И все на грани: выживет — не выживет. И они час за часом... осторожно-осторожно... Господи, помоги им! Представь только! Ты только представь!

Она уже кричала. И ждала. Вот-вот и он не выдержит, поймет и стукнет кулаком, швырнет на пол торшер, наконец, ударит ее, закричит сам: «За ко-го ты ме-ня при-ни-ма-ешь?!»

Она даже зажмурилась в ожидании удара.

— Умница. Спасибо. Только не кричи — соседи, — услышала его негромкий благодарный голос. — Между прочим, я и сам подумываю обо всем этом. Тема так и просится в руки. У меня даже первые строчки родились. Послушаешь?

— Еще бы! Читай, читай! — ошеломленно прошептала она и упала навзничь.

Неторопливо, вдумчиво, не вставая с кресла, он продекламировал:

Ночью поздней сахалинской
Город спал глубоким сном,
Лишь одно окно светилось
Голубым святым огнем...

Он был неуязвим и неприступен для нее. Хоть лезь на стену! Но это действительно был он, кого она видела, слышала почти три года? Кого любила, с кем легко, радостно соглашалась?

— Ну как? — спросил и подождал, пока она ответит ему.

— Как всегда, — сказала она, и он больше ничего не спросил — должно быть, решил, что понял, что она хотела сказать.

— Просто удивительно, до чего мы с тобой сроднились. Не сговариваясь, думаем синхронно. Знаешь, я тут прикинул... В двадцать пять четверостиший все уложится. И небольшая поэмка готова. Сборник укомплектован полностью.

— Спи дальше, — посоветовала она ему сквозь стиснутые зубы. — Спи дальше. Зачем я бужу тебя, дура?

«А почему бы прямо не резануть? — подумала про

себя.— Нет, не могу. Робею. Но почему я вечно робею говорить с ним прямо и определенно? Даже сегодня... Или потому, что приучила его совсем к другому и он представить не может, как я ему вдруг нагрублю? Или все еще не хочу?»

— Ты тоже постарайся уснуть,— сказал он ей.— Я так мыслю: если телефон не звонит и никто не возвращается, значит, есть надежда. Так что не нервничай понапрасну и...

— Ага,— сказала она и вжала ухо в подушку, а в другое сунула палец, лишь бы не слышать, что он там выдаст еще.

И вдруг вспомнила. К чему?! Вспомнила его обнаженным. Как он после всего стеснялся лежать рядом с ней в чем мать родила. И срочно лез искать трусы на спинке стула, куда всякий раз вешал их, аккуратно сложив вдвое. А она терпеть не могла, когда он в преддверии любви с таким выдающимся тщанием размещал свое исподнее, и нарочно ногой сбрасывала свои тряпки на пол.

«Нашла чего вспоминать! Ну и ну!» — как бы услышала его уничтожающий голос и, как ни удивительно, не смутилась, не поддалась и, пожалуй, уже не могла поддаться. Некуда было податься — вот в чем дело. Как будто нет больше выбора. Как будто с отчаянным трудом, раздирая в кровь кожу, карабкаешься на неприступную скалу, с которой спуститься в том же месте уже невозможно, и приходится карабкаться выше, чтоб оглядеться и окончательно решить, что и как. Передышка — и выше. А он отказался, остался где-то внизу. Впервые за все время их совместной жизни. Хотя обычно они шли вместе. Дружным, спорым шагом по хорошо обтопанной дороге. И она была умницей. Женой, литсотрудником отдела писем городской газеты, студенткой-заочницей ВЮЗИ и плюс ко всему умницей.

«А что, если быть умницей и было моим основным занятием все эти годы? — вдруг подумала она.— Во всяком случае, я здорово преуспела в этом деле».

Ах, как ей легко было работать в редакции! Ванина правда. Приходишь в свой маленький кабинет с большим окном, которое открывается, тесня упругую рябиновую крону. И одна ветка со всеми своими листьями и ягодами висит над тобой целый день, удивляя и очаровывая проходящих.

Подумать только! У тебя, пигалицы, можно сказать,

трижды неудачницы и не так уж давно никому не нужной в этом городе, пусть маленький, на двоих, но свой кабинет и на двери с наружной стороны висит табличка и с твоей фамилией — черной типографской краской по белому картону.

А еще у тебя новый стол, обтянутый сверху блестящим дерматином, стул с мягким сиденьем и спинкой, шелковые занавески на окне, подшивки газет на особом столике в углу, а там и сям по стенам, чтоб веселили взгляд, разные фотографии и огненный польский киноплакат с контурным изображением раскрытого, как книга, женского тела (Жорино смелое приобретение).

Усаживаешься. По левую руку стопка чистой бумаги, по правую — письма читателей, чья судьба — это ты.

Подвигаешь ящиками, полными бумаг, приготовишь ручку, ответишь на первый звонок серьезно, строго даже, потому что чувствуешь себя при большом, всеми почитаемом деле. Как-никак ты — власть.

Подтянешь к себе пачку писем, рассортируешь в зависимости от их значения. Точнее — в зависимости от собственных представлений о важном и неважном.

«В поселке Рыбинском третий день нет хлеба — пекарь празднует крестины». «Ха-ха! Жора небось переписал это в свою знаменитую книжцу. Анекдот! Комедия!»

«...Жена жалуется на мужа. Чем это он ей не угодил? Ну, ясно — пьет. Нет, не совсем на мужа, на администрацию и местком — не влияют, а он, значит, буянит. Ну и обращалась бы в милицию — чего же!»

...Комсомольский секретарь Правдинской школы возмущается молодым специалистом, некоей Тамарой Хомяковой, которая до сих пор не явилась на место работы, а устроилась в городе библиотечаршей. «Вот-вот! Если бы только я!» «Стыд и позор Тамаре Хомяковой, она нисколько не подумала о том, как нужна именно здесь, в нашей школе, где так не хватает кадров!» — заканчивал письмо секретарь. «Ну зачем такие громкие слова! А сам ты что, ангел?»

«...Группа больных благодарит коллектив больницы и лично врача Нечаеву...» Опять эти благодарности! И за что благодарить-то, если разобраться? Каждый делает свое дело и получает зарплату».

«Дорогая редакция! Помогите сладить с директором нашего совхоза Захаровым И. Г. Он ведет себя своевольно, по-княжески, нисколько не считается с общественным мнением, с интересами дела, с рабочими груб. Последний

случай: в пятикомнатный дом, где совхозное собрание постановило разместить ясли, он вселил своего главного инженера с семьей из четырех человек. Мы протестовали, но все бесполезно. Учтите моральный урон. У людей складывается впечатление, что они бессильны перед несправедливостью и...»

Помнится, она призадумалась, читая это письмо. Оно ее смутило и возмутило. Захотелось самой рвануть в совхоз, разобраться во всем подробно и бабахнуть что-то вроде фельетона. Но подумала о том, сколько вообще совершается несправедливостей, неэтичных поступков в день, в месяц, в год... по району, области, по стране... Ну и что она может тут? Какие такие особые у нее силы? Ну, раскритикует одного директора... И она не поехала в совхоз. Она отослала письмо в райисполком «для ознакомления». Легко и просто.

Впрочем, не совсем так и не всегда. Вдруг набегит Лялька из идеологического, перевероршит почту, не спрашивая разрешения. У нее такая манера. И одевается она по-мальчишески, в брюки и свитер, если едет в командировку. А так как она из командировок не вылезает, то из брюк и свитера тоже.

— Эй! Варвар! Драгоценности укрываешь! — заорет, как бешеная, — ее способ выражать восторг. — Опять про Нечаеву пишут! Опять благодарят! Я интересовалась — этой врачище всего двадцать пять. Еду знакомиться. Невозможно не поглядеть, не потрогать.

И ехала, потом бегала по редакционным отделам, рассказывала всем, кто хотел и не хотел слушать, какая невероятно удивительная эта молоденькая, тихонькая с виду гинекологичка-хирург. Писала очерк, страниц на тридцать. Тетя Лиза «выжимала воду», оставляя на номер пятьсот строк. Лялька возмущалась, умоляла, даже редела — так ей было жаль «зарезанных» подробностей.

А она, Варя, думала о ней: «Высшее образование, фигура прекрасная, а не ценит себя нисколько. Не оденется толком, не причешется. Вагоны, машины, мятая балетка, в балетке зубная щетка, бегают, носится, кричит... Работа, работа... Не заметит, как останется одна».

На Лялькины очерки приходили отклики. Лялька рвала их из Вариных рук, красная, смущенная, счастливая. «Взбалмошная», — думала Варя и продолжала заниматься своими делами.

Неотвеченное письмо обнаружит со временем Сережа, студент-практикант из Уральского университета, и напишет фельетон о своевольном директоре совхоза Захарове И. Г.

О новом уникальном мосте через какую-то горную речку Крылатку выдаст подвал старик Иванов из производственного отдела. Лялькин очерк о киномеханике без обеих ног будет называться «Вы должны знать про Сережку!».

— Ну, девушка, бросили кости на стул, поехали метать икру в номер,— провозглашает Жора Самсонов, ее заведующий, усаживаясь за свой стол по другую сторону окна.— Жми, девушка, на всю железку, газетка кушать хочет.

Поерзает на стуле, удобнее размещая свой тощий зад, потрет одна об одну костлявые цепкие руки и пойдет, не разгибаясь и смешно двигая ушами, скрипеть пером. В обещанный перерыв вскочит и побежит в столовую, а вернется раздерганным, подсвистывая сквозь вставные зубы, блестя черными веселыми пивными глазками, и опять до глубоких сумерек царапает пером бумагу.

Жоре какое-то неопределенное количество лет. В газете он считается могущественным практиком, способным прямо из ничего создать нечто и заполнить вечно страждущие газетные поля. Новички, которые прямо из вуза, посматривают на Жорино творчество свысока и насмешливо. Жора платит им тем же и колет их обесценивающими, безжалостными цыганскими глазами...

У Жоры в наличии примерно пять начал, которыми он пользуется в зависимости от жанра. «Было раннее утро, когда Степан Иванович вышел из дому» — так Жора, посмеиваясь и потирая руки, начинал обычно очерк о знатном производственнике. «В цехе, когда я пришел, меня встретил грохот и лязг» — а это излюбленное начало его производственных репортажей. Ну, и так далее, в том же роде.

Одно время Варя думала, что иначе писать и нельзя, не по правилам. А потом стала думать, что это дело вкуса и, собственно, не ее дело. И все потому, что была умницей и никаких таких своих мнений-суждений старалась не иметь и тем более вслух не высказывать. Да ведь и результат налицо: никаких лишних волнений, спокойствие, благодать.

— Чего это у тебя там, девушка, на розовой бумаге накалякано? — интересовался Жора Самсонов, на миг оторвавшись от писания и стремительно закуривая сигарету «Шипка». — Чего-чего? Семейный очаг разваливается? Хохол! Новости-и-и! Баба пишет?.. Мужик?! Ну, кретин!

И тихонько похихатывал, поскуливая от странного удовольствия. И Варя улыбалась в ответ. Это было еще тогда, когда Жора Самсонов казался ей безобидным и забавным — и только.

— Ладно,— решил Жора, выплевывая на пол налипшие на язык табачинки,— вызови его с женой на пару, беседу проводи в рамках морального кодекса. Валяй, валяй, не робей, а действуй. Положено!

И ведь вызывала. А как же! Вежливо усаживала напротив двух седеющих, угрюмых, несчастных людей в неухоженной, немодной одежде и, радуясь, что сама такая вот молоденькая, свеженькая, чистенькая, с прекрасной прической, в которой не найти и двух слипшихся волосинок, принималась нарочито озадаченным, скорбным голосом расспрашивать, как и почему они перестали быть нужны друг другу.

Легко, ой, как легко ей было работать в газете! «Так легко — легче не придумаешь»,— подумала Варя Белокурова, лежащая под пуховым одеялом, и зажмурилась, но все равно продолжала видеть и себя, и тех двоих и знала, что если даже натянет на глаза свое толстое, пуховое одеяло в пододеяльнике, все равно не получится, все равно ей не справиться сегодня со своей великолепной, безжалостной памятью.

Бог мой, как нравилось ей это интеллигентное занятие — поучать незадачливых супругов, наивно поверивших во всемогущество печати! Втайне она сопоставляла свою безукоризненно отлаженную жизнь и чужое тусклое, скандальное существование и получала дополнительное удовольствие.

Иногда в моменты таких вот бесед «в рамках морального кодекса» ей звонил Ваня. И она, извинившись перед посетителями с фальшивым сожалением, тотчас отвечала Ване и звонким, и счастливым голосом:

— Да, милый! Отлично, милый!

Она этим самым как бы демонстрировала сидящим подле людей наглядный пример правильной, чистой, достойной жизни, хотя и не верила, что они способны последовать ему, как не верила, что нервная женщина с грубо раскрашенным лицом и в дрянной шляпке когда-нибудь сумеет одеваться со вкусом.

Как же и что она, девица двадцати с небольшим лет, едва-едва начавшая самостоятельную жизнь, знающая

лишь понаслышке, что такое детские пеленки, детские поносы, говорила в поучение людям вдвое старшим, обремененным детьми?

Что ж, это вспомнить тоже нетрудно. В том-то и дело, что это вспомнить совсем легко, как легко было ей и говорить это.

— Мне лично кажется,— вещала она со своего стула с мягким сиденьем и постукивала кончиками розовых пальцев друг о дружку,— мне лично кажется, что двое вполне взрослых людей должны, подумав, найти способ наладить семейные отношения. Тем более что у вас же дети. А дети не должны страдать,— поучала она пожилую супружескую пару и в тот день так заслушалась себя, что не заметила, как следом за Верушей, красноносенькой подчитчицей, тихонько положившей на стол гранки, в кабинет вошел Ник-Ник и стал у стены, опершись на нее лопатками.

— Да-а, дети... Дети — это факт,— пробормотал мужчина, с почтением приглядываясь к длинной ленте гранок, и то же самое пробормотала женщина. Они разом поднялись, потоптались неуверенно на месте, вздохнули и ушли.

И тут она услышала будто восторженный, будто благожелательный голос:

— Надо же! Как по-писаному, по-печатному! Прямо конец света, до чего внушительно, убедительно, обходительно, поучительно! — И долгим сострадательным взглядом Ник-Ник оглядел ее фигурку, ту ее часть, которая возвышалась над столом, и белую-белую кофточку, восхитительно отделанную двойным рядом рюшей у шеи и на рукавах, и пышно взбитые волосы, и красные рябиновые люстрочки ягод, свесившиеся над ней,— была ранняя осень, и окно открывали на весь день.

Он был без кепки и без галстука, разумеется. Но со своим неизменным неуклюжим портфелем, который зажал между ног. А руки завел за спину и так, что кисти не видны совсем, а только острые локти и один конец толстой трубки из газет и журналов. Небось накупил по пути в киоске все, что было свежего. Такая у него манера.

И то, что не носит галстуков, тоже его манера. Он говорил, что галстук его душит, в то время как Ваня уверял, что галстук его согревает. Впрочем, на эту тему между ними дискуссий не было.

Но, как рассказывали, телекарьера Ник-Ника свернулась, не развернувшись, именно из-за его неприятия галстуков и любви к рубашкам с расстегнутым воротом. Его,

рассказывали, уже собрались записывать на пленку и прямо, без тракта,— так этим телевизионщикам понравился весь его разговор,— а он им, кажется, про свое путешествие по чеховским местам Сахалина рассказывал, как он с ребятами пешком шел, каких людей встречал и всякие неожиданные случаи... Только вдруг телевизионщики схватились за голову. Как же его записывать, если он без галстука?! А в телевидении положено, чтобы каждый выступающий был при галстуке и в костюме.

Телережиссер, деловой малый, побежал и принес собственную коллекцию телегалстуков, которую хранил для подобных экстраслучаев. Он был счастлив, предлагая Ник-Нiku такой богатый выбор. Но Ник-Ник не оценил сервиса. Он захохотал, разглядывая режиссера, протягивающего ему руку с навешанными на ней галстуками, и сказал:

— Идея превосходна. Настолько превосходна, что я тронут. Только — стоп. Вы действительно хотите, чтоб выступал именно я? Но позвольте, именно я никогда не ношу галстуков. Не ношу — и все. Не люблю. А если надену, это буду уже не я, а кто-то другой, скорее всего — телеманекен.

— Подумаешь! — изумились и оскорбились теледеятели, ну, а тот режиссер с собственной коллекцией галстуков пуше всех, разумеется.

Вероятнее всего, он смотрел на телережиссера, который тянул к нему руку, увешанную галстуками, так же сострадательно, как и на нее, на Варю, в ее славном собственном кабинете с белой шелковой занавеской на окне. Он смотрел на нее суженными глазами, и они у него были в тот миг скорее зеленые, чем карие, и так блестели, как будто в них брызнуло смолой и они вот-вот вспыхнут трескучим пламенем. Вот-вот он оттолкнется от стены и ринется к ее столу, чтобы — дзинь-дзинь! — ух! ах! — сокрушить все и перемешать: рябиновые люстрочки, ее белую кофточку, листочки чистой бумаги, набор шариковых ручек... И смесь эта, пожалуй, будет поярче, чем огненно-апельсиновый фон на польском киноплакате...

Но пока он держался. Подняв укороченную левую бровь и время от времени дуя в узкую дырочку сложенных для свиста губ, говорил:

— И ведь все-все верно, все так. «Дети — цветы жизни». Ох, милая-я-я, ох, ку-колка... — Вот тут он подул в трубочку из губ в первый раз.

— Ну, а ты, ну, а ты, — она опять бессильно ненавидела его и уже начинала придумывать, как бы хорошенько его

проучить, — только и умеешь, что насмехаться. Печень болит? Несварение желудка? — При этом она поглядела на Жору Самсонова как на желанного свидетеля, способного оценить размах ее остроумия. — Короче, Ник-Ник, чего тебе надо? — Она опять поглядела на Жору Самсонова, теперь уже в ожидании, что вот сейчас он поднимет голову от своей писанины и пустит в незваного посетителя, мешающего работать, ядовитую струйку своих замечательных выражений, вроде: «Иди, старик, воруй, пока трамваи ходят! Не видишь — люди дело делают, не слышишь? Страх-ни пыль с ушей!»

Но Жора Самсонов, ее официальный покровитель, делал вид, что находится на другом краю земли, что он страшно занят, ничего не видит и не слышит, кроме раздражающего скрипа своей розовой авторучки.

— Вот что, — Ник-Ник оторвался от стены и вместе с толстой трубкой из газет и журналов и тяжелым обтёрханным портфелем прошел к ее столу, — вот что, куколка. — Он брякнул портфель на стул для посетителей, а трубкой ударил о край стола. — Хочу знать, какой резвунчик или какая резвушка дала материал для информации «Опять впереди»?

— «Опять впереди»? — Варя старалась блюсти холодно-вежливый, официальный тон. — За подписью «И. Смирнова»?..

— Кто факты дал? — прервал он ее. И опять постучал трубкой из газет и журналов о край ее стола и нетерпеливо подул вытянутыми губами, как на горячее.

— Кто? — Она откинула голову назад, как если бы у нее были длинные, падающие на лоб и щеки волосы. — Иван. Ясно?

Он продолжал дуть, не сводя с нее зауженных глаз, как будто учился свистеть, а у него не получалось.

— Иван. Ясно? — повторила она еще раз, как будто обороняясь именем своего всеми уважаемого супруга. — Нужна была такая информация. Ясно? В газете «дырка» была. Ясно? Попросила — выручил, рассказал по телефону. Ясно?

— Ага, — сказал он и поглядел на нее в трубку из свежих газет и журналов. — А помнишь, я тебе про Леньку говорил? Он стихи написал: «У меня отец пьет и пьет...»

— Нет, не помню, — поспешно отреклась она. — А что?

— Ничего особенного с точки зрения того, кого зовут Ваней. Вчера вечером пьяный папаша Лебедев вывернул Леньке руку за то, что тот полез защищать мать. Сообра-

жаешь, до чего кстати ваша замечочка насчет того, что П. П. Лебедев опять впереди, один из выдающихся производственников, черт его возьми?

— А если он действительно передовой производственник? — упиралась она и очень желала почувствовать себя оскорбленной и за себя, и за своего мужа.

— Это когда ж ты думать выучишься? — спросил он, опуская трубку и продолжая разглядывать ее в упор. — Жду, надеюсь. Неужто вовсе напрасно? — Он не спешил уходить, но не боялся ни ее, ни Жору Самсонова, он тянул из нее жилы и знал, что делает. — Ладно, — смиловился наконец и поднял портфель. — А Ванечке спасибо передай. Можешь в том же экстренном порядке по телефону. За его... — Закрыв глаза, усмехнулся и еще раз усмехнулся, дернув углами злых, презрительно поджатых губ, и стремительно вышел вон.

— Вот человек! Кошмар какой-то! Ужас! — сказала Вarya, когда шаги его затерялись где-то в глубине редакционного коридора. — Обязательно все так перевернет... Ужас! Из-за какой-то информушки...

— Легка ты на мою науку, девушка, — вдруг заговорил Жора Самсонов тихим, скучным, незнакомым голосом. — До того легка... Думаю — почему? Думаю — легкая наука моя, легче не придумаешь. И заманчивая. От поступков избавляет, от инфарктов предупреждает. Ты у меня ученица покладистая, благодать. Подонок я неблагодарный, тыс-изыдь. Слушаю тебя, значит, наблюдаю и подсмеиваюсь. Гаденькое это, но и приятное занятие — таких вот, как ты, приличных девушек совращать, умишко их праведный растлевать. Податливенькие уж больно, готовые, мякиш, кисель молочный, желе клубничное...

Вот он оказался какой, Жора Самсонов! Как будто обнаглел вдруг и вместо того, чтоб продолжать свою скромную, безобидную роль забавного работающего человечка, полез в герои, в личности, чужой текст присвоил безо всякого. Она со страхом и смятением вслушивалась в незнакомые, неожиданные интонации его нового голоса.

— Я-то что, если по совести? Я — человек конченный. Сам распрекрасно знаю. Хотя кое-какие оправдания имею.

Он давно вскочил из-за стола и бегал по комнате, как мышь, попавшая в мышеловку, глядя в пол, вобрав в плечи лысеющую голову и щелкая пальцами.

— Часто, девушка, очень часто мне кажется, что самый счастливый человек на земле — это я. Я циник, и скептик, и скрытый алкоголик, и ничейный муж, и заурядный лит-

обработчик, и тайный собиратель гаденьких анекдотов, и... А что? Все имею в общем-то. До отдельной квартиры дослужился. Деньги есть, женщины, если надо, и сам себе голова. Вот и кажется — не бывает лучше, чем мне. До тех пор кажется, пока его не вижу. Его, его, Николая Гаврикова.

Он остановился внезапно и глянул в закрытую дверь. — Вместе начинали. Еще в старом доме, в японском. Снесли его напрочь. Полы скрипели, что твоя палуба в шторм, из окон дуло, столы старые, в чернилах, огромные, кубов на пять, если на дрова пустить. Вот кто писал, скажу тебе! За старым, топорным столом с затхлыми ящиками. Я чужое по большей части обрабатывал, а писал он, Гавриков Николай. Его уже в областную звали заводделом. Да нам вот эту хоромину откололи как раз, мебели самоневейшие понавезли, тыс-изыдь... Ушел. Ни с того ни с сего. Так ему Лизавета Михална и сказала. Мол, что это ты, лапочка, хвост трубой, пожалеешь, одумаешься. Не возражал, все молчал да в окно глядел. А я-то знал, в чем дело. Тошно ему, видишь ли... Компромиссики, видите ли, не по нем. А как без них, без компромиссиков-то? Жизнь. Не остановился. От отца с матерью ушел, чтобы с Лизаветой Михалной видеться поменьше. Комнатешку снял где-то... По прямой шпарить пожелал, видите ли, учительшкой в школу определился. Роберт Оуэн образца 1960 года. Ни тебе славы, ни тебе денегат приличных. Голая идея — взять первый класс и вести его до выпуска. Ну не балбес ли? Притих я, затаился, ждать стал, когда он, значит, скулить начнет и на попятную... Уж я бы над ним! Надо мне позарез, чтобы он из Оуэнов-то ушел, и дверью хлопнул, и плюнул бы, — кха! До сих пор жду втихую и надеюсь, надеюсь — не осилит и уравниюсь я с ним. Жду. Держится! Жду. Нет, не скулит, а если и скулит, никто не слышит и не о том, о чем бы мне хотелось. Знаю. Чувствую. Неужели выживет? Встречаю его — тошно. Все мое счастьешко дермцом вонять начинает. А жизнь-то, девушка, одна-единственная у меня. И у тебя тоже, между прочим. Менять? Что менять? Меняться! Вот! Первое, если по совести, — из газеты вон. Не мое это место. Высоко, не по способности, сижу. А куда? Кем? Кому это мое место? Тебе, что ли? А ты лучше? Чем? Моложе — да. А лучше... Выпью пойду. Надо. И зачем он пришел? Зачем вообще по земле ходит, глаза мозолит? А знаешь, что хорошо, девушка? Хорошо то, что таких вот, как он, не очень-то много. Ой, как хорошо это для нас с тобой, девушка!

Еле дотерпела до вечера — так хотела рассказать мужу о неожиданном превращении Жоры Самсонова.

Рассказывая, она, чуткая жена поэта, подбирала, однако, выражения поосторожнее, чтоб, значит, ее муж, поэт, не помчался, чего доброго, выяснять отношения с Ник-Ником или с Жорой, не портил себе нервы, необходимые для творческого настроения.

Ваня стоял у зеркала, когда она рассказывала ему, подбирая выражения. Она тоже стояла у зеркала, чуть сзади, тянула волосы кверху и взбивала их металлической расческой с частыми зубьями. Если волосы взбить, то их кажется в три раза больше, чем есть на самом деле, а то и в четыре. Кто как умеет. Она умела хорошо.

Ваня завязывал галстук, поправлял воротничок, приспособливал запонки, рассматривал крошечный прыщик на виске и слушал. Через час он должен был выступать в поэтической странице устного журнала «Хочу все знать». Он слушал о том, как пришел разозленный информашкой Ник-Ник, как наговорил ей гадостей Жора Самсонов, и молчал. «Следовательно, копил возмущение», — думала она. И вот-вот его прорвет, он вспыхнет, скажет в адрес двух разных, но одинаково беспардонных людей гневные, уничтожающие слова и успокоит ее душу. Она взбивала волосы и хотела, значит, чтоб душа ее была спокойна. Только и всего.

— Что ж, — заговорил он вовсе не гневным, раздосадованным голосом, которым она хотела успокоить свою душу, а раздумчиво, и не в полную силу, и очень достоверно. — Что ж, Лебедев действительно пьет. Но работник он действительно толковый. Может быть, конечно, и не стоило упоминать в данном случае имя его в газете... Но я считаю — не такая уж это и трагедия, чтоб панику разводить. Впрочем, Колька психопат... с этой его привычкой всему придавать значение, все преувеличивать. Послушай, милая, скорее кончай возиться, иди пора, не люблю опаздывать, — сказал он. — Ну, а Жора... Не понимаю, чем он тебе опасен показался? — сказал он. — На твоём пути он не стоял и стоять не будет. Ему, собственно, некуда податься. Он не мальчик, не сумасброд, понимает, как с кем. Ну, разговорился, распетушился... Бывает... Сделай вид, что ничего не произошло, и все будет в норме. Оценит. И вот что, — он строго посмотрел на нее из зеркала, — извлеки пользу из разговора с ним. А польза такая. У Самсонова как-никак высшее образование. Пора и тебе. Я давно хотел посоветовать — ступай в юридический. В Южно-

Сахалинске есть У КП. Кое-кого я там знаю,— сказал он.— Ну как тебе эта моя нейлоновая? Пожалуй, мы правильно выбрали в полоску, надоели белые,— сказал он.— Жена Лебедева несколько раз была у меня, воздействовать на мужа просила. Следом бежит, просит как-то так воздействовать, чтоб покрепче, но чтоб он без зла в семью пришел. Как будто я царь-бог. Как будто у меня только и забот, что ее муженек. На вещи надо реально смотреть. Я ей в последний раз так и сказал. Обиделась. Женская логика. Я так и не разобрался, что тут к чему,— сказал он.— О, какая у тебя сегодня пирамида на голове. Тебе идет. Эффектная у меня жена! Ну, пошли, родная. Да, забыл сказать — сегодня вместо самого, Веревкина, Калёнов выступит. Говорят, в последний раз,— сказал он.

— Знаю,— сказала она, осторожно, чтобы не измять, охватывая нежнейшую «пирамиду» сиреневым мохеровым шарфом.— Отчет даю на пятьдесят строк.

— Говорят, в Южно-Сахалинск берут,— сказал он, ловко, умело помогая ей засунуть концы шарфа за воротник.— Охо-хо, весьма жаль... Потеря. Перчатки взяла? Побежали!

...Вот так. И все. И больше ничего. А чтоб о Ник-Нике со злобой, с ненавистью — ни-ни... Только с сожалением и как бы между прочим. В который раз с сожалением и недоумением — и только. Не было злых, гневных, уничтожающих слов, не сказал их Ваня, и если тогда ее это удивило, положим, то сейчас она даже рада, что Ваня был так спокоен, выдержан, непоколебим. И шепота тоже не было. Ну, того обязательного, элементарного, объяснимого в подобных ситуациях: мол, скорей бы подох этот Гавриков. Или: «Догадался бы пьяный папаша Лебедев прибить его как-нибудь ненароком. Вот бы-ы-ы! А?» Не было: «Слушай, милый (милая), хватит терпеть, сил нет, давай прикончим этого окончательно обнаглевшего, безудержного Гаврикова». Было? Да вы что?! Нет, конечно!

Был пристойный, мирный, обычный разговор у семейного зеркала. Прямо конец света, до чего мирный! Как будто и невозможно было по-другому, и ни к чему, и даже глупо, если по-другому. И она оставалась умницей, старалась оставаться. Еще как! И не замечала того, чего не хотела замечать. И ее, вот такую умницу с прелестной пышной прической, он любил. А она любила его.

И они вместе, под руку, вышли на улицу. Был поздний вечер, светлый от сияния свежих снегов, теплый оттого,

что снега эти источали густой, сладкий запах таяния. У подъезда на скамеечке, несмотря на сонный час, посиживали пенсионерки, шептались. Умолкли, когда увидели ее и его. Присматривались, значит. Эти пенсионерки с их выглядывающими, чересчур любознательными глазами были противны Варе. И их тупоносые матерчатые боты «прощай молодость» тоже. Но в тот вечер они показались ей приятными, пресимпатичнейшими старушенциями, добрыми, справедливыми феями, можно сказать.

— Вот пара-то! Вот счастье-то где! — прошептал вслед Варе и ее мужу старческий встревоженный голос.

А может быть, ей это показалось? Бывает же. Не имеет значения. Вовсе не обязательно слышать такое. Достаточно того, что ты сама веришь в свое счастье и в то, что все у тебя идет как надо. Веришь и не ковыряешься в собственных внутренностях. Больно нужно! Вот как она научилась справляться с этим... как его... углублением во всякие мелочи! Ах ты, милая.

«...Во всякие мелочи,— повторила про себя Варя Белокурова.— Которые, оказывается, вовсе не исчезают оттого, что ты не желаешь придавать им значения, а тихо, тайно накапливаются где-то под слоем каждодневных, сиюминутных забот, и вдруг оживают, и пробиваются наружу, выталкивая с поверхности все казавшееся важным и существенным, и нагло заявляют тебе: «Плати! За то, что пренебрегала нами, презирала нас, сбрасывала со счета. А мы были верны тебе, предупреждали, что придется расплачиваться! Не слышала, не хотела...»

Хотела и слышала:

«Вот пара-то! Вот счастье-то!»

«Только что же? Что ж тут такого? Что тут предвещало преступление? Отдавало преступлением? Настоящим ночным преступлением, с запахом пороха и крови, которое вот только что...— думала Варя Белокурова и хотела и не могла согреться под прекрасным пуховым одеялом.— Боже мой, боже!»

...Ответа не последовало. Вместо ответа она услышала в тишине частые мягкие шаги по свежему снегу, свои и Ванины. Шаги памяти, которой зачем-то потребовалось, чтобы она до конца проделала тот давний обыденный путь от дома до Дворца моряков и прожила еще раз тот вечер во всех подробностях.

...Дорога, притоптанная чистыми следами, круглит впра-

во, мимо большого портрета Чехова. В светлом сиянии снегов хорошо видна его затвердевшая в углах глаз и рта полуулыбка.

...О чем же тогда говорили они, обогнув портрет Чехова? Вроде бы о шубке.

— Надо бы тебе шубку из натурального меха, — сказал Ваня. — Не признаю подделки. Тебе какую хотелось бы?

— Но у меня это пальто еще новое и сидит хорошо, — сказала она. — Черную мерлушковую, если решим.

— Шуба нужна, — сказал он. — Как-никак не начинающая официанточка, а журналистка и, между прочим, моя жена, — сказал он.

И еще они говорили о том, что новое здание Дворца моряков просто прекрасно и что издали оно похоже на сверкающий во тьме кристалл. На прообраз зданий будущего. На таинственное сооружение марсиан. Что оно своими современными формами облагораживает облик города и развивает эстетическое чувство всех этих кондовых, заматерелых рыбаков и прочих работяг. Чудесный, превосходно вписанный в темное лесистое подножие сопки четырехгранник из стекла и света.

А какие волнующие запахи наплывают на тебя, едва ступишь внутрь! Крепко, чисто пахнет свеженатертым паркетом, тяжелыми шелками занавесей, и духами, и новой обувью от празднично гомонящей толпы. А порохом — ничуть. Еще, если приняться, пудрой, косметическим лаком, глаженной суконной формой моряков, ванилью из буфета, но только не порохом, не кровью, не ношеной грубой милицейской шинелью с холодными металлическими пуговицами.

От нее, от Вари Белокуровой, исходил, например, аромат модных импортных духов «Быть может...». На Ване был новый костюм из темно-синего бостона и издавал запах интеллигентного высокооплачиваемого труженика.

И все на этом скользко сияющем паркете, под ослепительными гроздьями люстр, многократно умноженное стеклом и зеркалами, выглядело в высшей степени благородно и так возвышенно и закончено, словно не было и нет на белом свете ничего более существенного, чем вот этот праздничный набор ультрасовременных интерьеров. И пьяного папаши Лебедева нет, и жалкой, зачумленной матери нет, и нахального, грубого Леньки, и его корявого стиха:

А за что мне любить его?
Мамку жалко и Катюку — и все.

И многого, многого другого, тусклого, нелепого, оскорбляющего чувство, тоже нет. Не Дворец моряков, а сияющий восклицательный знак в конце жизнерадостного призыва отдыхать, созерцать, ликовать.

Невидимый и тоже, должно быть, новенький магнитофон исправно подавал в фойе и в зал модное музыкальное меню. Желаящие сидели в низеньких креслах, обитых голубым дерматином, очень похожим на кожу, и слушали. Другие желаящие сидели в комнате отдыха и смотрели по телевизору хоккейный матч.

Варя и песенки послушала, и некоторое время постояла подле телевизора, а потом Ваня, отлучавшийся кое с кем поздороваться, взял ее под руку и провел в буфет, купил ей плитку шоколада и пару апельсинов. Буфетчица — Ваня называл ее Валюшей — дала ему еще коробку дефицитных «лимонных долек», которых на витрине не было. Ваня опять взял Варю под руку и повел в зал. Но тут им навстречу бросился молодой человек в черном костюме с красной повязкой распорядителя и попросил Ваню на сцену. Ваня, однако, прежде чем уйти, провел ее в зал и усадил на отличное место в середине четвертого ряда. Она глядела по сторонам, кто в чем одет, как ведет, и ела конфеты, и радовалась, что занимает такое хорошее место, в то время как другие, опоздавшие, не то что в партере, а и на галерке с трудом находят свободные места.

Зал набился плотно, шелестел программками, смеялся, спорил о случайных пустяках. Молодые глаза, молодой смех и нетерпение, тоже молодое, откровенное — ждали заключительного выступления ленинградского эстрадного оркестра. Но смирили себя, стихли, когда ведущий, тот молодой человек в черном костюме с красной повязкой на рукаве, объявил открытой первую страницу устного журнала, называющуюся так, как, должно быть, она называется во всех устных журналах от Ужгорода до Охотска, — «У нас в гостях передовик производства».

Потом в странице «Пахари голубых просторов» выступил капитан рыболовецкого сейнера.

Третья страница называлась «Творчество наших земляков».

На сцену из-за кулис вышел среднего роста, полнеющий человек лет тридцати пяти — сорока пяти с бритым, бледным, кабинетным лицом. Привычным жестом, выставив вверх локти, ухватил трибунку за крылья, откинулся назад, словно преодолевая силу ее сопротивления. Это был товарищ Калёнов, заведующий отделом культуры гориспол-

кома, человек, по словам Вани, стоящий, покровитель и ценитель его творчества... «Что ж, послушаем...» Варя взглянула на Ваню, сидящего у середины длинного стола, завешанного голубым бархатом. Ваня не заметил ее взгляда. Он повернулся в сторону выступающего. Линия его профиля, начинающаяся округлым изгибом темных волос над прямым чистым лбом, в который раз поразила ее своим мужеством и изяществом.

Калёнов все не начинал. Откашливался.

Она кинула на него досадливый взгляд. Ах, скорей бы! Скорей бы на эту трибуну вышел ее Ваня! И успела представить, как это будет, как Ваня сильным, спокойным шагом повернет от стола к трибуне и возвысится над ней, как мощно ударит в высокую тишину зала его певучий, упругий голос и поплывет ритмичными кругами, пробиваясь сквозь дверные щели в коридоры и фойе... А потом он кончит читать стихи и, пока будут греметь аплодисменты, спустится в партер, и все увидят, как он, уже многих пленивший, сядет в пустующее кресло рядом с ней, и догадуются, что она — жена поэта.

— Товарищи! — торжественным, требовательным голосом позвал присутствующих Калёнов и тотчас умело ослабил напор, смягчил согласные, подрастянул гласные: — Не пугайтесь, я не стану повторять общие места. Я попытаюсь вкратце остановиться на вопросе о том, как работают наши местные творческие силы, какую пользу приносят они массам своим трудом.

Товарища Калёнова слушали хорошо. Из уважения к должности и потому, что никто еще всерьез не устал, а более всего потому, что все, что говорил он своим отчетливым голосом, было все-таки настолько общеизвестно, что не требовало для восприятия ни умственного напряжения, ни эмоционального сопереживания.

Но, видимо, товарищу Калёнову хотелось большего, а не только однозначной вежливой тишины. Он перешел к примерам «местного порядка», которые подкрепили бы его мысль о том, что, несмотря на ряд успехов, творческая интеллигенция района допустила и ряд просчетов.

— Не будем ходить далеко, — сказал товарищ Калёнов и махнул в сторону зала белой, как чистый платок, рукой. — Я вижу среди присутствующих молодого художника Якушкина. Недавно мы организовали для него персональную выставку. Для него, как для...

На секунду в поисках нужного слова товарищ Калёнов задумался.

— Как для человека! — вдруг выкрикнул из зала озабоченный и такой до тоски знакомый Варе коварный голос.

— Именно! — согласился товарищ Калёнов и, обретя неожиданную поддержку, заговорил быстрее, свободнее меня интонации: — Как же поступает Якушкин? Что он выставляет? Отдельные картины действительно реалистичные и полезные для народа. Я имею в виду те из них, где в той или иной мере отражается славный труд рыбаков, рыбообработчиц, шахтеров. Это правильные картины. Но наряду с этими картинами мы видим пейзажи. Я насчитал одиннадцать штук. И что же? Якушкин — заметьте! — предпочитает рисовать такие пейзажи, на которых ни людей, ни заводов, ни копров. Почему, спрашивается? С какой целью вы, Якушкин, стараетесь обеднить нашу славную островную действительность? А что за солнце у вас на одном пейзаже! Фиолетовое! Вы что, импрессионист какой-нибудь? Где вы видели фиолетовое солнце? Красок других не было? Деньги кончились? Пришли бы ко мне, выписал бы я вам на краски, а то ишь...

Товарищ Калёнов отшатнулся слегка назад и развел руками.

— Ну, знаете ли, Якушкин... У меня, например... м-м-м,— его глаза лукаво сузились, а губы потерлись одна о другую,— есть кое-какой жизненный опыт, но я, простите, ни разу не встречал фиолетового солнца...

В рядах и на галерке прыснули, захихикали, загоготали.

Товарищ Калёнов переждал, удовлетворенно и снисходительно улыбаясь сомкнутыми губами.

— Я повторяю,— вновь и легко перешел он на озабоченно-суровый тон должностного лица, давно свыкшегося с обязанностью указывать, предупреждать, нацеливать, направлять,— повторяю, что мы организовали Якушкину персональную выставку, а он...

— Не оправдал! Не оправдал! — плаксиво вскрикнул тот же прекрасно знакомый Варе фальшиво страдающий голос...

Калёнов насторожился, нахмурился, слегка раздул ноздри короткого носа.

— Кто это там? — проговорил он и величественно прищурился сквозь очки.— Уж не вы ли, многоуважаемый Якушкин?

В зале стало тихо, как в классе перед неизбежным наказанием.

Впереди Вари, во втором ряду, неуверенно вытянулась длинношеяя фигурка малорослого человечка и заколебалась слегка. Знаменитые в городе предельно оттопыренные уши имели честь принадлежать художнику Якушкину.

— Это не я,— отозвался художник натужным голосом странного ребенка, который давно свыкся со своим положением и уверился, что сам он действительно не как все, и хотел бы, да не знает способа исправиться.

— Хорошо.— Калёнов вышел из-за трибуны, приблизился к краю сцены и простер в сторону художника правую руку примерно тем значительным движением, которое увековечено в бронзе памятника Юрию Долгорукому, что напротив Моссовета.— Вернемся к существу вопроса. Вы что же, Якушкин, учили-учили вас, государство на вас деньги тратило-тратило, а вы чем занимаетесь? Вы что же, желаете убедить народ в том, что фиолетовое солнце существует? Или это ваше особое видение и народ изволь его уважать? И плевать вам на мнение широкой общественности? Мы, народ, значит, ничего не смыслим в таких вот художествах? Это вы желаете сказать? Чего ж молчите? Отвечайте! Как всякими «измами» заниматься, так вы не стесняетесь, выкобениваете черт знает что, а как ответ перед народом держать — язык проглотили?

Якушкин молчал, свесив голову. Варя видела его стриженный и какой-то детский, незащитный затылок с глубокой впадиной сразу за последним острым хрящом позвоночника, его большие уши, и ей было жаль беднягу. Но рядом с этой смутной жалостью в ней вскипала горячая, мутная пена радости оттого, что не она стоит на месте несчастного, отверженного Якушкина, не ее осмеивают и оскорбляют при веселом, беззаботном, чудовищном одобрении огромного, многоликого зала.

Склонив голову, верно стыдась чего-то неосознанно, Варя не могла, однако, преодолеть любопытство и сквозь приспущенные ресницы продолжала наблюдать за Якушкиным, за тем, как он судорожно теребит пальцы сведенных за спиной рук.

Она взглянула на Ваню, мельком, лишь бы он не заметил ее странной неловкости. Но Ваня сосредоточенно так и этак вертел в руках какую-то бумажку и время от времени метил ее авторучкой.

«К происходящему он не имел отношения, не мог иметь, ибо был чрезвычайно занят,— возможно, срочно улучшал

рифмы в стихотворениях, которые ему предстояло читать», — подумала Варя, но не та, из четвертого ряда, а эта, придавленная пуховым одеялом.

— Я стремился... мне хотелось... искал, — мямлил Якушкин, не поднимая обесчещенной головы. — Я понимаю...

Скандал разразился внезапно.

С задних рядов партера вдруг заорал остервенелый, безудержный, все тот же прекрасно знакомый Вале голос:

— И тебе не стыдно, Якушкин?! Тебе не стыдно?!

— Вот-вот! Вот именно! Слышите, Якушкин, что народ говорит? — Калёнов опять опрометчиво обрадовался поддержке, сделал по авансцене три пружинистых шага и еще ловко повернулся на каблуках.

— Тебе не стыдно? Якушкин?! — гремел голос. — Не стыдно стоять побитой собакой? И юлить? И со всем соглашаться? «Понимаю...» Прямо конец света, какой понятливый! Тебе в рожу плюют, а ты благодарствуешь! Не молчи! Не позволяй обращаться с собой как со скотиной! Гляди, сколько глаз на тебя уставилось! Исхода ждут! Получают урок! Чего? Трусости? Угодничества? Очнись! По какому праву тебя шельмует этот человек? А ты кто? Лакей? Забыл, когда и где живешь?

Товарищ Калёнов выслушал все это не прерывая. Он оцепенел. До такой степени невероятно, кошунственно звучал громкий, свирепый голос с дальних рядов. Он смотрел туда ничего не понимая, замороженными глазами и не дышал.

— Эт-то что ж эт-то такое? — наконец выдохнул он и поспешил встать за трибунку и тотчас обрел утерянную было самоуверенность. — Эт-то ж как понимать, я вас спрашиваю? Эт-то ж безобразие, хулиганство! Кто позволил?! Кто позволил, я спрашиваю?

— Я позволил себе! Я! — дерзко признался сумасшедший голос.

И Варя зажмурилась. «Что-то теперь будет?! Что будет?! Опять он лезет на рожон и нисколько не думает о том, что и другие страдают из-за его ужасающей беспардонности!»

— Николай! — услышала зов, огорченный, но суровый. — Опомнись! Думай, с кем говоришь! Ты перешел все границы приличия...

— Плевал я на твои границы, Ванёк. Твои приличия не мои приличия!

Безумец! Он и не собирался раскаиваться, он продолжал грубить! Он не думал о последствиях! Он дошел до того,

что во всеуслышание оскорбил ее Ваню, ее мужа, ее любовь.

Варя кинула на сцену спасающий взгляд и промахнулась, не рассчитала произошедших в короткие минуты перемен. Ваня не сидел, а стоял, высокий, неподвижно-стройный в своем великолепном костюме и осуждающими запавшими глазами целился в того, нераскаянного, злонамеренного и опасного с задних рядов. Он тоже не собирался отступать. Он брал весь риск сражения на себя. Так надо было понимать.

— Кто-кто, а я тебя знаю,— произнес он на самых низких, самых мужественных нотах своего красивого голоса.— Демагог! Дешевую славу зарабатываешь?

— Не больше, не больше,— авторитетно подтвердил товарищ Калёнов.

— Якушкин! — как ни в чем не бывало позвал жуткий в своем ожесточенном упрямстве голос.— Да не молчи же ты! Защищайся, черт тебя дери!

Якушкин молчал. Потом вдруг сорвался с места и, красный, востропанный, вконец убитый случившимся, бросился вон из зала.

— Не могу! Не могу! — в отчаянии бормотал он, сутулясь под взглядами, и неизвестно было, чего он не может: быть таким, каким бы его хотел видеть товарищ Калёнов, или, напротив, отбрить товарища Калёнова так, как хотел бы того сумасшедший Ник-Ник.

— Гавриков! Вы срываете мероприятие! Просим удалиться из зала! — провозгласил Ваня.

— Во-он! Сейчас же во-он! — заорал товарищ Калёнов, обеими руками вцепившись в спасительную красную трибуну, и расширенными ненавистью глазами уставился на задние ряды партера.

Огромный зал, полный испуганных глаз и сомкнутых ртов, глядел туда же, на безумца, и еле слышно дышал.

Одна Варя смотрела прямо перед собой и выжидала. Чего?

— Вы окончательно забылись, товарищ Калёнов,— вежливо, даже слишком, сказал Ник-Ник, видеть которого Варя никак не хотела — и вдруг поняла, почему. Потому, что боялась встретиться с его дерзким, насмешливым, одиноким взглядом, со своей возможной судьбой, от которой она так удачно увернулась, убереглась...— Вы не в своем кабинете,— вежливо и четко выговаривал Ник-Ник, как будто переводил с иностранного лично для товарища

Калёнова.— И я к тому же достаточно вас не уважаю, чтобы прислушаться к этому вашему требованию. Но я достаточно уважаю людей, присутствующих здесь. Я обращаюсь к ним, к вам, товарищи. Если вы считаете, что своим поведением я оскорбил ваши чувства, если вы убеждены, что я поступил безобразно, беспричинно и так далее,— голосуйте. Если большинство сочтет, что прав товарищ Калёнов, а я — нет, я тотчас уйду.

— Что ж,— насмешливо проговорил Ваня. Он продолжал стоять и благодаря этой позиции и неоспоримой выдержке удерживал в своих руках бразды правления.— Что ж,— он поднял граненый карандаш,— кто за то, чтобы Николай Гавриков,— карандаш крест-накрест перечеркнул воздух,— нарушивший элементарные правила общественного порядка, покинул зал?

Улетучивающийся скрип сидений, шорох одежды — неопределенная, многоликая, полная неожиданностей тишина...

— Элементарные правила общественного порядка,— усмешливо вздохнул за спиной у Вари чей-то усталый немолодой голос.— Силен, бродяга!

Варя осторожно оглянулась. Никакой ошибки — Лошкарев. Сидит наискось от нее через два ряда на приставном стуле. Серовато-белые волосы отливают металлом. Узкая линия сомкнутых губ чуть искривлена невеселой, иронической усмешкой. Еще Варя заметила его руку, очень белую на черном сукне колена, которая то сжималась в кулаке, то разжималась. Эта рука ее испугала. Варя отвернулась поспешно. Ей вдруг стало страшно за Ваню, да-да, за вот этого красивого, сильного человека, уверенно стоящего лицом к лицу с залом. «Ваня, Ванечка!» — торопливо и в который раз призвала она на помощь своему нечаянному смятению всю покровительственную нежность, которая была ей отпущена судьбой.

Не выпуская из рук крыльев трибуны, в суровой, торжественной неподвижности застыл товарищ Калёнов — ждал исхода. Но зал хранил все ту же неопределенную, предродовую тишину. И чем туже тишина эта натягивала струну ожидания, тем выше и выше товарищ Калёнов поднимал голову, и вряд ли он делал это намеренно. Его второй подбородок расплющился и исчез, как будто его и не было, зато сзади, на шее, вспучилась тугая жировая складка.

— Товарищи,— сердечно, дружески вымолвил Ваня, продолжая возвышаться на сцене, над столом, завешенным

голубым бархатом, — давайте же поторопимся с решением и продолжим программу. А то, чего доброго, — он улыбнулся белозубой улыбкой из глубины пышной черной бороды: понимающий всеобщую слабость добрый друг, — а то ленинградский джаз утомится ждать и уйдет...

Зал, застигнутый врасплох, задвигался, заёрзал, загудел встревоженно. И Варя с облегчением увидела первые выбравшие решение руки, вытянувшиеся поверх голов, как древки без знамен. Их было не много, но все-таки они были.

«Выстоял, одолел, пересилил, — решила Варя. — Потому что он всегда знает, чего хочет. И знает, чего хотят другие. И рассчитывает свои силы. Ник-Нику до него — куда-а! Я бы сразу пропала с ним. Бедный, бедный Ник-Ник, ну до чего же ты упрямый, нелепый и...»

«Вот же, вот! Разве она и тут, в зале, после того, как Ник-Ник публично оскорбил ее Ваню, разве она желала ему зла?» — спросила себя Варя Белокурова так, как если бы ее спросил об этом чужой, недоверчивый человек, которому почему-то смешно и то, что она сидела в четвертом ряду, жевала конфеты и переживала за Ваню, и то, что теперь она лежит под пуховым одеялом и не может согреться, и еще то, что она зовется женой поэта, и еще, и еще...

«Нет, никогда я не желала ему зла, — ответила тоже как будто она сама, но получилось выпененне до смешного. Это продолжал смеяться над ней чужой, жестокий человек, засевший у нее внутри. — Что вы, что вы! Напротив! — подражал он ее голосу. — Если бы только этому бедному Ник-Нику повезло! Да, да, я всегда, всегда хотела, чтобы было как-то так хорошо... Чтобы везло сразу всем — и Ване, и Ник-Нику... Во всяком случае, я не подняла руку за то, чтобы его прогнали из зала. Правда, я не подняла руку и за то, чтобы его оставили в зале...»

...А его таки оставили. Не по милости товарища Калёнова, не по счастливой случайности, а потому, что к первым рукам, кротко поднятым в обмен безумца на джазовый концерт, добавилось еще несколько десятков, преимущественно в рядах, близких к сцене. Однако от этого сложения сумма по-прежнему не внушала уважения. Ваня, умный, находчивый, прекрасно ориентирующийся в обстоятельствах, начал было шевелить губами и постукивать в лад граненым карандашиком по столу — считать, — но вовремя остановился и целомудренно умолчал полученную цифру.

Домой они возвращались молча. Варя чувствовала себя усталой и разбитой и Ваня, должно быть, не лучше. Но на пустынном ночном перекрестке, где его никто не мог услышать, вдруг остановился и признался:

— Во вчерашнем номере «Литературки» есть обзор творчества... дальневосточных поэтов. Автор Ермаков. Тот, которого никто из нас не видел. Надо же!

Ей почудился как бы солоноватый привкус в воздухе. Обыкновенно ровный, самоуверенный голос мужа то и дело осекался, ломался, сдавал. Усталость и тоска сквозили в нем. Но это так невероятно!

— Знаешь что про меня? Мол, начинающий поэт И. Белокуров лишен самобытности, идет в поэзии проторенными путями...

Тоска и усталость, и отчаяние, и голос вял, натужен и словно чужой не только ей, но и ему самому.

— Хлюст вроде Кольки. Что он проторенными тропами называет? Где о Первомае пишу, о шахтерском труде? Какой смелый, гляди... Напечатали — вот стержень вопроса. Центральная газета. Для нашего издательства это почти что постановление Совета Министров. Заморозят мой сборник... А как же? Калёнов исчезает. Заморозят... Я даже так подумал: а если в Южный? С ним? Около? Я его сегодня до машины провожал. Но куда его там? Никто не в курсе. Мрак.

Солоноватый привкус в воздухе стал острее, резанул по глазам — высек слезы. Необычайные, странные слезы жалости к мужу.

— Ну что ты? Что с тобой? Не надо! Обойдется! — нежно, страстно заторопилась она уговаривать его, и ей сладко и жутковато было чувствовать себя в этот момент сильнее его и такой впервые настолько нужной ему.

Тем неожиданнее был его внезапный взглас:

— Что с тобой? Я — волнуюсь? Я просто констатирую факты, рассуждаю вслух, ищу выход.

А ведь солгал! Но зачем солгал? Ей? Он что, и ей не вполне доверяет?

Отшатнулась. Привлек.

— Ох, какой ты выдержанный, — сказала она растерянно, из вежливой необходимости как-то ответить на ласку. — Давно знал о рецензии и молчал. Улыбался... Весь вечер.

— Потому и улыбался. — Он крепче прижал ее к себе. — Чтоб все видели — нипочем. Лучший выход из подобных положений, родная моя.

Его голос звучал внушительно и ласково. Солоноватый привкус в воздухе постепенно исчезал от этих отчетливых, успокоительных звуков.

Может, испуг и отчаяние только померещились ей? И он нисколько не солгал ей? И то, что и ей не вполне доверяет, ее выдумка, не больше? Может... Может...

Как она устала, однако! Вдруг он поднял ее и понес, легко, бережно прижимая к своей широкой груди. И так ей тепло, сонно, уютно... как всегда, как обычно.

— Я видела сегодня Лошкарева, — шепчет она. — Он сидел сзади меня.

— Поговорили?

Он внес ее в подъезд.

— Нет, мне не хотелось. В это время ты как раз предлагал голосовать.

— Понятно, — сказал Ваня, останавливаясь у двери и на шаривая в кармане ключ. — Он тебя любит, по-моему. — Попридержал ключ в замочной скважине, дожидаясь ее ответа. — Ну, не по-настоящему, конечно. Но это хорошо. — И дважды круто повернул в скважине...

Ник-Ник был уже дома. Сидел на кухне за столом, приставив к чайнику какой-то раскрытый журнал, и, не отрывая от него глаз, глотал из фарфорового бокала свой чай невообразимой крепости.

— Дозволь. — Ваня осторожно вынул чайник из-под журнала и подsunул туда сахарницу. Чайник долил холодной водой и поставил на электроплитку.

Ник-Ник продолжал читать, изредка улыбаясь своему и не обращая внимания на Ванино и ее, Варино, присутствие. Длинные свои ноги он заплел вокруг ножки стула, а за щекой держал конфету и вообще выглядел благодушно и безобидно, как ребенок, поуставший от проказ. Было самое время пожурить его, наставить на путь истинный. Так показалось Варе.

Первым не устоял против соблазна Ваня. Он по-братски (именно это слово стоило употребить здесь) обратился к Ник-Нику:

— Колька, зачем тебе опять было все это нужно?

Ник-Ник дочитал страницу до конца, перевернул, и улыбнулся вдруг с самым благодушно-безобидным выражением в поднятых на Ваню глазах, и спросил сочувственно:

— Беспокоишься? Да? — Склонил голову набок, при-

щурился.— Не так уже уверенно чувствуем себя, Ванёк?

— Чушь,— не изменяя братскому тону, ответил Ваня.— Но надо же тебе хоть кого-то уважать!

— Хоть кого-то? — серьезно и почти отзывчиво переспросил Ник-Ник.

— Несомненно. Тот же Калёнов. Между прочим, народ его уважает. Умеет он с народом разговаривать. Немаловажное качество,— поприналег Ваня и, не чувствуя сопротивления, надал еще: — И получается — все шагают не в ногу, а один ты в ногу. Что, нет?

Ник-Ник захлопнул журнал, допил чай и с внезапным необычайным интересом уставился на черные Ванины английские туфли.

— Ой, хороши! — сказал он и даже помотал головой в знак одобрения.— Тут уж ничего ни убавить, ни прибавить — мировые полботиночки! — Поднялся взглядом вверх по стройной Ваниной фигуре и остановился на его бороде как будто.— Уважает народ Калёнова, говоришь? И тебе это доподлинно известно? Ах, куколка в новых полботинках под цвет левой брови! Может, ты — это и есть народ? Нет? Еще не укоренился в этом мнении? Ничего, со временем, недолго и ждать-то. Ты способный на избранном пути. Или сам товарищ Калёнов в момент, когда ты подсаживал его в машину, открыл тебе эту тайну? Одна знакомая генеральша так прямо и откровенничала: «Народ меня уважает». В жизни — как в жизни, милоч.

— Кончил? — спросил Ваня — и, представьте себе, добросердечно, как нянечка у постели тяжелобольного.— Повторяю в ответ на твою демагогию обозленного неудачника: Калёнов пользуется уважением, и не тебе...

— Ну что ты, что ты так разволновался, милоч? — Ник-Ник нежно-нежно глядел Ване в бороду.— Побереги здоровьице! «Он пользуется уважением»! Ха-ха! Он пользуется своим положением! Он и такие, как он. Третью квартиру меняет, между прочим. Кто говорит? Народ. Третью квартиру за два года. Правда, тихо говорит, но тем не менее... «Хапает, говорит, а речи толкает». Грубо говорит народ, а? «Полезуетя уважением»! Особенно хорош, когда начинает рассуждать с трибуны о ленинской скромности и неприхотливости. Прямо конец света, до чего здорово это у него получается!

— Слишком много ты о себе воображаешь,— проявив (в который раз!) блестящую выдержку, печально сказал Ваня, снимая с плитки кипящий чайник.— Пойдем, Варенька, к себе. Ты, Николай, чем дальше, тем злее и субъектив-

нее. У тебя, конечно, определенный талант хаять все без разбору. Ты что в человеке ценишь? А ничего существенного: ни дисциплинированности, ни...

— Я ценю страсть, когда она есть!

— Опять демагогия.

— Ей-ей? Все, что ты не понимаешь и не желаешь понять, есмь демагогия? А что такое демагогия? Знаешь? Ни черта! У-у, каким большим человеком ты обещаешь стать! Что ж, пользуйся моментом, тренируйся на мне! Чего удобнее! Не стесняйся! Лягни покрепче, пришей формулировочку!

— Читаешь все без разбору,— вздохнул Ваня, покачивая в руке горячий чайник,— и как бы это сказать...

— Ну ж, Ванёк, ну! Понимаю.— Ник-Ник снова уселся на стул, зажал его между ног, как оседлал.— Ой, понимаю: давно хочется тебе пристегнуть Кольку Гаврикова к чему-нибудь нехорошему, чтоб не маячил на светлом горизонте пятном неясных очертаний, не смущал публику. Чрезвычайно плодотворный путь! Героя изобрел! «Калёнов! Калёнов!» Светильник разума! Образец чести! Между прочим, слышал? Покидает он поклонников вроде тебя, уезжает. Не оценил вашей преданности! И не сможет ее вознаградить!

— Идем, Ваня, идем! — не выдержала Варя.— Ты же видишь, человек ничего не хочет пони...

— Молодец, куколка! Самую суть ухватила! — как будто бы в восторге воскликнул Ник-Ник и поглядел на нее суженными насмешкой глазами.

Она выхватила чайник из Ваниных рук и ушла, так сильно хлопнув кухонной дверью, что та отскочила от косяка и запела, вновь отворяясь.

В своей комнате стукнула чайником о столик под торшером, звякнула дверцей серванта, побренчала посудой. Она хотела сказать всем этим намеренным шумом, что плевала на Ник-Ника, что его болтовня только раздражала ее — не больше, что ей вовсе не интересно, как там сейчас, в кухне. А между тем все ее существо было охвачено непонятной и чем-то оскорбительной тревогой и настороженно прислушивалось к дальним квартирным звукам.

— Что ты конкретно слышал про Калёнова? — донесся до Вари приглушенный Ванин голос.— Куда его переводят? Кем?

— Ах, вот оно что! То-то не торопиться чайком побаловаться! Ну как же куда! Не на повышение, нет, ни в коем случае! Напротив, там, в области, раскусили голубчика, и

полетит он теперь вверх тормашками! Загляденье! Вполне логичный итог! — веселился Ник-Ник и, кажется, еще и под-свиистывал от хорошего настроения.

— Точно знаешь, с понижением?

— Увы, нет! Надеюсь! Верю! Ага! Желаешь наверняка знать, чтоб соответственно маневрировать? Ну не дерьмо ли ты, Ванёк? Ну не стервец?

Варя застыла на стуле, как пригвожденная, не решаясь ни вернуться в кухню, ни пошевелиться. Впервые она обнаружила, что Ник-Ник способен с такой грубой ненавистью разговаривать с ее Ваней. А каково будет Ване, если он поймет, что она слышала, как его оскорбили! Вдруг тогда Ваня забудет всю свою выдержку и бросится на Ник-Ника? Драка? Скандал? Что же ей делать? И она решила затаиться, выждать, а там видно будет...

— Ни к черту у тебя нервишки, — услышала голос Вани, голос звучал спокойно, леновато даже. — А все почему? Тщишься плыть против течения. Тяжко тебе, тошно. Одно барахтанье...

— Да врешь! — перебил Ник-Ник. — Тебе тяжело, Калёнову твоему. А я что? Мне терять нечего. Я не трепещу каждую минуту: а как на меня тот посмотрел, этот, не позволяют ли некоторые смутьяны-с мой авторитет своим языком подрывать-с? Разве такие, как вы с Калёновым, живете? Вы изворачиваетесь. И все по бумажке норовите читать, как бы с курса не сбиться. Хорошо знаете цену друг другу, потому друг друга и боитесь. Но и нуждаетесь друг в друге! И закон ваш, и совесть ваша — круговая порука.

— То, что ты в известном смысле умственный пролетарий, — не отнимаю, — согласился Ваня. — Так что...

— Старо, Ванёк! Во-о какая борода. Не собьешь! — упорствовал Ник-Ник. — А хотел бы, а? Ах, дорогуша! Мне легче, мне проще, мне вольнее, а вам — ой-ой-ой!

— А доверяют все-таки нам, — огорченно и словно бы за Ник-Ника сказал Ваня и то ли вздохнул, то ли зевнул. — У нас есть великое качество — ос-мо-три-тельность.

— Великое, великое качество, Ванёк! — произнес тихо Ник-Ник, но голос его вибрировал от ненависти и тоски...

— Все знаешь, все понимаешь, а тщишься, жизнь гроишь, радостей ее не замечаешь, — отвечал Ваня. — В дураках ходишь, смеются над тобой, сумасшедшим называют...

— Ах, убил! — взвыл Ник-Ник в фальшивом отчаянии, стих и заговорил вновь: — Кто меня называет? Кто? Ты

меня сумасшедшим называешь! Ты и тебе подобные! Называйте! Клеймите! Не робейте! Чтоб с вами не спутали! Не смешали!

— Мели, мели... Мне даже интересно. Ха-ха-ха! — в полный голос рассмеялся Ваня.

Варе, так и не решившейся покинуть стул, не подвинувшейся ни взад ни вперед, стало вдруг тесно в комнате и жутко от этого невозмутимого, раскатистого, царственно-го смеха.

— Ну вот что,— сказал Ваня, отсмеявшись.— Болтаешь-болтаешь, а дело? Дело делаю я. Провел я собрание. Что ты просил. Спасибо за тобой.

— Спасибо! — сказал Ник-Ник и поперхнулся и раскашлялся.— Без меня? Спасибо. А ведь я просил... Хотел быть, говорить... Забыл?

— Почему? Помнил. Но большого смысла в твоём присутствии не видел. Желających «говорить» у нас всегда достаточно. На этот раз двенадцать было. Я сам выступал. Лебедева твоего заслушали, заклеямили, проработали, обязали изменить поведение. Все как положено.

— «Как положено»? О!.. «Как положено» — это сила. Умолкаю. В дрему кинуло. О чем беспокоиться? Свершилось! Так хочешь? Не получается. Страшно. Будничное, ординарное злодейство чую. К чему привыкаешь, его не замечаешь. Свершилось — и ладно. А ты? Тебе? Ничуть не морозит? Не страшно? Не тошно, что вот так вот, с оглядкой... да лишь бы?

— Всяко бывает. Все мы люди,— быстро и сухо отозвался Ваня.

— Утешил. Растрогал. До того... Мне тебя задушить хочется... от избытка чувств... в объятиях.

— Попробуй. Меня и Лебедев прихлопнуть намеревается... После собрания передали. Ты да Лебедев, значит. Подумай.

— «Ну,— думаю,— если даже Лебедев...» Ты, Ваня, ты подумай особенно. Смешно, да? Зря, Ваня, зря, не торопись смеяться. Жаль мне тебя. Ей-богу, жаль.

— Меня? Тебе? Ох, насмешил! Вот что. Иди! — деловито посоветовал Ваня.— Иди к такой-то матери. Не уймешься — захлебнешься. И еще раз — к такой-то матери.

Безотчетный ужас опять стиснул Варино слабое сердце. Может быть, ей стало страшно больше всего оттого, что она впервые слышала, как Ваня ругается матом?

Впрочем, она довольно быстро оправдала Ванину грубость. Она подумала: «Ник-Ник сам все время грубил.

И первый. Такая бесконечная грубость кого угодно выведет из себя». И успокоилась. Захотела и успокоилась. Тогда она еще умела делать это быстро и охотно.

«Вот же, вот, как терпеливо, вразумительно предостерегал этого сумасшедшего Ник-Ника твой Ваня! — сказал чужой, злой человек, засевший где-то внутри нее. — И теперь... теперь самое время вспомнить, как и ты, ты лично, Варенька Белокурова, предупреждала Ник-Ника о возможных дурных последствиях его невозможного поведения». ...Как же, как же... Однажды, например, это был весьма долгий, обстоятельный разговор при чрезвычайно, можно сказать, неблагоприятных обстоятельствах...

Был жесткий, как песок, острый, жалящий снег в лицо, по векам, по губам, за шею... Ветер, хлесткий, со свистом... Ты давно мерзнешь на автобусной остановке, а вдали, в узкой кривой щели окраинной улицы, сползающей с сопки вниз, к морю, только темное ночное небо сквозь белое мечущееся пламя метели и редкие, завалившиеся звезды, чудом удерживающие равновесие. Приближающиеся зеленые огни автобуса только мерещатся изредка то тебе, то кому-нибудь еще в толпе ожидающих. Автобуса нет. Либо запаздывает, либо вовсе этот маршрут отменили из-за снежных заносов. Но этому никто не в силах поверить. Всем хочется надеяться. И время идет. Забитая снегом одежда отяжелела и уравнила всех, превратив в снежных баб, скрюченных и пытающихся приплясывать на месте.

А у тебя, кроме равной со всеми беды, порвался лакированный ремешок новой польской сумки, в которую ты втиснула сдуру полбуханки хлеба и пару туфель, купленных, как ни странно, в здешнем «смешанном» магазиншке. Таких нет ни у одной знакомой, вот! Если бы эта мысль могла согревать тебя, как пишут писатели!

А когда автобус все-таки подошел, ты со своей сумкой и фотоаппаратом, в толстой мерлушковой шубе не сумела втиснуться в его и без того битком набитое нутро, а только успела вдохнуть выплеск тугого парного тепла, отдающего бензином.

— А номер-то, номер какой? — кричали люди, пробираясь в спасительное автобусное чрево.

Номера не было видно ни спереди машины, ни сбоку. Вместо номера дугой по фасаду вился обындевевший лозунг «Слава нашему народу!» Промерзшие, раздраженные люди чертыхались и орали водителю обидные слова.

И вдруг ни с того ни с сего над злым, суетным гамом рассыпалось долгое, веселое «ха-ха-ха-ха». Оглянулась — Николай Гавриков собственной персоной в кроличьей шапке с мотающимися ушами.

— Ты, Варюха? Ха-ха-ха-ха! Узнаю стиль и метод товарища Калёнова. Это он, он сообразил! Ведь вот на какую высоту он идею вознес! Ваши комментарии, товарищ корреспондент! Ух! Какие у тебя страшные глаза! — неожиданно смирно поразился он. — Все ресницы в инее... Знаешь, на что похожи сейчас твои глаза? На ромашки... С темной серединой...

Автобус длинно прогудел, чтобы люди, забившие вход и выход, поостереглись и дали возможность закрыть двери, потом тяжело развернулся и покатил и скрылся в белом пламени метели — только свет фар метался туда-сюда.

— Я ужасно замерзла, — призналась Варя, едва сдерживая слезы и что есть силы притопывая дорогами меховыми сапожками на тонюсенькой подошве из нейлона. — Я тут материал собирала о парниках об этих, с полиэтиленовой пленкой. И вдруг закрутило. А ты?

— Я прикатил к родителю одному. Дай-ка. — Не дожидаясь согласия, взял из ее рук сумку с оборванным лакированным ремешком. — Пошли. Пошли, пошли! Тут рядом. Пока я буду разговор разговаривать, ты посидишь, согреешься, а тут народ рассосется.

И пошел вперед, сильно накренясь вправо под тяжестью своего распертого портфеля. Сумку он зажал под мышкой. Время от времени оглядывался и медлил, чтоб она вплотную подходила к нему и пряталась за его спину от снежных ударов.

— Тебя что в такую погоду сюда занесло? — прокричала она ему в спину. — Что-нибудь из ряда вон?

— Не-е! — отозвался он, продолжая идти. — Обыкновенное. К Лебедевым, черт бы их побрал.

— Другого времени не было? — Она чуть замедлила шаг. Не то чтобы оробела вдруг, нет, слишком много прошло с тех пор, когда она так постыдно сбежала от страшной, нелепой сцены в доме Лебедевых, но стало ей как-то слегка не по себе.

— Не было! — отозвался Ник-Ник и остановился, дожидаясь ее. — Сегодня получка. Надо глянуть, что как. Твой Ваня сказывал, собрание провел, заклеил моего дорогого алкоголика и все как положено. Спешу результат зрить! Чтoб своими глазами!

Его шапка из крашеного коричневого кролика топорщи-

лась инеем, особенно уши и козырек, но светлая прядь волос, сбившаяся на переносье, была темна от пота. Еще под раскачивающимся светом фонаря Варя увидела, как он слизнул каплю, скатившуюся по кривой с виска. Она шла за ним след в след, а следы в глубоком, сыром снегу проби-вал он.

Да, было очень любопытно взглянуть на этих ужасных Лебедевых и как он там с ними, этот упрямый, самоуверен-ный Ник-Ник, чем дело кончится. Успела подумать и о своей великолепной шубке из черной мерлушки. «В таком виде,— подумала она,— никто из Лебедевых меня не узнает. Особенно «комар» этот, маленький нахалюга Ленька, абсолютно невоспитанный, хотя и несчастный».

И ах, как ей повезло! Даже больше, гораздо больше, чем она предполагала. На нее, едва они с Ник-Ником во-шли в дом Лебедевых, никто вообще внимания не обратил. Зато Ник-Ник был встречен отчаянным, злым воплем.

— Опять?! Вы?! Уходите-е! — Встрепанный мальчишка кинулся к двери, распахнул ее и заорал, от напряжения втя-гивая внутрь и без того плоский живот: — Уйдите! Уйдите! Ну?! — Морозный пар клубился вокруг его босых ног.

— Простудишься,— ровным, вразумительным голосом сказал Ник-Ник и с силой оторвал его руку, вцепившуюся в дверную ручку, захлопнул дверь.

— Ну? Дальше? — Ленька Лебедев сжал кулаки и мрачно, исподлобья, глядел на Ник-Ника. — Я же просил... Ходите, ходите, ходите, а толку? Хватит! Интересно? Да? Как в цирке? Да? — В его светлых глазах дрожала не-нависть. Так казалось Варе. Ненависть к Ник-Ник, ничего больше.

— Мать где, Лен? — спросил Ник-Ник, свалив на пол портфель. Ее сумку он поставил на середину стола. Снял ушанку и стал ею вытирать потное лицо. Он упорно де-лал вид, что ничего особенно не происходит. — Дома мать?

Ленька отвернулся, вздернув острые, узкие плечи, мол-чал.

В этот миг на пороге комнаты, завешенной знакомыми Варе плюшевыми портьерами, появилась маленькая жен-щина в расстегнутом халате, который открывал для всеоб-щего обозрения черную комбинацию и синие рейтузы с ре-зинками.

— Мам! — подскочил к ней Ленька. — Ты чего? Люди!

Женщина оттолкнула его и, уставясь в пол пустыми глазами, машинально запахла полы халата.

В комнате за плюшевыми портьерами взревел пьяный, безудержный голос:

— Сволочь! У-у, сво-олочь!

Женщина вздрогнула, схватила мальчишку за руку, и, видно, сильно, до боли,— он издал нечаянный стонущий звук, но попытки освободиться не сделал.

— У-у, стерва! Деньги учуяла! Выкуси! Бегала по начальству, жаловалась — выкуси! Что, помогло тебе твое начальство? У-у, дура! Я с тобой еще рассчитаюсь, мать твою...

— Уходите! — сквозь зубы простонал побледневший Ленька и замотал тяжелой светлокудрявой головой, точно бодать собрался. — Мы сами! Слышите? Сами! Не цирк! Прошу!

— Сил моих нет, — равнодушно, как будто прочла чужие слова, произнесла женщина, и Варя, к своему удивлению, вновь, как когда-то, испытала наслаждение от звука ее грубого, низкого голоса. — Получил зарплату. Где она? — сказала без гнева, без сожаления. — Опять! Опять! Опять! — И вдруг вцепилась в свои черные, густые волосы, застонала, зашаталась. — Сил моих нет! Сил моих нет!

— Я был в милиции, — осторожно сказал Ник-Ник. — С ним должны были беседовать и разъяснить, что за...

Женщина остановилась, стихла, осмысленно глянула на Ник-Ника и, выпуская руки из волос, горестно изумилась:

— Опять вы? Милиция... Вы, учитель, хуже Леньки. Милиция! Что ему милиция? А и посадят, — она бессильно опустила на стул, — какая мне польза, детям? Это уж самое последнее... Чтoб отвязаться...

— Ми-ли-ция?! — взревел голос. Заскрежетали, оседая под тяжким давлением, кроватные пружины. Момент — и полоски плюша разлетелись в стороны. Озверело вращая выкаченными глазами, на пороге встал старший Лебедев и, не жалея, ударил себя кулаком в грудь. — А-а, учитель притащился! Оч-чень приятно! Воспитывать явился? Не надоело? Нет? — он надвигался на худую, длинную фигуру Ник-Ника обломком скалы, способным сбить, сокрушить немедленно.

Но Варя отметила: узкая тень от Ник-Ника не пошатнулась, как приклеилась к крашеному полу.

— Я пришел узнать также, — отдельно произнес Ник-Ник, — как подействовало на вас собрание коллектива, где вы работаете.

— Собрание? Ну да, собрание... — Пьяный отхаркался. — Было. Сила! Всякими словами из книжек поучали.

Еще советовали по-умному пить, по-тихому. Как положено, начальство слово приготовило, Иван Егорович Белокуров... Говорит, значит: «Моторка имеется? Мотоцикл тоже? Самое время на легковушку копить». Чтоб, значит, на этой самой легковушке в Одессу с ветерком, на виноград... — Лебедев разинул рот, запрокинул голову — захохотал без звука. Встряхнулся, уставился на Ник-Ника выпученными, бешеными глазами, рывкнул: — Соображаешь, ты, учитель, какую цель жизни выложил передо мной Иван Егорович?! А теперь проваливай! Пил, пью и буду пить! Или ты заявился сказать мне, чтоб я сразу уж на вездеход деньги копил? Вкалывал да копил? Вкалывал да копил?

— Я пришел сказать вам, Лебедев, — раздельно произнес Ник-Ник, глядя в упор в разъяренные глаза пьяного, — что все мои разговоры-уговоры кончились. Долго надеялся — есть в вас какой-никакой разум! Просчитался. Одна водка.

— Водка плюс коньячок. — Лебедев осклабился, выставив крепкие нечищенные зубы, сунул руку в карман, вытащил тяжелый перочинный нож на цепочке, подкинул его на ладони. — А ты милицией пугать меня вздумал? Валяй! Чудак. Не зацепить, не тот крючок у милиции, чтоб меня поймать. Я как? Все по правилам: в канавах не лежу, прохожих не задеваю.

— Домашнее поведение. Истязание... — начал было Ник-Ник, и ноздри его узкого носа напряглись и побелели.

— Да что ты! А кто видел? Вон как тогда с Ленкой. Кто видел, что я ему руку выворачивал? Никто. Вышло у тебя? Умный бы давно отступился. Или, думаешь, она скажет, заявление напишет? — Он презрительно ткнул перочинным ножом в сторону жены.

— И скажу, и напишу. И нет другого выхода, — пробормотала женщина. По ее худому лицу с вдавленными щеками ползли слезы. Но она не обращала на них внимания, продолжала горбиться на стуле, бессильно, безнадежно схлестнув на коленях тонкие, как у девочки, руки.

— Не скажешь, ведьма! — с превосходством сильного, опасного хищника возразил Лебедев и сунул руку в карман. — Не скажешь, как и в тот раз, нет! — Он вытащил горсть скомканных бумажных денег и швырнул на пол, к ее ногам. — Хватай! Я не жадный!

Женщина упала на колени и в самом деле стала судорожно хватать разлетевшиеся бумажки.

— Ну, что ты со мной можешь? — спросил Лебедев, по-

тянувшись к Гаврикову ухмыляющимся, торжествующим лицом.— Ты, учительшка, говорун, лектор? Вон ползает, а я ж ей почки отбил. Не знал? Знай! Тоже ведь смолчала. Все на начальство надеялась: мол, до слез расстроится начальство, как узнает про двух ребяток и пьяницу отца. С ходу помогать кинется, пьяницу образумливать, детишкам сопли вытирать... Дура? Дура!

— Жи-вот-ное,— произнес Ник-Ник медленно и по складам.— Грязное, тупое, осатаневшее животное.

Варя заметила, как жестко, накрепко сжала обескровевшая от усилия рука Ник-Ника мокрую шапку из крашеного кролика.

— Не отступлюсь. Доведу.

— Во-он, такую твою мать! Вон, пока по морде не схлопотал! — взревел Лебедев и изо всех злых сил, напрягших его здоровую, мускулистую плоть, пнул дверь.— Во-о-он! — завопил он и, как горилла, кулаком забарабанил в свою голую, волосатую грудь.

— Уходите! Уходите! Пожалуйста, скорее! — взвизгнул Ленька и, схватив Ник-Ника за рукав, потащил его к распахнутой, клубящейся сырым морозным паром, двери.— Я же говорил! Я же говорил! Не надо! Все равно! Еще хуже!

— Уходите,— произнесла женщина, продолжая стоять на коленях, прижав к груди кулак с деньгами. Быстрые, частые слезы сбежали с ее щек и на этот кулак, и дальше, на руку, капали с локтя.— Вам противно, я знаю. А что делать? И вы не знаете. Уходите. Да вы и так уйдете и больше не придете. Что мы вам? Чужая беда... тут одного терпения сколько надо. Отступитесь. Как другие. Не верю вам! Никому не верю!

— Молчи, мама! Что ты говоришь? — закричал Ленька тоскующим голосом. Он на мгновение, всего лишь на какую-то долю секунды, припал лицом к руке Ник-Ника, сжимавшей шапку. Оторвался и дернул Ник-Ника за рукав.— Не хочу видеть! Не хочу вас здесь видеть! — И вдруг его прыгающие, отчаявшиеся глаза маленького загнанного звереныша остановились на ее, Варином лице.— А-а-а! — затянул он злым, воющим голосишком и потребовал презрительно и угрожающе: — Беги! Эй, ты! Беги скорей! Как бежала, так и сейчас! А ну!

Варя попятилась невольно, задники ее сапожек наткнулись на порог, и она бы упала навзничь, если бы не Ник-Ник, который успел удержать ее за плечи.

...На улице, белой, чистой, мирно дремлющей под вы-

сокой россыпью звезд, Варя сказала резким, сломанным голосом:

— Вот так. И всё. Понял? Никто из них не нуждается в твоей опеке. Они издеваются над тобой, даже этот маленький гаденький змееныш. Понял?

Подождала ответа, комкая в кармане носовой платок. Но вместо ответа услышала, как мерно, устало, упорно скрипит снег под ногами Ник-Ника. И только тут ее охватило ненадолго запоздалое удивление: метель-то утихомирилась, а в неподвижном ночном воздухе легкие, как семена одуванчика, реют одинокие снежинки.

— Не понимаешь,— наконец произнес Ник-Ник не оборачиваясь и тихо. Но она услышала.

— А что тут понимать? — Ей казалось, что после случившегося все преимущества на ее стороне, и приготовилась праздновать победу. Да-да, тогда она была абсолютно уверена, что пришел долгожданный миг, когда можно и должно говорить с этим самоуверенным человеком дерзко и насмешливо, не опасаясь возражений. И предупредить, ну, разумеется, непременно предупредить его о возможных нежелательных последствиях, если он не вымлет голосу рассудка! — Да что тут понимать? — переспросила она с особенным, снисходительным, холодным задором. — Грязь есть грязь. Они сами хотят валяться в собственной грязи, сами виноваты во всем, сами не хотят себе добра, а ты лезешь со своими советами, поучениями. Да у тебя просто самолюбия нет!

Ник-Ник остановился, закинул голову, долго глядел вверх, на бесконечную, вечную, безмолвную аудиторию звезд, потом покосился в ее сторону, сказал:

— Знаешь, Варюха, какое у тебя самое любимое слово? «Просто». «Просто» и «просто».

— Не придирайся к словам! — Она все еще чувствовала себя на коне. — Да неужели ты сам не понимаешь, что все твои старания изменить Лебедевых бесполезны? Вот и Ваня собрание провел специально... А Лебедев!..

Она стояла на шаг от него. Свободной левой рукой он дотянулся до ее плеча, стиснул, встряхнул, словно она стоя спала, и, глядя ей в самые зрачки суженными, недобрыми глазами, сказал:

— Ку-кол-ка, вот ты что все-таки. Все зло, все зло — слышишь? — у нас потому, что считают — все бесполезно. Это и есть та житейская мудрость, которая так легко подменяет всю жизненную мудрость. А о Ване, о его собрании, которое специально... помолчи лучше.

Но она все еще была верхом. И ее благочестивое терпение было при ней. И она опять попыталась уберечь его, образумить, спасти. Она сказала:

— Вот именно — не в Ване суть, а в твоём отношении к Лебедеву. Дался же тебе этот пьяница! В конце концов, он не один такой. И всегда такие были. В конце концов, это так мелко — возиться с такими. Мелочи все это, если уж на то пошло, в сравнении с остальной жизнью.

— Ва-рю-ха! — Он еще раз и не сказать, чтоб любезно, встряхнул ее. — Эти-то мелочи и страшны, если желаешь знать и понять. Они замыкают круг, ограничивают требования к себе и к жизни. Рассуждая, как ты, можно дойти до того, что всю жизнь со всеми ее сложностями раздобишь на мелочи — и ай-яй-яй, какой она покажется тебе несущественной!

— Но ведь Лебедев все-таки плевал на тебя! — не унималась она, стараясь удержаться в седле. — Ты ему свое, а он тебе свое! Он чуть не ударил тебя, благодетеля! Куда уж дальше! Да и ты для него какие уж особые слова нашел?

— Права! Первыми попавшимися... Сорвался. Исправлюсь. И все-таки, Варюха Александровна, — говорит он так, словно это ты, а не он, нуждаешься в сочувствии и помощи, — легче легкого вообще ничего не делать, не пробовать даже, не пытаться, а только ублажать себя: «Мелочи! За всеми и не уследишь!» Между тем, чтобы дойти до этого перла самоуспокоения, вовсе не обязательно человечеству было брать в руки палку, не то чтобы изобретать самолет. Жри да спи, спи да жри. Жизнь! Репейник тоже живет. И трава-мурава. А людям дан разум. Для чего? Азбука. Сравнить, сопоставлять, делать выводы. И людям нужен пример. Ох, как людям необходим пример! Элементарное: милиционер оштрафовывает пешехода за то, что тот шоссе неправильно перешел. Одному нарушителю наука? Другим, кто видел, тоже.

— Тебе хочется быть в жизни чем-то вроде милиционера? — съязвила она, и ей вовсе не показалось, что удачно. — Автобус! Пустой! — закричала почти восторженно, чтоб сбить его с толку, чтоб он не успел придаться к ее последнему выпад. — Побежали, ну, побежали же!

— Я ночами хочу спокойно спать, — сказал он неожиданно вроде не относящееся к предыдущему разговору и не трогаясь с места. — Потому и делаю, что могу. И что не могу. И если я хотя бы одного пьяницу...

Длинный, худой, в лопоухой шапке с растрепанным ме-

хом, согнувшийся вбок под тяжестью портфеля и ее сумки, бесконечно упрямый, своевольный и злой, он был, разумеется, ужасно-ужасно нелеп, и смешон, и все-таки, вопреки всем этим очевидным вещам и ее желанию видеть его таким, а не иным, он оставался чем-то дорог ей, дорог до неожиданных, тайных, необъяснимых слез.

Им помешали сесть в пустой, теплый автобус с запотевшими изнутри окнами. «Стойте! Стойте!» — услышали они хриплый и наглый, и просящий окрик и разом обернулись.

В рубаше с расстегнутым воротом, без шапки, на них бежал папаша Лебедев, и тугие, крепкие кольца его белокурых кудрей то взлетали над его головой, то опадали на лоб.

— Тебе хочу сказать, учитель, — рявкнул он, хватая Ник-Ника за пальто, словно тот иначе бросился бы прочь. От Лебедева резко до отвращения пахло на Варю горячим потом и перегаром. — Я тебя наобижал, учитель, знаю, ладно, сойдет... Ты это забудь — так надо. — Слова вылетали из горла Лебедева толчками, между частыми хриплыми затыжками воздуха. — Одного хочу... не думай ты, у меня не совсем серое вещество в башке. В армии шофером был. Майора возил... Кузьмищева Василия Максимовича... Умер в машине, рядом со мной... Осколок у сердца. С войны застрял... У отца та же история. Среди бела дня... Было сердце у Василия Максимовича... Меня и других таких же дурачков необработанных школу заканчивать отправил... В гости зазывал, музыкой любоваться учил, картинками... долго думал я, что свет из одних таких светлых людей... как он, как отец... В гражданке потом Маркина возил! Что там Маркин на своем посту вырабатывал, не знаю, любил чего... На базу самоотovarиваться — хлебом не корми. Правда, не только себе брал... Себе — шапки-бурки, жене — шубки, то-сё... Имел вкус! И мне раз предложил. Шапку из ондатры... Вот, мол, щедрый я какой, цени! Взял я. Жена от счастья обалдела. Как же, такой шапки ни у одного соседа... С тех пор чего только не брал... Шофер! Тому дровец, угля подвезти, тому на новую квартиру мебель... Каждый деньжата сует. Беру, не брезгаю! А чего! Другие тоже своего не упускают! Тащат в свою нору! Хватают что можно! И Маркины, и не Маркины...

Лебедев наклонился, схватил горсть снега, сунул в рот.

— Думаешь, по мне все это не резало? Деньги! Копи деньги! И жена туда же. Все боялась от других отстать... Если б ей еще чего надо было, кроме денег! Деньги, деньги!

Надоело. Опостылело. С деньгами пузо набью. Только. А голова? Голодная, учитель. Теперь сообразил, что к чему? От сердца говорю — уйди, не маячь, не суйся. Пропал я, кончился... Где тебе меня переиначить? Алкоголь на печень действует? Плевал! Такой агитацией меня не проймешь. «Не жалею, не зову, не плачу...» Отступись. Молодой ты больно. Самого, гляди, пообломает жизнь... Пообломает! Либо стихнешь, либо запьешь. Запьешь!

Хватил еще снега из-под ног, повернулся и пошел, независимо подняв голову, сильно раскачивая широкими плечами.

Ник-Ник глядел ему вслед долго и пристально.

— О чем думаешь? — осторожно спросила Варя.

— О язвах капитализма, о родимых пятнах капитализма, — угрюмо, насмешливо отозвался он, ввинтил в снег носок ботинка. — Надо открывать жизнь, а не растолковывать ее... Узнавать человека, а не подтверждения искать своих представлений о нем.

— Он страшный и опасный, — сказала Варя. — Он на все способен, по-моему. Он настоящий алкоголик, то есть настоящий потенциальный преступник.

— Возможно, что и преступник. Но не только потому, что алкоголик. — Он — обыватель, самоуверенный и раз навсегда решивший, что прав. Он давно не задумывается о себе, о своих поступках... Кто-то и что-то виноваты в том, что он такой, а значит, с него взятки гладки.

— Ну-у, это сложно для него слишком, он более примитивен, — сердито сказала Варя, нечаянно уязвленная последними словами Ник-Ника.

— Варвара, — покачал он головой, — это у тебя типичный махровый суперинтеллигентный взгляд на тех, кто не учился в институте. Думаешь, зачем он гнался за нами? Запугать, что ли? Не-ет, ему во что бы то ни стало захотелось оправдаться. Каждый негодяй имеет свои оправдания, а Лебедев, каким бы путем ни дошел до этой точки, теперь сформировавшийся негодяй. — Ник-Ник продолжал всматриваться ожесточившимся взглядом в ту сторону, где давно исчезла могучая, своенравная фигура Лебедева. — Если б за него вовремя взялся да не отступать... Да как следует, от души, чтоб детишки его перед глазами неотступно... Теперь, боюсь, опоздали... И те, что вовремя не брались, и все мы, благодетели... Боюсь, очень худо дело кончится. Для Ленки, для Катки... Им за какие грехи?

Смолк внезапно, поднял глаза к звездам и свистнул пронзительно. Варя невольно тоже глянула вверх, словно

готовая поверить, что какая-нибудь из звезд отзовется на свист и падет на снег лучезарным сгустком тепла и света, добра и справедливости.

Но звезды и побольше, и поменьше только чуть вздрагивали, как в легком ознобе, и ни одна из них не собиралась срывать с насиженного места. И автобуса не было видно. А в ближайших и дальних домах стали исчезать желтые четырехугольники окон. Ник-Ник предложил добираться до дому пешком. Варя согласилась, чувствуя, как холод опять проступил сквозь тонкие нейлоновые подошвы и прижег пальцы ног. Она торопливо пошла вперед и свернула на боковую улочку, чтобы срезать угол и сразу выйти в центр. Но Ник-Ник остановил ее.

— Здесь не надо, не хожу, не люблю эту улицу. Раз зашел там в домишко. Старуха сидит. Одна. На кровати. Говорит: «Болею». Не жалуется, а именно говорит. Глаза добрые, аж светятся. «Вот спасибо, что зашел, не побрезговал. Посиди чуток, посиди, ничего мне от тебя не нужно, только посиди». Старика, говорит, к сыну выпроводила, чтоб ходили там за ним, а ей и так, говорит, хорошо, воду соседка приносит, хорошая женщина. Решил: завтра же приведу своих пацанов — пусть около бабушки обретаются, помогают. И вообще... На первый случай. А уж потом, думаю...

Он умолк и молчал до тех пор, пока Варя не позвала:

— Ну и что? Привел?

— А? — не враз вернулся он откуда-то, куда ушел без нее. — Привел, привел пацанов. Через три дня. Дела какие-то подзадержали. Сейчас и не вспомнить, что за дела... В дверь постучал. Никто не открывает. Еще раз стучу. Еще. Пацаны помогают. Хлопнула дверь. В соседнем доме. Женщина на крыльце стоит, слушает, как мы стучим. Потом говорит: «Нету бабушки, померла. Опоздали стучать».

...И они пошли кружным путем по ночному, холодному, молчаливому городу.

Ну не чудной ли он, а, господи? Другого такого чудного и не сыскать... Может, другая и очень бы хотела найти такого, а не доведется... Только зачем он такой? Если с ним одно беспокойство? Если столько кругом других — выдержанных и осмотрительных, и без завихрений всяких, здравомыслящих, одним словом? Чего это им ходить долгим путем, если есть короткий? Дураки они, что ли, тащиться ночью кружным путем только потому, что — ах ты, боже мой, — сидит в домишке какая-то старушонка? Ну, и что из того, что?

И то ли вслух нечаянно заговорила Варя Белокурова, то ли застонала, только вдруг услышала она быстрый встревоженный шепот мужа:

— Что с тобой, милая? Чем помочь, что дать?

— Ничего. Все прошло. Это сон,— поспешно, чтоб только помешать ему встать, сказала она.

— Чаю? Кофе? А?

«Кажется, так и положено спрашивать заботливому, любящему супругу? — думает она или слышит ожесточенный, насмешливый внутренний голос.— Тот, предельно неосторожный, глупый, упрямый, умирает, а этот остается прелестным супругом и не забывает время от времени спросить у своей верной жены, чего это она так волнуется, может, это она чаю пожелала, кофе... Вот только странно несколько желать чаю ночью. В том числе и кофе. Ах, да! Негодяи пьяницы! Вот причина. Все от них, от них, и если бы не они — ого-го-го!»

— Спасибо! — громко сказала Варя Белокурова, стараясь заглушить звенящий внутри ледяной смех.

— За что, милая?

— За то, что ты умеешь объяснять все точно и убедительно, как... сто.

— Какие сто?

— Ну, эти... телефонный номер в Москве. Наберешь сто, а голос скажет тебе который час, минута в минуту. Выразительный, механический голос. Когда я была маленькой и не знала, что это только голос, записанный на пленку, я всегда говорила ему: «Спасибо».

— Варенька... — сказал Ваня и, судя по звукам, решил встать и лично проверить, как это она там без него. Но у нее не было сил вступать с ним в объяснения, которые никуда не ведут, и она попросила нетерпеливо:

— Сиди бога ради, не бойся, мне хорошо.

— Ох, родная! — вздохнул он и побарабанил пальцами по вошеной тугой бумаге абажура — она знала и этот звук. — Проклятая ночь! — И еще что-то говорил, но она уже не слышала, что... Она опять шла молчаливыми улицами рядом с Ник-Ником, под звездами, и говорила с ним, точнее — убеждала его перемениться, а в свете свершившихся фактов предупреждала его...

— Ты не ценишь жизни, — разъясняла она ему. — Ты ведешь себя... Не понимаю! словно собираешься жить вечно или по крайней мере лет двести.

— Я не ценю? Я? — изумлялся он и смотрел на нее так, словно она вдруг на его глазах из прелестной молодой

женщины в черной мерлушковой шубке превратилась в бодливую козу, прущую рогами вперед.— И-и-и, куколка! Ты что же, не всерьез ли думаешь, что жизнь ценит только тот, кто сидит в своем углу и жует свою пищу? Такой, что ли? Жрать любит — это да, а жизнь... Знаешь, по-настоящему живым я и чувствую себя тогда только, когда дерусь, рискую за дело, за истину. Тогда и счастлив, еще как счастлив, Варюха! Потому что хочу и могу — в то время как другие не хотят и не могут.

Он шагнул к столбику, торчавшему из сугроба, смахнул с его острой маковки, голой рукой намял три снежных кругляша — один побольше, два поменьше — и налепил на столбик так, что получился забавный человечек.

— Жизнь не ценю! Ох-х... — Он покачал головой, словно осуждая произведение рук своих. — Пересказать тебе, что я в этой жизни люблю? Да ведь уморю! Вот этот снег, что под ногами, — люблю. Вон то окно с зеленым светом — люблю. Тропку глухую, в хвое от лиственниц, как она скользит и пружинит... Запах корюшки, сырой, огуречный... Сахалин люблю... На семи ветрах стоим! Вольно, привольно. Спасибо родителям — мировое место выбрали! Тут только человеку и жить, если он по-настоящему хочет, в темпе, а не влачить... Худо мне, худо! Куда ни приду, самое трудное — уходить. У лесорубов, к примеру... Ух, народ! Озорноват, рисков, широк... Потолкаешься, присмотришься — затянуло! С ними охота их жизнью пожить. Рыбаки с путины возвращаются, трюмы рыбой битком, снасти поскрипывают — опять зависть берет: вот бы с ними! Краны скрежещут, поезда гремят, пароходы гудят, вертолеты трещат. Лихо живем, сахалинисто! А дом в Александровске, где Чехов был? Только постоять... Где-нибудь в другом месте, на материке? Не знаю, не представляю. Здесь, чую, нужен, на месте... Все, что здесь, — мое, со мной, срослись... А ты говоришь...

Порылся в кармане, вытащил скрепки, ластик и вдавил их в верхний снежный кругляшок на место глаз и рта — человечек обрел лицо.

— Вот я умру, — сказал Ник-Ник, и смутная улыбка коснулась его губ и глаз. Протянул руку, погладил человечка по голой, беззащитной макушке. И Варя как впервые увидела его длинные, худые, напряженно ласковые пальцы, и что-то дрогнуло в ней тогда и пошло кругами, ширя грудь, как будто какая-то темная неясная ей самой глубина, о которую ударилась нечаянная капля. — А я непременно умру, — протяжно, насмешливо сказал он и вздохнул. —

Что значит подрасти, поумнеть, помудреть! В десять лет, даже в шестнадцать я верил в собственное бессмертие, убежден был, что умирать — удел других. Теперь знаю — и мой. Дрожу? А чего?.. Хотя, черт побери!.. Невероятно: живой — и вдруг нет меня, одно имя, ничего не вижу, не чувствую, — невероятно! Ладно, умирать так умирать. И все? И как будто не было меня на свете? Вот чего боюсь. Не хочу исчезать бесследно! Хочу, чтоб после меня осталось хоть немного... Вот и пробую доказывать, сколь могу: «Живой! Живой, братцы!» Суюсь, лезу, тороплюсь, воплю, дерусь, тру ушибленный, предположим, нос... и снова... Надеждой льщусь: а что в самом-то деле, если умру не совсем? Что-то да застрянет от меня на земле? Как запах снега, что ли... оттепели... Как нечто... «Ах, да ты не плачь, не горюй, моя да-арагая, а я вернусь, да, вернусь, верь, моя р-радная!» — Наклонился, поднял и воткнул снежному человечку в руку веточку — боевое знамя.

— Ты просто мистик, — сказала Варя как можно беззаботнее, но голос ее беспомощно вздрагивал. Она поспешно пальцем провела по голой макушке снежного человечка, слегка подтаявшей под теплом руки Ник-Ника.

— Это я-то мистик?! — Ник-Ник расхохотался. — А ты что же? Реалист-резвенок?

Она с недоверием глянула в его открытые, придвинувшиеся к ней глаза: не шутит ли, не язвит? И успокоилась. В его глазах, тоже как будто подтаявших, поблескивала веселая нежность. Ну да, она всегда хотела, чтобы он не переставал думать о ней так, словно ей семнадцать, и как ей о себе уже было думать невозможно...

— Варенька! Милая! — вскричал Ваня, увидав ее в дверном проеме. — Да ты красная какая... И слезы? Что ты? Или снег?

— Снег, — соврала она ему, и должно быть, впервые за долгое-долгое время. — Снег натаял...

— Перемерзла... Где? И руки... — Подскочил, засуетился, раздел, обнимал, целовал. — Сейчас, сейчас отогрею, накормлю. Наверное, хочешь? Очень?

Не хотела. Хотела остаться одна... Подумать...

Но он так смотрел, так улыбался... преданно, готовно, счастливо... Не устояла. Сдалась...

— Хочу... Очень.

Позже, в постели, они с Ваней поговорили немного о том о сем. Об этом зазнавшемся Ермакове, в частности... Надо же — набрался наглости и, не зная поэта Ивана Белокурова в лицо, опорочил его во всесоюзном масштабе!

— Да если б справедливо! Разве я как поэт хуже многих других? — размышлял Ваня вслух.

Она лежала головой на его мускулистой руке и, разомлев от тепла и ласки, соглашалась с ним, вздыхая удрученно и озабоченно.

— О Калёнове до сих пор неясно. То ли вниз, то ли вверх, — сообщил Ваня очень тихо. — Кто останется, если... его на задний план отождут? — спросил и умолк.

— Ну... а Викентий Тихоныч? — шепнула отзывчиво. — Он же с твоей матерью с каких пор дружит...

— Умница, — усмехнулся Ваня печально. — Этот-то — да, все может. И власть, и авторитет. Но... с ним каши не сваришь. Пробовал. Сегодня днем. Принял... Тепло, как говорится. Только письмо в издательство... Я об этом просил... отказался писать... Говорит, в стихах не понимает и не имеет права давать оценки, издательских работников учить. Мол, там специалисты, сами обязаны разобраться, что хорошо, что плохо. Наивный старик. Отстал от времени, не уловил, что это прежде «Дан приказ — ему на Запад...», а сейчас личная инициатива только и выручает. Короче, без толку просидел и чаем угощался...

Она вздыхала, не открывая глаз.

Ник-Ника вспомнили ненадолго. Ваня, как обычно, небрежно и сострадательно. Заметил, что Колька тоже из тех, что ни черта в жизни не смыслят... и рано или поздно плохо кончит, очень плохо, предельно плохо.

И она согласилась с ним. Тут уж невозможно не согласиться, тут уж абсолютно ясное дело...

— Впрочем, — сказал Ваня, крепче, дружественнее прижимая ее к себе, — у меня есть возможность здесь свою репутацию поднять повыше и закрепить. Обойтись без Калёнова, одним словом... Пусть уезжает. Лошкарев знаешь где?.. Правильно, парторгом на стройке ГРЭС. Стройка рядом — полчаса на мотриссе, тоже ты в курсе. Даже квартиру менять не придется. Дам интервью по теле или радио, в газете, наконец... О чем? Решил писать поэму о строительстве... положим, в десяти частях... и поэтому сменил место работы. Завтра суббота. Лошкарев возвращается. Пойдем к нему. Поняла? Ну, а теперь спи, родная...

На следующий день, в час, когда неожиданные визиты почти согласуются с правилами приличий, поэт И. Белокуров и его верная жена В. Белокурова стояли у двери квартиры Лошкарева, и тоненьким пальчиком, обтянутым чер-

ной кожей перчатки, Варенька давила на белую кнопку звонка.

Коротким рывком Лошкарев отворил дверь и без удивления на своем высоко поднятом лице с сомкнутыми, неподвижными губами жестом пригласил их войти. Он был в черной вельветовой пижаме, сидевшей на его сухом теле почти так же элегантно, как костюм.

В комнате, где у стены стояла заваленная газетами и журналами тахта и урчал на полу приемник, он усадил их по обе стороны журнального столика, используемого как столовый стол, вышел в кухню и принес на чистой тарелке крупные желтые яблоки, мокрые после мытья.

— Ничего,— сердечно сказал Ваня, оглядывая его комнату, по мебелировке больше похожую на дачную, на ничем не завешенное окно, на черный костюм, спрятавшийся за створкой двери,— ничего, обживетесь еще. На Сахалине это проще, чем во многих других местах. Зарплата у вас, вероятно, вполне достаточная.

— Никакой,— сказал Лошкарев и взял с тарелки яблоко.— Я старик даровик. Так, кажется, величают пенсионеров, что без зарплаты работают?— Лошкарев надкусил яблоко.— Вы что ж не берете? Первокласный антон! Мне друзья из Воронежа прислали. Но это не потому, что я беден и меня надо жалеть,— Лошкарев подмигнул Ване,— у меня пенсия очень даже солидная.

— Спасибо большое, Федор Павлович,— сказал Ваня и, не глядя, какое попало, тоже взял яблоко, но есть подождать.— Федор Павлович,— Ваня повертел яблоко в руке, как если бы это был удивительный драгоценный камень и он любовался им,— очень вам на стройке интересно?

— Весьма. Весьма подходяще,— кивнул Лошкарев.— Большое дело, масштаб. Столько людей, судеб, желаний, требований, точек зрения... Не затоскуешь. Давно мечтал о такой работе.

— Очень приятно, что сегодняшний наш Сахалин пришелся вам по душе,— гостеприимно улыбался Ваня. Яблоко он так и не начинал, поигрывал им уважительно.— Но вам, должно быть, нелегко, Федор Павлович. Говорят, все еще без заместителя?

— Говорят.— Лошкарев заинтересованно поглядел на Ваню.

— Понимаете,— Ваня перебросил яблоко с ладони на ладонь,— рискнуть мне хочется... оставить насиженное место. Боязно — не скрою. Есть положение, слава известная, как у специалиста... К вам заместителем.

— Зачем? — быстро спросил Лошкарев, бросая яблочный огрызок в корзину для бумаг, и осмотрел Ваню с головы до ног. — Во имя чего?

— Понимаете, — Ваня погладил яблоком себя по щеке, — масштаб. Вы же сами говорите... Хочется испробовать, окунуться... Масса судеб — значит масса тем. Поэтому задумал писать, воспеть труд строителей, грубо говоря.

— А-а-а, — протянул Лошкарев и поглядел в пустой промежуток между Ваней и ею, Варей, — воспеть, значит? Так ведь должность заместителя партсекретаря далеко не певческая. Я же сказал — проблем масса. А ты, друг, как ни верти, без опыта...

— Вы не верите в меня, Федор Павлович? — слегка, не пережимая, удивился Ваня и осторожно положил яблоко на тарелку, словно бы деликатно отказался от предложенного дорогого подарка.

— А ты как, веришь в себя? — Лошкарев вытащил трубку из кармана пижамы, набил табаком и раскурил.

— Во всяком случае, — Ваня был серьезен и сосредоточен, — другие берутся — и ничего, справляются с подобными сложностями. Все дело в желании. И кто рядом. Мне с вами, думаю, трудно пропасть. Буду прислушиваться.

— А слушаться? — Лошкарев отнес руку с трубкой в сторону, подождал ответа.

— Я вам абсолютно доверяю, — сказал Ваня строго и убедительно. — Ваш опыт, ваша эрудиция...

— Во всем и всегда будешь слушаться? — допытывался Лошкарев, сунул трубку в рот и примерился сквозь дым. — И никогда не лезть со своим собственным мнением-суждением? Не настаивать, не ругаться со мной, не... — Лошкарев поднялся во весь рост.

— Если сочтете необходимым...

Лошкарев чуть склонился над Ваней и тихо, но отчетливо произнес:

— Вот потому, друг, я и говорю тебе «нет». Нет, не стану за тебя ходатайствовать. Предложат вышестоящие — откажусь. Имею резон. Жизнь доживаю. Каждый день мне в ней дорог. Последнее свое время хочу с таким заместителем поработать, чтоб с острием был, забористый, задиристый, чтоб ругался, дрался со мной, неожиданности преподносил, а не спешил мою державную волю исполнять. Неужто я вовсе ни на что уже негоден, чтоб рядом с собой с иголочки исполнительного держать, на все про все готового?

— Что ж, ваше право, — протянул Ваня задумчиво и

спокойно и почти что сочувственно.— Ваше право, Федор Павлович. У каждого свой взгляд, так что... Разве я навязываюсь? Извините. Пошли...

Лошкарев взглянул на Варю и глядел все время, пока говорил, обращаясь к Ване:

— Егорша Белокуров, твой отец, погиб потому, что бросился защищать товарища. Товарища, которого несправедливо обвинили... Егорша не подумал о себе. Он был наивный, замечательно наивный человек, твой отец.

— Я это знаю,— сказал Ваня, когда Лошкарев умолк.

— Нет, не знаешь,— внятно произнес Лошкарев, продолжая глядеть на Варю.— Не знаешь и не помнишь, друг.

Варя вышла от Лошкарева с таким чувством, словно ее вытолкнули за дверь. И тем более изумила ее выдержка мужа. За все время разговора с Лошкаревым румянец ни разу не опалил Ванины щеки, его не пошатнуло, движения рук не изменили своей спокойной, плавной грации. Он взял свою верную жену под локоть и, не забыв вежливо попрощаться с Лошкаревым, вывел ее на улицу.

— Тебя оскорбили,— робко, страдая, сказала она ему, глядя себе под ноги.

— Нисколько,— услышала в ответ и рискнула поднять на него глаза: «Шутит, дурачком прикидывается, пытаюсь скрыть обиду?»

— Но он же тебя оскорбил, унизил, смял, уничтожил тебя! — Она почти кричала.

— Да нисколько! — отвечал он ей со снисходительной, ласковой улыбкой.— Вдумайся: Лошкарев уверен, что так, как поступает и мыслит он,—правильно, иначе нельзя. Но разве нельзя? Он старый убежденный чудака. Может быть, в его возрасте я тоже буду поступать, как вздумается. Но пока... Портить нервы из-за чудака? К чему! Не тот случай. Основной вывод после разговора с ним знаешь какой? — Ваня крепче прижал ее руку к теплему своему боку.— Не бросаться своим местом, положением. Очень все взвесить. В запасе Калёнов. Очень может быть, что его повысят и он займет в Южном такое положение, что всегда при желании сможет нажать на издательство... Пока я этот вариант не сбрасываю со счетов. А там — судя по обстоятельствам... Мне нужен второй сборник! Я все время думаю об этом! А ты — «Лошкарев... Оскорбил! Унизил!» Этим голову забивать не стану и тебе не советую. За одно себя ругаю: поспешил, не обдумал, напролом к нему полез. Перенадеялся. Вот тебе и еще один старый знакомый мате-

ри. Ох уж эти старики! И что им стоило помочь мне? Что б потеряли? Ладно, пусть их, обойдемся... Проехали.

Может, и «проехали».

И очень может быть, что не имело смысла забивать голову Лошкаревым и Ваня был прав, прав и прав, но только чувство унижения у Вари не исчезло, нипочем оказались и самые убедительные, и самые рассудительные Ванины соображения.

Ваня заскочил в булочную, а она быстро, точно спасаясь от преследования, пробежала вперед и юркнула в чужие ворота. Холодная, фиолетовая тень от дома устлала весь двор и дотянулась до дальних сараев. Вот туда, к сараям, и прошла Варя. Завернула за угол и, провалившись почти по щиколотку в нетоптанный снег, расплакалась. Едва глаза просыхали и она могла отчетливо видеть светящиеся шары фонарей, как опять их контуры начинали неестественно дрожать, расплываться под натиском нового приступа слез. И с каждым разом ей становилось легче и свободнее, словно бы горячая соленая влага постепенно разъедала, растворяла и уносила прочь коросту тоски.

«Если бы и сейчас! Если бы!» Варя Белокурова крепко зажмурила распухшие от бессонницы глаза, даже дышать перестала, все силы отдавая на то, чтобы облегчить дорогу слезам.

Но слезы как будто вымерзли. Как будто там, внутри, в этом разоренном, неуютном помещении, засел непрощенный злой человек и стал распоряжаться, и не захотел, чтобы слезы помогли Варе утешиться и успокоиться.

Варя открыла глаза и уставилась в потолок, в этот вечный экран всех больных и бессонных. Все ту же себя, зарванную, растерянную и одинокую, увидела она там... «А ведь не так уж и редко я, счастливая, чувствовала себя неприкаянной», — подумала она.

«Побежденной», — поправил исподтишка тихий, но ясный голос сегодняшней ее жестокой, памятной, прозорливой тоски, которую не растопить самым горячим слезам.

Как бы то ни было, но в тот вечер ее потянуло к Ник-Нику. Невольно и неудержимо, как зарвавшегося, чересчур самонадеянного пловца тянет за собой сила прибойной

волны. Ей захотелось... Ей захотелось... как бы это точнее выразиться?.. передохнуть в стане союзников. Прежних союзников, разумеется. Союзников ее глупой, наивной, самолюбивой юности.

И она не стала больше высушивать слезы, приводить себя в порядок. Ник-Ник примет ее и такую без лишних расспросов. А кто во всем мире, кроме этого язвительного человека, способен принять ее так? В том-то и дело, что никто. Глупый Ник-Ник, нелепый Ник-Ник, милый Ник-Ник... «Мой», — думала она и знала, что какое-то право на это у нее есть, он сам когда-то дал ей его и, кажется, — да чего там «кажется!» — не отнял и не собирался отнимать.

«За что мне такое? Вроде бы... И тем не менее, тем не менее есть у меня бескорыстный, преданный человек», — думала она, когда входила в телефонную будку.

Позвонила домой, измененным голосом спросила у тети Лизы, где Николай Николаевич. Та вежливо, сухо ответила ей, что он в школе, занимается с вечерниками. До школы ее несло нетерпение, и боязнь не застать его отдавалась ломотой в кончиках пальцев.

В школьную калитку вошла успокоенной — в одном из освещенных окон нижнего этажа она как будто бы увидела Ник-Ника. На школьное крыльцо взошла почти гордо. Ну да, да, да, она продолжала чувствовать себя уничтоженной, неприкаянной, но где-то рядом с этими ущемляющими переживаниями и, может быть, вперемежку, как черные и белые фигуры на шахматной доске, оказались радость, и лукавое ликование, и бесцеремонная самонадеянность и быстренько занимали самые выгодные наступательные позиции. Она уже предчувствовала и в какой-то степени успела с наслаждением пережить картину своей встречи с Ник-Ником. Во-первых, он должен страшно удивиться, поразиться, изумиться. Во-вторых, он так обрадуется... Она, она и только она способна взвить этого самого независимого из независимых, колючего, неподдающегося человека на высоту дух захватывающей радости, думалось ей. И ах, как она спешила проверить свою неотразимость, пополнить оскудевшие запасы самоуверенности! И в предчувствии скорой блистательной победы она стала вдруг совсем доброй, прямо конец света, какой доброй. Она решила осчастливить Ник-Ника совершенно, поразить благожелательностью и... триумфально удалиться. Она была так великодушна, что после некоторых колебаний решила дать ему шанс, небольшой такой, не слишком обременительный для

собственной добродетели: ласковая ее ручка будет на всякий случай держаться за стоп-кран.

Однако сразу, тотчас, как желалось, ступив в длинный пустой школьный коридор, услышала вопрос, заданный его суровым и пылким голосом:

— О чем вы думали, когда ходили по Ленинграду... по Петрограду... по Петербургу?

Голос выбивался сквозь узкую щель плохо прикрытой классной двери.

— Как о чем? — смешливо отозвался безалаберный тоненький голосок какой-то, должно быть, пухлявенькой бойкой девушки. — Невероятно, сказочно красивый город! Эти мосты... Невский... Исаакий... Летний сад... Сказка! Невероятно, сколько красоты в одном городе! Я уверена, нет ни одного человека, который бы не восхищался Ленинградом.

— Точно! Верно! Город что надо. Вот бы добраться! — загалдел класс.

— Красивый город... и только? — упрекнул Ник-Ник. «Конечно, красивый! Чего ж тут еще мудрить?» — на миг отвлекаясь от своего, подумала и она, Варя.

— Я шел по его улицам в белую ночь, — после молчания заговорил Ник-Ник, внезапно обрывая предложения и так же внезапно продолжая их. — Фонтанка... чугунные цепи... тяжелые, черные, вечные... Шорох шагов — народ из театра выходит. Закрыв глаза — шорох. Иду. Вслушиваюсь. Наконец удастся представить, что рядом, и впереди, и сзади меня спешат не зрители «Короля Генриха IV», а Пушкин, например. У него шаг внезапный, как будто... и легкий, улетающий... Или Герцен. Он идет сильным, широким шагом. Мыслитель... бунтарь. «Реальная истина должна находиться под влиянием событий, отражать их, оставаясь верною себе, иначе она не была бы *живой истиной*...» «Былое и думы». Давно читали? Перечитайте. Прочувствуйте еще и еще раз, что такое подлинно русский интеллигентный человек... Герцен Александр Иванович... За ним, чую, Белинский... Стремительный, желчный и непреклонный в отстаивании истины, больной, издерганный... Стучат каблуки. Женщина идет, Софья Перовская. Спешит вершить свое жуткое праведное дело, а там хоть смерть... И была смерть... В двадцать семь лет. Помните, как это все было? Нет? Перечитайте, перечувствуйте, — этого нельзя забывать.

...Выборгская сторона... Старые дома вижу — останавливаюсь...

И вдруг — Ленин... Не изваяние застывшее... Идет! Хмурится... думает... решение ищет... Человек... Со страстями человеческими, со своими склонностями, привязанностями, порывами духа, жаждой деятельности, борьбы. И я слышу внезапно интеллигентную картавость его просторного голоса, рассчитанного на площади, на массы.

Все они, все эти честные, страстные русские люди, были готовы к самопожертвованию. Не поддались рутине официального, бюрократического взгляда на жизненные процессы и точно знали, на что шли и до сих пор идут... Ленинград для меня город великих призраков, хранящий их голоса, их поступь, их благородную дерзость, которая возбуждает мою веру в себя, в окончательное торжество справедливости на земле.

«Герцен... Перовская... — зацепилось за сознание Вари Белокуровой, притихшей в одиночестве под дверью. Внезапное смущающее беспокойство зашевелилось в ее душе. — Ну как же... как же! Благоговею и преклоняюсь! Помню. Учили, — поспешно, словно извиняясь, сказала себе, и ей стало легче, независимей... — Что он там, в самом-то деле, тянет? Скорей бы кончал! Надоело ждать, ей-богу...»

«Благоговею и преклоняюсь, — повторила Варя Белокурова, прикусывая край пухового бесполезного одеяла. — Благоговеть и преклоняться перед достойными предками — святое дело каждого советского человека. И если я благоговею и преклоняюсь, следовательно...» Железная логика! Великолепная сентенция собственного производства! Для чего великолепная? Как же! Для того, чтобы легко и просто справляться с нечаянными приступами самокритики... А для пушей неуязвимости, для страховки, — напоминала упрямая, жестокая память, — ты держала в уме отретпетированный набор слов, нанизанных — так ты хотела думать и думала, почти веруя, — на суровое чувство гражданской горечи: «Увы! Увы! Разве все сейчас живут по совести?» Чудесный, универсальный трамплин для разгона мыслей, уже достаточно натренированных, чтобы взлететь на заданную высоту.

А кто сказал, что подлецы наедине с собой признают себя подлецами? Кто сказал, что подлецы не умиляются,

стоя у подножия Венеры Милосской, не ужасаются, глядя на кровавые пальцы царя Ивана, убившего своего сына, не вздыхают горестно над последними страницами «Анны Карениной»? И умиляются, и вздыхают, и вслух рассуждают о повсеместном падении нравов «в наше ужасное, ужасное время!». И интонация их голоса самая подходящая, исполненная гражданского пафоса, гражданской печали! «Мать твою...» — как говорит Жора, если забывает цензурное «тыс-изыдь».

«И как это в них, в людях, уживаются подлость и возмущение чужой подлостью? Подлость и страсть к театру, к путешествиям в разные там Кижи?» — спрашивала у себя семнадцатилетняя Варенька Родионова и не знала ответа. Теперь она, увы, близка к разгадке. «Никаких самокопаний» — первое условие. «Я живу не подлее других» — второе. Вывод: «Так почему бы мне не наслаждаться великими произведениями искусства или отказывать себе в удовольствии слышать свой звучный голос?»

И Варя Белокурова умела горячо, пламенно восхищаться благородными идеями. Александру Ивановичу Герцену она, помнится, говаривала примерно так: «Благоговею и преклоняюсь перед вами... Представляю, как вам было трудно бороться за правду, за справедливость!..»

«Вот оно! Вот как можно запросто беседовать с великими предками, чьи портреты украшают стены там и тут, — подумала Варя Белокурова, та, что все еще надеялась согреться под пуховым одеялом, но никак, никак не могла. — Ну разве это не чудесно, не умно, не убедительно? Не достаточно интеллигентно, наконец? И разве предвещает преступление? Отдает преступлением? Настоящим ночным преступлением, с запахом пороха и крови, которое вот только что...»

— Стыдитесь, если вскользь, чтоб только на экзамене не провалиться! — звенел голос за высокой казенной дверью и опять невольно заражал ее, Варю, неопределенным, удручающим беспокойством. Иногда ей даже казалось, что он, невидимый Ник-Ник, обращается только к ней, — такая тишина стояла в классе.

«А все-таки, все-таки... если я захочу, и ты... умный и красноречивый... Стоит мне только захотеть!» — подумала Варя...

...Зазвенел звонок с урока. Слаженно гроыхнули крышки парт. Встали там, что ли? Однако никто не вышел.

Вышел стремительно сам Ник-Ник со своим безобразным, распертым во все стороны портфелишком. Увидал ее,

Варю, и в самом деле очень и очень изумился. Это она точно предсказала себе.

Из класса, мимо них, стали наконец выходить вечерники.

Последними выскочили две девушки — толстушка с тонким, безалаберным голоском и высокая, голубоглазая, с упругой поступью длинных, сильных ног.

Толстушка обогнала подругу и первой скрылась в полутьме вестибюля. Высокая девушка остановилась внезапно и посмотрела на Варю долгим, тревожным, ревнивым взглядом. У нее были чудесные рыжеватые кудри, бледное лицо с живописным росчерком бровей. Прежде чем повернуться и уйти, она бросила на Ник-Ника преданный, очарованный взгляд еще очень юных, неискушенных в притворстве глаз...

«Вот это да!» — подумала Варя, глядя вслед красавице. Нет, она никогда не сомневалась, что у Ник-Ника есть поклонницы. Но чтоб такие и до такой степени... Это нечаянное открытие поразило ее и еще пуще растравило в ней сатанинскую жажду повелевать, управлять, наслаждаться необыкновенной своей властью.

— О-о-о! Ты-ы-ы? — тянул в изумлении Ник-Ник, пока хватило голоса. Его темные глаза раскрылись до предела, как будто ей предназначалось немедленно пройти через них внутрь его.

— Вот, зашла... знаешь... Мне... Посиди со мной! Обними меня! — взвинченным голосом потребовала ее великодушная, самоуверенная, сволочная тоска. — Хоть до утра посиди, подольше! Мне плохо, неуютно ужас как!

— Сегодня? Сейчас? — спросил растерянно, и его качнуло вперед-назад.

— Да, да, сейчас! Сейчас же! — Она затащила его в опустевший класс.

— Сейчас... не могу, — услышала и не поверила. — Сейчас — никак, — повторил он укоризненно, словно винил ее в том, что не может. — Но если подождешь... — Опустил голову, спрятал руки за спину.

— Подожду? Подождать? — Она зашептала от неожиданности. — Но я же прошу! Очень!

Совсем узкий, с руками за спиной, в черном узком костюме, он стоял у черной классной доски неподвижно, словно был угловато вырезан из одного с ней материала. И не отозвался, только глаза его смущенно блеснули из-под откоса темных бровей.

Она поспешно отвела от него свой ошеломленный взгляд

и увидела слева от себя ряды пустых парт. «Что же это? Как же это?» — ужаснулась, перескакивая глазами с парты на парту, словно в поисках места, где бы могла спрятаться и прийти в себя. Она же вот — сама пришла к нему! Какие слова сказала! Да она в жизни ни к кому! Дерево! Чурбан! Бетон! Что там есть еще такое же отвратительное, неодушевленное?!

Опять нечаянно глянула на него. Он кусал губы и, тоскуя, подняв брови, смотрел на нее, что-то соображая. Он колебался, он не мог не колебаться... Наконец-то!

— Ну? — безжалостно позвала она, как если бы крикнула: «Твой последний шанс! Хватай, дурак!» И сама пошла к нему.

И он таки сделал к ней шаг, и еще, и еще. И остановился.

— Не-е-ет, — сказал врасстяжку, словно не хотел быстро отпустить от себя это слово, и раскинул руки, взмахнул головой и тусклым, уходящим от нее голосом повторил: — Всегда — да, сейчас — нет. Всегда — да, но сейчас тут такая закавыка...

— Интересно, — перебила она, — просто очень интересно.

— Всегда — да! Но сейчас... — Он поморщился от неловкости.

— Интересно, — повторила она высохшими губами, и пустой класс показался ей совершенной пустыней.

— Варюха-Варюха. — Он протянул к ней руку, нерешительно потрогал завиток на ее мерлушковой, холодной после улицы шубе. — Давай так: ты подождешь, пока я... Всегда — да, но сегодня я обещал... Женщина, вдова... Ждет...

— Вдова? И ждет? Понимаю. — Ее одеревеневший голос попытался изобразить иронию. — Понимаю.

— Не понимаешь, — печально сказал он и оставил бараний завиток в покое. — Пойми — вдова, сына растит. Жизнью и без того обиженная. Муж-рыбак в море погиб... полгода как... Ее Вовка по русскому здорово поотстал. Воспаление легких схватил, выздоравливает. Я обещал с ним позаниматься, подтянуть... Она верит, ждет. Как ее обмануть... такую? Я в десять обещал быть. А сейчас, — он глянул на руку, на часы, — без пятнадцати. Предел.

— Благодетель! — насмешливо сказала она искривленными от обиды губами. — Ах, благодетель! Ну что ж, обойдемся, ладно.

— Вот что! Идея! Пошли вместе, пошли вместе! — воспламенился он и вновь попытался ухватиться кончиками

пальцев за черный завиток на ее шубе.— Хоть бы на полминуты, предупредить...

Но она откачнулась от него.

— Нет уж! Раз уж была вместе. Видела, как тебя гнали! Хватит!

— На десять секунд! Только. А потом я готов! Десять секунд! — быстро, повинно заговорил Ник-Ник, то разводя в стороны руки с сжатыми кулаками, то с силой сталкивая их, так, что слышался стук костей.

Но нет, триумфа не получилось, и, значит, не о чем ей говорить с этим юродивым, с этим идиотом!

Варя повернулась и ударила дверь носком сапожка.

— Варя! Варенька! — крикнул он так, что она остановилась вдруг и обернулась.

Он стоял, наклонившись вперед, к ней, и крепко держал себя за оттянутые лацканы пиджака. Он показался ей смешным. Со злым удовольствием она заметила, что руки его с побелевшими от напряжения суставами дрожат, что на черном сукне пиджака отпечатались его испачканные мелом пальцы, что одна пуговица висит на нитке... Еще она отметила особую, беспомощную худобу его вытянувшейся шеи и тоскливое недоумение в его раскрытых навстречу ее взгляду глазах. «Как у побитой дворняги», — сравнила она.

И благодаря этому его, как ей хотелось считать, поразительно нелепому виду она ушла в какой-то степени удовлетворенной и отомщенной. Ну как же, дураку ясно, что она для него значила! Дураку ясно, что он старался удержаться себя и не броситься за ней следом! Как жаль, что на этот раз ей следует смолчать обо всем случившемся. А то бы вот уж поохотали бы они с Ваней, вот уж...

Он догнал ее, трудно дыша, сказал:

— Прости... Я готов... Варенька! Милая!

— Не надо, — сказала она. — Не надо. Делай свои дела.

«Не надо. Поздно. Триумфа не получилось. Ну, глупец, ну, глупец! Молодая женщина, прелестная, между прочим, приходит к тебе, предлагает... а он... Занят! Какой-то там тетке обещал прийти... Другого вечера не нашлось бы? Помрет эта тетка оттого, что именно сегодня не придешь? Чепуха! Просто одеревенел, состарился, бедняга несчастный, иссох, и не хватило юного задора, такого удалого: «А черт с ними, с делами, здесь же ты, ты, Варенька!» Живой человек иначе и не поступил бы. И кто бы его не понял, порицать бросился? Все бы поняли, абсолютное большинство!»

«Значит, все справедливо,— услышала Варя Белокурова вкрадчивый, фальшиво задушевный голос у самого уха, словно тот, кто заговорил, наклонился над ее подушкой низко-низко, чтобы быть уверенным, что она хорошо слышит его.— Справедливо, что здравомыслящие люди живут-поживают, выживают, одним словом, а всякие... глупцы... Туда им и дорога! Не умеют, не хотят наслаждаться жизнью — пустьдохнут. Пустьдохнут, пустьдохнут! Ну, раз не умеют, раз не хотят?!»

Голос звучал негромко, интимно, но под конец загремел площадным репродуктором. Варя подскочила в постели, оглянулась по сторонам. Опять было тихо, мирно, только сердце ее бешено колотилось, спешило, спотыкаясь на бегу. Варя увидала черную, пустую щель в двери и замерла. Длинная черная пробоина продолжала хранить зловещее безмолвие. И вдруг откуда-то оттуда, из темной таинственной глубины, стал нарастать жуткий, режущий крик: «Все эти, эти! Не люди! Не-ет!»

Варя поспешно отвела глаза от темной пробоины, заби-лась под одеяло. Голос замер. Под одеялом ей скоро стало душно, она высунула наружу голову, но глаза не открывала и чувствовала, как все еще дергаются веки.

«Ник-Ник! — позвала умоляюще.— Ник-Ник! Если бы ты послушался хотя бы один раз, один-единственный, вчера вечером. Только вчера вечером!» Это она молила о пощаде, хотя и понимала, как это бессмысленно.

«Заткнись! Эй, ты! Чего, в самом деле, скулишь? — Жестокий, насмешливый некто был тут как тут.— Все-таки желаешь обвинить его?.. Ну-ну, ладно, не дергайся, придумаю выражение полегче. Вот так: тебе хочется хоть часть вины переложить на него? Сойдет?.. Опять не нравится? Уж и не знаю... Словаря под рукой нет. Ах, черт побери, черт побери этого сумасшедшего Ник-Ника! Так хочешь? Знаю, знаю, что нет. Жаждешь объективности, говоришь? Какой же? Вот этакой: вчера вечером Ваня, твой Ваня,— а это одно и то же, как если бы ты сама,— очень серьезно и очень настойчиво предостерегал Ник-Ника, предупреждал, увещевал и тому подобное. Было ли это предостережение разумным? Еще бы! Разве предостережение от несчастья неразумно? А что же Ник-Ник? Отмахнулся, не внял. Итог — пуля в голову. Ну, то, что в голову, случайность, конечно. Могла бы в другое место, в плечо, например... Ах, эти проклятые пьяницы! Сколько из-за них всевозможных случаев невероятных! Все зло от них, от них!» Некто явно заговаривался. Или смеялся над ней? Издевался?

«Господи! Господи, которого нет! Освободи меня от него! Освободи меня от него и послушай, ты ведь сам знаешь, что Ваня в самом деле предупреждал Ник-Ника вчера вечером, несколько часов тому назад, предостерегал, останавливал, и если бы Ник-Ник послушался, спал бы сейчас спокойно за той стеной, и вообще...

Не послушался. По-своему... Безрассудно. Бессмысленно,— торопилась она говорить.— А подожди он несколько минут, всего несколько минут, и ничего такого не случилось бы. Примчалась бы милиция. Она-то уж знает, как с пьянчугами обращаться, у нее сноровка, опыт, а у Ник-Ника? Упрямство, и ничего больше, ничего, ничего.— Она спешила говорить, чтоб не дать чужому, дьявольски жестокому человеку, засевшему внутри ее, вставить хоть одно слово.— В самом деле, в самом деле,— твердила она,— уж в тот-то последний раз Ник-Ник поступил просто необдуманно, уж в этот последний раз это точно, в этот самый последний раз! Хоть в этот-то раз!»

И скорее, скорее опрометью во вчерашний вечер, искать — а вдруг? — утешение, если оно, хоть бросовое, возможно после случившегося.

...Праздничное потрескивание целлофанового конверта, который держишь одной рукой в то время, как другой вынимаешь накрученные на картонку нейлоновые чулки, прозрачные, сквозь них видны твои пальцы и лучистое сверкание крошечного бриллиантика в перстне.

...Платье, распятое на постели. Легкая, пушистая розовая прохлада. Скользнуло по лицу, голым рукам, по комбинации и ловко, нежно, плотно натянулось на груди, прильнуло к бедрам.

Бесшумное покачивание отворенной дверцы зеркального шифоньера. Подставила лицо к самому стеклу, чтоб лучше разглядеть, не появились ли морщинки. Нет, не появились. Зеркало запотело от счастливого дыхания. Провела пальцем «25». Мысль: «Неужели мне действительно двадцать пять, а с завтрашнего дня пойдет двадцать шестой?! Ужас! Ужас! Ужас!» Но без ужаса, с необъяснимым восторгом и лукавством.

...Голос тети Лизы, или мамы Лизы, как положено бы по традиции, но что никак не дается ей по отношению к начальственной, молодящейся матери мужа:

— Именинница-а! Лапочка-а-а! Гости пришли! Ждут! Мысль: «Как в лесу. Тетя Лиза рада предлогу про-

демонстрировать самые высокие регистры своего любимого голоса».

...Большая комната, где в будние вечера сидит в одиночестве тетя Анна и не очень умело пробует вязать мужской свитер из грубой серой шерсти, сейчас занята длинным столом под белой скатертью. Поверху, как свежие мыльные пузыри, сияют круглые стеклянные фужеры. Тарелки белеют, расставленные одна за другой, сверкают металлом ножи и вилки. Тяжелые, с закутанными в серебро головками, ждут своего часа бутылки с шампанским. Должно быть, ледяные. Темное стекло потускнело от тепла.

На подоконнике сидит Ник-Ник. Длинные, худые ноги в черных брюках свесились и болтаются. Между штаниной и носком белеет полоска кожи. Ноги уперлись в пол — полоски исчезли.

— На, красавица, будь здорова и все такое прочее.

В вытянутой руке квадратная коробочка, перевязанная голубой лентой.

— Ах, это тебя имела в виду тетя Лиза? Ты гость? — говорит Варя, смущаясь чего-то, и хочет дернуть за кончик ленты: положено смотреть подарок в присутствии дарителя.

Но Ник-Ник задерживает ее руку:

— Можешь не демонстрировать воспитанность. Там конфетница. Чистый хрусталь. Угодил? Ты, кажется, обзаводишься хрусталями?

— О, благодарю! Чистый хрусталь? — Она лучезарно улыбнулась ему и даже прижала тяжелую коробочку к груди. — Правда, хрусталями не обзавожусь, но...

— Но, — подхватил он, — будешь, непременно будешь, куколка. К тому дело движется. Законы диалектики для всех едины! — Он снова забрался на подоконник, сложил руки на груди и принялся болтать ногами.

«Ну можно ли придумать человека злее и несноснее?! В такой день такие слова! Что ему нужно? Чего он хочет? Да, я счастлива, счастлива, счастлива! И пошел ты, праведник несчастный, ко всем чертям!»

— Варенька! Лапочка-а! — пропела тетя Лиза, появляясь в дверях. Ее свежеекрашенные лондотонем волосы звонкого, медного отлива, казалось, звенели на ходу. Но это звенели металлические колокольчики, свисавшие с цепочки между ее больших вздернутых грудей. Она протянула Варе набор разноцветных шариковых ручек и стопку книжечек карманного формата.

Варя приняла дары, приложила губами к мягкой напудренной щеке, сказала, разложив игрушечные книжки

по дивану: «О! Прелесть какая! И где вы только достали их?» А про себя подумала: «Купила вчера на областном совещании». Раскрыла одну из книжечек, прочла меленький шрифт: «Ольга Дилевская, выйдя из буржуазной семьи, не прельстилась легкой жизнью». Фраза чем-то развеселила, и она повторила ее про себя, глядя на фарфоровую вазу, полную свисающих оранжевых цветов, которую несла ей тетя Анна, зажав в губах всегдашнюю сигарету.

Ваза оказалась очень тяжелой и мокрой от пролитой воды, а цветы пахли так, как пахнет шелковый лоскуток, полежавший долгое время рядом с флакончиком из-под духов. Надо было ткнуться лицом в самую гущу нежно отверстых лепестков, чтобы ощутить их ускользающий аромат.

Тетя Анна постояла рядом, сквозь дым сигареты посмотрела на Варю неопределенным, задумчивым взглядом и отошла, ничего не сказав. А Варя вдруг покраснела, смутилась и, не поднимая глаз, поставила вазу на стол, вытащила за ушко бумажную салфетку из стаканчика и принялась вытирать влажные руки. Она уже сообразила, что такой огромный букет живых цветов очень не просто найти в марте на Сахалине и тетя Анна не стала бы стараться ради нее. Такой букет можно отыскать только в парниках областного центра, да и не вдруг... Надо ж было... Вот сумасшедший... И чего ради? Вот выдумал тоже еще...

Она присела на диван и сделала вид, что ей не терпится перелистать еще раз книжечки карманного назначения. Открыла, какую пришлось, и... прочла: «Ольга Дилевская, выйдя из буржуазной семьи, не прельстилась легкой жизнью». Смутное, расслабляющее чувство неотвязной зависимости от того, кто тихо сидел на подоконнике, озадачило и раздосадовало ее. Она попыталась сердито взглянуть на оранжевые цветы, кудряво свесившиеся из вазы, но не смогла. Букет пылал на белой скатерти притягивающим взгляд костром.

...В кухне что-то загремело и покатилося. Ахнула тетя Лиза. В ванной сильнее полилась вода. Там был Ваня. Он только что вернулся со стройки и мылся под ледяным душем. Эта привычная подробность быта показалась ей вдруг очень успокоительной и радостной. Как некий символ устойчивости всех ее радостей, вместе взятых. Захотелось, чтобы Ваня поскорее кончил свои дела и пришел сюда, к ней, и окончательно избавил от напряжения, которое заставляло ее делать вид, что она читает и что ей все равно, есть в комнате кто или нет. Золотое колечко

с бриллиантиком — Ванин подарок — сияло крошечной звездочкой на ее пальце, ворошащем страницы. «Какое ты миленькое, славненькое!» — усиленно умилялась она, точно увидела его впервые, лишь бы преодолеть искушение и ни разу не взглянуть в сторону окна, на того, кто, должно быть, все время смотрит на нее, изучает, сузив глаза и скрестив руки на груди.

Но так ли уж он занят ею, как ей кажется? Не утерпела и быстро, пугливо взглянула туда...

Ник-Ник сидел в запомнившейся ей позе и действительно смотрел на нее прищуренными, пристальными глазами. Такое впечатление, что он наблюдает за ней из ложи и хочет понять окончательно, как это она там играет, откуда у нее что берется.

Дольше терпеть это беспардонное, раздражающее разглядывание у нее не хватило терпения. Она решила обмануть его навязчивую бдительность, быстро встала и с рассеянной, небрежной улыбкой пошла к нему на слегка подламывающихся высоких каблуках.

— Ты знаешь, я так рада книгам тети Лизы, — сказала чуть восторженнее, чем нужно было для правдоподобия. — Прелестное издание! И Тургенев есть... Ужасно люблю Тургенева. Вообще все, что пахнет стариной. С наслаждением переживаю такие моменты. Недавно прочла у Тургенева: герой говорит, что завоевал женщину на балу, где она была в прелестном розовом платье, с куафюрой из маленьких роз. Я не знаю, что такое куафюра, но все равно...

— Прическа. Всего-навсего. — Ник-Ник передернул плечами и коротко усмехнулся, выдохнул воздух открытым ртом.

— Все равно, — безмятежно продолжала она и старательно улыбалась, не глядя ему в глаза, — все равно... — Но вдруг потеряла мысль и почувствовала, что краснеет.

— Хочешь сказать, что все равно тебе очень приятно читать такие непонятные слова, как «куафюра», и представлять нечто очень привлекательное? — быстро, предупредительно проговорил он.

— Да. Так, — запинаясь от неожиданности, отозвалась она.

— Убоись, Варюха! — тотчас возвысил он голос. — Сентиментальность с пристрастием к старинным романам — верный признак одряхления!

В его тоне звучала невеселая, но упрямая издевка. Он не собирался даже сегодня оставлять ее в покое. Особен-

но сегодня, показалось ей. Признак одряхления обнаружил! Договорился! Да ведь она может так ответить ему на это, так ответить! Восхитительное ощущение, когда у тебя одни козыри и король и туз козырный тоже! А пусть не лезет, не портит настроения, не омрачает праздник!

— Уж кто бы говорил...— начала она, нагнетая язвительность, и впервые за все время разговора пристально взглянула ему в лицо. И осеклась. На нее с грустной, усталой безнадежностью смотрел искоса большой, памятный, одинокий глаз. Ветер, дувший в форточку, шевелил прядь светлых прямых волос, и она то цеплялась за вздыбленную черную бровь, то отлетала к виску, и чуть заметные искры проскальзывали в ней. Это было красиво, и это была седина. Варя невольно сжалась, пораженная, и уже с плохо скрытой, чисто женской жалостью заметила темное тусклое полукружье вокруг глаза, отчего глаз казался огромнее и ярче. И худой, независимо выставившийся вперед подбородок приметилла она и ничуть не смутилась, когда Ник-Ник подозрительно и резко спросил ее:

— Ты это чего?

Из открытого, расстегнутого на одну пуговицу воротника белой рубашки она видела его худую, как у мальчишки, вытянувшуюся шею. Поверх рубашки на нем был надет толстый серый свитер с треугольным, неровно связанным воротом.

— Ага,— миролюбиво сказала она.— Я не вижу тут клубка и спиц. Поздравляю с обновой! Тепло?

— Чрезвычайно! — фыркнул он.— Скажи, какая любознательности!

— Ага,— сказала она, повернулась и посмотрела на оранжевые цветы в мокрой фарфоровой вазе.

Да, да, она пожалела его тогда, очень пожалела! И теперь благословила свою бессонную память, вовремя, обстоятельно возвращавшую ей обнадеживающие подробности вчерашнего вечера. Теперь она надеялась, и сердчишко ее, радостно напуганное предвкушением возможного утешения, готово было выпорхнуть из своего гнезда.

Ах, дальше, дальше! Скорее к основным, решающим подробностям!

Впрочем, вот что было еще, помнится. Она, значит, стояла возле Ник-Ника, видела, какой он усталый, и жалела его, а потом бросила взгляд в сумеречное окно. В доме

через улицу, на балконе четвертого этажа, разглядела толстую девицу в фате и белом капроновом платье.

— Фу, какая пошлость! Все равно что голая! — поделилась с Ник-Ником возникшим соображением.

Ник-Ник тоже глянул на балкон четвертого этажа, потом на нее, на Варю.

— Прямо конец света, как ты мыслишь, — сказал невесело и невесело передразнил ее: — «Какая пошлость — голая женщина!» Нашла пошлость! Дайте ей премию! Или хотя бы бесплатный проездной билет в автобус!

— Не утрируй, Ник-Ник. Все-таки невеста в прозрачном капроновом платье — это пошлость. И комбинация, и все прочее как на выставке.

— Ах, куколка, она знает словечко «утрировать». Она знает: женщина в капроновом платье — это пошлость. И далее по тексту: мужчина без галстука — совершенное фи! Фифа ты, Варюха!

— Ну, понесло! Да ведь платье просвечивает насквозь! Ее всю видно!

— Чего тебе видно? Чего, красавица?

В это мгновение за окном зачастила, завскрикивала гармошка.

Они вместе оглянулись на звук. У подъезда, под балконом с невестой, стояли мотоциклы новейших марок штук десять и три личные машины красивой расцветки — голубая, кофейная и малиновая. Около, на грязном асфальте, толклись, судя по всему, хозяева, они же свадебные гости, все больше молодые парни. С предельным рвением махали руками, прыгали, вертели задами, — одним словом, воображали, что танцуют твист. Изредка под отчаянное повизгивание гармошки хором кричали:

О бэби-бэби! Ла-ла-ла-ла!

О бэби-бэби! Ла-ла-ла-ла!

Потом ушли в дом. И невеста убежала. Через некоторое время из распахнутой балконной двери раздалось зычное:

— Раз — горько, два — горько, три — горько!

И так до пятнадцати раз.

Опять на балкон выскочила толстушка в капроновом платье. У нее было красное, испуганно-счастливое лицо и модный высокий шиньон. Она торопливо проверила, как он держится, и снова умчалась в комнату. И снова громыхало оттуда зловещее, неотступное:

— Раз — горько, два — горько, три — горько, четыре... пять... семь...

И так до пятнадцати раз.

— Пошлость, Варвара Александровна, — сказал Ник-Ник, отворачиваясь от окна, — это не голая женщина, отнюдь. Сведение высокого к примитиву — вот пошлость.

Дальше, помнится, из темноты коридора вышел Ваня, поскрипывая парадными полуботинками английского производства. Новый серо-голубой костюм в талию, делавший его литую фигуру еще стройнее, чем она была, матово воссиял в свете люстры. Шагнул к Варе, сопоставил взглядом ее лицо и ее платье, сказал одобрительно:

— Очень, очень, Варюша! — и поцеловал, задев ее щеку холодными, влажными завитками бороды, пахнувшей «Шипром».

Нелепая мысль пришла ей в голову: «Интересно посмотреть, а как он моет свою бороду?»

— Не замерз под душем? — спросила поспешно, чтобы отогнать не деликатный вопрос.

— Да что ты! — сказал Ваня и стиснул ее руку своей большой, теплой и очень уютной. — Душик жжет, как надо! И вообще «жизнь прекрасна и удивительна», как сказал поэт. Пойду перехвачу чего, хоть чаю с колбасой.

Он хочет выпустить ее руку из своей, но она сама цепляется за него:

— Пстой, не уходи, я замерзла, холодно...

— Да что ты? — удивляется он. — Николай, прихлопни форточку! Не слышишь?

Раздается длинный скрежещущий звук.

— Фу, даже зубам больно! — стонет тетя Лиза, появляясь в дверях с широким блюдом, а на нем заливное из тайменя. Видит Ваню — кричит в коридор: — Анночка, лапочка, иди сюда! Ну как он тебе?

Тетя Анна останавливается в дверях с сигаретой в одной руке и баночкой хрена в другой, смотрит на Ваню с прилежным вниманием.

— Представь, французский, а как будто по заказу, — говорит тетя Лиза, созерцая Ванин костюм с удовлетворенной улыбкой на подкрашенных властных губах. Зовет: — Коленька, а тебе как? Как мужчине?

Ник-Ник продолжает сидеть на подоконнике. Он только разводит длинные руки в стороны, точно желает обнять всех четырех сразу: и Ваню в новом костюме, и тетю Лизу, и тетю Анну, и ее, Варю, в розовом шелковисто-пушистеньком платье, а заодно и блюдо с тайменем, которого поймал утром Ваня на озере Чинуча, такого толстого, холодного, с липкими жабрами и слюнявым ртом.

— Декорация прелестна, — произносит Ник-Ник. — Шарман, как говорят французы. Эй, кто там! Открыть занавес!

— В своем неизменном амплуа. — Ваня небрежно махнул рукой, и на мгновение из-под опавшей манжеты породисто взблеснули его золотые часы. — Ничего нового, ничего инте...

В прихожей длинно, резко зазвонил звонок.

— Вот и новое, вот и интересное, борода! — Ник-Ник рассмеялся и соскочил с подоконника. — Действие начинается. Акт первый: Лошкарев и другие.

— Гусь, гусь горит! — ужаснулась тетя Лиза и, бренча колокольчиками, бросилась вон из комнаты.

Тетя Анна пошла открывать дверь. Но вдруг остановилась, обернулась, ткнула рукой с зажженной сигаретой в сторону Ник-Ника, сказала с веселым ужасом:

— Боже мой, Колька! Неужели это я тебя уродила? Такого длинного! Ой, смотри, случится с тобой что — умру, и оплакать некому будет.

— Аннушка, зачем так возвышенно? Романтическое воображение ларинголога разыгралось — не унять? — Ник-Ник смотрел издали на мать ласковыми, усмешливыми глазами.

— По старым временам, Колька, я бы тебя давно женила. Одиночество вредно, нелепо, опасно и...

Ник-Ник подбежал к матери, обхватил за плечи.

— А почему ж ты замуж не идешь? Все так хорошо понимаешь... Почему, лучшая женщина на свете? Вот звонит Лошкарев...

Но в дверь уже не звонили, а стучали то ли кулаками, то ли ногами.

— Нет, это не Лошкарев, — сказал Ник-Ник, выпуская мать из рук. — Это за тобой, не иначе. Опять какой-нибудь маленький негодник пуговицы ел. Увы! Даже новое Варварино платье не рассмотришь как следует, от гуся куска не отхватишь!

— Все-то тебе смех, шут гороховый! — одернул его Ваня и, опередив тетю Анну, заспешил открывать ухающую под ударами дверь.

«Какая у него красивая спина! — успела подумать Варя, идя следом за ним. — У большинства гладкая, плоская. А у него эти выпуклые мускулы по обе стороны позвоночника, как основание распахнутых крыльев... Горный рельеф... Сила и мощь...»

Ваня раскрыл дверь. В проеме, значительно ниже того места, куда Варя нацелилась взглядом, стоял мальчишка. Без кепки, без пальто, в застиранной ковбойке с незастегнутыми рукавами, в коротких брюках и тапках на босу ногу. Он тяжело, хрипло дышал разинутым ртом и круглыми, шальными глазами выискивал кого-то среди тех, кто очутился перед ним.

Вдруг его взгляд, нетерпеливый и удивленный, замер, устремленный ввысь, к Ваниному лицу.

— Вы? — вскрикнул мальчишка, откатнулся и уже откровенно злыми, враждебными глазами обвел всех, глядевших на него, спокойных, нарядных, благоухающих. Опять уставился на Ваню, и детские, мягкие губы его, задрожав, поползли в стороны, словно в горчайшем, безутешном плаче.

— Что... я? — спросил Ваня чуть недоуменно и очень мягко. — Ты проходи, чего стоишь? Тебе, наверное, Анну Павловну, врача?

— Иди-ка. — Тетя Анна крепко взяла ребенка за руку, сдернула с места и закрыла дверь. — Что там у тебя? Говори. Слушаю.

— В доме заперся, — сказал мальчишка каким-то ломаным, ненадежным голосом, глядя в не улыбочивые глаза тети Анны. — Двустволкой грозит. Убить обещает. Всех. И Катьку, и мать... Выгнал на улицу. На Катьке платье... и без чулок. Они в сарай заскочили...

— Отец? — Тетя Анна отвела в сторону внезапно смутившийся взгляд.

— Отец. Кто ж еще! Отец...

Варя узнала его, этого злого, грубого мальчишку. И испугалась неотвратимости, с которой она, вопреки воле и желанию, то и дело натывается на него или разговоры о нем. И еще того испугалась она, что он сейчас узнает ее и опять скажет ей что-нибудь возмутительно дерзкое, оскорбительное... Она тотчас спряталась за широкую Ванину спину и выглядывала оттуда.

— Понятно, — сказал Ваня и покачался с носка на каблук, с каблука на носок. — Но почему, милый, ты примчался именно к нам?

— К вам?! — ужаснулся мальчишка, и глаза его высекли искру презрения. — Я дверями спутал, вот! К вам? Нужны вы! Мать находилась к вам в контору! Хватит! К вам!

И тут он увидел где-то за плечом Вани то, что заставило его умолкнуть. Его глаза часто-часто замигали и стали по-детски беспомощными. А когда он заговорил, его голос

звучал, как тонкая, до отказа натянутая и готовая лопнуть струна:

— Я в школу бегал, а вас там нет...

Варя оглянулась — в глубине прихожей стоял Ник-Ник.

— Чего тут антимонию разводить? В милицию, — строго поглядев на всех, сказал Ваня и протянул руку к телефону.

— Не надо милицию! Сбегутся! Все ребята, вся улица! — Мальчишка мотал головой, не спуская с Ник-Ника испуганного, умоляющего взгляда. — Может, обойдется, может, вы, я...

— Именно в милицию! — раздраженно сказал Ваня и взялся за трубку. — Чем скорее, тем лучше.

— Не надо. О! — заорал мальчишка и повис на недрогнувшей Ваниной руке.

Ник-Ник оторвал его, притиснул к своим длинным ногам.

Мгновение они стояли так. Ленька Лебедев часто-часто дышал.

Потом Ник-Ник молча, помогая себе нетерпеливыми движениями плеч и шеи, стащил с себя свитер, натянул на мальчишку, сорвал с вешалки свою кроличью ушанку, нахлобучил на мальчишку. Схватил пальто и кепку, крепко взял Леньку за руку, шагнул к двери.

— Погоди, Николай! Прошу! — Ваня вдруг встал поперек пути. — К чему? — Он прижал к его груди ладони. — К чему? Милиция прекрасно обойдется без нашего дилетантского вмешательства!

Ник-Ник приостановился, молча отстранил Ваню.

Ваня дернулся, покраснел.

— Глупо! Бессмысленно! Нелепо! — Схватил трубку и поспешно стал набирать номер.

Ник-Ник рванул дверь.

— Остановись! Не пори горячку! Какой идиотизм! Кому нужно? — закричал Ваня вдогонку. — Слышишь?

— Нет! — донеслось из глубины лестничных пролетов.

Грохнула дальняя дверь.

— Это он нарочно! Назло! — пробормотал Ваня оскорбленным, оправдывающимся голосом и зависимо поглядел на всех.

— А что тот может? Убить может? Действительно? — Тетя Анна вцепилась в отлично отглаженный рукав Ваниного костюма.

— Черт его знает! Такой типчик, доложу вам... Милиция? Тут вот какое непредвиденное дело...

Тетя Анна отпустила Ванин рукав, и он ничуть не смял

ся — такая прекрасная это была материя. Тетя Анна, словно девочка, подскочила на месте, быстро скинула туфли на высоких каблуках и, оставив их валяться посреди передней, бросилась к вешалке, сунула ноги в резиновые сапоги, дернула к себе пальто, оборвав вешалку.

— Дети, дети, дети! — шепотом твердила она, отыскивая среди других свою шапку.

Но в тот момент, когда Ваня объяснял милиции суть дела, из кухни прибежала тетя Лиза и решительной рукой обхватила тетю Анну, прижала к себе. Телефон освободился, она набрала номер, потребовала Федю, а от Феди — самой последней скорости.

— Не паникуй! — приказала она трепещущей, пытающейся вырваться из ее насильственного объятия тете Анне. — Сейчас придет моя машина. Едем все. Не выдумывай черт знает что. Ничего не может случиться. Глупости! Почему должно что-то случиться из ряда вон? Глупости!

Тетя Анна не глядела на тетю Лизу, а все куда-то в сторону и все рвалась, но вдруг затихла, и ее тоскующий, недоумевающий взгляд замер в ужасе перед неминуемой бедой на ней, на Варе. И Варе неожиданно передалось некое смятение маленькой, хрупкой женщины, и Варя поверила, что беда — вот она, — и изумилась: чего же все медлят, чего ждут?! Необходимо бежать, кричать, спасать! И первой, уже не сомневаясь, кинулась к вешалке, схватила свой мохеровый шарф, накинула на голову.

Но тут же почувствовала, что на плечи ее легли тяжелые руки.

— Ты-то куда? — услышала над своей головой Ванин хмурый голос. — Сейчас придет машина, поедешь со всеми, если хочется.

Она попыталась оторваться от его рук, но они были сильны, чертовски сильны, и их властная, надежная сила играючи справилась с ее нервным порывом.

Ваня отпустил ее, лишь когда уверился, что она смирилась, и когда подъехавшая наконец машина гуднула раз и другой. Тетя Анна и Варя первыми сбежали вниз. Последним — его пришлось чуть-чуть подождать — сел в машину Ваня.

— Давай, Федя, — сказал Ваня. — Невельского, двадцать три.

В машине было тепло и тихонько шелестел музыкой приемник. Варину ладонь нежно поглаживали ворсинки коврового чехла. Машину несло легко и плавно, как лодку, подхваченную течением. Но Варя старалась думать о том,

что в машине какое-то огромное количество лошадиных сил, что машина мчится быстрее нельзя, и это ее успокаивало и делало мысль о возможном несчастье неопределенной и безобидной. «На такой быстрой машине мы не опоздаем, нет, ни в коем случае», — думала она, глядя, как проносятся мимо круги тусклого желтого цвета — фонари, увязнувшие в стильном мартовском тумане.

«Не опоздали, нет», — шепотом сказала себе Варя Белокурова и почувствовала, как судорожно передернулись мускулы вокруг губ и исказилось лицо.

«Нет, нет, не опоздали! — подтвердил в ней вкрадчивый, презрительный посторонний голос. И потом еще: — Не опоздали, не опоздали, нет, нет, нет». И еще, и еще. Как припев песенки, даже мелодия возникла вдруг — этакие подскакивающие вверх-вниз, веселенькие, похохатывающие звуки.

Варя Белокурова заткнула уши, перевернулась набок, лбом до боли уткнулась в холодную, шершавую стену там, где кончался ковер. И все-таки продолжала слышать настойчивое: «Нет, нет, не опоздали».

«Господи, господи, господи!» — позвала она и забрала пальцы в рот и безжалостно стиснула их зубами.

Боль отвлекла ее. Но Варя чувствовала, что едва кончит болеть, как тотчас над ней начнет измываться упорный, насмешливый голос ее отчуждившейся совести.

«Нет, нет, не опоздали...» Его несли, когда подкатила их стремительная машина, у которой так много лошадиных сил. Они быстро все вылезли наружу, прямо в клацающую, туго расползающуюся грязь.

«Нет, нет, не опоздали...»

— Несут-ут! Во-он та-ам! — сказали голоса в темноте, набитой мерзлым, колючим туманом.

Тетя Анна попыталась закричать, но крика не получилось — один хрип, протяжный, натужный, сходящий на нет.

— Анночка, да не может быть! Ну что ты! — засуетилась тетя Лиза и строго крикнула в темноту: — Кого несут? Кого?

— Этого, который, — меланхолично отозвался голос вблизи.

— Ой, мамочки родимые! — вскрикнула невидимая женщина. — Дак ведь молоденький какой, худенький, и чего полез, не знал, что ли, какие они, пьяницы, глаза водкой заливши, чего им, — все нипочем...

«Нет, нет, не опоздали...» Послышался шум мотора. Высекая в молочной тьме коридор света, подъехала высокая,

неуклюжая, старого образца «скорая помощь». Стала, но фары не выключила. И там, в конце длинного светового коридора, Варя углядела что-то черное, бесформенное, шевелящееся.

И снова тетя Анна попыталась закричать, и снова горло ее, как заржавленное, подавилось хрипом.

— Чересчур шустрый, поперед милиции полез. Надо ж было! — сказали рядом с Варей. — Каких-нибудь пять минут подождать не мог!

— А что надо, что городишь-то! — откликнулись позади Вари. — Лебедев-то с двустволкой, окно распахнул и садит пули в сараюшку. Мать и дитя как раз там затаились. Доска от доски на вершок вся та сараюшка... Как еще убе-реглись! Сунуть бы тебя на их место на пять минут!

Зачарованными глазами Варя смотрела на темную, бесформенную приближающуюся массу. До нее еще не дошел смысл случившегося, и она еще воспринимала свет, и тень, и голоса, и движение как телевизионную постановку, возможно, и страшную, но все-таки придуманную кем-то нарочно и не имеющую к ней, к ее существованию, никакого прямого отношения. И видно было так же тускло, расплывчато, как по телевизору.

— Раз и выстрелил в него, сатана, и на тебе — как целил, — говорили вокруг.

— Это уже кому что на роду написано. Кому помереть в своей постели, того никакая пуля не возьмет, — говорили вокруг.

— Я, эта, вышла во двор, белье с веревки снимать. Вдруг слышу, эта, будто где сильно дверь хлопнула — раз, другой, третий. Мужик мой с работы как раз шел, говорит: стреляют, эта, балуются ребята, должно. Кто же сразу сообразит! — говорили вокруг.

— Да-а-а, — сказал Ваня. — История, — сказал Ваня. Он стоял рядом и поддерживал ее за локоть. И вдруг, как вспомнил что неотложное, проговорил торопливым, едким и как будто удовлетворенным голосом: — Я же говорил! Я же предупреждал! Да!

Черная плотная масса надвигалась, постепенно превращаясь в четырех тяжело ступающих мужчин, — два справа, два слева, — а между ними то ли крышка от длинного стола, то ли половинка двери и на ней раскинувшееся, как распятое, тело.

Кто-то сильно толкнул Варю, и если бы не Ванина поддержка... Это тетя Анна, как слепая, вытянув перед собой руки, толчками двинулась навстречу ноше. Ее попытались

удержать двое мужчин в белых коротких халатах: мол, зачем же так, сразу, Анна Павловна... Она отпихнула того и другого.

— Я врач, боже мой, я же врач, я врач...— И сама остановилась вдруг, закачалась взад-вперед, взад-вперед...

Распятие тело несли на плите сухой штукатурки с обледелыми краями. Должно быть, схватили, что подвернулось. Та сторона плиты, которая была обращена к свету фар, сверкала мокро и искристо на всем протяжении ледяного нароста, исключая небольшой промежуток ближе к середине. В этом промежутке, заслонив собой сверкание льда, висела прядь светло-русых волос и слегка колыбалась в такт шагам идущих. Казалось, волосы эти вовсе не принадлежат сильно запрокинутой голове, хотя и начинаются где-то там, близко от застывшей белизны лба, и живут сами по себе, в своем ритме. Точно так же Варе показалось, что и рука, свесившаяся с плиты и едва-едва не волочившаяся по грязи, только зрительно принадлежит неподвижному туловищу, а в действительности тоже живет сама по себе, чуть подрагивая и покачиваясь на ходу.

«Но это ведь не имеет ко мне отношения,— сказала себе Варя Белокурова.— Нет, нет, разумеется, нет».

Тяжелая, подзамороженная грязь чвакала все ближе и ближе, и уже было слышно натруженное дыхание несущих, и уже было видно много испуганных, любопытных, жалостливых лиц вдоль световой просеки. А Варе внезапно почудилось, будто все звуки исчезли и вокруг никого, а только она и приближающееся к ней распятие тело на плите сухой штукатурки.

Но и тогда ей не стало по-настоящему страшно. Со странным, пристальным недоумением она продолжала следить за свесившейся с носилок рукой, которая безвольно болталась на ходу, как будто вывинченная из тела почти до основания. Эта рука приближалась к ней, к Варе, и казалось, еще мгновение — небрежно, походя толкнет ее куда придется. «Это не имеет ко мне отношения. Толкнет... Глупости!» — продолжала уверять себя, и ей все еще не было страшно, только беспокойно и странно очень.

И вдруг она увидела, как безжизненную, свесившуюся почти до грязи руку эту, уже ненужную как будто и телу, и вообще не годную ни на что, поспешно подняли и жадно стиснули две другие, маленькие, худые и цепкие. Вскинула глаза — натолкнулась на изуродованное ужасом мальчишеское лицо.

— Николаша-а... ми-леньки-ий! — вытянулся, истончаясь до писка, безысходный детский вопль, и как будто ледяной стремительный ветер рванул Варю за волосы. — Ми-и-иленький мой, ми-и-ленький! — беспомощно, безутешно, по-бабьи вопил злой, грубый, нахальный Ленька Лебедев, и бежал сбоку носилок, и прижимал к себе безжизненную и, должно быть, тяжелую руку учителя.

Варя не выдержала, отвернулась.

— Я предупреждал, предупреждал, — сказал ей Ваня, дыша теплом в самое ухо. — Я же предупреждал, я же предупреждал, — поспешно повторил он для того, должно быть, чтобы перешибить тонкий, раздирающий душу вой Леньки Лебедева.

А она слышала и то, и это и еще услышала вдруг совсем рядом слабый, прерывистый шепот, горячий от боли и презрения:

— Все эти, эти! Не люди, нет! Куски сырого мяса! Негодяи, розовые, бодренькие, все нипочем. Нет! Не может быть!

Она крепко зажмурилась. Она сразу поняла, чей это голос...

«Это не имеет ко мне отношения», — тупо, упрямо подумала она, пытаясь оттолкнуть от себя происходящее, но не осилила, не хватило выдержки, обернулась и — отпрянула. Перед ней лежала голова с остро задранным углом подбородка, с закрытыми глазами и открытым, часто-часто и безуспешно хватающим воздух ртом.

Вдруг дрогнули длинные выпуклые веки на этом знакомом и незнакомом ей лице и чуть приподнялись. В узкую прорезь на Варю глянули темные, без блеска, расширенные болью зрачки. Глаза улыбались ей. Она догадалась об этом по движению истончившихся, тусклых губ: их начало перетягивать в одну сторону и чуть вверх. В эту же сторону, выкатившись из-под слипшихся корней волос, поползла капля темной, тяжелой жижи, подрожала на одном месте и быстро стекла в углубление вокруг глаза, продолжавшего улыбаться ей, Варе. И тотчас в том же месте из-под корней волос выскочила новая капля и скатилась сначала в углубление вокруг глаза, а потом криво по щеке — в острую складку у рта.

Продолжая улыбаться, лицо слизнуло языком темную, тяжелую и как будто сладкую каплю и внезапно выговорило негромко, поспешно и убежденно, преодолевая сопротивление непослушных губ:

— До каких пор! Респектабельные негодяйчики... спе-

шите уподобиться... никакого риска... красивая жизнь... Не верю! Нет! Есть предел! А?

— Несите! Несите! — приказал кто-то имеющий право приказывать.

— Бредит, — сказали в толпе.

Мимо нее одна за одной прошли боком две огромные неясные фигуры. Потом она увидала длинные ноги, раскинутые на носилках далеко одна от другой. Узконосые подошвы залеплены грязью так, что не видно каблуков. Торчащие вверх мысы покачивались слева направо, слева направо, безразлично подчиняясь ритму шагающих живых людей.

— Что ты? Куда? — услышала поспешный шепот Вани. Ее тотчас сгребли всю и стиснули.

Сильно взвыл мотор. Дернулся, заскользил в сторону свет, протянувшийся от фар. Тяжелая санитарная машина с осторожностью большого неуклюжего зверя развернулась и пошла прочь. Дикий одинокий вопль рванулся следом и как будто потерялся в промозглой мгле.

Раздались приближающиеся шаги нескольких человек, идущих твердо, напористо, по-солдатски, но вразнобой, не вдруг выдирая ноги из тугой грязи.

— Чего лез? А? Чего лез? А? — внезапно выкрикнул один из них каким-то спекшимся, сиплым голосом. — Чокнутый! А? Было нужно ему лезть? А? Туман проклятый, такую его мать... Куда лез? Это мое дело, мое! Чокнутый! Я же предупреждал тебя! А-а, публика! Уставились! Набежали, сволочи! Я-то подлец, ясно? А еще что вам ясно, мать вашу, и так и растак? Ошибка! Не в того! В этого чего? Я бы выбрал, если б на то... Я бы выбрал, так и растак...

Ваня рывком поднял ее и отстранил от наседающих матерных выкриков и злобного, отвратительного воя, но вой этот еще долго качался в темноте.

— ...Гражданин! Гражданка! Ваши фамилии, спрашиваю! Ваши, ваши! И адрес, живете где! — Милиционер держал в руках блокнот и карандаш. На его груди горел фонарик, прицепленный к металлической пуговице мундира.

— Зачем вам это? — спросил Ваня.

— Свидетели, — ответил милиционер.

— Мы — свидетели? Вряд ли, товарищ милиционер, — сказал Ваня. — Мы слышали только его последние слова, бред, судя по всему.

— Почему последние? — прошептала она. — Почему последние?

— Я не в том смысле, Варенька,— быстро ответил Ваня.— У нас в городе отличные хирурги, говорят. И надо надеяться... Будем надеяться...

— Какого черта! Фамилии, говорю! — крикнул милиционер.— Адрес, говорю!

— Пожалуйста, если считаете необходимым. Белокуровы. Океанская, восемь, квартира двенадцать,— ответил Ваня раздельно, не повышая голоса.— А грубить, между прочим, вы не имеете права.

— Верно,— сказал милиционер, сплюнул и втоптал каблуком в грязь.— Все равно. А человека уколошили...

«Господи! — позвала Варя Белокурова. Ее затрясло под пуховым одеялом так, что зазвенели кроватные пружины.— Избавь меня, успокой меня, не могу больше, не могу! Не могу видеть, не могу слышать, не могу! Тишины хочу и чтоб пусто, тихо и пусто. Пусто и тихо, и никакой памяти. Никакой памяти прежде всего!»

«Господи! — передразнил ее бессонный, ядовитый голос, который один слышал, что она тут городит.— Пустое! Не то тебе надо кричать, не то. Забыла, что ли? Ну как же! «Мы ведь предупреждали его, мы предупреждали, а он...» — вот что тебе надо кричать, вот что ты собиралась кричать! Ну, так валяй, не задерживай!»

Она вскочила на колени, дико оглянулась вокруг и закричала так громко, что у нее заломило в горле, и кричала долго, пронзительно, лишь бы не слышать, не слышать, не слышать!.. Ее хватили за руки, целовали, стискивали, обнимали, гнули, гладили... В конце концов она устала от крика и пришла в себя.

Над нею сверху, на расстоянии кварцевой лампы, которой светят тебе в рот в лечебных целях, нависло испуганное Ванино лицо. Черная мягкая масса бороды зашевелилась и произнесла очень тихо и очень осторожно:

— Лежи, лежи, Варенька. Я укрыл тебя, ты как будто замерзла, открыл форточку... Тебе все еще холодно? — спросил, видимо заметив, как у нее вдруг запрыгали губы.— Одну минуточку!

Выскочил в коридор, принес какое-то пальто, и набросил поверх одеяла, и убрал подальше от ее лица шершавую полу.

— Надо вызвать врача, непременно. Прошу — не возражай! — сказал он, опять нависая над ней. Руками он прижал углы одеяла по обе стороны ее головы.

Только очень тяжело, и неудобно, и черт знает как, когда тебе хотят добра с помощью пухового одеяла и нава-

лившегося сверху пальто и мешают пошевелиться. Дышать нечем!

Она скинула одеяло, села в постели. От ее резкого толчка поползло вниз пальто. На пол, стучаясь о паркет, посыпалась мелочь из карманов. Часть монеток спряталась в растрепанном мехе медвежьей шкуры и поблескивала, словно подмигивала.

Ваня наклонился поднимать. Она видела, как быстро и ловко он охотится за монетками. На ту, которая покати-лась к отворенной двери, он успел-таки наступить толстой подошвой старого лыжного ботинка. Варя с интересом по-смотрела на этот огромный тупоносый ботинок с разорван-ным швом там, где начинается шнуровка. «Какое это имеет значение? Какое значение после всего?» — безразлично подумала она, имея в виду рассыпавшуюся мелочь и тща-тельную охоту за нею, которую Ваня еще не прекратил. Ее внимание опять привлекли его тяжелые, тупоносые лыжные ботинки. Чем-то они казались ей любопытны и осо-бенны. Чем?

— Тапочки? — спросил Ваня, поднимаясь наконец от пола и перехватив ее пыливый, недоумевающий взгляд. Тотчас отыскал ее тапочки на белом собачьем меху, по-ставил рядышком.

— Да, вот что, — сказала она тихим, бесстрастным го-лосом, — ты в этих самых ботинках туда поехал?

— Да, в этих, — сказал он. — Не в английских же. Гря-зища... — Он слегка сжал кулак и побренчал монетами, закинул пальто подальше к стене, сунул монеты в один из его карманов.

— Мы тебя ждали, — сказала она, испытывая странное желание скинуть пальто на пол и чтоб монеты опять рас-сыпались со звоном...

— Совсем не много, я мигом, — сказал он.

— Не много, — согласилась она, — действительно не мно-го, — и почувствовала, как в ней что-то обрывается, что-то совсем тонкое, болезненное, скорбящее. И, продолжая гля-деть на него, но не видя его, она вспомнила, как лопнул лакированный ремешок ее новой польской сумки. Там, на автобусной остановке, на краю города, в метель. Должно быть, ремешок лопнул от тяжести, на которую не был рас-считан. Догадалась же, тоже еще, сунуть в сумку полбу-ханки черного хлеба...

— Так ты успел вспомнить, какие на тебе ботинки? — спросила она и не слыхала ответа, не стала слушать. Глав-ное, чтоб он только не сочувствовал ей, не беспокоился за

ее здоровье, не говорил всех этих чувствительных слов, которые не имеют значения после всего, что произошло. Неужели он об этом не догадывается? Вовсе? Какое-то унылое отупение всех чувств и ощущений испытывала она. — Вот так... А зачем ты сидишь в них сейчас, в ботинках этих? — насильовала собственный голос.

И опять не слыхала его слов. Она была уверена, что заранее знает их. Ей вообще казалось, что она способна сейчас отвечать на любой вопрос вместо него. Такое взаимопонимание! Осуществление мечты! А? Да ведь она давно могла так! Надо было только захотеть!

— Не стой босиком, вот же тапочки, — сказал ей Ваня, и на этот раз она услышала его — он легонько похлопал ее по плечу, чтоб обратить на себя внимание.

— Ах, тапочки... — сказала она, сунула ноги в глубокий мех и пошла к окну.

Кружилась голова, пол кренился под ногами то в одну сторону, то в другую. Ветер, дувший в форточку, взметнул кверху ее растрепавшиеся волосы, перебрал стопочку белых ровных листков, лежавших на столе под чернильницей. Верхний листок исписан тонким, но четким Ваниным почерком. Стихи, что ли? А то что же!

По оконному стеклу, начинаясь от рамы, шел блестящий лучик трещины, которую она не замечала прежде. Или эта трещинка появилась недавно? Неуютный рассвет лишь чуть приподнял бесцветное небо над вершинами голых деревьев, напряженно вытягивающихся по ветру. Каменная самоуверенная неподвижность пятиэтажного дома напротив была тем более очевидна.

На том месте, где вечером стояли машины и мотоциклы свадебных гостей, было пусто. А на балконе четвертого этажа перед закрытой дверью висела свежевystиранная белая мужская сорочка, — должно быть, жениховская...

К правому углу дома, под желто-коричневую вывеску «Хлеб», подкатила машина с точно такой же надписью, только наискось, с двух сторон высокого квадратного кузова, и двое рабочих в белых халатах, не завязанных сзади, принялись сгружать буханки и батоны, гремя деревянными лотками.

Раз — лоток с грохотом вытягивается из машины. Два — его швыряют на жесть специального оконца в стене магазина. И так без остановок, без конца. Получается ритмично. Как будто отбивают ритм какого-то однообразного стиха. Какого же? Эй, ты! Жена поэта! Верная жена поэта! Пред-

ставь, что это может быть за стих, блесни эрудицией! Самое время! А?

— Ваня, как у тебя начинается поэма? Ну, о хирургах, которые не спят и все такое? — спрашивает она, глядя на ветер, выматывающий из деревьев душу.

— Начало? Так:

Ночью темной сахалинской
Город спал глубоким сном.
Лишь одно окно светилось
Голубым святым огнем.

— Похоже, — сказала она, вслушиваясь в непрерывный стук лотков. Она потрогала пальцем листки на столе. — Я вот что, — сказала она, — я теперь абсолютно верю в то, что поэму о хирургах ты непременно напишешь. И там, я абсолютно верю, будет глава о Ник-Нике. Ведь будет? Разве ты не чувствуешь, какой материал дала тебе эта ночь?

Теперь она обернулась и посмотрела на него.

— Ты права, — сказал он ровным, благодарным голосом. — Ты совершенно права.

Ну не великолепно ли это, господи, которого нет?!

— Только вот вопрос. — Она говорила негромко и медленно, она давала ему еще время насторожиться и отступить, замаскироваться, наконец, черт побери, поубедительней! — Вот в чем вопрос: конец какой? А? Герой погиб или выжил? Ник-Ник, как ни крути, поступил героически. Ты еще не думал над концом?

— Да, разумеется, он поступил в известной степени героически, признаю, — ответил ей чудо-человек, бывший ее мужем. «Спаси меня, господи, которого нет! Меня и всех, всех, всех, всех, подобных мне!» — Признаю, — повторил он. — Хотя я, разумеется, синтезирую образ, обобщу в нем черты, характерные для положительного героя нашего времени. В случае с Николаем мне как поэту интересен только последний факт. Сама понимаешь, Колька, как он есть, на героя не тянет. Взбалмошная личность, сама знаешь. Но если отнять от него... И если придать ему...

— Ага, — сказала Варя, чувствуя, как от тихого ужаса у нее щекочет кожа на затылке, и ногтями впиалась в нее. «Синтезировать образ... Отнять от него... Придать ему...»

Она заметила вдруг неподъемную тяжесть вещей, бывших в комнате. Вещи стояли вплотную друг к другу вдоль всех стен, давили друг на друга, притискивали одна другую, а посреди, между этой незаметной беззаботному глазу

борьбой, разинула мертвую пасть и старалась выглядеть живой разлапистая медвежья шкура. А выход где? Во-о-н он! Узкая дверная щель. «Синтезировать образ!» «Ольга Дилевская, выйдя из буржуазной среды, не прельстилась легкой жизнью?» Разная белиберда лезла в голову. Это были мысли-вопросы, вкрадчивые, бесконечные, изнуряющие своей бессмысленностью.

— Ты что опять? Опять плохо? — звучал обеспокоенный мужской голос совсем близко, но не мог пробиться в ее сознание сквозь непрерывную череду невесть откуда берущихся бестолковых слов.

И вдруг — стоп. Все стихло, умерло, как будто и не было. И в этой внезапной, страшной, ширящейся тишине гремел телефон.

Застигнутая врасплох, Варя прижалась спиной к стеллажу, больно врезавшись в какую-то безделушку, и зажмурилась.

Когда рискнула приоткрыть глаза, Вани в комнате уже не было.

— Мы ждем. Всю ночь не спали... Ну, еще бы!.. Как, как? Что, что? — услышала она его дальний, но отчетливый голос, шедший к ней сквозь приоткрытую дверь. — Так, так, так! Я же говорил!.. Я же говорил, что наши хирурги... Так, так, так... — Ванин баритон зазвучал раскатисто, солидно, веско, как будто Ване только что сообщили, что его инициатива поддержана высшими инстанциями, а он в этом вовсе и не сомневался никогда.

Если бы в комнате был другой выход, чтоб не мимо Вани и телефона, она бы бросилась вон куда глаза глядят... И вместе с тем ее сердце, приготовившееся к бегу, билось часто-часто, словно торопилось ставить восклицательные знаки после каждого Ваниного торжествующего: «Так! Так! Все-таки он жив! Он жив! Выжил! Устоял!»

В комнату широким шагом вошел Ваня. Он потирал руки, словно сам лично только что блестяще справился с труднейшей операцией на черепе.

— Все слышала? Ф-фу, черт! Отлегло! Правда, он еще под наркозом и всяко может обернуться, но мать говорит — врачи надеются. Вот наделал шороху, сумасброд! Выпьем, Варенька, в честь такого дела! Кофе с ликерчиком. Идет? Мать в редакции. Я сказал, что у тебя тут с нервишками... Сказала — можешь сегодня не появляться. — У него сияли зубы в черной бороде, сияли огромные бледно-серые глаза. Он был счастлив. — Варя! — позвал терпеливо и в который раз слегка изумляясь. — О чем ты опять?

Он сделал шаг по направлению к ней. Она быстро отступила. Она хотела смотреть на него издали и видеть его целиком на превосходном, добротном фоне из новых книг, туго набивших стеллаж.

— Я думаю, давно думаю... Сравнительно давно,— поправилась она.— С вечера думаю, зачем на Сахалин ехала?

— Ах, вот оно что! Давно, то есть с вечера? — Он сделал паузу и незлобиво усмехнулся. Он предоставлял ей возможность отшутиться.— Чисто женская логика. Не замечал за тобой прежде.— Он сделал новую паузу, спросил со снисходительным недоумением: — Поссориться задумала?

— Что ты! Что ты! — вяло, но убежденно ответила она.— Ссориться нам с тобой? Да во имя чего?! Смысл какой? Мы должны быть дружными, милый, вместе, заодно.

— Разумеется,— легко согласился он.— Ну как, Варенька, кофе с ликером, или просто кофе, или...

— Мы же не пьяницы какие-нибудь,— продолжала она, глядя на него, стоящего меж дверных косяков, как в раме.— Не негодяи какие-нибудь там. Не пьем, не ворует, не дебоширим... так?

— Ну, так... — Он опять не знал, что думать, и проявлял присущую ему выдающуюся осмотрительность.

— Ах, эти пьяницы,— все тем же бесстрастным, бесцветным голосом продолжала она разговор с живым портретом в дерьмовой раме.— Ах, эти негодяи и сволочи. От них все зло. От них. Воруют, казенные деньги — трах по ветру, хулиганят и... Ах, какое взаимопонимание.

— При чем тут взаимопонимание? — спросил он, чтобы добросовестно уяснить сказанное ею.

— Я имею в виду, разумеется, нас,— ответила она, глядя на его старые тупоносые лыжные ботинки.— Ах, какое взаимопонимание! Для ссор нужны причины. А у нас они откуда? Мы, милый, одно — что ты, что я.— Она перевела холодный, пытливый взгляд в его зрачки и отчетливо выговорила: — Сволочи. Розовые негодяи. Куски сырого мяса. Не люди, нет.

— Что-что? — Он опять не понял и желал добросовестно понять.

— Сволочи! Ты и я! — заорала она.— Куски сырого мяса! Ты и я! Он никого не обидел — ни тебя, ни меня!

— Что за бред? — Он слегка расширил бледно-серые глаза.— Ах, это Николай, что ли? Он действительно бредил. А ты...

— Теперь, милый, нам самое время радоваться,— сказала она и двинулась на него.— Все-таки сошло. Убивали — не убили. Впрочем, может, скорбеть, отчаиваться самое время? Молчаливый-то он куда-а лучше, куда-а удобнее! Мертвые — вот благодать.

— Ты с ума сошла,— вздохнул он огорченно и пошевелился в раме меж дверных косяков, которая, ей-богу, подходила к его непоколебимо добродетельному взгляду.— Какие-то детские истерики, прости меня. Между тем все кончилось гораздо лучше, чем...

— Ага,— сказала она.— Молодец! — Подтянулась на цыпочках и похлопала его по высокому твердому плечу.— Молодчина ты, милый, да и только! Камень! Скала! Глыба! Гранит! Ты, Варвара, не ошиблась. Что хотела, то и получила. Прямо конец света, до чего несокрушим. Молодец!

— Ты меня хвалишь? — усомнился он.

— А то как же? — сказала она.— Ты что, не понял? И себя тоже. Себя, правда, меньше. «Сдала, старуха», как выразился бы Жора Самсонов. А ты... ты стоишь до конца и не представляешь себе, что можно иначе, если так, как ты, надежно, выгодно, удобно.

— Я люблю тебя,— сказал он, делая попытку выйти из рамы, образованной дверными косяками.— Мы так легко, счастливо жили... Но сейчас слушаю тебя, пытаюсь понять, но... Прости, не обижайся, но когда ты начинаешь нести невесть что... прости еще раз... бред этот, ты становишься похожа на этого крикуна Николая, который в общем-то, если здраво рассудить, не беря во внимание его ранение, поступил бессмысленно, безрассудно, глупо, наконец.

— Это я-то, я становлюсь на него похожей? — поразились она.— Да что ты! Что ты!

— Прости, если обидел... — сказал он.— Но, право...

— Да что ты, милый! Я — и Николай! Да ты что!

— Прости, прости, если... Проклятая ночь! Надо же нам такое!

С улицы донесся настойчивый детский крик:

— Ма-лина! Ма-лина! Ма-лина!

«Марина то есть», — догадывается Варя и старается представить себе малыша, уже готового зареветь от безответности, судя по голосу.

— На всю жизнь я эту ночь запомню,— не слишком, а так, в рамках, продолжает переживать Ваня.— Не ночь, а черт те что. Думаешь, мне она легко далась, думаешь, я выспался? Вот что, пойду приму душ. Ты, может, тоже

попробуешь? Сегодня — минуту, завтра — две... Нервы закалять тебе надо, Варенька, иначе...

— Господи, которого нет! — взмолилась она вслух и решилась. Схватила с кровати попавшееся на глаза пальто и тихим, внятным, ожесточившимся голосом сказала: — Заткнись. Слышишь? Заткнись! Отойди — выйду.

Крайне изумленный ее неожиданной и, несомненно, беспричинной грубостью, Ваня даже раскрыл рот, не успев заранее подрассчитать, до какой степени это не солидно, и машинально посторонился. Она выскочила в коридор.

— Заткни-и-сь! — прокричала с порога квартиры еще раз, чтобы он не успел прийти в себя и не стал задерживать ее и чтобы продлить его такое нерасчетливое, такое искреннее изумление, что оно выглядело даже трогательным.

Хватила вольный воздух открытым ртом — гортань ожгло холодом. Тяжелый сырой ветер как шлепнул мокрым по ее сухому, пылающему лицу. Потом еще и еще... Где-то поблизости надсадно скрипела в петлях то ли дверь, то ли форточка. Ветер гнал по затвердевшей земле жестянку из-под лосося в собственном соку и скомканный бумажный пакет. Она смотрела им вслед и думала о том, что ей надо что-то делать, как-то действовать. Но что делать, как действовать? Где силы? И желаний никаких... Стояла, оглядываясь бессмысленно, словно потеряла что-то очень ценное и долго, тщательно, всюду, где возможно и невозможно, пыталась отыскать его — и все зря, нет как нет... И отчаяние от потери уже прошло как будто, и боль... Просторно и пусто в груди и вроде как сквознячок погуливает...

Неуверенно шагнула в ту сторону, куда, погромыхая, уносились жестянка. Толкая в спину, ветер и ее погнал перед собой с такой силой, точно хотел сорвать с земли и заставить лететь. «Вот бы! — подумала она. — Вот бы!» Раз — и в воздухе, и прочь, прочь от этого маленького города, пропахшего кислым каменноугольным дымом, от улицы, где к окаменевшей грязи примерзли кровавые брызги, от улицы, где на белой холодной больничной койке лежит человек с огненной болью в черепе, где другой человек, красивый, сильный, невозмутимый до ужаса, положил на полированный стол чистые листки и собирается «синтезировать образ». Ну, ты, господи, соображаешь, что это такое творится на свете? «Синтезировать образ...» Резать вены и выпускать живую, горячую кровь из Николая Гаврикова, подменяя ее хлорированным раствором расчетливого здравомыслия и пристойности! С помощью бойких, грему-

чих рифм убивать еще раз ничего не подозревающего и пытающегося выжить человека!

А что, что ей остается еще, как не унести отсюда прочь, лишь бы подальше? А?

Но ветер внезапно потерял стремительную силу, задул судорожными, разреженными порывами, и жадное предчувствие полета, которое сжимало горло, ослабло и исчезло без следа.

Она вышла на центральную улицу. Здесь все энергично двигалось, бежало, спешило, разговаривало. Привычно противясь встречному ветру, уверенно шли люди, которые, стало быть, ничего не потеряли. У них, судя по всему, у всех была какая-то желанная цель, при них, как паспорт в нагрудном кармане, находилось и ощущение собственной необходимости в круговороте жизни. А у нее, у Вари Белокуровой, увы, такой цели не было. Была вроде когда-то, а сейчас нет... У нее ничего не было, кроме ощущения бездонной пустоты, уничтоженности и неприкаянности. «Отверженная — вот что я такое», — думала она и шла все быстрее и дальше и до тех пор, пока асфальтированная дорога не завершилась кривым, глинистым, разъезженным кривым спуском к реке, придавленной плитами старого, грязного льда.

Посмотрела несколько мгновений на мертвую реку. Повернула назад и попробовала пойти медленно-медленно и спокойно обдумать случившееся, и принять какие-то решения. «Да, да, непременно что-то определенное! Решительное! Окончательное! И как можно скорее! Сейчас! Сейчас же!»

— Варенька? Именинница? Поздравляю! — пробился сквозь ее тесные, скачущие мысли голос легкий, веселый, принуждающий.

Потатахивает мотор. Пахнет разгоряченной машиной.

Улыбчиво прищуренные глаза из-под черных жестких бровей, улыбка складка сухих губ. Лошкарев. Высунул-ся из «газика», тянет руку. Манжетка мятая, с потерянной запонкой.

Протянула свою, взяла назад.

— Куда в такую сиротскую рань? Редакционное задание?

Назойливо потатахивает мотор, назойливо звучат ненужные вопросы.

«Ах, боже мой! — мается Варя. — Мне решать надо! Решать! Окончательно! Сейчас же!»

Хлопает дверца машины. Варя вздрагивает, как от вы-

стрела. Перед ней стоит Лошкарев. Полы тяжелого драпового пальто раздвинуты. Чтобы увидеть его лицо, надо задраить голову. Но зачем? Странно — на его пальто нет пуговиц. Петли есть, а пуговиц нет.

— Вы обиделись на меня? Никак не ожидал. Обстоятельства, Варенька, обстоятельства... Не удалось вырваться. Прошу прощения.

Он берет ее холодные руки в свои. И вдруг перед самыми ее глазами возникает незнакомо расширенное, недоумевающее лицо с колючими, то сползающимися, то расползающимися бровями.

— Что с вами, Варенька? Что случилось?

Лицо ширится еще, как под лупой, неприятно укрупняется нос, а в глубине пристальных зрачков Варя отчетливо видит свое съезжившееся отображение. «Да это же Лошкарев», — словно б только что и узнает она. Ощущение приближающегося позора заставляет ее опустить голову... Как тогда, когда они с Ваней... он словно вытолкнул их за дверь...

— Нельзя так! — запоздало упрекает она. — Я — не так. Я знаю — он героически... бросился... как всегда... Настоящий! Это Ваня считает: лезть не надо было, и никаких выстрелов... живой, здоровый... А я...

— Ни-ко-лай?! — осипшим голосом выдавил Лошкарев и отшатнулся от нее.

— Да, да, Николай! Героически! Не раздумывая! И моя позиция... — поспешно твердит она, лишь бы не молчать, не дать ему возможности усомниться и оскорбить, отшвырнуть себя.

— Он жив? Где он, где? — Лошкарев приподнял ее подбородок и глядит на ее губы.

— В больнице.

Ей показалось, что в следующий миг он шагнул сквозь нее, как сквозь пустоту. Дальний дом с высокими воротами медленно раздвоился и заколыхался, как бумажный. И она вместе с ним.

Внезапно ее подхватили, удержали, и суровый голос приказал:

— Идемте!

...Она сидит в «газике». Если склониться влево, на черной баранке напряженная рука из-под мятой манжеты с потерянной запонкой.

— Что было? Как? Слушаю!

Не шадят, не просят — требуют. Она не смеет молчать и начинает рассказывать — путанно, сбивчиво, переставляя события.

Лошкарев не перебивает, только рука его на баранке становится как будто костлявее, и Варя вдруг замечает на ней четыре кровавые точки полукругом, словно след свежего укуса.

— Вот и все,— досказывает и, так как ответа нет, повторяет на всякий случай: — Вот и все. Ваня — там. Я — здесь. У него листки на столе. С этими стихами... Синтезирует образ...

Лошкарев отрывает руку от баранки, несет ко рту, подсасывает кровь.

— Силен, бродяга! — говорит негромко. — Силен! — Его суженный глаз не отрывается от дороги, от какой-то дальней точки на ней. Точно целится. «Как мать», — приходит в голову.

Неожиданно впереди, прикрытое перехлестом черных ветвей, обозначается белое здание больницы с окнами си-зыми, переливчатыми, как полыньи.

— Куда вы меня? Зачем? — пугается Варя.

— Верно! Куда? Зачем? — скорбно выдохнул за Вариной спиной хриплый мужской голос.

Обернулась. На нее, выгнув брови петельками, горестно уставился толстогубый мужчина без рук. Варя машинально поискала глазами его руки, но обнаружила только локти. Остальное пряталось за его спиной, за тугим животом, распертым ватником. Рядом с мужчиной громоздился мешок, набитый чем-то бесформенным.

Варя перевела взгляд на Лошкарева.

— Браконьер,— сказал Лошкарев, не отрывая глаз от дальней точки прицела.

— На первый взгляд! — живо запротестовал браконьер. — В реальности гораздо меньше, гораздо! Младший плановик, только. Повторяю и прошу — вникните, снизойдите! Ну на кой черт младший плановик стреляет кабаргу, будь она трижды проклята? На преступление решается? А именно потому... Чтoб поиспытать... особенным себя почувствовать, в собственных глазах возрасти! Ну можно же по-человечески понять!

— Социализм,— произнес Лошкарев. — Заботимся, чтоб каждый негодяй в сознание пришел, увещиваем, беспокоимся... А если хороший человек? Пусть сам? Как получится? Авось? Так? Не понимаем! Хорошего человека в первую очередь бросать нельзя. Опрометчиво! Постыдно! Нет же, оставили...

Больничные окна все, как одно, в упор всматривались в нее, в Варю.

— Он тоже нас бросил... не считался... не хотел... — попыталась она оправдаться перед этими окнами.

— Но первые мы! — громко сказал Лошкарев. На его руке поблескивали кровавые капельки. Он не видел их. — Верно, — добавил тише, — и он... Ишь как! Один! За всех! Весь груз борьбы за Советскую власть на себя взвалил и думал... Ох, Николай, Николай! Какая старая, детская ошибка! Голыми руками...

— Верно, старик, верно! — горячо, преданно подтвердил браконьер. — Мало жалеет друг друга. Зоркий ты человек, пронзительный. Животных жалеть учимся, за козу дикую, вонючую заступаемся, а чтоб за человека... Ну что тебе меня отпустить? Укусил? Пуговицы пооборвал? Захоти только — на колени встану. Достоин! А внезапность нападения? И животное в таком случае... Разве не оправдание? А, девушка? Красавица! Посочувствуйте! Посодействуйте!

Варя еще раз обернулась к нему. Из мешка торчало пушистое коричневое ухо, похожее на телячье, и как будто слушало, чем все дело кончится.

«Газик» встал. Лошкарев вылез, Варя — следом за ним. В прошлогодней спутанной траве валялись прошлогодние целлофановые пакеты от прошлогодних больничных передач. «Зачем я здесь? Зачем?»

— Варю-юшенька-душенька! — проткнул ухо приторно счастливый стон. Жора Самсонов. Посверкивает черными глазами, тянет шляпу с головы.

Кроме него тут же между темными стволами лиственных стоят еще люди. Узнала высокую, рыжеволосую, с особенным росчерком бровей... Прижалась спиной к стволу и быстро-быстро обламывает сухую веточку... Ее подруга, толстушка, сидит на пеньке и ковыряет в траве. «А они-то тут зачем?»

К Лошкареву бесшумно подошла худенькая женщина, зябко засунувшая руки в рукава серенькой шубы, и сказала:

— Никого не пускают, Федя. Анна там, — прошептала, словно робея.

Варя припомнила и ее: «Знаете, я как ушла на пенсию, красить полюбила... разные колесики, скамеечки... в детсадах, в яслях... Меня знают и приглашают».

— Удостовериться явилась? — вдруг зло произнес Жора Самсонов. — Свершилось!

— Не смей! — рявкнули басом. — Уймись! Пьян, что ли?

Ваня? Ну конечно Ваня! Он спешит к ней на помощь, на выручку сквозь деревья и столпившийся народ.

Ванина рука надежно ухватила за шиворот тщедушную Жорину фигуру и отставила в сторону и подтолкнула небрежно.

— Варенька, на, держи. Я искал тебя...

Стволы лиственниц были такими черными, словно обгорелыми. Ванина рука тянула к ней черную шубку и сиреневый шарф-мохер, как все, что уцелело после пожара. И вот он, Ваня, живой, невредимый, словно несгораемый сейф. А в шубке и шарфе что-то такое коварное, подманивающее. Так козе тянут клок сена, чтоб шла, тянулась и шла... И Ваня все ближе, ближе, надвигается, нависает.

Она ошеломленно оглянулась вокруг. Рыжеволосая девушка стояла на том же месте, ломала прутик и смотрела на нее недоверчиво, неприступно, исподлобья. Жора тоненько, едко усмехался на расстоянии.

Лошкарев! Но его нигде нет.

Зябкая женщина смотрела в сторону больничного корпуса. Высокая, ссутулившаяся фигура заворачивала за белый угол здания.

— Лошкарев! — позвала Варя, — Лошкарев!

Лошкарев остановился, помедлил, повернулся и пошел назад. Слышно было, как под его подошвами все ближе скрипит то ли галька, то ли шлак.

— Варя! — тихо, укоризненно промолвил Ваня.

— Остановите! — сказала Варя, расширившимися глазами глядя в неподвижное, усталое лицо Лошкарева.

Лошкарев молчит, смотрит на нее, потом переводит глаза на Ваню.

— Ты, Ваня... Так... Почему ж так? Почему не уберег?

— Пытался, Федор Павлович. — Ваня строго вздохнул и нахмурился. — Старался. Убеждал. Удерживал. Но разве с ним сладишь? Разве он способен здраво, обдуманно? Вы же понимаете... И вот, пожалуйста... Как будто героический, но если серьезно, трезво, без скидок, поступок шальной, неубедительный. Спасибо хирургам, великое спасибо.

Лошкарев попытался застегнуть свое пальто, но не нашел пуговиц.

— Что ж, — сказал он, засовывая руки глубоко в карманы, — правильно говоришь, абсолютно правильно.

— Что-о? — вырвалось у Вари. — Как вы можете? Вы?!

— Правильно, — ободряюще кивнул Лошкарев Ване.

— Тут уж арифметика, до того очевидно, — польщенным, умягченным баритоном отозвался Ваня.

— Очевидно, — кивнул Лошкарев. — Абсолютно очевидно. В самом деле — ну что перед тобой Николай? Что?!

Осторожно шурша прошлогодней травой, к Лошкареву подошли все, кто стоял поодаль. И ближе всех красивая девушка из вечерней школы. Она смотрела на Лошкарева так, словно он вот сейчас научит ее быть счастливой. Жора Самсонов опустил голову в шляпе с налипшим на ней прошлогодним бурым листком.

— Что способствует преступлению? — спросил Лошкарев, сжимая в карманах кулаки. Он стоял на том же месте, против Вани, спиной к ней, к Варе. — Что?

— Анна все еще там, Федя, — проговорила зябкая женщина в какой-то печальной, самоотверженной готовности разрядить обстановку.

— Преступления порождает и уверенность в безнаказанности, — говорит Лошкарев негромко и внятно. — Откуда у тебя такая уверенность? Слова... На них надеешься... Правильные слова выговариваешь... Слова, слова, слова... Вместо дела, принципов... чести... Словами отделяться наострился. Вот в чем вопрос.

— Варенька! — чеканно прозвучал Ванин зов. — Возьми, наконец, шубу и шарф. Боюсь, ты сегодня окончательно протудишься.

Она его понимала. Ох, как она его понимала! «Чтоб все видели — нипочем. Лучший выход из подобных положений, родная моя». Да и существуют ли на свете положения, способные вывести его из себя?

Ей не было видно его совершенно из-за спины Лошкарева, и она посчитала, что в таком случае ей тем более нечего отвечать ему.

Но вдруг к ней обернулся Лошкарев, удостоверился словно, что она не пропала, и, опять повернувшись к Ване, сказал:

— Сейчас я вдруг догадался, что тебя, Ваня, крепко выручает. Мы все занимаем так называемую правильную позицию. И часто на том успокаиваемся. Вспоминается: давным-давно нас танцам учили. «Займите, дети, правильную позицию. Заняли? Теперь танцуйте». Танцевать надо! Пора! Не торопимся, бездействуем.

— Уважая ваш возраст... — начал было Ваня.

— Не требуется, — оборвал Лошкарев.

«Им уже не до меня! — догадывается Варя. — И кому тут, собственно, до меня? Зачем, зачем я тут?»

Она сколупывает с ближней лиственницы кусочек серо-зеленого мха. Он бесшумно исчезает в мертвой траве. «Вот так и я. Уйду — не заметят. И хорошо! Хорошо бы! Хватит! Лошкарев... И Лошкарев. Презирает и терпит, из жа-

лости все. Это раньше, может, когда-то... А сейчас... Как он усмехнулся! И правильно. Все».

Она идет, уходит. И точно — никто не окликает ее, и она идет все дальше, дальше и все быстрее, быстрее. Только глазастые больничные окна долго не выпускают ее из виду. «Решить! Немедленно! Что-то определенное, ясное! — возвращаются к ней утерянные было мысли. — Рассуждать можно до бесконечности, а надо решить. Решиться!» — уверяет она себя и невольно ускоряет шаг. Внезапное настроение легкости ширит грудь, теснит куда-то на самый край тоску и безысходность.

Она удивляется: откуда это и почему? И вдруг понимает, что бежит, и бег против ветра, требующий напряжения физических сил, чудесно помогает ей. «Вот же, вот! — кричит она себе в радостном изумлении. — Убегу, непременно убегу, уеду, исчезну — и все! Скорее, скорее-е! А чего тянуть? Во имя чего? Да, да, да, — твердит она себе, — это единственное, необходимое, верное решение. Сразу и навсегда. Чтоб не видеть больше всего этого, забыть, что оно есть, было, мучило! Сделанного не переиначишь. Выяснять отношения? Поздно. И так все ясно, и нету больше сил моих. Виновата, виновата, кругом виновата, но нету сил! И для всех это лучше, — убеждает себя. — Пусть думают обо мне что хотят. Пусть ругают, насмеются, удивляются, поражаются, пусть! Но я тут больше не нужна, — думает она с увлечением и поспешной, приподнятой решительностью. — Никому. Разве не так, разве нет?»

Вдруг на повороте дороги она натывается на огромную, тяжелую мужскую фигуру. Массивные брови сдвинуты, одна рука сунута за борт кожаного пальто, вторая, поджатая в кулачище, мерно, властно качается взад-вперед, отсчитывая крупный, напористый шаг. Полковник... «Наташа Ростова — вот кто это! В живом виде. Обнадеживающее явление!»

Чуть позади него семенит толстенькая старушка в круглых очках, в зеленых детских варежках, в валенках с галошами. «Девочка, зовут-то тебя как? Варя? Хорошо-то как!»

Они ее не заметили. Они смотрели себе под ноги, а она, кроме того, вовремя успела отскочить в сторону. Они шли туда, откуда бежала она...

Чтобы не раздумывать больше, она тотчас резко сворачивает с центральной улицы на ту, что выводит в падь между сопками. Дальше поле и аэродром.

«Если трудно достать билет на Москву, — возбужденно

соображает она и быстрым шагом все дальше отталкивает от себя городскую окраину, — я пойду к начальнику, умолю, но достану».

Скорее, скорее, скорее на самолет! И она уже не пытается скрывать от себя ту жалкую истину, что убегает, нет сил и приукрашивать ее. У нее вообще нет никаких сил. Вот в этом бы убедить себя как следует! Хотя бы в этом!

«Раз — и через какие-то пятнадцать часов, самое большее — через пятнадцать, я сойду в Москве на широкий, добрый, родной асфальт. Знакомые фонари повиснут над мной. И как не было этой старой, грязной травы. Мать будет смеяться, конечно. Вот, мол, говорила я тебе... И обрадуется не знаю как... Разъединственный человек на белом свете, которому не надо объяснять, почему, отчего и так далее... Лишь бы рядом была! Какая ни на есть! Мама моя, мама! Я погибаю! Мне страшно! Жить страшно! Пожалей меня! Скорее пожалей!»

Варя выбирается на дорогу и не оглядываясь устремляется в сторону аэродрома. Но ей очень хочется обернуться назад, на белое многооконное здание больницы, оставленное позади. В конце концов она оборачивается. Так и есть: окна все, как одно, смотрят ей вслед насмешливо и сурово. «Ник-Ник, — шепчет она, перебегая взглядом от окна к окну, — прости меня, если сможешь». И понимает, насколько легковесны, ничтожны эти слова по сравнению со всем, что произошло, и глаза в глаза с Ник-Ником она ни за что не рискнула бы произнести их. Нет, ни за что.

Аэровокзал, деревянный просторный дом с высокими окнами, сам отворил перед ней тяжелую дверь. Наружу вылез тучный дядя в морщинистом бушлате и высоченных, до паха, резиновых сапожищах. Варе показалось, что он как-то подозрительно скосил на нее маленькие острые глазки. Она дернула плечом независимо и возмущенно, на всякий случай, разумеется, и вошла в дверь, которую он попридержал для нее носком сапога.

В аэровокзале тепло и пахнет новым линолеумом и почти никого нет — так, несколько дремлющих темных фигур в зеленых и красных креслах с растопыренными металлическими ножками. На одном кресле, красном, стоит жестяной веноч в бумажных цветах и листьях, выкрашенных свежей изумрудной краской. «Веноч похож на пышную пустую раму, — мельком отмечает про себя Варя. — Он стоит вроде сам по себе и предназначен кому-то, кого уже нет, но всегда чувствуешь, что и к тебе он имеет определенное отношение, и стараешься не обращать на него внимания».

Варя отворачивается от венка и спешит забыть о нем.

За стеклянной перегородкой похрустывает бумагами кассирша. Видна ее богатая белокурая «хала», опрысканная для надежности перламутровым лачком.

— Скажите, билетов на Москву нет? — спрашивает Варя у «халы» более сурово, чем хотела, потому что она решила вдруг, что и кассирша посмотрит на нее с подозрением, словно бы она, Варя, не имеет права ехать, куда хочется, как любой советский гражданин.

— На Москву? Пока есть, — отвечает кассирша небрежным голосом, поднимает к Варе безразличные глаза, заключенные в черную орбиту, и, выворачивая и оттягивая губы так, чтобы не повредить помаду, надкусывает шоколадную конфету.

Варе противны ее обнажившиеся выпуклые десны, и большие, крепкие зубы, и то, как она начинает жевать, не закрывая рта, опять же чтобы не попортить намазанные до невозможности губы. «Господи! — думает Варя. — Какая гадость!» А ее просто разочаровала легкость, с которой можно очутиться в Москве. Выкладывая деньги, получай билет — и вся недолга.

Варя сует руку в карман, но кармана не находит и впервые обращает внимание на свою одежду.

Оказывается, на ней старое демисезонное пальто тети Анны, узкое в плечах и бедрах, и двух пуговиц на нем не хватает.

Машинально нащупывает внутренний карман и вытаскивает оттуда скомканную обертку из-под сигарет и горсть мелочи. Ни то, ни другое ей ни к чему. Ей нужно около полутора сотен рублей. А такие деньги лежат в редакции, у бухгалтера в сейфе. Вчера, пока бегала в ателье, за покупками к столу, не успела получить зарплату. «Ох, как хорошо! — думает сейчас. — Мои заработанные деньги. И ничего больше. Пусть остается все. Плевать я хотела двадцать раз на то, что остается...» И ловит себя на том, что ей приятно быть такой бесшабашной и бескорыстной, что это как-то украшает и до некоторой степени оправдывает ее поспешное бегство. Маленькое неприятное открытие. «Не надо бы, чтобы желание уехать, единственное и единственно разумное в сложившихся обстоятельствах, именовалось бегством, — думает она. — Я — улетаю. Как многие улетают. И те, и... Вот венок похоронный... листья блестят до чего противно... тоже летит... самая яркая вещь здесь, пожалуй... Я улетаю, улетаю в родную Москву, в го-

род, который живет все двадцать четыре часа, шумит, разъезжает на такси, гуляет...»

Туго закрипела дверная пружина. В помещение вошел тот, в огромных сапожищах, потоптался на месте, откашлялся, спросил прокуренным басом:

— Кому в город? Такси есть.

Ну разве ей не повезло вдруг! Ну разве не сама судьба идет ей навстречу?

Она сжимает в кулаке мелочишку и кричит:

— Я еду! Я еду!

Но тут вдруг дверь открывается еще раз, и раздается зычный, казарменный голос:

— Граждане пассажиры! Чей пацан? А-а, щенок, еще и кусается! Прекрати безобразие, тебе говорят!

В креслах завозились. Варя посмотрела, кто кричит и что там уж такое особенное случилось. Увидела краснощекого милиционера с рыжими усами и могучей грудью. Короткой сильной рукой он держал за руку упирающегося, злобно стонущего мальчишку в длинном сером мужском свитере.

Варя тотчас узнала этот свитер и того, кто был в нем. Ленька Лебедев собственной персоной. «Господи! Господи! Опять этот Ленька! Просто наваждение какое-то! С ума сойти!» — подумала она, забывая про такси, и с неприязненным, опасливым интересом глядела, как бешено и безрезультатно изворачивается в умелой, тренированной руке маленький злой звереныш. На его худых голых ногах, разглядела она, болтались те самые коротковатые брючата. И тапочки были те самые — грязно-голубые, с растоптанными задниками. И этот свитер толстой вязки, из которого торчало тощее Ленькино тело, был тот самый, который Ник-Ник стащил с себя перед тем, как нестись с этим проклятым Ленькой туда...

— Ишь орел! Зайцем лететь надумал, в Ил забрался, в туалет, извините! Шпингалет шпингалетом, а фантазия уже работает в хулиганском направлении! — не без пафоса обличал милиционер голоногого мальчишку. — Ну, чего молчишь? Чей будешь? Отвечай? Отец? Мать? Ну? А то живо в детприемник — и будь здоров!

Видимо, Ленька понял наконец абсолютную бесполезность своего сопротивления власти. Он стоял, стиснув губы, хмуро глядел на свои грязно-голубые тапочки и молчал. Было очевидно, что ему плевать, что там кричит мили-

ционер. Ему бы только поскорее освободить свою руку из жестких чужих пальцев. Он был некоммуникабелен, если пользоваться новейшей терминологией. Он был страшно одинок, если попросту... И Варя вдруг всем существом почувствовала это, как если бы сама очутилась на Ленькином месте. Она почувствовала, что в данную минуту в высоком полупустом помещении аэровокзала, где так современно, комфортабельно пахнет новым линолеумом и дерматином, нет более одиноких, бесприютных людей, чем Ленька Лебедев в чужом свитере и она в чужом пальто.

— Гражданочка,— проговорил над ней хриплый бас,— такси ждет, чего ж?..

Варя поднимает глаза. Морщинистый бушлат, мощный подбородок, литые щеки. Маленькие острые глазки дружелюбно улыбаются, ждут ответа.

— Ну, чей он из вас, последний раз спрашиваю? — кричит милиционер с таким расчетом, чтоб довести данный вопрос, не сходя с места, до каждого, в каком бы интимном закоулке здания тот ни находился в текущий момент. — Не из города же в тапках прибежал, ясное дело!

«Чей он? Как чей? Он внук того, кто спас жизнь твоей матери,— внезапно озаряется ее сознание мыслью простой и отчетливой.— Твою жизнь, Варвара Родионова. Теперь... не твоя ли очередь? Чего же медлишь! Плати! Твой шанс...»

Не дождавшись ответа, дядя в бушлате машет рукой и двигает сапожищами к выходу.

«Твой последний шанс». Варя обводит взглядом вокруг — поле боя, положим, на котором ей предстоит проявить себя до конца, на котором она либо отступит, либо... «Все мы занимаем... правильную позицию. Танцевать надо! Пора!» Кто это? Ах, да, Лошкарев. Конечно, Лошкарев». Опять ей на глаза попадает пышный жестяной венчик, восседающий в кресле на правах индивидуума, весь, от листка до листка, страшная, наглая, дешевая подделка под жизнь. «Танцевать пора! Танцевать! — говорит она себе.— Или вся эта ночь ни к чему, вся твоя жизнь — пустое место, от которого никому ни тепло, ни холодно. Как если бы ты умерла и венчик этот твой. И хотела бы, да не можешь уже ничего — поздно! Живые упрячут тебя в ящик и унесут подальше от таких же живых».

— Раз ничей, следуй за мной! — приказывает милиционер и тянет Леньку к выходу из теплого помещения.

В ее воображении стремительно проносятся навстречу друг другу и сшибаются лоб в лоб два предмета — откид-

ное кресло в чистом холстяном чехле рядом с иллюминатором самолетной кабины и голые худые ноги Ленки Лебедева, не по своей воле семенящие вслед за милицейскими добротными сапогами.

— Мой! — произносит она над прахом кресла в чистом холстяном чехле и того иллюминатора, возле которого оно так удобно стояло.

Но милиционер уже у самой двери и не слышит ее слабого голоса, продолжает тянуть за собой бессмысленно упирающегося ребенка.

— Мо-ой! — кричит Варя что есть сил, подскакивает к мальчишке и хватает его за свободную руку.

На нее исподлобья глянули остервенелые, затравленные глаза под мокрыми ресницами. Маленькая рука тотчас дернулась, пытаясь высвободиться.

— Ну вот, пораспускают своих деток, потом сами не знают, что делать. Возись, милиция! — сказал милиционер с откровенным облегчением, козырнул без надобности и поспешно ушел к другим делам.

— Проваливай и ты! — мрачно советует Варе мальчишка и снова пробует выдернуть у нее свою руку. Не удается. — Проваливай, говорю! — кричит он жалким, злым голосом.

— Ишь злыдень какой! Вот они сегодняшние дети-то! — сказали в толпе. — Матерь и ту не признают.

— Не кричи. Не уйду, — сказала Варя и вдруг заметила тонкую, с острыми, выпирающими один за другим позвонками шею мальчика, ощутила в своей руке его холодные, жесткие пальцы и проговорила тихо, просительно: — Идем вместе, идем!

— Никуда с тобой не пойду! Пусти! Слышишь? — завопил мальчишка, и извернулся, и стал тянуть в одну сторону, в другую, и толпа вокруг нарастала понемногу.

— Мамаша, нечего сказать! — долетали до Вари отдельные реплики. — Родила-то небось совсем соплячкой — вот и получай!

— Дура! Дураки! Все дураки! Все вруны и сволочи! — орал мальчишка, безуспешно пытаясь оторваться от Вари, и тусклые слезы обиды и бессилия текли по его худому, утомленному лицу.

Варя устала бороться с ним. Но и отпустить его как? Слишком это просто — отпустить. Слишком, слишком просто. И чем ожесточеннее он сопротивлялся, тем крепче держалась она за него, цеплялась, как будто от этого зависело ее собственное существование.

Остервенелого, жалкого, упирающегося, она потащила его вон из помещения, подальше от зевак, но это оказалось ей не под силу. Тогда кто-то сочувствующий, сердобольный заломил мальчишке свободную руку за спину, а когда ребенок пискнул от боли и присел, наставительно произнес:

— Вот-вот, слушайся мамку.

— Как вы смеете! Прочь! — крикнула Варя диким, безумным голосом и что было сил оттолкнула ошалевшего от неожиданности добровольца и сама отпустила Ленькину руку. — Как хочешь, — сказала ему. — Как хочешь.

Она опять видит его мокрые от слез глаза, тонкую шею, нелепо торчащую из широченного ворота серого свитера... И говорит внезапно:

— Как хочешь, но Ник-Ник сказал мне, Николай Николаевич то есть, чтоб ты был со мной, чтоб вместе мы... Не хочешь — пусть!

Она делает несколько шагов к двери, прислушиваясь, что он, не идет ли следом. Он не шел.

Она выходит на ветер, спускается с крыльца, стоит, глядя на два нагих корявых деревца вдаль, на дальний, самый узкий конец дороги в город и думает: «Вот. Хотела сделать добро, а добро твое никому не нужно. Не умеешь — не берись. Логика. Обидно, между прочим... Что ж остается? «Пренебреги, Варвара!» Мелочишка, одним словом... Мама моя, мама моя...»

За ее спиной, резко взвизгнув тугой пружиной, оттянулась и тотчас хлопнула дверь. Вздрогнула, напряглась.

— Эй, ты! — крикнул неуверенный, но все еще спесивый, не остывший от злости Ленькин голос.

Она обернулась. Мальчишка соскочил с крыльца, подбежал к ней, сутулясь от ветра, втянув руки в болтающиеся едва не до земли рукава свитера.

— Ты, что ли, его видела? — спросил, недоверчиво, сурово и ревниво вглядываясь в ее лицо. — Ты, что ли, его после видела? Как? После? Ты врешь! — Его передернуло. — Ты врешь! Как он тебе говорил? Он был все равно что мертвый, кровь текла, текла, текла... Я руку держал, она вся умерла, холодная и не шевелится. — Мальчишка глядел на нее оцепеневшими глазами, остро поднятые углы его плеч била частая-частая дрожь. — Я в больницу бегал. Я ночью бегал... и под окнами. Сказали — такой плохой, такой плохой... Я — сюда. Все равно уж, раз не будет его. Мамку с Катькой тоже увезли, промерзли они, в больницу их... Что мне? Куда? Думал, залезу тихо в самолет, улечу. Ты с ним когда говорила? Честно? Можешь

честно? — допытывался он почти робко и заискивающе.

— Только что, — сказала Варя, глядя на голые, потемневшие от холода ноги ребенка. — Только что, — повторила твердо и решительно. — Он сразу же о тебе спросил, как ты, где...

Мальчик задумался, глядя в сторону, зашевелил губами, что-то проговорил про себя.

— Спросил? Про меня? — Опять заглянул Варе в глаза, тряхнул встрепанной головой. — Знаю. Он обо мне помнит всегда, знаю. Всегда, — добавил уверенно и поглядел на Варю ясными, доверчивыми, примиренными глазами.

Тяжелый, вибрирующий гул ударился о землю, и земля слегка задрожала у них под ногами.

Мальчик быстро оглянулся.

— Ил-18 прогревают. На Москву, — сказал серьезно.

— Пошли отсюда, пошли в город, — отозвалась Варя. — Тебе нельзя так, в тепло надо, а то заболеешь, правду говорю.

Он кивнул ей, но продолжал стоять и, вытянув слабую шею, глядел в сторону аэродромного поля.

— Куда же это ты собирался лететь? — спросила Варя, тоже невольно всматриваясь в то место, откуда шел мощный непрерывный гул.

— В Москву. Куда ж... Вон на том самом...

— В Москву-у?! — Варя даже руками развела. — Зачем? Зачем тебе Москва? — Ей почему-то не терпелось услышать ответ, а он не спешил, он глядел на дальний самолет, и взгляд его был задумчив и печален.

Она встала перед ним.

— Зачем тебе вдруг Москва? Слышишь?

— Зачем... — Он посмотрел на нее снизу вверх, усмехнулся, снисходя к ее удивительному непониманию. — А затем, что Москва — это Москва, — произнес назидательно. — Я и надумал... Раз Николаши совсем не будет, реви не реви, в море кидайся, — я и надумал. В Москве разве так, как здесь? Там по-человечески все, как положено. Разве есть там такие отцы, как мой? — Замолчал, задумался. — В тюрьме он сейчас. Где ж? В самой настоящей. Может, злой, а может, за голову схватился. Человек все-таки... — Ударил носком тряпичной тапки в окаменевшую грязь — ничего не скovyрнул. — А Москва... Там и домов сколько, а окон! Неужели ж для меня комнаты бы не нашлось? Пусть самая маленькая, чтоб спать где и без окна даже. Я бы потом и мать, и Катку написал, чтоб тоже спокойную жизнь узнали... А как же! Вот обрадовались бы!

«Во-он оно что-о! Во-о-н оно что-о-о!» — подумала Варя. Перед ней во всем наивном великолепии агрессивного неведения стоял свеженький Первооткрыватель Жизни. Господи, которого нет!

«Главное — с нового места, с чистого листа, — быстро прошелестела забытыми страницами память. — Убегу и больше дурой не буду. Разумеется, я не собираюсь предавать свои юношеские убеждения. Я не как другие. Я останусь чистой и честной, но — сама по себе, в стороне от всего, что будет происходить вокруг!» Во как!

Ну, так зачем же ты приехала на Сахалин? И зачем другие спешат бросать свое привычное, обжитое, теплое в слепой, наивной уверенности, что где-то там, где все незнакомое, полное ожидаемых неожиданностей, начнут совершенно особенную жизнь, никак не похожую на ту, брошенную? Зачем вообще все мы, люди, ошибаемся, вместо того чтобы раз и навсегда учесть и не повторять ошибок других?

Мальчик, недоумевая, отчего это она схватила и жмет его плечо, встретился с ней спрашивающим взглядом. И, кажется, именно в этот миг, глядя в его серьезные, независимые глаза, Варя отчетливо поняла и зачем сама приехала на Сахалин, и зачем другие мчатся сломя голову начинать новую жизнь на новом месте, и зачем вообще людям надо ошибаться. И порой так нелепо, так горько...

Только как объяснить ему, девятилетнему, то, что сама начала понимать в двадцать пять? И что даст ему такое объяснение? В том-то и жестокость жизни, что — ничего.

— Эх ты, Ленька, — вздохнула она и выпустила его плечо.

Гул самолета нарастал, сгущаясь, потом туго, до свиста, завихрился. Мальчик опять смотрел в ту сторону, выставив подбородок. И, глядя на этот узкий, напряженный мальчишеский подбородок, медленно поворачивающийся вслед за изменяющимся звуком, Варя словно сама видела, как ведет себя самолет, как он выруливает на взлетную полосу, разворачивается, нагнетает в моторы добавочную силу, как несется по земле, как отталкивается от нее, и повисает в воздухе, и устремляется вверх и вдаль.

— Как дельфин, — говорит мальчик, продолжая задумчиво и преданно смотреть в высокую точку уже давно стихшего неба. — Точно, на дельфина похож?

— На дельфина? — рассеянно отзывается Варя, думая о том, что если бы воспользовалась такси, то вполне могла лететь сейчас в том самом самолете, в тепле, уюте, откинувшись на мягкую спинку кресла, а Ленька Лебедев стоял

бы где-нибудь под ветром на смерзшейся земле в своих грязно-голубых тряпичных тапочках и с завистью глядел бы вслед, как на прекрасную, недосигаемую звезду.— Дельфинов я видела, конечно. В кино...

— В кино-о-о? — Мальчик присвистнул от изумления.— Да их же тут в море полным-полно! Ты с рыбаками не ходила разве?

— Нет.

— И как тралят, не видела?

— Нет.

— А тюленей, живых, настоящих?

— Нет.

— А нерп?

— Нет.

— А котиков?

— Нет.

— Ну, чудная! На Сахалине жить и не видеть? Вот так да-а! — Ленька был озадачен.— Чего ж ты тогда видела?

— Другое,— сказала она, раздражаясь на его настырность и бесцеремонность.— Чего ты не видел. Хватит. Пошли. Вовсе замерз, нос лиловый.

— Не-а, не вовсе,— сказал он, прижав нос ладошкой.— А я и китов видел, и как сайру лампами подманивают, и на вулкан лазал. Во здорово! И у пограничников... то с дедом, то с Николашей, всем классом...

— Николай Николаевич говорил, ты стихи пишешь,— перебила она, лишь бы заставить замолчать его восторженный голос, беззаботно и напрочь уничтожающий ее сахалинское гражданство.— Какие стихи? Прочти что-нибудь.

Он отвел ладошку от лица, шмыгнул покрасневшим носом.

— Сейчас? А зачем?

— А зачем ты их пишешь?

— Пишу зачем? — Он усмехнулся, но глаза его оставались серьезными, поковырял тапочкой в земле.— Да это мне Николаша посоветовал. Сказал — получится. Только я не очень часто пишу, а когда случай придет.

— Как это?

— Ну, так. Плохо станет, совсем никуда,— я и напишу. Напишу — и легче. Не понимаешь? — Он взглянул на нее озабоченно.— Ну, чтоб жить легче становилось, пишу. А для чего их еще писать?

— Как, как? — Пораженная, она чуть отступила от него.

— Чтоб жить легче становилось,— рассудительно повторил мальчик, удивляясь ее бестолковости.— Так бывает,

так бывает! А напишешь про все про это или про другое, про что захочется, — и легче. Я не вру! — добавил поспешно. — Напишешь или просто про себя придумаешь — и сразу легче. Не пробовала? А ты попробуй! Вот увидишь, увидишь!

Он смотрел на нее прозрачными убежденными глазами. Два голубоватых озерка, отделенные друг от друга красным от холода, невероятно самонадеянным, курносым пиком. Он за так, с величайшим великодушием, отдавал ей свою маленькую, самостоятельно выстраданную истину.

Но кого он, дурачок, собирался учить, как и для чего пишутся стихи?! Жену поэта! Ее-то, запросто кидавшую мужу такие ходкие, такие злободневные, безотказные темки!

Внезапно круглые, наивные, надменные глаза мальчика расплылись, перелились один в другой и вспыхнули радужным мерцанием. Варя рыдала. Горячие, обильные слезы жгли веки и холодную кожу щек. Варя рыдала громко и все громче, отчаяннее, чтоб вся земля, породившая ее, слышала, как болит живое, слабое сердце.

— Сжальтесь! Я погибаю! Я погибла! За что?! — вскрикивала она между рыданиями. — За что? За что? За что-о-о?

— Вы чего? Вы чего? — испуганно спрашивал мальчик, теребя ее за пальто.

Не добившись ответа, замолчал.

— Вы, может, думаете, удеру — и опять в самолет? — спросил с надеждой и жалостью к ней. — Не удеру! Честно! Куда? А мамка? А Катька? Как им без меня? А Николаша? Он же все равно как на войне раненный. Брошу разве? Ну, пошли, пошли в город. — Он потянул ее за рукав. — Пошли, пошли! Чего вам тут? — Он не отступал, тянул ее все сильнее и упрямее, и в этом его настойчивом, заботливом, жалостливом упрямстве было что-то от сознательной воли взрослого, самостоятельного мужчины.

Из-за слез она ничего не видела перед собой, только слышала терпеливый, упраснивающий голос, спешащий выговаривать для нее неловкие, беспорядочные слова сочувствия... Но она как-то отыскала и схватила маленькую, жесткую и холодную руку в обе свои, прижала к себе, продолжая рыдать, словно, виноватая-превиноватая, выплакивала у ребенка прощение.

— Идем! Идемте! — настаивал растерянный детский голос. — Ладно, я тебе стихи скажу. Хочешь? Давай скажу. Ты только иди, а я тебе стихи говорить буду. Я их в само-

лете сочинил, пока ночью сидел. Иди за мной. Я замерз у как! Совсем. Да иди же, иди!

— Иду,— сказала она, изо всех сил удержав в себе приступ слез, и вытерла глаза.

Мальчик загреб воздух полусогнутой рукой,— показал, значит, чтоб не отставала от него,— и рванулся вперед. Короткие брючины заплясали вокруг его тощих лодыжек, а задники тапок захлопали по голым пяткам.

Он шел, сильно согнувшись, против ветра, махая руками, затерявшимися в рукавах свитера, изредка оглядываясь на нее, не отстала ли, и громко, в лад своим шагам, декламировал:

По земле двумя ногами
Вы, несчастные, идете.
Я лечу под облаками
В настоящем самолете.

Во всей его скрюченной холодом, щуплой детской фигуре было столько сосредоточенной, живучей энергии, что теперь она не казалась Варе нелепой и жалкой, как там, в аэровокзале, рядом с могучим, плотно затянутым в форму милиционером.

Два крыла на самолете,
Два мотора, две турбины.
Вы идете, вы идете —
Я гляжу на вас с кабины,—

выкрикивал ребенок, и рвущийся на ветру голос его звучал задорно, и весело, и бесстрашно в этом пустом, холодном пространстве.

И она не знала, смеяться ей или плакать. «Убежать, улететь, свалив в одну кучу добро и зло? — недоумевала она, приостанавливаясь. — Не сказав «да» тому, что заслуживает «да»? Не сказав «нет» тому, что заслуживает «нет»? Убежать, улететь, а он пусть лежит на больничной койке, пусть лежит один на один со своей болью? Пусть лежит и думает о чем угодно? Испугалась глаза в глаза, струсила — и пусть один, пусть сам по себе, и с той болью, и с этой, и со всякой другой? Пусть мать, пусть Лошкарев! Так? Пусть другие! А ведь это он, он надеялся, верил, что она остановится, остановится и задумается в конце концов... И заставил, одолел, победил! И не знает...»

— Эй! Давай, давай! — закричал мальчик, закашлялся, рассердился на ветер: — Во зверюга! — И опять маршировал, смешно болтая кишками рукавов, и декламировал:

Мне не надо шо-ко-ла-да...

— Хватит! Ты кашляешь,— просила она, нагоняя его.— Я и так, без стихов!

— Давай, давай! — отвечал он ей.— Со стихами быстреей дойдем!

Мне не на-до шо-ко-ла-да,
Я хочу всю жизнь, по-верь-те,
В насто-ящем са-мо-ле-те
Все ле-теть до са-мой смер-ти.

Она смеялась. И она плакала. Прямо конец света, до чего забавная эта четвертушка человека, этот комар Ленка Лебедев, у которого — господи, которого нет! — отец в тюрьме, мать в больнице, на ногах тряпичные тапочки и который лихо топает ими по смерзшейся земле и, откашлявшись, упрямо выкрикивает свои смешные стихи — это чтоб ей, чужой, смурной женщине, не так одиноко и трудно идти против ветра.

1971 г.



*СЕМЬ ЛЕТ
НЕ В СЧЕТ*



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

— Пассажирам, вылетающим рейсом девять, Южно-Сахалинск — Москва, приготовиться для выхода на посадку!

Евгений Петрович захлебнулся шампанским, закашлялся и в последний раз с надеждой оглянулся на дверь. Но там, как и два часа назад, подремывал старик в ливрее.

Дверь распахнута настежь. Высокий проем темен и пуст.

Зажмурился, отвернулся поспешно. «Все, значит... все... Как? Ничего, никогда? Навсегда? Навек?»

И вдруг... мелькнуло... затрепетало... полетело навстречу светлое, стремительное.

Вскочил...

Вбежала девушка... официантка... Та самая, кажется, что обслуживает их столик. Верно. Вон и родинка. Черная грубая родинка на пухлой щеке.

Упал на стул. «Что же ты-ы? Ну разве можно так? Уж и попрощаться нельзя? Нелепо! Дико!» — говорил, обратясь к пальме в дальнем углу ресторана и не видя ее.

— Уху-хух,— выдохнул большой, тяжелый человек, Рябов.— Может, стукнуть тебя, Прозоров, а? — спросил сырым, подземельным басом.— Как, поможет?

— Пассажирам, вылетающим рейсом девять, Южно-Сахалинск — Москва...

— Встали. Пошли,— приказал Рябов, поднимаясь во весь свой устрашающий рост. Евгению Петровичу показалось, что невысокий потолок вздрогнул и подался вверх.— Летишь, ангел! Летишь, человеке! — сказал Рябов и вздохнул, шумно выпустив воздух сквозь круглые волосатые ноздри.— В Москву... в Москве... о Москве...

— Да-а... в Москву. Черт побери, в самом деле... Несколько часов — и... — отозвался Евгений Петрович и вдруг увидел ярко-зеленую искусственную пальму в углу, а белые

скатерти на столах и алые попеременно с серыми квадраты пластика на полу показались ему такими нарядными, праздничными... «Что ж, как хочешь. Твое право. Пусть. Пожалуйста. Кончено. Так чего ж?» — сказал про себя быстро, великодушно и решительно. Он был уже не здесь, а там, далеко-далеко, в столице, другой человек, обновленный, независимый, свободный от всяких путаных, бесперспективных сахалинских мыслей. Э-э! А чего это Рябов как-то чудно глядит на него из-под своих страхолюдных бровей? Что с ним? Впрочем, а-а-а!.. Какое это все имеет значение? Теперь? Москва! Евгений Петрович раскашлялся уже притворно, чтобы слезы радости, ослепившие его, имели причину. Впрочем... чего там! У него есть полное право плакать от радости, да!

Рябов крикнул официантку. Евгений Петрович опередил его, бросив на стол три десятки, хотя знал, что обед стоит значительно дешевле. Но черт побери! Это же его последний сахалинский долг! И кончено! И до свидания! Официанточка подрастерялась, улыбается, не верит. Молоденькая еще. Бери, бери! Пользуйся, девочка! И родинка у тебя не такая уж... Даже напротив.

— Вот что, Прозоров... — начал было Рябов, когда они вышли на бетонное крыльцо. — Что же ты, Прозоров, покакрутил? Не моя забота, факт, а все ж... Корявенько. Хотя, конечно...

Евгений Петрович наклонил голову, затаился и смотрел, как ветер сдувает с бетонных ступенек свежие снежинки, обнажая грязноватый ледок.

— Хотя, конечно, — повторил Рябов медленно, нудно, останавливая время. — Задачку сочинил, надо ж... К чему я только? Раньше... теперь толку-то... Молчу. Точка.

Евгений Петрович поднял голову. Рябов смотрел мимо.

Евгений Петрович смолчал. Да и чего ерепениться? Рябов из рамок не выходит. Даже Рябов. Соображает, что не тот случай... Ну?

Евгений Петрович спустился с крыльца, пошел к ограде, отделявшей площадку аэродрома и летное поле. Рябов догнал его, встал перед ним, голой рукой схватился за железную обындевевшую шишку калитки.

— В общем, Прозоров, — тянул, насупясь, — я тебе всякие пожелания про счастье и прочее гундосить не стану. Сам разобраться способен, что к чему.

Между тем все улетающие девятым рейсом, измятые объятиями, измусоленные поцелуями, все, кроме Прозорова, уже спешили следом за дежурной по белому полю к само-

лету, голубевшему вдали. У Евгения Петровича от нерпения сами собой заплясали ноги.

— Я про свое скажу,— не отступал Рябов.— Ты работник добросовестный, тянул как положено. Сегодня я тебя теряю. Печально. Точка. В случае чего — пиши, всегда приму. Ну, пошел! Эх ты...

— Спасибо. За все,— сказал Евгений Петрович, тронутый последними словами Рябова.

Обнялись. Освобождаясь от медвежьей ласки, Прозоров успел подумать: «Назад?! Кончено. Забыто. Крест».

Он проскочил в калитку и бросился к самолету. Однако у трапа споткнулся. У трапа беззвучно плакала молодая женщина в белой пушистой шапочке, некрасиво свисшей на ухо. И эти распухшие веки, размазанная губная помада... Женщина прощалась с высоким пехотным капитаном. Пальто на ее торчащем вперед животе крепко натянулось — даже нитки видны, которыми пришиты большие круглые пуговицы.

— Что же вы? Поторопитесь! — крикнула сверху стюардесса и движением руки в перчатке предложила Прозорову поспешить к ней.

«Нет, нет и нет! — твердо сказал он себе, поднимаясь по ненадежному, шатающемуся трапу.— Я поступил и разумно и честно. Устоял. А то бы вот так бы... И лучше туда не глядеть».

Отдавая билет стюардессе, он, однако, еще раз оглянулся на пару внизу. Пехотный капитан пытался освободиться от хватающихся за него женских рук. Наконец это ему удалось, и он бросился вверх.

«Ну вот...» — с новым облегчением за себя и несколько насмешливой жалостью к капитану подумал Прозоров.

Но капитана вдруг развернуло на сто восемьдесят, и он со звериной быстротой соскочил вниз и, отбросив чемоданишко, обеими руками обхватил застывшую на ветру женщину.

Евгений Петрович закусил кислую веревочку от ушанки, в последний раз оглядел с верхней ступеньки трапа сиротливое зимнее пространство, заставленное по горизонту неровной чередой заснеженных сопок, и неожиданно резко, как сдернутый кем-то, шагнул вниз.

— Гражданин! Вы летите или нет? — крикнула ему вслед стюардесса.

Опомнился. Мать честная! Чего это с ним вдруг?

— Лечу,— ответил стюардессе.— Конечно, лечу.

— Тогда входите! — приказала она, и он рад был по-

слушаться этого внятного, раздраженного голоса самого благоразумия, пригнулся и нырнул в тесное, душноватое нутро самолета.

От злой тоски не матерись,
Сегодня ты без водки пьян.
На матери-ик, на матери-ик
Идет последний караван,—

орали хмельные парни, сидевшие впереди Прозорова. У них были растрепанные шевелюры, сытые плечи, обтянутые грубыми свитерами с воротами, похожими на шины. Над ними в сетке понабросаны ушанки, мичманки, бушлаты.

Евгений Петрович отодвинул все это легкомысленное холостяцкое барахло, ловко пристроил оленьи рога, сел в кресло.

— Куда, граждане, путь держите? — спросил у парней милиционер, проверяющий паспорта.

— В Николаевск-на-Амуре! Оттуда — в загранку! — весело гаркнули парни и завели еще оглушительней:

На матери-ик, на матери-ик...

— Граждане пассажиры! — сказала белокурая сероглазая стюардесса и улыбнулась так, чтоб ее улыбки хватило на всех. В ее юном протяжном говоре, подрисованных глазах, в высокой прическе было нечто утонченное, нездешнее, обещающее, — ... и застегните ремни!

Евгений Петрович с готовностью выполнил просьбу хорошенькой девушки, откинулся на спинку кресла, торопясь окончательно оторваться от бывшего и всеми нервами, жилками, порами приобщиться к будущему.

И — вот оно, это долгожданное мгновение! Самолет взревел, развернулся, пронесся полем и соскользнул наконец с промерзшей, обветренной земли.

Евгений Петрович сидел у иллюминатора, но только раз захотел взглянуть на землю, где прожил семь лет, и увидел ее — сопки, пади — скомканную, в пятнах белого и бурого. «Вот там... где-то», — подумал с состраданием к Рябову и вообще ко всем людям, которые остались далеко внизу.

Стюардесса проносила мимо поднос с журналами и газетами. Взял что подвернулось. Удача. «Советский спорт». Любимая, родная газетка. Отыскал рубрику «Бокс», прочел: «Особенно интересной оказалась встреча москвича Д. Петрова и американца Т. Орта. Поначалу инициатива была у американского боксера. Он провел серию удачных

молниеносных ударов. Д. Петров растерялся, побывал в нокадауне. Но сумел в конце концов собраться и ринулся в бой. Сеть обманных движений, нырки, уклоны, неожиданный мощный удар в нижнюю челюсть — и противник в нокауте. Победа! Победитель!»

Сквозь азартно оскаленные зубы сорвалось:

— Молодец, парнишка! Молодец!

Обнаружил: набухли, напряглись мускулы, словно сам изготовился к бою. Усмехнулся, расслабился. Вот чем и хороша эта газетка: пусть на мгновение, но превращает тебя в соучастника великих, победных сражений, встряхивает, освежает, бодрит.

Задержался взглядом на блеклой газетной фотографии Фила Эспозито, знаменитого канадского хоккеиста. Длинный нос, складки кожи под широким костяком подбородка — лицо как лицо. Пробежал глазами под снимком: «Мне повезло, я стал хоккеистом, а не водителем самосвала или чернорабочим, что уготовила мне судьба, а это уже многое значит. Но я никогда не предаюсь иллюзиям. С тех пор как я подписал первый контракт, хоккей стал моей профессией. Жизнь есть жизнь. И если вы думаете, что в мире спорта она строится как-то по-другому, то вы ошибаетесь. Это нелегкая жизнь. Если вы не даете соответствующую продукцию, то вы не нужны команде. Только так!»

Опять посмотрел в лицо Фила, но уже пристально, приветственно, с симпатией, как на живое, готовое улыбнуться своейски, ободряюще.

Внезапно поблизости женский голос позвал сердито: — Оля! Да Оля же!

Насторожился, оглянулся. Женщина в красном платье тянула по проходу между кресел девочку лет пяти. Девочка обиженно хмурила шоколадные бровки, хлопала синими исплаканными глазами.

— На-ка, на-ка возьми! — ни с того ни с сего взвился Прозоров и, еще не зная толком, что отыщет и даст, полез по карманам. Нашел конфеты, целых две. «Отступного! — саданула под дых злая поворотливая мысль. — Ублаготворить вознамерился? Откупиться?»

— Оля, да Оля же, скажи дядечке спасибо! — настаивала женщина, дергая девочку за руку.

Девочка зажала конфеты в кулаке, насупилась и молчала.

— Неблагодарная! — ужасалась мать.

— Нет, нет, что вы! Не надо! Необязательно! — истово деликатничал Прозоров.

Глянул в иллюминатор. Там клубились гигантские оранжевые облака. «Не простые облака. Нет. Взрывные. Последствия космической катастрофы». Рябов сказал. Вышел из шахты молоденького крепильщика Васяткина, отдышался, пристал: «Куда путь держим, добрый молодец? В медвытрезвитель? В тюрьму? На помойку? Второй раз с бутылкой под землей ловлю. Беда! Штангу забросил. Угу? Выходной костюм пропил. Угу? Полундра, Васяткин! Караул! Спасайся, пока не опоздал!» И потом ни с того ни с сего про облака и космическую катастрофу... «Рябов? Васяткин? Зачем? — рассердился Прозоров. — Был Рябов — кончился. Лечу. Самолет. Москва».

— Татарский пролив! — крикнул мальчишеский голос. Соседка Евгения Петровича, грузная некрасивая женщина в спортивной куртке и брюках, чем-то напоминающая вахтершу шахтоуправления, тотчас потянулась смотреть. Евгений Петрович посомневался чуть и уступил женщине свое удобное место у иллюминатора.

— Великое спасибо, — тщательно выговорила она. — Я, простите, Латвия, обмен опытом, рыбообработка, первый раз Сахалин. Замечательно. Та? — Она уже смотрела вниз. — Замечательно! Та!

— Конечно, — вежливо ответил Евгений Петрович, тешась собственным великодушием.

— Во сколько мы прилетаем в Москву? — спросил мужчина за его спиной.

— В пятнадцать двадцать. По-московски, разумеется.

— Благодарю. Пора переставить часы по-столичному.

«О да! Пора! Пора!» — с восторгом нетерпения согласился Евгений Петрович и передвинул стрелку своего золотого «Полета» на восемь часов назад.

Выходило, в Москве сейчас глубокая ночь, самый сон. Интересно, получила ли Лариса его телеграмму? Должно быть, получила. Вот удивилась! Впрочем, он прежде послал ей письмо, где подробно объяснил, когда собирается рассчитаться и приехать. И все-таки удивилась. Телеграмма такая штука... И, конечно, помчалась в магазин, купила того-сего... А может, у нее и так все было. Вполне вероятно. Есть же холодильник «ЗИЛ». Или не «ЗИЛ»? Ну да не все ли равно какой. Он послал ей деньги на самый хороший. Сразу, как приехал на Сахалин. Да, да... именно. Лариса еще письмо прислала... Как же, как же, он помнит, отлично помнит! Длинное такое письмо... Благодарила, объясняла, как это прекрасно для Аленки — холодильник, потому что и молоко, и соки, и все остальное надолго сохранится

свежим... Письмо умилило и растрогало его. Он помнит! И расстроило! Еще бы! Не успели пожениться, едва ребенка родили... Год с небольшим и пожилы всего вместе и на тебе — расстались... Год и четыре месяца, счел нужным уточнить Евгений Петрович, но и такая точность его не удовлетворила, и он сосредоточился опять и наконец сообщил себе: год, четыре месяца, шестнадцать дней. Вздыхнул с облегчением. «Помню. Все помню. Прекрасно помню! Да, расстались. Девять тысяч километров разделили нас... Шутка ли! Но жизнь есть жизнь... Она часто не считается с человеческими желаниями и бессовестно навязывает свои условия, жертв требует, жертв», — убедительно объяснял себе Прозоров.

— Амур! — вскричал мальчишеский голос. — Вон, вон и вон!

— Лямур? — спросили по-французски и рассмеялись.

«Так. Скоро Хабаровск, — отметил Евгений Петрович. — Ай да Ильюшин, ай да молодчина!»

Но более всего молодцом чувствовал себя он сам. Вот же как хорошо он все помнит! Даже подробности... Когда он в первый раз обнял ее и поцеловал... Где это было? Вот... забыл... Но не важно! Главное он помнит. Так вот, когда он ее обнял и поцеловал, она долго, стыдясь, прятала лицо у него на груди. Потом спросила: «Ты очень меня любишь?» — «Да», — сказал он. «Мне еще никто не говорил это, — сказала она. — Понимаешь?» — «Да», — сказал он ответственно. «Ты очень-очень меня любишь?» — допытывалась она потом изо дня в день. «Очень-очень».

«А разве я не имел права отвечать ей так? — внезапно, словно кто-то выразил сомнение, спросил Евгений Петрович. — К кому до нее я относился настолько хорошо? Нравились. Бывало. Пользовался. (Грубо, но точно.) Не больше».

Нет, не больше. Ни разу ни за одной девицей не бегал сломя голову, ни от одной не сходил с ума. «Что ж, вероятно, все дело в характере». Так решил. Не с его сдержанным характером сходить с ума от чьих-то красивых глаз, талии или там длинных ног. Он не такой идиот. Серьезное, спокойное чувство — это да, это он может. Вон они и поженились. И почтительная, покорная привязанность к нему Тарисы вполне удовлетворяла его, радовала, лестила самолюбию, и он сам испытывал к ней все нарастающую доверительную нежность.

Да, они жили прекрасно. Ни ссор, ни взаимных упреков. Теща плакала от счастья, глядя на них...

— Наш самолет приземлился в аэропорту «Хабаровск». Температура за бортом минус двадцать восемь, сила ветра пять метров в секунду.

Парни в свитерах с воротами-шинами разом поднялись, похватали свое барахлишко, в последний раз прогорланили лужеными глотками «На матери-ик, на матери-ик...». На их места пришли краснощекие с мороза старичок и старушка и долго совместными усилиями пристраивали в сетке кошелку с чем-то не то льющимся, не то бьющимся.

Старушка уселась и радостно оповестила всех:

— А мы в Арысь едем. Есть такая станция. Там у нас дочка в диспетчерах, а зять в начальниках. Может, кто знает, что это за станция такая?

Прозоров сморгнул. И посмотрел на улыбающуюся старушку с недоумением. Он никак не мог себе представить, что станция Арысь все еще существует в этом мире, что кто-то стремится туда попасть и при этом способен улыбаться. Ну нет уж! Он не позволит своей памяти затащить его на станцию Арысь. Ох уж эта память... Ни с того ни с сего заработала, вытащила на свет божий такое... Столкнула ни с того ни с сего такие отдаленные времена, обстоятельства, людей живых, сегодняшних и тех, что были когда-то и канули... Игра воображения, как говорится... Но иногда получается очень даже забавно, а иногда... Так что на всякий случай он был осторожен со своей памятью... Он у нее весь на виду — вот в чем штука. Он вообще старался не увлекаться воспоминаниями. Пустое занятие, если разобраться. Память памятью, жизнь жизнью.

— Значит, никто не знает, какая это станция? — огорчилась старушка.

— Значит, никто, — быстро ответил Прозоров, достал носовой платок, смахнул им с колен словно бы одному ему видимую пыль. Пыль станции Арысь.

— У вас ножичка не найдется? — потянулась к нему через проход седая дама в очках. На ее худых пальцах, покрытых лиловой старческой пленкой, сверкали кольца и перстни.

Прозоров с преувеличенной радостью дал ей нож.

— Это дочка все: приезжайте да приезжайте к нам на станцию Арысь! — не унималась старуха. — Приезжайте да приезжайте!

Стюардесса поднесла поднос с конфетами. Прозоров не хотел конфет, но взял одну и поблагодарил девушку с не соответствующей моменту пылкостью. Толстый мальчишка догрызал яблоко и этим тоже показался приятен Прозо-

рову, целесообразен, как символ его собственной устойчивой принадлежности сегодняшнему дню.

Женщина «Рыбообработка» вынула из полиэтиленового мешочка два бутерброда с красной икрой и один протянула Прозорову. Он отказался, приложив руку к сердцу, и с удовольствием наблюдал искоса, как эта, в общем, симпатичная латышка, аккуратно управляется с бутербродами, ни крошки не роняя на свои выутюженные светло-серые брюки.

Однако вся эта смирная возня вокруг уже беспокоила Прозорова, а неподвижность самолета и молчание моторов показались ему подозрительно затянувшимися.

— Мы собираемся лететь или нет? — спросил он в воздух.

Но на стене впереди уже вспыхнуло «No smoking», и знакомый голос стюардессы приказал пристегнуть ремни. Последнее к Евгению Петровичу не относилось — он и не подумал отстегивать, а теперь напрягся весь, по-ребячьи как бы подключая свои усилия к усилиям моторов, наконец-то взревевших.

Взглянул на часы и вдруг почувствовал себя одураченным. Надо же, прошло около двух часов, а он все еще недалеко от Хабаровска и, следовательно, от Сахалина. А впереди? Восточная Сибирь, Западная, Урал, десятки городов и еще одна посадка. «Лучше не думать об этом. И чего это я вообще взвинтился! — одернул себя. — Лечу? Лечу. Аэрофлот гарантирует безопасность? Гарантирует. Все прекрасно. Все? А что же не прекрасно? Сам начальник шахты провожал. Ну, конечно, если бы не его командировка в область... И все-таки в аэропорт Рябов мог не ехать. Поехал, за такси уплатил. Почему? Не подвел я его. Что правда, то правда — тянул. Согласился на три года, а отбарабанил... Ничего себе! Хо-хо! Впрочем, что «хо-хо»? Семья есть семья. Не так ли? Мы же не потому решили расстаться, что плохо относились друг к другу. Наоборот. А разве Сахалин мне дался легко? Между прочим, за все семь лет ни разу отпуск не использовал... Ни разу. Удивительно? Еще б!

А в первый вечер, как приехал в этот Снежногорск, — продолжал Евгений Петрович, обращаясь к жене, — видела бы! Сошел с поезда и остолбенел. Сопки, сопки... Со всех сторон сопки, а в середине — я с чемоданом. Как... таракан в банке. Дождь по шляпе стучит, под ногами живая грязь, кисель, месиво. Так называемые комнаты для приезжих где-то в поднебесье, как в насмешку. Не идти надо, а караб-

катся, лезть. И лез, тащился по таким крутым лестницам, какие разве на подъемном кране увидишь, обходил кривобокие сарайчики, шлепал по чьим-то раскисшим огородишкам, слышал чьи-то сонные голоса: «Выше! Выше!» Куда же выше? Не к богу ж в рай! И первое, что спросил у дежурной по комнатам для приезжающих: «Где тут у вас почта?» Решил рано поутру дать тебе телеграмму, чтоб срочно слала деньги на обратный проезд... Поставил на чемодан грязные туфли, не зажигая света разделся — и бах в холодные простыни. Как ядовито они пахли стиральным порошком! И, представь себе, стонал от одиночества. А наша комнатуха на Арбате, где горячие батареи, и твои волосы на подушке, и Аленка чмокает соской во сне... Просто раем представилось! Неоценимым, брошенным даром, преглупо... Впрочем, я писал тебе об этом, должна помнить...

«Что я как будто оправдываюсь? — удивился Евгений Петрович. — Не оправдываюсь, — пояснил себе, — а так, вспоминается. Естественное состояние всякого отъезжающего. Любопытно все-таки, как, чего, почему, отчего... Так что там было дальше?..»

...Вошла высокая старуха. Дежурная. Зажгла лампочку на скрюченном шнуре, приказала:

— Вставай! У нас эдак не положено.

Прямо надзирательница... Разозлила... Встал, однако, оделся, сел.

Старуха с чайником вернулась. Чашку принесла, варенье в тарелке, рыбы кусок, хлеб.

— Ешь давай. Первый раз на Сахалине? Оно и видно! Что ботиночки, что маневры. Кету пробуй, сама солила, варенье черносмородиновое, сама варила. Надолго сюда? Где же приткнуться собираешься? Инже-не-ером? Горемыка ты, горемыка...

Подхватила его грязные туфли, ушла. У него не достало энергии оборвать грубую бабку, он начал есть и не заметил, как съел все, что было на столе.

— Сапоги купи резиновые. Долго живут, — поучала старуха, приставляя к порожку его начищенные туфли. — Дороги застилают-застилают, а глина здешняя знай себе прет.

Сытый, согретый, он уснул под верблюжьим одеялом, которое, оказывается, лежало под подушкой, и проспал мгновение своей решимости немедленно покинуть Сахалин.

Проснулся оттого, что его трясли за плечо.

— Сам вызывает! Вставай давай вскорости! — строго шептала давешняя старуха. — Чайку глотни — и руки в ноги.

Рябов начал с того, что больно жиманул ему руку и вызвал по телефону бухгалтера:

— Люби и жалуй. Маркшейдер. Срочно оформишь по всем статьям и все как полагается.

Евгений Петрович не успел ничего ответить. Рябов пропустил его впереди себя, повел по длинному темному коридору шахтоуправления и своим ключом открыл одну из одинаковых, обитых коричневым дерматином дверей.

— Твой. Устраивает?

Евгений Петрович помялся у порога. Высокое окно, полузакрытое шелком, большой полированный стол, на нем зеленый телефон и набор авторучек «Ракета», целеустремленно вытянувшихся, готовых... Справа у стены чертежный стол, и кресло, и копировальный стол, и еще шкаф с книгами. Красиво, удобно, чего говорить. И все-таки... Прозорову хотелось сказать, что он, собственно, еще ничего не решил бесповоротно, что... Рябов подтолкнул его рукой в спину, закрыл за ним дверь и ушел. «Нечего мудрить!» — так надо было понимать. А спустя примерно полчаса Евгению Петровичу положили на ладонь тяжелую пачку десятирублевых, а еще через некоторое время он, запыхавшийся, влетел в отделение связи и на бланке телеграфного перевода вывел огромную, по тем его понятиям, сумму и приписал: «Ларочка все порядке первое можешь вычеркнуть целую...» «Первое» — это и был холодильник согласно списку, который они набросали с расчетом на три года...

«Что ж, — вновь обратился Прозоров к жене, — я таки доставил тебе удовольствие перечеркнуть пунктики нашего реестрика один за другим, все. И более того... Правда, на это ушло не три года... Но какое это теперь имеет значение! — Евгений Петрович слегка раззадорился. — Семья обеспечена!» — горячо сообщил себе. Он обеспечил ее, мужчина, отец. И не как-нибудь, с кондачка, в обмен на совесть и честь, а самым законным, достойным образом. Семь лет проишачил! Семь лет! Каково? То-то! Что ж удивительного, если он возвращается теперь в прекрасную кооперативную квартиру, где есть и прекрасная мебель, и ковры, и телевизор высшего класса! «На телевизор этот самый и шубку из искусственной норки мои отпускные и пошли. Отпускные за три года. Вернее, компенсация, — вспомнил Прозоров. И это воспоминание о собственной самоотверженности было ему приятно. — Компенсация — и тютю отпуск, отдых! Да-а... Ну мог бы, мог! Прилетел бы! Вернулся! — сердится он вдруг как бы на того себя, который не совсем готов любоваться такой убедительной самоотда-

чей.— А куда б? После трех лет? В ту же комнатушку на Арбате? Благодарим покорно!

Все правильно,— с некоторым надрывом переповторил он, и хотя жаждал жить мыслями о прекрасном будущем, его опять потянуло вспоминать ушедшее, и скорбеть, и ужасаться. И чтоб при этом непременно присутствовала жена, смущенная, смиренная, преисполненная почтения к его сахалинскому существованию.— Ах, Лариса, Лариса! — вздыхал он, делая вид, что жена действительно рядом и слышит.— Ты и вообразить не можешь все эти однообразные, тусклые осенне-весенние дни в этом богом забытом городишке! Снежногорск... Что представляется? Город? Городок? Чепуха! Бесконечные лестницы... Зимой обледенелые, летом осклизлые от сотен грязных сапог. В столовке, в вестибюле — слякоть. Магазинышко под названием «Смешанный». Это значит в одной его половине навалены коробки с обувью, игрушки, женский трикотаж, а во второй — консервные банки, кисельный концентрат, яблоки, выпачканные картофельным крахмалом.

И эта,— Прозоров неприязненно покосился на соседку,— туда же: «Ах, замечательно!» Что замечательно? Что? Изю дня в день ни свет ни заря сапожищи на ноги — и топай как по болоту, увертывайся от машин и туда, туда, во-он где копер торчит! Ну не копер, не понять тебе небось, что это такое в точности, а вот где двухэтажка белеет. «Ах, как все прелестно-интересно!» Что?! Кинотеатрик на триста посадочных? Дом культуры, куда хорошо раз в месяц какие-нибудь эстрадники завернут?

А ходила ты по пурге? — продолжал горячиться Евгений Петрович.— По настоящей сахалинской пурге? Когда снегу по грудь? Когда себя вытаскиваешь из сугробов с трудом? А ты знаешь, как это — откапывать полузадохшихся из-под снежной лавины? А ты вкалывала лопаткой на железной дороге, чтоб, значит, целый паровоз из-под той же лавины высвободить? Час, пять, восемь? Знаешь, что такое ответственность почти за тысячу человек? Моральная? Бери выше — прямая судебная. Возблагодарим же, Лариса, аллаха, — сказал сурово, обращаясь к жене, — за то, что Сахалин кончился для нас столь благополучно. Что было, то было, что есть, то есть».

Взглянул на часы. Сорок три восьмого по-московски. Лариса встала, конечно. Хлопочет на кухне. Возможно, кормит Аленку. Если Аленке в первую смену. По всей вероятности, в первую. Первоклассники всегда в первую. Свет горит, посуда блестит. Кофе пахнет. Утром кофе пах-

нет особенно хорошо. Свет, тепло, тишина — и пахнет кофе... О-ох!

Евгений Петрович так явственно ощутил мирную прелесть утра в чистой, сияющей кухне, что вдруг потянулся сладостно и, закрыв глаза, вдохнул в себя воздух, словно и впрямь наслаждаясь растворенным в нем комфортным ароматом. Ах, как хорошо жить на этом свете! Особенно после перенесенных лишений и неудобств!

— Граждане пассажиры, приготовьте столики для ужина!

Открыл глаза и очень удивился, что все еще находится в самолете, что до Москвы лететь и лететь.

Есть? Нет, он не станет здесь есть. Он будет есть там, у себя, в своей собственной квартире, со своей семьей.

И он опять решил обмануть время. Сказал соседке:

— Я сплю, прошу не будить.

Закрыв глаза, напряжением тренированной воли подавил в себе всяческие настроения и скоро действительно спал и проспал вплоть до того часа, когда самолет закрыл над Подмосковьем.

— Как! Уже?! — изумился Прозоров, словно его застали врасплох, и мысли его взметнулись беспорядочно: «Ну вот же, Лариса, вот... Все хорошо. Мы уже близко, рядом... Где ты? В аэропорту, конечно... Ждешь, волнуешься. И я... Кинешься... И я... Кинемся... Как же! Непременно! Сколько лет, сколько лет! Но не зря, не зря! Помнишь, как думали? Целую ночь. А утром решили все-таки не спешить. Я — еду, ты — остаешься. Пока. А когда я осмотрюсь на этом чертовом Сахалине, вызываю тебя с ребенком. Ты плакала. А мне легко ли было решить? Но если комната в Москве, теплая, в центре? И ребенок? И бабушка? А там... Вместе решили. Помнишь? Ты, я... Но не зря! Не зря!»

— Снижаемся-а-а! — заорал мальчишка.

Евгений Петрович опомнился, взял себя в руки и заключил вразумительно: «Все, что ни делается, все к лучшему. И то, что ты, Лариса, не испытала прелестей сахалинского существования — твое счастье. Ты никогда не сможешь упрекнуть меня в том, что таскал за собой, мучил и так далее. Как мадам Левицкая, жена главбуха, красавица с наклеенными ресницами. Жизнь! Она требовала платы — мы расплатились. Мне тридцать пять. Разве много? Тебе и того меньше. Семь лет... Не в счет. Все будет как надо».

Подался к иллюминатору. Белые, чистые снега внизу, кое-где заштрихованные серым карандашом — деревья, кусты...

Самолет с лету толкнулся о московскую землю и вдруг помчался по ней с такой напряженной скоростью, словно в мгновение разуверился в ее прочности и собрался опять взмыть в небо.

Ан нет, все в порядке, остановился... стих...

«И Аленка! Аленка! — поспешно вспомнил Евгений Петрович. — Вот уж кто кинется! Вот кто обрадуется! Ребенок, дочь... Моя дочь! Рога везу... Ей! Буду в зоопарк водить, на елку... туда-сюда...»

Он испытывал что-то вроде вдохновения, он был твердо уверен, что истекают последние минуты случайного, мало-значительного периода его существования и вот-вот перед ним развернется уже совсем настоящая, красивая, полноценная Жизнь. Как будто была необходимость — на брюхе по мокрому, скользкому забою, долго, до ломоты в локтях, в шее, и вот все кончено, тебя подхватили и прямо из тьмы — на солнце, на воздух, на простор!

Вышел из самолета, с наслаждением задышал легким морозным воздухом. Солнце блесело на заледенелом слегка асфальте, и это казалось Евгению Петровичу тоже очень бодрящим, красивым, хотя идти было трудно, ноги скользили, приходилось семенить.

Вместе с толпой вошел в длинный остекленный коридор аэровокзала. Увидел первых встречающих, их вытянутые, ждущие лица, и уверенность внезапно покинула его. Он испугался, что не узнает свою жену.

И узнал. И обрадовался этому чрезвычайно.

Лариса стояла у стеклянной стены слева, в солнечном пыльном луче. Евгений Петрович шел по правой стороне, и ему, чтобы добраться до жены, надо было пройти наперерез толпе, преодолеть общее движение по прямой. Повернулся решительно и двинулся напролом, не обращая внимания на окрики недовольства, на то, что чья-то корзина больно прошлась про его голой руке, и предстал перед женой несколько запыхавшийся и очень довольный осуществленным прорывом.

Она же, не замечая его, стоящего рядом, продолжала, приоткрыв рот, озабоченно перебирать глазами идущих. Смешно, конечно. Только Евгению Петровичу отчего-то смеяться не захотелось. Он протягивает руку, чтобы положить на плечо женщины. Рука замирает на лету. «А точно ли это Лариса, жена? Не обознался ли? Ну как же, вот эти брови... Глаза карие... И рот ее. Правда, она кажется поменьше, чем я предполагал. Хотя и на каблуках. Но в общем... Лицо круглое, ее лицо, — анализирует далее. —

Пудрится. Глаза подвела. А раньше подводила? Серьги носит. Длинные. А раньше носила такие? — Силится вспомнить и не может. Смущается, краснеет даже и тут замечает на женщине темно-коричневый искрящийся мех... — Шуба... Норка искусственная...» И произносит внятно, с легонькой укоризной:

— Лариса!

Женщина вздрагивает, точно ее разбудили внезапно, поднимает к нему лицо, замечает рога в его руке. Рога как рога. Забинтованные, чтобы не попортить. Но ее глаза вроде как не сразу понимают, что это такое — ширятся изумленно. Она стискивает перед собой руки и произносит низким, срывающимся, незнакомым голосом:

— Ты?! Я рада... я очень, очень рада...

Губы ее дрожат, глаза полнятся слезами. Она силится улыбнуться, говорит:

— Какой ты! Тако-о-ой! Я искала... поэтому...

Он ставит портфель на пол, освободившейся рукой привлекает женщину к себе, целует в щеку. И тоже улыбается, почти смеется, делая вид, что нисколько не смущен, что все это так мило, забавно, пикантно даже...

Они выходят из здания аэровокзала. Немножко, на ходу спорят о том, кому нести оленьи рога. Евгений Петрович побеждает, утверждая, что и рога, и портфель, и чемодан ему настолько легко держать в руках, что не о чем и разговаривать. Он не врет, и ему приятно сознавать, что он нисколько не врет сейчас своей жене и не доставляет ей никаких неудобств.

Он подводит ее к стоянке такси. Она оглядывается нетерпеливо и начинает говорить о том, что, должно быть, придется долго ждать, что лучше ехать автобусом-экспресом, что на такси разъезжают главным образом провинциалы, которым хочется шикануть. Он не спорит с ней, догадываясь, отчего она завела весь этот разговор: она тоже делает вид, что все и обыкновенно, и нисколько не тяготит ее.

Сидя в такси, она опять говорит, поглядывая на него сбоку настороженно и пытливо.

— Знаешь, когда я получила твою телеграмму... Ночью принесли, в одиннадцатом... Такой оглушительный звонок! Кошмар! Мальчишка... Как доверяют? Читаю — ничего не понимаю. Неужели? Звоню маме. Тоже не поверила. Правда, дикость какая-то? Аленка проснулась. Фотографию твою достала, смотрела... Отец поверил сразу, бренди купил. Они у нас, ждут... пироги пекли. Я тоже... Меня с ра-

боты еще вчера отпустили. У нас в библиотеке как узнали... Аленка в школе. Я все-таки послала. Или не надо было?

— Почему же? Школа есть школа,— отвечает он, уже не так остро чувствуя неловкость. Он глядит в боковое окно на весело скачущий мимо березовый подлесок, на огромные рекламные щиты и постепенно шалее от стремительной комфортабельной езды, от предвкушения грядущих радостей.

...Маленькое ушко жены. Вокруг него закрутилось случайно колечко темных волос. Умиленный этим зрелищем, погладил ее руку. Она вздрогнула, склонила голову, покраснела и показалась ему совсем юной, почти девочкой, с этими опущенными ресницами, в этой зеленой вязаной шапочке с куцом козырьком.

— Я как будто встретил тебя вот только что... в первый раз... В лесу, помнишь? Ты такая молоденькая, свежая,— шепнул улыбающимися губами.

Она глянула недоверчиво, исподлобья. Он увидел пучок тоненьких морщинок, тщательно запудренных в ложбинке между бровями. Выдержал ее взгляд, улыбаясь в ответ как можно простодушнее. И признался себе: «Да, лгу. Но из самых лучших побуждений лгу! Надо же начинать... Как-то это все сбалансировать, организовать, настроить... настроиться...»

...Его дом произвел на него впечатление с первого же взгляда. Ему даже показалось, что, засыпая в своей пустой сахалинской квартире, где, кроме стола, кровати и табуретки с электроплиткой, ничего не было, он видел воображением именно эту семнадцатизэтажную нежно-сиреневую громаду, снизу доверху сияющую стеклом окон. И никаких потеков, никаких швов, кое-как замазанных битумом. Никаких балконов, этих убогих висячих траншеек. Лоджии, длинные, глубокие. Поди ж ты!

— Сквозное проветривание,— спешила объяснить жена.— Высота два семьдесят. В ванной и уборной импортная керамика. В кухне польский линолеум. Помнишь, я писала? Кухня десять метров.

— Одного не понимаю,— Евгений Петрович взял жену за плечи,— как это ты, такая маленькая... и вдруг в таком доме, и не на окраине где-то, а почти в центре? Я-то считал, вовсе непрактичная.

— Я же писала тебе! — отозвалась женщина, и голос ее прозвучал чуть-чуть капризно. Похвала польстила ей.— Я писала, как одни мои знакомые, Севастьяновы, отказа-

лись от этого кооператива... Дарья... «Нет и нет...» Уже первый взнос внесли, а Дарья вдруг — «нет и нет». Ты как раз деньги прислал. Ты замечательно вовремя деньги прислал. Восторг как все получилось!

— Понятно.— Евгений Петрович продолжал разглядывать дом. Попытался наудачу отыскать свои окна. Но все они были столь одинаковы и столь согласно излучали таинственный голубоватый полусвет величавого умиротворения и комфорта...— Лариса, Лариса-а.— Евгений Петрович порывисто, благодарно притиснул женщину к себе, и так они постояли некоторое время...

...В лифте, обитом изумрудным пластиком, в голубоватом свете плафона Евгений Петрович увидел в руках жены оленьи рога. Бинт, которым они были обмотаны, успел загрязниться, и Прозорову стало как-то сразу неловко перед всем этим солидным, нарядным домом и за свою щетину, вылезшую в полете, и за мятые брюки, и за дешевое пальто с выгоревшим цигейковым воротником, и за свою голую холостяцкую квартиру с облезлым табуретом, откуда он решил так вот вдруг перемахнуть сюда. «Завтра с утра»,— подумал поспешно о необходимости обзавестись одеждой, достойной дома, где собирался жить.

Кроме того, надев новую московскую одежду, он окончательно развяжется с Сахалином, стряхнет последнюю сахалинскую пыль и...

— Оправдал! Оправдал! — веселенько приговаривал низенький короткошей человек, напирая на него животом. Тесть. Схватил за руки, принялся трясти.— Вот оно, истинное отношение к женщине, жене! Рыцарь! Джентльмен! Благороднейший поступок на фоне современной молодежной действительности! Истинное, Лариса Ивановна! — прокричал в сторону дочери, грозно выпучив глаза.— Цени, Лариса Ивановна! Цени и чувствуй!

Лариса собралась было что-то ответить, и резкое, недоброе, судя по вспыхнувшему взгляду, но перетерпела, наклонилась снимать сапоги. Однако — Евгений Петрович заметил и это — на щеке у нее запрыгало багровое пятнышко, будто ее щипнули, и расплылось.

— Цени, Лариса Ивановна! Цени! — не унимался родитель и, видимо приятно ошарашенный собственным красноречием, пробовал держаться осанисто, выпячивал подбородок, выставлял вперед ногу.

— Я ценю, ценю! — вдруг выпрямилась дочь и стукнула

каблуком.— Чего ты? Только и делаю! Что пристал? Прошу! Прошу-у!

— Ох, ох, и сказать нельзя, от души ведь,— отступился старик, как всегда, впрочем, отступал прежде при малейшем неудовольствии своей разьединственной.

— Здра-авствуйте, голубчик,— сквозь одышку пропела толстая, болезненно-сонливая теща, протягивая Евгению Петровичу пухлую ручку с золотым тусклым колечком.— Проходите... что же вы... все свои... будьте как дома...

— Сказала! — фыркнул ее муж.— Он и есть дома!

— Ох я глупая, беспамятная,— всполошилась старая и прямодушно пояснила: — Дак ить сколько времени пропал! Тут уж и как звать-величать позабудешь, не то что...

Лариса издала сквозь сомкнутые губы какой-то короткий странный звук, рванула с головы шапочку, бросила ее, не попав, на вешалку, красная, встрепанная, закричала тонким, злым, бессильным голосом:

— Чего вы топчетесь на одном месте? Идите есть! Идемте садиться! Что надо? Чего-о-о-о?

Испуганный старик задышал часто и тяжело и молчком юркнул в дверь. Старушка же помедлила ретироваться. Она прежде перекрестила воздух перед дочерью, прошептала огорченно:

— Господь с тобой! Иль опять нервы? Вот ведь горести-и-и...

У Ларисы мелко-мелко дрожали губы. Она стиснула рот, повернулась к зеркалу и уставилась в него пустыми, невидящими глазами.

— Ушла я, ушла.— Старуха поднесла фартук к губам вроде бы в знак молчания, исчезла.

— Лариса,— выговорил не без натуги Евгений Петрович, так как решительно не знал, что ему следует сказать при таких непонятных обстоятельствах.

— Что? — она отыскала в зеркале его глаза и, как слышалось ему, с каким-то ожесточенным, напористым вызовом повторила: — Что?

— Не понимаю... Зачем же так? — Евгений Петрович постарался на всякий случай говорить мягко, успокоительно.— Старики все же... Любят тебя.

— Ох! — Она ртом сделала глубокий вздох.— Что ж... действительно... я извинюсь.— Увидела свое отражение, провела ладонями по скулам, путаными движениями обеих рук повытаскивала шпильки из косы, закрученной на затылке, и наново уложила ее на прежнем месте.— Видишь... зеркало? Видишь, какое? — спросила, не оборачиваясь, и пальцем заскользила по овальной гладкой раме.

— Очень красивое, — признал Евгений Петрович и обратил внимание на то, что в длинном широком зеркале ее небольшая фигурка в юбке и свитере глядится как-то случайно, ненадежно вроде бы. А косу она, пожалуй, закручивает слишком... Может, это последняя мода такая? И серьги... Тоже чересчур.

— Я его в комиссиишке нашел. Страшно дешево! Все удивляются! — она повернулась к нему. — Ну пошли, пошли? — Словно это он тянул, и ей пришлось дожидаться его.

Она делала вид, что ничего не произошло. Что ж, не произошло, так не произошло. Ему не хотелось задумываться, портить свое счастливое настроение, рисковать своей радостной уверенностью в том, что теперь он может все, что будет только так, как он захочет.

Он прошел в ванную. Словно подтверждая нелепость всяких унылых, неудобных мыслей, здесь все блестело, блистало новизной, чистотой, разумностью: никель, кафель, стекло, фаянс. Пахло духами, эликсирами, хорошим мылом.

Евгений Петрович умылся, причесался, вошел в большую комнату. Солнце резануло по глазам. Проморгался. Пригляделся. Огромное, во всю стену окно вобрало столько яркого, резкого сияния, словно специально для того, чтобы наилучшим образом высветить и подать каждую вещь. Для него, для Прозорова.

Сверкали, лоснились, искривились широкие и узкие, вертикальные и горизонтальные плоскости, округлости, отражая в себе лаковое сияние паркетного узора. Проблескивали серебром пучки колосьев на голубых оконных занавесах, колоннами сдвинутых по сторонам.

Лариса обходила родителей, целовала, просила прощения.

— Садись, зятек, усаживайся! — ободрившимся голосом призвал тесть. — Что? Засмотрелся? То-то! Красота? Живите, радуйтесь! Пришло! Рюмочку, рюмочку пожалуйста!

Евгений Петрович сел на один из мягких стульев с изогнутой круглой спинкой, взял в пальцы рюмку, откинулся. Удобно, черт побери. И пахнет до чего вкусно! Добротной домашней пищей.

— А вот колбасичка, сервелат настоящий, а вот буженинки отведайте.

Теща тянет к нему тарелки, а тесть знай подливает в рюмку и командует:

— Раз, два, дебет, кредит, итого! Что, крепко кусается? Бренди! А ты что думал! Итого! — напирает на «о» и «г»

и счастливо улыбается превосходными вставными зубами.— Пей, затек! Такой день! За счастливую и полнокровную!

Задумывается на миг, лезет в карман, достает пузырек, кусок марли, торопливо капает из пузырька и вставляет мокрый кусочек в ухо. На красном, вспотевшем лице его смущение и решимость.

— Я прочту знаменитую неумирающую поэму русского поэта Александра Пушкина! — возглашает торжественно и принимается:

Горит восток зарею новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки, дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам...

Лариса сидит напротив. Евгений Петрович видит ее точно анфас, как на фотографии для пропуска. Она много пьет и громко, невесть отчего, хохочет. А то вдруг остановит на нем изумленный взгляд и ни с места... «Отвыкла», — догадывается Прозоров и оглядывается назад, чтоб рассмотреть, какова она, последняя стена этой красивой комнаты, и думает мимолетно о том, что так оно, в общем-то, и должно быть, должна была отвыкнуть, как и он сам, впрочем, если честно... Ну да ничего, дело наживное, поправимое, было бы желание...

Стена оформлена великолепно. Пианино темно-вишневого цвета и такой же стеллаж, застекленный, а внутри аккуратные рядки книг, новеньких.

Но что за картина над пианино? Фрукты на ней, что ли? Или овощи? Или пасхальные яйца? И трамвай при них. Трамвай ли? А может, крейсер? «Убрать», — решает Евгений Петрович. — Непременно убрать. Потактичнее, конечно, как-нибудь...»

— Картина? Ну что? Как тебе? — внезапно спрашивает жена. — Какие краски! Какая экспрессия! Находишь?

Он оглядывается, чтобы узнать, не шутит ли. Нет, рвет в клочки бумажную салфетку, но не шутит. Подведенные черным глазом остановились и глядят пронзительно, чуждо, как в смотровую щель.

— Интересная картина... да... весьма, — медленно говорил он. — И фон... тоже... весьма.

— В художественном салоне... полмесяца назад... Хижняк... Из самых-самых! — задыхаясь, пояснила женщина. — Случай... Никто не верит! — Она прикрыла глаза веками и помотала головой. Казалось, сомлела от восторга, засевшего в ней с минуты покупки.

— Все ясно, все ясно,— сказал Евгений Петрович, имея в виду прежде всего то, что жена его Лариса ясна ему, в общем-то, как божий день. Свойственная ей прежде навивная восторженность сохранилась, а может, даже приумножилась. Подходяще. Неожиданности ему ни к чему. Подхватил с тарелочки половинку яйца, намазанную маслом, прожевал с удовольствием.

— Теперь я вам в прозе... от души,— откашливается в кулак и крикливым, деланным голосом возвещает тесть.— Ну, значит, велит царь Петр Лексеич (тогда так друг дружку величали) привести к нему оружейника прекрасного. Ну, значит, входит в палаты царские тульский мастер в кафтане (по-нашему, по-современному, костюм это мужской) и говорит...

— Как видишь, отец по-прежнему любит пересказывать исторические романы. И все почему-то о Петре Великом,— вдруг холодно и устало сообщает Лариса.— Если слушать моего отца, можно подумать, что время остановилось еще когда и намертво. Если слушать моего отца...

Евгений Петрович видит, как ее пальцы, маленькие, аккуратные, с ноготками, отливающими перламутром, безостановочно рвут бумажную салфетку, как будто работу делают и спешат уложиться в ограниченный срок. Ему становится не по себе, беспокойно как-то... Хотя причины-то вроде нет.

Старательно пяля глаза на тестя, он вынужден признать с неприятным смущением, что знает о своей жене Ларисе примерно столько, сколько о героине полузабытого романа, так, в общих, зыбких чертах. Вот, например, эта ее привычка смотреть в упор? Давняя или благоприобретенная? А вот этот жест, каким она оттягивает от шеи высокий ворот черного свитера? И почему черного? Это что, ее любимый цвет или дело случая? А вот эта манера покусывать губы? А то, что произошло в передней? Как понять?

— Лариса! А где же Аленка? Скоро?

— Вот-вот. В школе,— быстро ответила жена и испуганно оглянулась на дверь.

Ее голос иссяк. И она опять посмотрела на него как на нечто потустороннее, внезапно возникшее из ничего.

— Отвыкла? Да? — Он постарался улыбнуться.

Не ответила, выпила рюмку залпом и долго не могла поставить ее прямо: пальцы не слушались, блики на перламутровых ногтях дрожали.

— Ну, значит, приносят ему челобитную, заявление по-нашему, по-современному,— возвысил голос тесть.— Слушайте меня! Меня слушайте! Лариса!

— Да, отвыкла,— горько, трезво сказала женщина и спрятала непослушные руки в колени.

— Не дури! — прикрикнул на нее отец и стукнул ладонью об стол.

Со стола упало и покатилося что-то тяжелое. Должно быть, яблоко или апельсин.

— Ванюш, не кричи, в ушах ломит,— вздохнула теща, очнувшись от сонного забытья, в которое погрузилась после первой рюмки.

Тесть отошел от стола, включил телевизор. На экране возникла сетка — неподвижные линии, цифры, круги... И загремела музыка, оглушительная, словно звуки навалом сгружали в гулкую пустоту. Выключил. Постоял не у дел.

Солнечный луч пронзил хрустальную вазу с фруктами. Глядя на эту вазу, Прозоров пообещал жене:

— Лариса, все будет хорошо, абсолютно все.

«Интересно,— неожиданно подумалось ему,— если бы я встретил ее сейчас... Как? Обратил внимание? Женился бы? А что! Пожалуй... Да, пожалуй,— поторопился с ответом.— Глаза красивые... руки... Симпатичная, полненькая брюнетка, голосок звенит... манит... Все при всем, как говорится».

— Далеко школа? — улыбаясь, спросил жену, сердечно желая облегчить ей первые шаги к взаимопониманию.

— Я писала тебе,— отозвалась она без улыбки, явно не оценив его великодушных усилий.

— Что ты все «писала, писала»! — внезапно, сам того не желая, взорвался он.— Сказать трудно?

— Школа недалеко... совсем... два квартала всего,— объяснила послушно, покусывая губы, и остекленевшими глазами уставилась на сияющую вазу. Дернулась, добавила с нервным вызовом: — Ее приведут. Ее приводят обычно.

— Лари-иса-а! — Тесть шагнул к дочери, вжал кулаки в свою жирную грудь.— Возьми в разум... Человек для тебя все! — возопил страдальчески.— Не пьет, не курит, жизнь оборудовал, благоустроил, комфорт самый обстоятельный! Чего еще надо? Какого дьявола?!

— А-а-а! — Лариса подскочила, взмахнула руками, словно собралась взлететь или бить посуду, но только сникла тут же вся, втянула голову в плечи и расплакалась, причитая сквозь всхлипывания: — Понимали бы! Комфорт... Боже мой, боже мой...

— Мы с матерью десятой доли того не имели. И то! — вопил тесть, но уже торжествуя. Он наслаждался легко одержанной победой и нисколько не сомневался в силе собственной логики.

В прихожей позвонили. Евгений Петрович отреагировал первым, пошел открывать.

— Здравствуйте, Евгений Петрович,— сказал ему среднего роста плотный человек в серой шляпе и остро, неприязненно и независимо взглянул сквозь очки.— Вот ваша дочь Алена.

— Спасибо,— протянул, примеряясь, Прозоров и инстинктивно выпрямился, чувствуя благодарность к своему высокому росту, к бесценной возможности глядеть на многих прочих сверху вниз.— Спасибо, спасибо! — Как если бы сказал: «Хорошо же, я еще займусь вами».

А между ними двумя подрагивал белый помпон на голубом колпачонке.

Очкастый человек первый сошел со своей позиции и сделал шаг к лестнице, которая вела вверх.

— До свидания, Карлсон! — тоненьким призывным голосом прозвенел голубой колпачок с белым помпоном. Девочка смотрела вслед уходящему.

Евгений Петрович увидел кромку светленьких волос, начесанных на лоб, и серый крупный глаз. «Мои волосы! Мои глаза!» Что-то взорвалось в нем, сдавило грудь тоскливой болью. Схватил ребенка, притиснул к себе, перенес через порог, ногой захлопнул дверь, и первое, что сказал дочери, задыхаясь от стремительных движений ревности, было:

— Почему Карлсон, Аленка? Аленочка? Какой он тебе Карлсон? Товарищ Карлсон, надо говорить. Дядя Карлсон в крайнем случае. Он немец, что ли?

— Нет, он просто Карлсон,— сказала девочка, удивляясь большими ясными глазами.— Карлсон, который живет на крыше. Мы уже давно уговорились. Такая книга есть. Хорошая такая,— как будто прежде, чем принять его в игру, она считала нужным обстоятельно объяснить правила.— Это дядя Толик... Мы с ним дружим...

— Ясно,— сказал Прозоров, замолчал и выпустил руку дочери на свободу.

— Он хороший,— осторожно, не слишком доверяясь, проговорила девочка.— Он мне книжки читает... всякие... Мы с ним в Уголке Дурова были...— Интуитивно почуяв опасность, нависшую над дорогим человеком, девочка заговорила быстрее, мило шевеля выпяченными губенками: — Дядя Толик умеет из снега жирафа делать, и лебедя, и кенгуру. У него Кир есть, скворец, он всем «доброе утро» говорит... Честное слово!

— Да? — пробормотал Евгений Петрович.

— Да,— сказала девочка, оглядывая его с серьезным, осторожным вниманием.— А вы... мой папа... Я сразу догадалась.

— «Ты» я, Аленка! «Ты»! — тихо, ужасаясь, проговорил Прозоров, присел, прижался неловко к маленькому шаткому тельцу. Встал.

— Ты... папа,— послушно попробовала повторить девочка.— Мама читала мне письма... твои... папа. Только я думала... вы... ты... не такой большой... папа.

Девочка с его серыми глазами, с его светлыми прямыми волосами продолжала выдавливать из себя слово «папа», а он с обидой неизвестно на кого чувствовал, что совершенно чужд ее жизни, ее интересам и еще совсем неизвестно, чем все это кончится.

— Ты как учишься, Алена? — спросил внезапно и строго.

— На четверки и пятерки,— с вежливой готовностью ответила девочка.

— Четверки — плохо, не годится,— сказал Евгений Петрович все тем же нарочитым, так называемым отеческим тоном.— Ты должна иметь одни пятерки. Я помогу тебе. Я схожу к твоей учительнице... познакомлюсь. Я регулярно буду просматривать твой дневник.— И чем дальше, чем суровее говорил, тем большую неуверенность чувствовал в себе.— Я рога тебе привез,— вспомнил вдруг с надеждой.— От оленя. Вот они, вот тут где-то, ну да, в углу, вот, видишь? Надо только бинт размотать. Сумеешь?

— От оленя! От настоящего? — воскликнула девочка и открыла рот так широко, что стала видна пломбочка на коренном зубе. Съежилась и с опаской нежного, пугливого зверька подобралась к рогам, тронула и замерла.

«И все? — подумал Евгений Петрович.— Станный ребенок... А я бы? Схватил, растеребил, бесился бы от радости... в свои семь... нет, как же, ей восемь уже... конечно, восемь, разумеется, восемь...»

...Когда тесть и теща уехали к себе, а дочь уснула, Прозоров с женой тоже прошли в спальню и, не сговариваясь, остановились в нерешительности друг против друга.

— Что все это значит? — спросил он.

Жена поняла его сразу.

— Это значит,— сказала она и лишилась голоса, стиснула рукой горло, досказала: —...что... молодая женщина... молодая женщина... в течение семи лет... Молодой женщине,— громко и внятно произнесла наконец,— легко быть одной? Семь лет? Одной? Возможно? — И в упор, не от-

нимая руки от горла, уставилась на Евгения Петровича отчаянными глазами.

Евгений Петрович не сладил со своим лицом. Его растянуло чудовищное изумление. К такому повороту событий он совершенно не был подготовлен. Он никогда и не предполагал ничего подобного. Почему? Ну хотя бы потому, что она, вот эта женщина, жена, регулярно, ни разу не выбившись из ритма, раз в месяц посылала ему письмо. Сообщала, что купила и какая погода... интересовалась его здоровьем. «Кажется, в этих случаях положено кричать и давать пощечины?» — подумал он тупо.

И вдруг ему захотелось смеяться, хохотать... над собой... над ней... над всем миром. Его провели, обманули, облапошили! И только потому, что письма приходили регулярно, раз в месяц... Такие заурядные, безобидные... Только что, сию минуту, он имел все... И вот — ни дома, ни семьи.

— Ты... любишь... его? — спросил, глядя в пол, и зевнул. Нервы. С ним всегда так, когда нервы сдают. Опять зевнул помимо воли.

— Он меня — да, любит, — слышал как со дна темного колодца.

— А ты его? — Евгений Петрович постарался сдержать зевок и еще постарался, чтоб голос его звучал твердо и мужественно. Он уже знал, уверен был, что она ответит ему безжалостно и непреклонно: «Да, люблю». Или виновато, но только все-таки: «Да, да, люблю». И они, слова эти, прозвучат равнозначно: «Уходи».

— Какое это имеет теперь значение? — прошептала женщина вяло и печально. — Ох, Женя... Ты попробуй, постарайся понять, представь себя на моем месте.

— Гм, — сказал он и сел. Устал, и решительно не понять, что тут к чему.

— ...Помогал мне... Мебель покупал... У него вкус... втаскивал... расставлял... гвозди вбивал...

— Гвозди, вкус... Если бы я знал, что этим кончится, я бы приехал раньше.

— Так я же писала, писала тебе... может, после трех лет и вернешься? Вспомни.

— Между прочим, — отчеканил, — если бы я вернулся в Москву после трех лет, у нас не было бы этой квартиры.

Девочка, спавшая в своей кровати, завозилась, проговорила невнятно, вздохнула во сне. Оленьи рога она все-таки разбинтовала. Они стояли сейчас на ее тумбочке, оплетенные ленточкой с бантом.

— Тише, — сказал Евгений Петрович, — не разбуди дочь.

Женщина рывком подняла мокрое, увядшее лицо с взъерошенными темными бровями.

— Я хотела, я честно хотела приехать к тебе. А ты? Что ты писал мне? Написал, что зря, что лучше мне в Москве. Ждать. Чего ждать? Я несколько раз предлагала, просилась... Ну вспомни, вспомни!

— Выходит, я один во всем виноват? — спросил Евгений Петрович, глядя на спящую дочь.

— Выходит, я одна виновата?

— Ничего не выходит. Черт знает что выходит, — сказал он, не отрывая глаз от спящей дочери. — Во всяком случае, я-то думал... Вкалывал и надеялся, верил! — Он возвысил голос, пытаясь разжечь в себе праведный гнев, соответствующий ситуации: — Как приходилось? Нужно бригаде новый забой начинать среди смены — меня с постели поднимают. Сапоги натяну — и пошел. Ночь, пуржит. С фонарем в руке прешься, карабкаешься... Черт побери!

— Ты хороший... ужасно хороший, правильный, достойный, — жалостно прошептала женщина, и в голосе ее он уловил наконец надломленность, раскаяние. Но, странное дело, это его не обрадовало, не утешило и даже не очень-то удивило. — Ты безумно хороший, безумно! Я даже не знала! — твердила женщина, кусая губы.

— Чушь! — отмахнулся он — Так как же? Любишь его? Хочешь быть с ним?

— Я все объясню, все. Я и хотела... Только не в письме. В письме нельзя все и чтоб было понятно. — Она тоже, как и он, смотрела на спящую девочку. — Сама не понимаю, как это произошло. Но семь лет! Семь лет! — Умолкла, затравленно оглядываясь, и вдруг прошептала, задыхаясь: — Одна... утром, днем, вечером... Дома... в библиотеке... Даже в библиотеке... Книги, полки, книги... Что книги? А ночью? Особенно ночью... — Она бросилась к окну, задернула плотнее тяжелую занавесь. — И небо... Без конца, без края.

Ему почудилась фальшь в ее словах.

— Так как же? — грубо, беспощадно повторил он. — Ты хочешь быть с ним?

— Подожди, подожди! — шептала женщина, закрыв глаза. — Аленка? Да конечно. Но она спит, и такая маленькая, беззащитнее меня. Ведь старею, старею... А как же? Грипп... эпидемия... Первый раз десять дней болела. Вылечила... Через неделю еще одна волна. Два месяца лежала. Температура, рвота, кровь из носа. Ноги отказали. Ей было тогда пять с половиной... Он за врачом бросился, потом еще несколько раз... И анализы носил, и лекарства приносил. По магазинам бегал, варил и нас кормил.

— А твои родители что ж?

— Они сами свалились,— стертым голосом отозвалась женщина.— Я же писала тебе, писала! Нет! Не могу одна! Не могу! — вскрикнула, схватила за голову, закачалась на месте.— Пусть я безнравственная, пропавшая, пусть ничтожная — не могу! Пусть я маленький человек... Что ж? И права страдать не имею? Терпела, сдерживалась. Долго!

— Терпела... сдерживалась...— Прозоров посмотрел на оленьи рога, оплетенные ленточкой.— И нашла утешение! — Он старался говорить свысока, язвительно. Увы, никакой жгучей ревности он не испытывал, и это раздражало его и сердило.— Тоже мне, нашла... Какой-то коротышка! Очкарик! — подхлестывал он свое мужское самолюбие.

Нелепость собственного положения очевидна для Прозорова. И он чувствует свое право встать и уйти. А между тем продолжает сидеть. Что же мешает ему быть решительным? Усталость? Или вот этот кривой, нелепый бант на оленьих рогах, завязанный неумелыми детскими руками?

— Или... или,— нечаянно проговорил вслух.

— Женя,— вздохнула женщина слабо и покорно.— Ты так старался... Я понимаю, ценю.— Она все еще стояла спиной к окну и, вдавив ладони в щеки, замученно глядела в пол.— Делай что хочешь. Твое право. Не обижусь. Чего уж? Что сделаешь, то и верно и правильно.

— Чушь! — досадливо откликнулся он и опять сидел, молчал.

Внезапно где-то за толщей стен раздались три протяжных, стонущих вопля. Потом еще.

Евгений Петрович поднялся скорее машинально, прислушался.

— Ее муж,— каким-то утробным шепотом объяснила женщина, и паркет скрипнул под ее ногами.— Умерла. Позавчера утром. Троллейбус водила. Красавица. Самая настоящая. Полиартрит. Ей столько же лет, как мне. И вдруг... Это ее муж. Электрик. Он просто с ума сошел. Страшно!

Он слышал, как у нее стучат зубы. Повернулся. Она вся дрожала и ежилась, обхватив себя руками.

— Как я боялась... Вдруг — смерть. Или война. И это... Еще один страх. Как ты узнаешь? От кого? Что сделаешь? Ты там... работаешь, стараешься, а я тут... Теперь все знаешь. Я решила сразу, честно... Пусть! Только скорей! Устала...

Черный свитерок ее задрался сбоку, помпезная башенка

на голове развалилась, и освободившаяся коса свесилась беспомощно и невинно.

Порывистое чувство смущения и жалости толкнуло его к женщине. Он обнял ее, стараясь успокоить и согреть. Какое-то не до конца освоенное ощущение вины перед ней защемило его сердце...

— Ну что ты, что ты... Довольно об этом, хватит, успокойся,— говорил он, с невольным умилением слушая возбужденный сверх меры голос и наивные покаянные слова. Губами тронул ее косу там, где она намечалась едва. Теплый оранжерейный запах каких-то полузабытых духов шевельнул ноздри. Вспомнилось давнее. Как познакомились.

И она и он кинулись разом к одному подосиновнику. Она приехала за грибами с отцом, а он, Евгений Прозоров, ниоткуда не приехал, жил тут, в Краскове, под Москвой, снимал дешевый угол и пришел в лес, чтобы позаниматься — экзамены сдавал за четвертый курс.

Она первой схватила гриб, прямо вырвала из земли, и подняла на него, Прозорова, румяное счастливое лицо. Он сказал ей что-то вроде: «Грибы не свекла. Их следует срывать, чтобы грибница оставалась в земле. У вас есть нож?» — «Ой! Обязательно? — огорчилась она и по-детски подобрала под зубки нижнюю губу. — Ножа нет». И смотрела на него исподлобья, зависимо, виновато, словно ее отчитывал школьный учитель. Повернулась, пошла прочь, опустив голову.

Он заметил голубые, легкие тени на белом, там, где слегка поднятннули материю углы худых лопаток, и как между ними кротко, женственно, мило лежала темная аккуратная коса с алым бантом на конце. Вдруг захотелось настичь и обнять это слабое, юное существо, защитить, что ли... От чего? От кого?

В то время ему было двадцать семь. Она на пять лет моложе. Чувствовал же он себя лет на двадцать старше. Она умиляла его своими наивными суждениями, неумным ликованием по малозначительным поводам. Торопливо, кое-как готовилась к экзаменам, но когда получала посредственную оценку, недоумевала и страдала.

Когда они поженились, ее родители уступили им двенадцатиметровую комнату, а сами переместились в восьми-метровую.

Он полгода ходил к ним просто в гости и хорошо узнал, что люди они по теперешним временам, когда у подъездов пасутся личные «Волги», «Москвичи» и тому подобное, весьма скромно обеспеченные. Эти штапельные шторы на

окнах, дешевенький тюль, пластмассовый зонтик абажура, кроличий воротник на зимнем пальто Ларисы... Но он ценил искреннее гостеприимство, добрую заботу о нем, одиноком, неухоженном, не слишком сытом студенте.

Когда бухгалтер узнал, что Прозоров учится почти на все пятерки, рассудил уважительно: «Суть явления и есть в том, как человек относится к своему долгу, стремится ли в цель попасть, в самое яблочко». При этом Лариса глядела на Прозорова с торжеством первооткрывателя — вот, мол, какая я, какую редкость отыскала там, на ярмарке.

Она вообще не переставала умилять Прозорова. В частности, своим простодушным доверием к нему, серьезному, малоразговорчивому человеку. И своим восторгом по поводу того, что у него высокий рост, и он разбирается во всех этих головомомных интегралах, дифференциалах, и что он учится в «серьезном» Горном институте, в то время как она — в «простом» библиотечном.

— Собственно,— сказал он, продолжая вдыхать меркнущий аромат,— я приехал не для того, чтобы скандалить, рвать и тому подобное...

— Какой ты хороший! Ты все понимаешь! Ты сильный! — шептала женщина и лгнула к нему.

Аромат померк окончательно. Пахло обыкновенно — волосами.

— Вот что, давай-ка спать,— сказал он.— Я устал. Чертовски.

Она замерла в его руках, отстранилась.

— Хорошо,— сказала кротко. Помолчала, повторила чуть громче: — Хорошо.

Повернулась и вышла.

Он скинул с себя одежду, забрался в постель, во что-то ласкающее, шелковистое, и ему показалось, что именно этого он жаждал всегда и больше всего... Чтоб голова тонула в подушке, чтоб можно было закрыть глаза, ничего не слышать, кроме собственного дыхания. Впрочем, он успел услышать еще шум льющейся в ванной воды, успел подумать, что это она под душем. «Мне бы тоже помыться не мешало»,— сказал себе, но то ли наяву, то ли уже во сне — не мог сообразить. Мертвая усталость навалилась на него, расплющила...

...Ему приснилось, будто он ползет по штреку. Нет, по расщелке... извивается в тесной мокрой щели. На крестец жмет аккумулятор, руки вязнут в грязи. Подслеповатый

луч фонарика с каски тычется туда-сюда и не дает вовремя заметить острые выступы. То головой стукнешься, то плечом врежешься. Саднит, ноет там и тут. И давит, давит... сверху, с боков... снизу... Вот-вот холодная мокрая порода сомкнется вокруг горла — и он услышит хруст собственных хрящей. Попался! Пропал!

Только нет, это и не рассечка вовсе, а длинная узкая раскомандировка второго участка. В оконной раме сереет то ли весенняя, то ли осенняя картинка: ребристый скат сопки, утыканный черными остовами сгоревших деревьев. Стук-перестук. Это на последних минутах перед сменой отыгрываются запойные «козлятники».

Топорщатся жесткие складки на рукавах серых роб. Озорной блеск зубов сквозь табачную муть. Запах портянок и резиновых пропотевших сапог. Собственно, сам-то он зачем здесь в этом новом... новом? Ну да, новом костюме? Ах да, надо принять зачет у новичков-крепильщиков. Он примет, он готов. Только стук домино слишком уж бесконечный, терзающий барабанную перепонку. Или это гроб заколачивают? Кто-то умер, говорили. Кто? И за окном такая стылая, омертвевшая серятина. Спрятаться бы, забиться в глубокое, в теплое и не слышать. Он идет в дальний угол раскомандировки, а там занято, сидят на карточках два удивительно знакомых паренька, и один из них при виде инженера выкрикивает бойко: «Паспорт крепления восьмой лавы имеет...» Евгений Петрович зажимает уши, ничком ложится на пол и вдруг обнаруживает, что опять ползет по грязи. Пробует оторваться от нее, но грязь не пускает. Все-таки он делает отчаянное усилие, вскакивает и бежит туда, к теплу, к свету, как мнится ему. Увы, ноги тащат его назад, к черным, давно остывшим после пожара остовам деревьев на ребре сопки. Ботинки вязнут в мерзлой грязи и остаются позади, а он бежит против воли туда, где свистит ветер, расхватывая из-под одежды его последнее тепло. «Зачем?! — кричит он чуть не плача, но ничего не может поделать, ноги не повинуются ему и влекут к мертвым деревьям, и ветер безжалостно вылушивает его из одежд. И вот он уже совсем голый мечется среди черных, обугленных стволов.

Очнулся. Подтянул сползшее одеяло. Высоко над ним, как бы рея в свободном пространстве, мерцают, чуть-чуть покачиваясь, три желтых шарика — прелестная маленькая люстра. Евгений Петрович глядит на нее с благодарной нежностью. Она освобождает его от мерзких ощущений недавнего сна, возвращает в реальный мир чистоты, кра-

соты, уют. И даже длинная водянисто-голубая щель между оконными занавесками кажется ему красивой. Правда, откуда-то оттуда несет холодом, но и холод какой-то приятный, облагороженный... Прямо перед собой в затененном уголке Евгений Петрович обнаруживает спящую девочку. Насторожился, покосился вбок — нет, кроме него, на широкой кровати никого.

Водянисто-голубая щель в окне светлеет постепенно. Худенькая бледная рука девочки, свесившаяся с темного одеяла, становится все белей, холодней с виду. Да и, пожалуй, в комнате вообще слишком холодно. Евгений Петрович опустил ноги, подошел к окну, отыскал, прикрыл форточку, поглядел на улицу и раздумал возвращаться под одеяло.

В ранней зеленовато-сизой дымке перед ним предстала Москва. Раскинулась... стелилась... возвышалась... возносились... Белые, голубые, сиреневые, желтые кубы и параллелепипеды домов как будто вздымали и несли высоко над собой легкое зимнее небо с прощальным, уплывающим по-маргиванием далеких звезд.

Евгений Петрович был босиком. Однако ноги его не чувствовали холода. Они спрятались в густом ворсе ковра, цветом напоминающем кисель из концентрата.

Евгений Петрович пригляделся к жилой башне напротив. Аскетическое ультрасовременное однообразие вертикальных и горизонтальных линий, знающих себе цену в перенаселенном городе. А вот окна — совсем иное дело. Какие занавески! Сколько тюля всевозможных оттенков! С помощью окон счастливые квартиросъемщики оповещают мир о собственном процветании. Не иначе.

Евгений Петрович увидел между лиловой вывеской «Ромашка» и оранжевой «Подарки» прямо-таки открыточную красоту моста, изящно, почти сладострастно изогнувшегося над бездной. А вон и то здание, вон оно, огромное, похожее на книгу, раскрытую первым солнечным лучам, сверкающее металлом, стеклом, пластиком. Оно действительно было изображено на открытках, которые продавались в Снежногорске. И обольщали, травили воображение.

Москва... Евгений Петрович видит аллеи фонарей, тонкий розовеющий иней на деревьях, слышит тугой уверенный шум первых машин по чистому просторному асфальту. «Завоеватель, — думает он о себе с легкой иронией. — А разве нет? Что ж, Женька Прозоров, что ж... Как бы там ни было, ты все-таки одолел, осилил, смог?»

Затренькал, скрежеща на повороте, дальний трамвай, выплыли из тумана три свежепозолоченные главки старин-

ной церквушки, прилепившейся к подножью огромного серого здания.

Москва! Вот же она, вот — пристанище избранных, мечта тысяч и тысяч! «Столица», «столичное»... Провинция вечно будет заморожена этими словами и вечно будет рваться сюда сквозь тысячу невозможностей. Но только некоторые одолеют, осияют, победят и утвердятся. Он, Прозоров, один из них. Недавний коренной обитатель серенького городишка — и на тебе, москвич. Победитель!

Эх, видели бы его сейчас! Чтoб всех одним махом! Всех, кто когда-то ни во что его не ставил, не считался, отшвыривал.

...Он всех их помнит, никого не простит. И ту губастую продавщицу, которая ни с того ни с сего набросилась на него и поволокла к выходу, брызгая слюной:

— Пошел, пошел вон. Шаромыга, знаю таких. Гляделками зыркает, а в кармане дыра. Стянуть ладишь, что плохо лежит? Щас как свистну милицию!

А Юрку не тронула. Юрка вышел сам, скинул с новеньких шевियोтовых брюк ниточку и сочувственно пояснил:

— Это она тебя потому, что ты одет уж больно не очень...

И Юркину б мать сюда. Пусть бы глаза вытаращила. Он хорошо запомнил ее руки в веснушках, набухшие белым жиром, ее приторные и тоже как будто жирные духи, ее привычку к месту и не к месту вставлять «мой муж, майор...»: «Так у тебя, мальчик, мать есть, а отца нет? Бывает... Ты пей, пей кисель, тебе небось редко приходится пить такой сладкий кисель, а он у нас киснет, все равно выливать. Мой муж, майор, вообще кисели не обожает».

Он бы не прочь, если бы его увидела сейчас и рябая больничная завхозиха, которая умудрялась таскать своему поросенку по ведру молока, в то время как другие пекли оладьи из картофельных очисток пополам с лебедой. Раз, заметив, что на нее и на поросенка уставились сквозь щель сарая три пары голодных детских глаз, она позвала лстивым, испугнутым голосом:

— Подьте сюда, детки. Я вас молочком попою.

— Не надо, — ответил старший брат.

— Не надо, — неуверенно примазался к нему Женька.

Но младший, бесштаный, в полосатой кофте (американская помощь) на раздутом животенке, молчком торопливо потопал внутрь сарая, где чавкала и повизгивала от удовольствия важная розовая свинья.

Старший брат перехватил дурачка, безжалостно размахнулся, хлопнул его по тощему задку и пояснил:

— Мы не нищие. Понял?

Вовка забыл зареветь. Он уставился на них огромными от непосильного недоумения глазами и попытался все уладить по-хорошему.

— Там моко! Моко там! — незлобиво, терпеливо убеждал он их, бестолковых и злых.

И уж конечно стоило бы, чтоб его видела сейчас тетя Лида, жена материного брата.

Брат матери — профессор, лингвист. Его имя можно прочитать на обложках увесистых «кирпичей». Это что-нибудь да значит! В том смысле, что когда надо хоть чуть надбавить себе цену, кидаешь как бы между прочим: «Когда я в последний раз останавливался у дяди-профессора в Москве...»

Мальчишкой, надо признать, он частенько использовал эту возможность. А у дяди, между прочим, останавливался всего один раз. Но с него хватило и этого. Профессор-лингвист заметил его лишь в тот миг, когда Женька переступил порог и поставил у ног свой облезлый, с перебитым хребтом чемодан.

— А! — произнес профессор. — Очень приятно. Ты кто ж такой? А! Принимай, Лидочка!

И исчез за одной из нескольких стеклянных дверей.

Лидочка, миниатюрная брюнетка в зеленом переливчатом халатике, тотчас пригласила его на кухню и принялась щедро кормить и расспрашивать. Ах, чего она только не подсовывала ему, чего он только не попробовал впервые в жизни! Отварную семгу! Кетовую икру! Торт! Пирожки с мясом и рисом!

И там же он впервые в жизни увидел, что по ковру, белому, пушистому, как облако, можно ходить...

— Иди! Иди! Ничего с ним не сделается! — сказала поощрительно тетя Лида мягким, разнеженным голосом, очень довольная тем, какой эффект производит ее быт на захоластного мальчишку.

— Значит, мать все пьет? — расспрашивала, усадив его в кресло. Сама она тоже села в кресло напротив, покачивая ножкой в парчовой туфельке на острейшем каблучке, покуривая сигаретку. — Какой позор! Как можно женщине — и так опуститься! И мужчин водит? Какой ужас! А у тебя что же, одна рубашка? Майки нет? Кошмар! Ну разве можно рубашку прямо на голое тело! Грызи орешки. Это миндаль.

Крошечной ручкой с красными длиннющими ногтями она изредка трогала свой плоский бесплодный животик.

Подкупленный необыкновенным вниманием, осоловелый от обильной пищи, он на все вопросы праздной, скучающей женщины давал исчерпывающие ответы и продавал, продавал мать...

Тетя Лида закурила новую сигаретку и принялась расспрашивать его о планах на будущее.

— Кем же ты собираешься быть? — поинтересовалась, наблюдая за колечком дымка, поплывшим ввысь.

— Художником, — признался он.

— Художником? — переспросила женщина. — Ах! Художником! — И с легкой, насмешливой улыбкой поглядела вдруг на его латаные колени, на его скособоченные ботинки. — Ну-ну... Как говорится, нашему бы теляти...

Ошеломленный, раздавленный...

— Мне пора... Спасибо...

Задерживать его не стали. Уже от порога, выпустив сигаретный дымок на лестничную площадку, тетя Лида сердечно пообещала:

— Я пришлю тебе майки. Непременно. Рубашка на голое тело... Нехорошо.

У, как рассвирепела мать, когда узнала, что он был у дяди!

— Зачем, на кой черт полез туда? Кто тебя просил? Кто тебя звал? Получил? Так тебе и надо! Я лезу? Юлю перед ними? И когда юлила, когда угодничала, помнишь? Нашел людей! Нужны они были! Ишь ты, в какое начальство выкарабкались, что уж и не доплюнуть... Благотельница нашлась: маечки пришлет. Пошла ты со своими маечками к такой-то матери!

«Ну и все. Хватит!» — решил он и испытал при этом глубокое, радостное умиротворение, словно и впрямь все, что он пожелал, сбылось сейчас вот тютелька в тютельку и он отомстил всем, кому надо.

Разумеется, он знал, что есть еще люди, которые с немалым интересом поглядели бы на него в этот великий миг его жизни. Но он подозревал, что с ними было бы не так просто... И Евгений Петрович постарался забыть об их существовании. В конце концов, он сам волен выбирать себе подходящих зрителей...

Он смотрел на одинаково отсвечивающие окна соседних домов и думал: «Хорошо, в сущности, что все мы тут сами по себе, ни я их не знаю, ни они меня. Независимость. Равенство. Нейтралитет».

Хорошая мысль эта возвратилась к другой, тоже хорошей, праздничной: «Дотянулся-таки, достиг... Победителем

смотрю. А что? Не имею права? Да ну! — Обратился к себе торжественно и насмешливо одновременно, с высоты девятого этажа обозревая столицу: — Тебе нужен был презренный металл? И ты заимел его. Тебе нужна была Москва? И ты получил ее. Поначалу, правда, как бы в кредит. Что Москва и все ее соблазны, если в твоём кармане бренчит мелочишка? От получки до получки. Грошовая, унижительная экономия. И двенадцать метров на троих... Да еще в коммунальной квартире, где ванна и, простите, туалет на девять человек. Сиди дожидайся невесты чего, смакуй бумажные обещания, утешайся тем, что есть и другие, живущие не лучше».

И вдруг появляется возможность все перевернуть. Тебе протягивают, можно сказать, звезду с неба. Что же, отмахнуться и наплевать? Так, что ли?

...В первые минуты, когда на его стол в управлении Дорстроа надвинулся этот рыжий Рябов, он, Прозоров, как-то не охватил вопрос в целом. Он еще жил под впечатлением своей недавней удачи. Других после института распределили черт те куда, а он, как и рассчитывал, получил возможность остаться в Москве. Комиссия учла, что у него грудной ребенок и московская прописка. А Дорстрою — это не очень далеко от его дома — требовался маркшейдер. Согласились взять и без практического опыта. Зарплата не ахти? Но на первых порах сойдет. Командировки? Тоже не мед. Ну да и не может все сразу в идеале. От командировок, с другой стороны, прямая экономическая выгода семье.

Рябов кидал фразы громко, властно, неулыбчиво, так, словно диктовал условия перемирия с ним, с Прозоровым:

— Сахалин. Снежногорск. Шахта. Из года в год перевыполнение плана. Переходящее знамя держим — не оторвать. Следовательно, поясняю, регулярная прогрессивка, премиальные. Двухкомнатная квартира сразу по приезде. Я с вашим делом уже ознакомился. Из института — сюда. Подходите. Да и чего вам тут? — Рябов небрежно оглядел комнату, где стол напирал на стол, а единственный телефон идиолом возвышался посредине на тумбочке. — Мы ценим молодых специалистов. Нужны они нам. Чего долго думать! Билет в руки — и айда своим делом заниматься. Жить. Далеко зову? Пятнадцать часов лету. Только и всего. Так ведь жить!

И такая сила убежденности сосредоточилась в его подстрекательском голосе... И самый его вид вызывал совершенное доверие: прекрасное ратиновое пальто, пыжиковая ушанка, перчатки желтой кожи. И зарплата. Да таких де-

нег, которые предложили вдруг ему, молоденькому инженеришке, не получает, пожалуй, и сам начальник Дорстроя!

Однако он преодолел болезненный соблазн тотчас вручить Рябову «да». Он подумал о Ларисе. Именно, Сахалин и Лариса. Совместить и представить это было невозможно. Хотя бы потому, что у Ларисы даже в меховых варежках мерзнут руки.

Когда же он как бы между прочим, укладываясь в постель, рассказал жене о предложении хваткого сахалинца, она на какое-то мгновение отняла ребенка от груди и сидела, задумчиво глядя на свои голые ноги в стоптанных тапочках.

— Это прекрасно,— сказала вдруг и опять, только крепче, прижала ребенка к соску.— Неужели не понимаешь? Это все равно что выиграть в лотерею. Многие делают. Уезжают на какое-то время... Зарабатывают... возвращаются... Что же тут такого? Едем.

Он опешил.

— Лариса, это же Сахалин, край света, маленький городок, никаких удобств. Холод, валенки, дожди. Подумай все-таки.

— Что думать, что думать? Другие живут? И мы потерпим. Было бы ради чего! Вместе. Это и практично и романтично!

Она уложила девочку в кроватку, обняла его и, сияя глазами, по-детски нетерпеливо убеждала:

— Такая громадная зарплата! И квартира! И мы же не на всю жизнь! Аленка растет... Надо же думать. И потом, Сахалин... Я читала... тайфуны, цунами, киты плавают... Ой как интересно...

«Вот оно как дело было,— подытожил Евгений Петрович.— При полном взаимопонимании. При стопроцентном обоюдном согласии. Семь лет, а не три, как намеревались? Так ведь, кроме всего прочего, засасывает, черт побери! Надбавки плывут, наплывают. Типичная болезнь дальних мест! А привычка? Начинаешь-то как? С нолика. Чужак. Ничей, неустойчивый. А оглянешься вдруг — вот те на! Уже всем знакомый, втянулся, внедрился, пустил корешки. Дни как из пушки. Вот и попробуй — освой дело, притрись к людям, прорасти, а потом оторвись, кинь. Очень умно? Очень легко? Бирюков из планового пять лет безвыездно, а Дьяконов из бриза и все девять. А я вот семь. Ни много ни мало. Вот уж дальше — двадцать два, перебор».

Он ни разу, пока стоял у окна, не оглянулся на стену, за которой, должно быть, спала жена. Но он все время пом-

нил об этой стене, и стена как будто то и дело прерывала его размышления, напоминая ядовитым, иезуитским шепотком: «А она-то изменила тебе, между прочим... И что же дальше? А?»

«Изменила? — отозвался наконец, глядя на старинную церковку, кротко сияющую золочеными луковками. — Изменила... Как изменяли до нее тысячи, а может быть, и сотни тысяч. Изменяли... изменяют... будут изменять. А я что ж, должен — раз, и все порушить? Из-за того, что она изменила? Только потому? Так, по-вашему? — Он посмотрел на стену, как на старую, навязчивую склочницу. — А сам-то я, сам?» Тут он остановился, передохнул, не позволил себе особо углубляться, посмотрел на дочь. Она спала в прежней позе, свесив с темного одеяла узенькую руку. «Мне тридцать пять, — думал Прозоров. — Пора, пора жить... успеть! Она честно призналась. Глупенькая. Знала бы! — И он опять остановился. И поспешно взглянул на спящую дочку. — Какая слабая у нее рука. И шейка. И этот остренький подбородок. Дочь... девочка моя», — размышлял он и дальше только о том, о чем стоило думать человеку, желающему поскорее принять окончательное, бесповоротное решение и жить согласно этому решению. «Да, деньги! — пылко, едва ли не вслух выкрикнул он. — Да, ради них я семь лет жил без семьи! А что я без денег? И ты? И тот? И пятый-десятый! Мозглявый книжник, и ты дрогнешь голосом, если вздумаешь всерьез уверять: «Не имей сто рублей...» Чушь! Кто знает, как это просить, пусть и близкого знакомого: «Нет ли у тебя займа...» — «Ох, как некстати! Вот если бы ты вчера спросил...» Деньги плюс опыт. Сахалинский семилетний опыт. Семечки? «Специалист». Просто и весомо. Уценивающий привесок «молодой» отвалился как не бывало. «Ах, какой вы мешанин, однако! Обломок! Пережиток! Язва этого самого... а еще интеллигентный человек!» Кто это? Кто? — Мгновенно, как в целях контробороны, опять развернулся к окну. — Уж не вы ли, вон там, за гардинами цвета маринованной свеклы? Знаешь, куда я пошлю тебя, слюнявчик, чистоплюйчик самоуверенный? К... понял, куда? — Евгений Петрович стиснул кулаки, и ноздри его заходили от возбуждения. Он был готов биться с целым миром за право жить так, как ему хочется. — Какое, позвольте спросить, у вас самое яркое воспоминание детства? — потребовал он ответа у гардин цвета маринованной свеклы и у других, цвета яичного желтка. — Может, то, когда вас сводили в зоопарк? Или купили породистого щенка для вашей забавы? Или книжку подарили в картинках?

День у папы выходной —
Нынче будет он со мной...

Ах, как трогательно! Идиллия! Так вот, я, Женька Прозоров, семи лет разодрал эту книжонку в клочья. Библиотекаря глаза выпучила: «Ужасный ребенок! Просто дебил!» Где ей было понять, как я ненавидел красивого, опрятенького мальчика в зеленом свитере и красных ботинках! Мне было столько, сколько ему, и у меня не было отца. Я ждал его изо дня в день, изо дня в день, всю войну. Жрал какие-то горько-сладкие ягоды. Они за уборной росли, за сараями. Черные такие ягоды... Чтоб только не сосало, не выкручивало в животе. И ждал, ждал... Это позже, лет в пятнадцать, узнал, что паслен — растение ядовитое и прочее и прочее. Так что заткнитесь вы там, за шелками и тюлями!

День у папы выходной...

Идите вы...»

Спящая девочка шевельнулась. Евгений Петрович тотчас услышал. Осторожно подошел, прикрыл голую руку одеялом и еще постоял, задумчиво глядя на тонкую шею и доверчиво повернутое к нему лицо.

«Все... точка... И никаких,— просипел ожесточенно.— Я свое отбарабанил. Теперь пусть другие... там... туда... Сахалина хлебнут... узнают, почем он, «длинный» рубль. Нароботался, заработал, хочу жить. Государство о чем печется? Чтоб и я и прочие вкалывали как люди и жили как люди. Чтоб рос наш материальный уровень. Довольно набедеввали»,— заявил Прозоров. Он не кретин, сказал про себя, он поступит самым благоразумным образом. Порядочно, ответственно. Он сохранит семью. Это во-первых. Во-вторых, постарается здесь, в Москве, найти прилично оплачиваемую работу. Халтурить? Нет, не халтурил и не собирается. Не в его характере. Он будет деловым, исполнительным работником. Он будет заботливым отцом и мужем. У него все для этого есть. И воля. Воли ему не занимать. В этом мире, где все наперегонки спешат устраиваться, хватать лучшие куски, чего-то добиться, не имея воли? Смешно сказать! Он давно усвоил эту истину и пустил в дело. Взять случай с боксом. Уже на первой тренировке ему такшибанули в глаз, что пришлось с неделю носить повязку. Потом размозжили нос. И сейчас, если присмотреться, переносица торчит криво. А ведь тогда ему было что-то около шестнадцати. На очередную тренировку он притащился с разбухшим носом, затянутым повязкой. «Ты что,

вовсе дурной, шкет?» — удивился тренер. Он промолчал и надел перчатки. Он хотел стать чемпионом своего родного деревянного райгородка и стал им. Цель была — проверить себя и поверить в себя. А от живописи отказался? Уж как больно, как невозможно было! Только ведь и тут не расслюнявился, в одну ночь переломил себя. Так-то. И в дальнейшем... сумеет, осилит... Расслабляться некогда. Как без компромиссов? Кто обходится? Черта с два! И тут опять вспомнил о стене, разделяющей его и жену. «Глупости! — сказал Прозоров. — Интеллигентские штучки. Сопли-вопли. Беллетристика. Сколько ж можно?!» — И решительно направился в соседнюю комнату.

Там на тахте среди цветастых подушек лежала женщина в бледно-розовой шелковой рубашке. Она посмотрела на него затравленными черными глазами. Перехватив его взгляд, смутилась, поджалась, попробовав прикрыться.

— Зачем? — спросил он и отвел ее руки. — Зачем? — И раздернул розовый шелк на груди, и бросился, и затых, тяжело, жарко дыша. — Я тебе не противен? Нет?

— Нет, нет, что ты! — обморочно прошептала она. — Мне ужасно тяжело. Всю ночь не спала. Думала, думала... Мне...

— Хватит. Довольно, — приказал он. — У нас дочь.

— У нас дочь, — как эхо повторила женщина, размякая в его объятиях.

В поле его зрения попал остекленный стеллаж. «Очкарик... Интеллектуал... Ишь! — произнес, обращаясь к нему с небрежной издевкой. — Продам. Обменяю. Все продам. Все обменяю».

...На голубом пластике кухонного стола чудесно блестит фарфор кофейного сервиза. Похлопывая ладонью только что выбритые щеки, Евгений Петрович с детской радостью наблюдает, как в хрупкие чашечки льется горячая ароматная жидкость. Отхлебнул, взял только что созданный женой бутерброд, сказал:

— Я привез все деньги... на кооператив. Можем хоть сегодня окончательно. И еще останется довольно.

— Как хорошо! — Жена разволновалась, чашечка с кофе дернулась в ее руке, и несколько капель пролилось на шелковый халатик. — Что же мы в полной тишине? — сказала она. — Хочешь музыку?

Протянула руку к крошечному радиоприемнику, чем-то похожему на сервизную чашечку. Приемник тотчас оповестил: «Санта-Крус. В последние месяцы город потрясла

целая серия преступлений. В лесу, недалеко от городской окраины, были обнаружены трупы пяти студентов местного университета».

— Опять эти ужасы,— огорчилась женщина, покрутила рычажок, и в кухню, рационально обставленную польским гарнитуром, впорхнула мелодия из «Гаянэ».

...В это утро он сам отвел дочь в школу. Аленка послушно позволяла держать ее руку, складно отвечала на все его вопросы и лишь раз проявила строптивость, когда он хотел перевести ее через дорогу:

— Не здесь, не здесь! Мы с дядей Толиком там переходим!

Впрочем, хоть Евгению Петровичу и было неприятно, он не стал нянчить в себе это чувство, рассудив: «Так и должно. Привыкнуть должна. Не все сразу».

Возвращаясь, он впервые сам своим ключом открыл свой почтовый ящик и вытащил пачку свежих газет. Автоматический лифт (скорость подъема 0,65 м/сек) бесшумно вознес его на девятый этаж.

— Отлично,— сказал Евгений Петрович, приостанавливаясь у своей двери.— Отлично все. Откуда — и куда! Самая суть: откуда и куда.

...Костлявая голодная мать все сидела у окна и ждала... И когда вдали на пыльной дороге показывался солдат с вещмешком и трофейным аккордеоном, роняла из рук все, что держала, и, простоволосая, выпучив глаза, мчалась вон, отшвыривая детишек. А потом рвала на себе ворот, металась по полупустой комнате и кричала охрипшим голосом: «Подлец! Сволочь! Щенки вы для него! Щенки! На потаскуху променял! Подыхайте с голоду! Кому сказано, подыхайте! Ну!»

...Ходил с мешком по чужим, давно убраным огородам, копался в земле, выковыривая случайно застрявшие картофелины, ворошил ботву. За ним смиренно семенял бесштаный, в полосатой кофте трехлетний брат Вовка и тоже ковырял землю. До тех пор семенял, пока не слег в лихорадке. Земля на тех чужих огородах была сухая, затоптанная теми, кто ходил до них. Земля в могиле, куда мать опустила Вовку, пахла такой свежей, приторной, мертвой сыростью, что хотелось скулить от ужаса.

Мать несла гроб сама, прицепив к нему лямку. Гроб свисал у нее с шеи на грудь, маленький и узкий, из белых занозистых досок. Так носят еще барабан... «Гы-ы-ы-ы-ы...» Он плетется за ней один.— «Гы-гы-ы»,— давится мать. Босые ноги, ее и его, бесшумно вязнут в серой пыли прикладбищенской улицы.

...Во-он откуда он начал свой путь! Вот с какого дна ему пришлось подниматься!

Что, он проглотил недостаточно для того, чтобы теперь поступить так, как считает разумным? Мало? — спросил у тех, невидимых, но все еще выжидающих, и недобрая усмешка перекосила его губы. Выбросил руку, схватился за ручку своей внушительной, обитой черным дерматином двери, рванул от себя. Дверь не подалась. Заперта. Требовался ключ.

— Женя, — сказала жена, едва он вошел. — Может быть, у тебя есть настроение по магазинам пройтись? Тебе же надо приодеться. Или как ты? Потом?

— Нет, — сказал он, с неприязнью оглядывая в зеркале свое заношенное пальто. — Сейчас. Сейчас же.

...Вернувшись домой и разложив покупки на кровати, Евгений Петрович еще раз принялся по совету жены примерять новые костюмы.

— Ты ужасно, ужасно красивый! — охала она, бегая вокруг него. — Особенно в этом темно-синем. Тебя бы твои сахалинские ни за что бы не узнали!

— Да? Ну спасибо!

Он обнял жену. Ее мысль о том, что он стал неузнаваем для прошлого, была ему особенно приятна, ибо гарантировала безопасность. Хотя о какой опасности речь? Сдвиг, Женя, сдвиг мозговой коры, не иначе. Костюм хорош. Костюм что надо. В таком-то костюме не то что, а и...

За окнами где-то глубоко, глухо загудел похоронный оркестр. Вяло, как будто через силу, отрицая смысл всякого живого, энергичного действия, ударили тарелки — раз... другой...

— Ее, — прошептала женщина и застыла на месте. — Ой! Что же? Пойду. А ты? Ах, ты не знал. Сиди! Бегу! Надо!

Сорвалась, умчалась.

Евгений Петрович продолжал торчать у зеркала и слышал, как, то напрягаясь, то расслабляясь, заученно стонут холодные медные трубы. «Жить! Жить!» — думал он наперекор этой воющей, все обесценивающей тоске.

Вернулась жена с мокрыми, убитыми глазами и шмыгающим красным носиком. Он повернулся к ней, сказал здраво:

— Вот что, сегодня же соберем знакомых. Ты своих, я своих. Выпьем, поболтаем, музыку заведем. Что?

— А что? А что! — Она схватилась за него обеими руками. — Ой как хорошо! Ой как хорошо! Я сейчас же за теле-

фон сяду! — В ее развинченном, нервическом голосе звучала жажда перемен, потрясений, жажда жизни.

«Мы не так уж плохо понимаем друг друга», — заключил он.

Похоронная тусклая медь гудела уже где-то далеко, глубоко и наконец развеялась без следа. Слышно стало, как простучал лапами по жестяному оконному карнизу тяжелый голубь, потоптался, примащиваясь поудобнее.

...Первым гостем был Пашка Внуков с женой.

— Gute Nacht, mein lieber Freund! Доброй ночи, дорогой друг! — возгласил он, появляясь в дверях со шляпой, вскинутой над головой. Ловко и небрежно швырнул шляпу на вешалку, стиснул Евгения Петровича в объятия, оттолкнул, спросил угрожающе: — Ты че же, мать твою за ногу, за семь лет ни строчки? Вроде не ссорились? Пашка Внуков не отдал ввроде твою любимую мозоль?

Ответа дожидаться не стал, расхохотался, разглядывая Прозорова сквозь круглые золоченые очки:

— Пижон! Ишь как обарахлился! А помнишь товарную станцию? Эхма! Куль-то, куль с сахаром... Как он тебя к земле припаял. Полный нокаут!

Пашка хохотал с удовольствием, широко разевая рот и высунув язык лопатой. И, казалось, веснушки на его толстой нежной морде тоже весело приплясывают.

— А какой ты был! Ну, Жень! Тощий! Кочерга! Злющий, в драных солдатских сапожищах. Тыфу!

Евгений Петрович не утерпел и тоже рассмеялся невесть чему. Может, тому, что Пашка сохранился в своем перво-зданном виде, хотел быть счастливым и был им. И рядом с ним как-то неуместно было маяться, задаваться, так сказать, мировыми проблемами.

— А ты-то, ты-то? — в тон Пашке спросил сам. — На зад у латка, эдакая колоссальная коричневая бабочка! Как тебя в овощехранилище величали? Силосник! Жрал что ни попада. Тыфу!

— Ну, знаете ли... Нашли что вспоминать, — ленивым басом промолвила толстая блондинка в каракулевом мантии, Пашкина жена. — Помоги мне раздеться, лапа. — Она медленно и как бы брезгливо стянула с рук замшевые перчатки.

— Действительно, нашли что, — согласилась Лариса, ревнивыми глазами и несколько зависимо разглядывая дорогостоящую гостью.

Пашка быстро, умело принялся раздевать жену. Он стоял на одном колене, посапывая, расстегивал ее высокие сапоги, когда в дверь опять позвонили.

Вошла женщина в черной шубке и такой же шапочке, скошенной на одну бровь. Поздоровалась, улыбнулась, приоткрыв на мгновение яркие молодые зубы. Впрочем, не так уж она была молода. Евгений Петрович углядел голубоватое свечение, словно кожа на ее висках истончилась от времени. А синие дерзковатые глаза уже начинала оплетать прочная паутинка морщин.

— Дарья, Даша, вот молодец! — Лариса чмокнула ее в щеку. — Но почему одна? Где муж?

— Занят и не совсем здоров.

Дарья небрежно расстегнула пуговицы своей не очень новой шубки. Евгений Петрович помог снять ее. Поблагодарила кивком головы, скинула шапку — освобожденные волосы просыпались на плечи.

— Вы знаете, у Даши муж — журналист! Книги пишет! — сочла необходимым объяснить Лариса. Она продолжала зависимо поглядывать на Пашкину жену, на ее тяжелое тело, затянутое в золотистую царственную ткань. — А сама Даша — зав. читальным залом. У нас зал на сто двадцать мест...

— Руки хочу помыть, Ларисик, — сказала Дарья. — Я же прямо с работы. — Она тоже косилась на Пашкину жену, и глаз ее при этом искрился весельем. От какого-то озорного нетерпения она даже переступила ногами в черных брюках. — В чем была.

— Но вы столь очаровательны, — опротестовал Пашка немедленно, — что зачем вам бархат и парча?

— Не скажите... — Дарья повела головой, не спуская с Пашки заносчивых глаз, повернулась и ушла за Ларисой.

— Вот это женщина! Вот это я понимаю! Ах, их бин глюклих! Я счастлив! Ах, ах! — воскликнул Пашка ей вслед трагическим, шутовским голосом и плотоядно облизнул толстые губы. — Да, милок! И я тебе сюрприз организовал! Еще какой! Я Огородниковых отыскал и соблазнил! Обещались быть!

— Каких Огородниковых? — Евгений Петрович машинально наблюдал за ленивыми, изящными движениями Пашкиной жены, стоявшей у зеркала. Она подправляла прическу — сложное блюдо из белокурых завитков. — Это те, что ли, дворники, что ли?

— Кхе-кхе! — Пашка ухмыльнулся. — Это ж когда было! Забыл диалектику! Подскажу: все двигается, мельтешит, меняется. Придут — обалдеешь. «Дворники»!

Подошли еще две гостьи со стороны Ларисы, тоже библиотечарши, девушки в возрасте от двадцати пяти до

тридцати. Одна маленькая, пухленькая, с желтой челочкой. Остальные свои волосы она разделила пополам, стянула аптечными резинками, и они торчали у нее из-за ушей как два снопика. Другая девушка, длинная, худая дальше некуда, с черными волосами, подстриженными, как у пажа, была из тех, что носят туфли без каблуков, очки и сумку через плечо.

Их явно тяготило ущербное положение одиноких дев, и они, чтобы скрыть это даже от себя, принялись уже от порога щебетать заученными, беспечными голосами о том, какая хорошая погода, как смешно молодой милиционер поскользнулся и упал, как «к нам в библиотеку прибежал чудесный черный пес и никак — представляете? — никак не хотел обратно на улицу».

Все уже сидели за столом, тесно заставленным едой и питьем, когда в дверь позвонили еще раз.

— Они! — Пашка значительно поднял палец и поскакал открывать.

Из памяти Евгения Петровича выплыло подвыцветшее от времени видение — он и она плечо к плечу. Он — сутуловатый, угреватый парень в костюмишке из колючего материала. Молчаливый, сосредоточенный, то и дело сморкающийся в огромный грязноватый платок. На лекциях сидит возле самой кафедры и строчит, строчит... У него лучшие на курсе конспекты, но «напрокат» или списать не даст ни за что. Любое общественное поручение выполняет неукоснительно. Если общественность, мучаясь и не решаясь, выбирает провинившемуся меру наказания, он всегда поднимает руку за самую суровую. Слова «надо проявить принципиальность», «со всем чувством ответственности», «моральные устои», «высокое звание советского студента» легко и жестко срываются с его узких губ. Его фигура на курсе — нечто вроде живой шкалы студенческих добродетелей. Преподаватели то и дело ставят его в пример. Студенты подсмеиваются над ним, но и уважают его. Ходят слухи, что он зубрит даже сидя в уборной и самостоятельно, неизвестно зачем, одолевает французский язык.

Она всегда рядом с ним. Худосочное создание в дешевом платьишке и уродливых ботах на тоненьких стойких ногах. Тоже не отличается разговорчивостью и тоже усердно конспектирует, и взгляд ее бесцветных глаз такой же независимый и безразличный ко всем и всему, что творится вокруг.

Они поженились еще до института, где-то у себя, то ли в Рязани, то ли в Казани. Жили не в институтском обще-

житии, а на квартире. Потом стало известно, что они подрабатывают на жизнь дворниками при жэке, что им дали комнату. Потом им удалось получить постоянную московскую прописку.

Они в объяснения не вступали. Им чужда была дешевая похвальба.

«Уметь надо!» — только и оставалось сказать завистливым шутникам, вроде Внукова. А Огородниковы продолжали вести себя так, как будто вокруг беспредельные, безжизненные льды Антарктиды, а из живого — только они двое, стойки, первопроходцы, и все их спасение — в них самих. Как ни странно, их даже побаивались, как неожиданно встреченных в чащобе насекомых воинственного вида. Неизвестно, какую опасность они представляют, но ясно, что небезобидны.

...Дверь отворилась, и вошли Огородниковы, и при виде их Евгений Петрович испытал нечто вроде восторженного ужаса, как если бы ему навстречу шагнула парочка марсиан.

Она, высокая, загорелая, спортивной выправки, была ловко затянута в пурпурный брючный костюм с серебряной пряжкой на поясе. Из-под клеши брюк мелькали при каждом ее энергичном шаге сверкающие туфли. Дивные темно-рыжие волосы дымились вокруг ее головы упругим искристым облачком.

Он, тоже высокий и загорелый, всем своим обликом напоминал тренера международного класса.

Улыбаясь, они обходили гостей, каждому протягивая сильные руки с отполированными ногтями, распространяя незнакомый крепкий аромат. И все невольно смущались и чувствовали себя польщенными, кроме, разумеется, Пашкиной жены. Даже мебель, даже праздничный стол, казалось, потускнели, стушевались в присутствии столь блистательной пары.

— Дети мои! — томным басом позвала Пашкина жена. — Кончайте церемонию! Я есть хочу!

Призыв был поддержан, и скоро смех, звон рюмок, стук вилок о тарелки слились и восторжествовали над голосами.

Первым, насытившись, заговорил Пашка. Развалясь на стуле, впрочем, не так чтобы очень уж непристойно, он рассказывал о судьбе сокурсников. О том, что Гошка Петов, «ну, тот, здоровый такой лоб из флотских», как распределился в Кемерово, так о нем ни слуху ни духу.

— Пропал! Ан нет, на днях в газете про него цельный очерк. Орден заполучил, шахту в передовые вытащил! Ну

дак ведь неудивительно, в нем это всегда было — силища, напор, ярость. Молодчага, ничего не скажешь! И мне лично приятно, что такой вот значительный человек, а я его знаю. Или не признаёт теперь, не поздороваётся? Черт его... Люди зазнаются быстро. Чудаки! Все одно все пометим!..

Вспомнили Леху Удадьцова, который в Воркуту завербовался. По сведениям Пашки, Леха накалымил там как следует, нарожал троих, написал и защитил диссертацию «Методы экономической оценки механизированных крепей с учетом производственно-технических параметров». Или что-то в этом роде.

— Ну, это-то голова! Ему на роду написано ученым быть. Призвание!

Огородниковы безмолвствовали, но улыбались якобы заинтересованно, покуривая сигареты, и, не глядя, стряхивали пепел точно в пепельницу. А Евгений Петрович голову на отсечение готов был отдать: не помнили Огородниковы ни Лехи Удадьцова, ни Гошки Пегова, а только придуривались, а поди ж как удачно!

— Встретил я возле метро «Дзержинская» этого, конопатого, ну, что стишки в институтской газетке писал,— продолжал воспоминания Пашка,— Илюху Корабельникова! Помните? Одет не шибко, ботиночки на кождерье, а уж ноябрь, снежок сыплется. «Чего это ты такой?» — интересуюсь. «А я, говорит, только-только с женой разошелся». Голову свесил, посоловел, переживает. Заташил его в кафе близлежащее, попоил, покормил. Оказывается, заделался он профессиональным поэтом и полюбил по стране разъезжать. А жене нужен, что ли, вечный командировочный? Да и без особых заработков? Она его и «психом» и «шизиком». Не осознал! Ну и поплатился. Нет, не осуждаю, упаси бог! Каждому свое! Все одно все пометим.

Огородниковы улыбались и стряхивали пепел, не глядя, точно в пепельницу.

Вдруг Дарья, эта тихонькая, в черных брючках, с распущенными по худой спине волосами, уставилась на Пашку и сказала в полный голос:

— Вы прямо-таки блестящий рассказчик! Столько тонкости, непосредственности, юмора! Вам бы на сцену, перед массами. Успех! Не пробовали? Вас бы закидали...— Она выдержала подозрительную паузу, затянулась сигаретой так, что пепел просыпался на ее белую шерстяную кофточку, и, не выпуская Пашкину физиономию из-под прицела своих синих дерзких глаз, досказала: — Цветами... букетами... преимущественно рододендронами. Всенепременно. Успех! Триумф! Аншлаг!

— О! Благодарю! Данке шён! — Пашка осклабился и приложил пухлую руку к карманчику, под которым мирно трепыхалось его добродушное сердце. — Но, к сожалению, я человек излишне скромный, даже робкий, что очень мешает в жизни, как вы понимаете... Очень... И если я осмеливаюсь петь, например, то лишь в самодеятельности, без притязаний. Например, из нашего студенческого «капустника». Желающие могут присоединиться.

Снял руку с пиджака, забарабанил ею по столу и запел веселым фальшивым голосом:

Горняки — ребята сила,
Горняки — ребята класс,
Только девушек красивых
Не хватает вот у нас.

Кто как умел подтянул, и даже Огородниковы помычали в такт.

— В одном я убежден: посмертно человек обязан трудиться. Без работы, без своего дела он уничтожил бы сам себя, как бы помер преждевременно, — сообщил Пашка ни с того ни с сего и искательно поглядел на Дарью умными оплывшими глазками. — Разумеется, всяк труд на благо общества. Соответственно. Верно?

Ему ответила, улыбнувшись нерешительно, одна из библиотечных дев, пухленькая, в тесном платье:

— Я все могу себе представить, кроме одного: как это сидеть дома... без людей, без коллектива? Правда, Дарья Николаевна?

Дарья Николаевна промолчала, улыбнувшись сквозь дым сигареты. Зато девица с прической паж, строго поглядев сквозь очки на блюдо с заливным, подтвердила решительно:

— Совершенно невозможно представить!

Пашкина жена, брезгливо стягивая с апельсина шкурку, откликнулась томным басом:

— Тоже считаю... женщина обязана работать. Коллектив... это стимул, он помогает не распускаться... следить за собой... заботиться о собственной внешности. А это не так уж мало, дети мои!

Заговорили о телевидении, потому что работал телевизор, — там грациозно и бескровно сражался балетный Спартак с балетными врагами.

— Есть очень серьезные, полезные передачи, например «Кинопанорама», «Клуб кинопутешествий», — демонстрировала свою телеэрудицию маленькая библиотекарша. — Но

огромный процент совершенно пустых... Все эти детективы... Кому это нужно?

— Ну, знаете ли! — Пашкина жена раздирала апельсин на дольки. — Зачем вам вечером заумное? Вечером после работы следует развлекаться. И массу вполне удовлетворяет то, что показывает теле. Я сужу по своим драмкружковцам. Обыкновенные, средние люди, и подавай им обыкновенное, среднее, не мудрствуя лукаво. Дважды два!

— Позвольте! — Дарья расстегнула на кофточке пуговицу и застегнула ее, и еще раз расстегнула и застегнула опять.

— Пожа-а-луйста! — разрешила Пашкина жена и, улынувшись Дарье ласково, предупредительно и безразлично, сунула в рот апельсинную дольку.

— Позвольте! — пробормотала Дарья, достала из пачки новую сигарету, стиснула между пальцев.

Она, может, сказала бы и еще что-нибудь, но Пашка упредил, воззвал с хорошо разыгранным нетерпением:

— Нелли! Детка! Кстати! Я совсем забыл спросить! Как тебе этот фильм? Ну, как его? Вчерашний?

— Да так себе. — Не торопясь, с прилежно закрытым ртом Нелли прожевала апельсинную дольку. — Про охоту... Франция... Впрочем, есть кое-что... Девушку насилуют, потом убивают...

— Ну хоть хорошо убивают-то? — игриво привередничал Пашка.

— Да... любопытно...

— Чудовищно! — пробормотала Дарья.

— Вы тоже видели? — слегка изумилась Нелли.

— Нет. Но... тем не менее... Чудовищно! — Дарья вместе со стулом отодвинулась от стола.

— Женя! Женя! Что же ты? Гостей развлекать надо! — испуганно позвала вдруг Лариса. — Даша не пьет, не ест. Пусть и Паша пьет и ест...

Евгений Петрович подсел к гостье, но она не дала ему рта раскрыть:

— О, не беспокойтесь! Я не скучаю. Нисколько! Напротив! — Закинула ногу на ногу, пустила дым колечком. — Здесь невозможно скучать. Напротив. Столько нового... Как на Марсе... в известном смысле.

«Заигрывает, — решил Прозоров с самоуверенной поспешностью полноценного мужчины и скользнул взглядом по ее маленькой девичьей груди, должно быть теплой, нежной под шерстяной кофточкой. — И как это муж... такую ее... одну пускает?»

Он так и брякнул:

— А как вас муж такую одну пускает?

— То есть? — она прищурилась как бы близоруко.

— Ну... такую...

— То есть? Что вы имеете в виду? Такую раскрасавицу, что ли? — чиркнула по воздуху сигаретой. — Выдумали! На раскрасавицу я никогда не смахивала. Это видно невооруженным глазом.

Он бы мог sluкавить, вполне мог, но не хотелось чего-то. Может, оттого, что она отвечала ему негромким, усталым голосом?

— Пожалуй, — согласился тоже тихо. — Пожалуй. Странно, однако... Я вас совсем не знаю. Верно? Никогда не видел. Но такое ощущение — знаю, видел... Но где?

— Исключено, — женщина улыбнулась. — В метро разве.

— А все-таки я бы вас одну — нет, ни в коем случае! — среагировал на ее улыбку.

— Как же замечательно сложилось, что вы не мой муж! — рассмеялась она. — А то б... у-уу! — Посерьезнела, сощелкнула с брюк просыпавшийся пепел. — Давайте бросим это, поговорим о чем-нибудь поинтереснее.

— Ваш муж пишет... О чем, простите? — спросил первое, что пришло в голову. — О людях? О технике? Или в смеси?

— Да, да, очень интересно: о чем? — вклинился Пашка и склонился к спинке ее стула, словно собрался возлечь на плечи женщины ручным ягуаром. — Я, кажется, догадываюсь. Он пишет... о любви. Жить с такой женщиной и писать о технике — невозможно! Абстракционизм какой-то! Нонсенс!

— О разном, — сухо ответила Дарья. — О войне... он воевал... о сегодняшних проблемах...

— Муж... писатель... Как интересно, — промолвила Нелли и вдумчиво посмотрела на Дарью. — Интересно... вот такая работа... Ну, писатели там, журналисты... что она дает? Конкретно?

— В каком смысле?

— В самом прямом. Для жизни. Рублей триста — чептыреста в месяц получается?

— Нет, — сказала Дарья, растирая недокуренную сигарету в пепельнице, и тотчас достала из пачки новую.

— Битте, битте! — подсунулся Пашка со своей зажигалкой.

— Не-ет? — озадачилась Нелли. — И воевал... И пишет... И не получается? И это жизнь? Довольствуетесь... Но ка-

кая же это жизнь? Это.. так.. существование. Для женщины необходимо...

— А позвольте! — Дарья встала, чиркнула зажженной сигаретой по воздуху. — А позвольте нам с мужем судить, что необходимо для нашей жизни и...

— Пожа-алуйста! — разрешила Нелли, приподнимая бровь в снисходительном недоумении. — Мы не на собрании... в тесном кругу. Кто что думает, то и говорит. Я, например, думаю, что фарисействовать, ханжить скучно. О деньгах заговорили... Ну и что? Вы что ж, без денег обходитесь? Как? Каким образом? Поделитесь! Откройте тайну!

— Товарищи! Давайте же горячее есть. Я сейчас принесу. Что же мы? — виновато суетилась Лариса. — У меня купаты... горячие купаты...

— Мы ждем! Все внимание! Просветите! Итак... — Нелли прилежно сложила руки на столе как на парте.

Дарья встала, подумала.

— Витамин В₁₂ — проговорила озабоченно, — есть в горохе, капусте, картофеле, моркови, яйцах, молоке. — Остановилась, как бы пережидая, когда все успеют записать, тряхнула головой, продолжила: — Полезен при а) воспалительных процессах и б) при выпадении волос.

— Что вы этим хотите сказать? — Нелли потянулась, изображая негу и лень.

— Еще одно свойство данного витамина, — строго, неукоснительно диктовала Дарья, вприщур глядя в потолок. — Защищает от ранней седины.

Нелли отпила из фужера:

— Ну, а как же все-таки насчет денег? Где же откровение? Мы же откровения ждем! Разговоры о деньгах вы презираете. Следовательно, вы без денег умудряетесь существовать? Как? Как? Это же исключительно интересно! Я же теперь ночей спать не смогу.

Толстушка-библиотекарша вскочила со стула:

— Зачем вы все это?! Как-то открыто... вслух... бессовестно?!

Нелли посмотрела на нее с нежностью:

— Боже, какой вы все застенчивый.. забавный... архивный народ. Скучновато.

Худая библиотекарша тоже вскочила со стула:

— Вы... вы даже представить себе не можете, как вы... Деньги тут ни при чем! Ни при чем!

— Ешьте! Горячие купаты! — советовал истончившийся от растерянности голос Ларисы. — Я же готовила! Мы же собрались...

— Друзья! — громко, четко позвала Огородникова. — Мы действительно собрались в связи с тем, что... Это же праздник! Праздник!

— А я что говорю? — Нелли выправила растормошенные бумажные салфетки. — Явиться в чужой дом и выпендриваться... Портить всем настроение... Это... знаете ли... верх...

Дарья закурила сигарету, но вдруг смяла ее в пепельнице и пошла к двери.

— Сдаётся! Нечем крыть! — Нелли светло улыбалась ей вслед.

Дарья обернулась и очень тихо, но очень серьезно порекомендовала:

— Сухие фрукты, как-то: яблоки, груши, вишни, промойте в нескольких водах, положите в кипяток и варите до готовности. Полученный напиток пейте холодным — он хорошо утоляет жажду.

Лариса вышла следом за ней. А так как в комнате некоторое время тянулось недоуменное молчание, то слышны были голоса из прихожей.

— Дашенька! — страдала Лариса. — Ну, что ты! У нас же все приготовлено... все хорошо... Мы же старались.

— Да ладно, Ларисик, — отзывалась Дарья. — Да ерунда!.. Голова у меня что-то... Дай я тебя поцелую... девочка.

Прозоров спохватился. Как же так — гостя уходит, а он пень пнем. Заспешил в прихожую. Дарья уже надела шубку и, не глядя в зеркало, вправляла под шапку волосы.

— Я провожу вас! — сказал он решительно.

— Зачем?

— Ну как же...

И вдруг он как будто понял, что его подняло со стула.

— Не понимаю, — сказал он, пропуская женщину на лестничную площадку, — не понимаю, почему получилось... все это... петрушка какая-то... Все же было хорошо. Говорили... смеялись... пели... И вы тоже... Вы же смеялись? А потом... Что вас не устроило? Мы старались... Не понимаю. Нелли, конечно, без церемоний, но... Где я вас видел? Что-то есть в памяти... застыло... Впрочем, я не совсем... выпил... А как вас муж пускает одну? Ах да, уже спрашивал. А как его зовут, вашего мужа?

— Алексей Федорович, — женщина натягивала перчатки.

— Передайте... да! Передайте ему спасибо! И вам спасибо! — заспешил Прозоров, чувствуя необходимость быть

великодушным после того, что произошло в его доме.— И вам спасибо. Благодаря вам мы в такой прекрасной квартире. Но не понимаю,— вырвалось у него,— не понимаю, почему вы от этого кооператива отказались? У вас же, Лариса рассказывала, одна комната в коммунальной? Почему?

Женщина нажала кнопку — вызвала лифт.

— Почему? Почему? Почему? — повторила полуобернувшись.— По легкомыслию скорее всего. Такой прекрасный дом! Потолки! Ванная! По легкомыслию.

Села в лифт и уехала.

— Подумаешь! — проговорил вслух Евгений Петрович, потому что надо ж было что-то сказать. Он же вот со всей душой, а с ним... И за что, собственно? За что? То есть ничего особенного, в общем, не произошло, если рассудить. Женская вздорность, если рассудить. Небось и от кооператива отказалась вздорности ради... А впрочем, что это я так уж... уперся? Ушла и ушла. Переживем. Не то переживали.

— А вот ты наконец! — возопил Пашка, едва Евгений Петрович вернулся к столу.— Счастливчик! Проводил! Соизволила! Ох и женщина! Взрыв термоядерный! Ее бы только на правильный путь, по назначению...

— Я забыла вас предупредить.— Лариса глянула в сторону своих библиотечных коллег.— И как это я забыла! Она не любит таких вот... знаете ли... ну, чересчур откровенных разговоров о деньгах... и всякие там шуточки. Но вообще никогда не знаешь, как она поступит. Никогда.

— Ну знаете ли! — Нелли пошевелила плечами, упрямыми под сверкающую ткань.— Психопатизм элементарный! Фарисейство и ханжество!

— Не психопатизм! Не ханжество! Характер! Принципы! Вы не понимаете! — выкрикнула маленькая библиотечка, и снопики волос гневно задрожали по обе стороны ее скусившегося лица.

— Ну где мне!

— Однако... в самом деле... если глубоко задуматься... Что это она ни с того ни с сего, в общем? — развел руками Пашка.— Я лично — граждане не дадут соврать — вел себя в полном соответствии с памяткой НОТ, прикреплённой к двери нашего отдела... А именно: «Не стыдись эlegantности! Будь особенно корректен с женщинами!»

— Друзья! — подала голос Огородникова.— Не будем углубляться. Мы собрались по иному поводу. Будем терпимы. По-моему, эта женщина достойна всяческого уважения. Заниженные требования... Что ж, она придерживается не-

ких... так сказать, классических построений... Немножко старомодно, но мало ли... Меня лично тронула ее безоговорочная преданность мужу. Это так по-русски. Одним словом, ничего из ряда вон, в сущности... О чем спорить?

Огородникова задержала вопрошающий взгляд на Прозорове. Он кивнул. В сущности, что же... действительно... Дарья как Дарья...

Внезапно его окликнула Нелли:

— Евгений Петрович! Все-таки это на грани патологии! Вскочить... испортить всем настроение... И хоть бы повод серьезный был! Свинство! Натуральное свинство! Согласны? По совести? От души?

По совести, от души — ему самое время рывкнуть этой выхоленной комнатной собачушке: «А пошла ты!..» Пашкина жена, приподняв художественно нарисованную бровь, ждала ответа. Но разве так уже ему необходимо связываться с Пашкиной женой? Разве он, вообще говоря, собирался перестраивать мир? Или когда верил, что от его усилий что-то существенно изменится?

И Евгений Петрович Прозоров слегка вздохнул, чуть-чуть улыбнулся и нешироко развел руками. Где-то, когда-то, у кого-то он подсмотрел этот универсальный спасительный жест, обозначающий все, что угодно вашему собеседнику. Нехитрый жест этот, как ни странно, ни разу не подводил его. И сейчас сработал безукоризненно.

— Ну вот именно! — удовлетворенно произнесла Нелли, вернула соболиную поддельную бровь в исходное положение и вышла.

Худая очкастая библиотекаря успела громко и непреклонно заявить ей вслед:

— Вы! Вы! Это действительно ужасно! И как хорошо, что нетипично!

Пашкина жена не обернулась. Может, ей было лень.

— Жизнь сложна, полна неожиданностей, — счел необходимым проинформировать Огородников.

Огородникова в знак согласия приспустила подзеленные веки. Поднялась, огляделась, держа рюмку высоко над собой, как факел, произнесла строго и значительно:

— Товарищи! Мы тут заговорились и забыли о главном. Я предлагаю встать и выпить за героя дня, за хозяина этого милого дома. Подумайте, представьте: человек бросил Москву, отправился в эдакую даль! Семь лет! Разве это не подвиг! Какую самоотверженность надо иметь, волю, чувство долга, чтобы семь лет на благо общества...

Гости загалдели одобрительно. Прозоров разобрал отдельные несвязные возгласы:

— ...Еще бы не герой! Всякий, что ли, решится? Сахалин есть Сахалин. Да еще в шахте!

Но поначалу Евгению Петровичу показалось, что тост Огородниковой выпретен и содержит в себе тайную тонкую насмешку над ним.

Он даже хмуро сказал вслух:

— Да нет, чего...

Ах, как на него накнулись! Уличали в излишке скромности, советовали отказаться от ненужного позерства, убеждали дружно, заботливо, настойчиво и беспорядочно:

— Все время зовут осваивать Дальний Восток! Ехать! А все едут? Все?

— Я вот струсил. Ой! — громко призналась желтая библиотекарьша, глядя на всех честными детскими глазами из-под кривоватой челки. — Мне предлагали на выбор под Кустанай или под Новгород. Я поехала под Новгород, в деревню, в страшную глушь. Все-таки Москва рядом. И три года всего. А Сахалин... Страшно представить! А вот вы! А вот вы!

В растерянности Евгений Петрович опрокидывает машинально рюмку, другую... Несвязные вопли восторга звучат для него громче, оглушительнее, глаза окружающих сияют ярче, преданней, любовнее...

Разве сам он считал себя когда-нибудь героем? Нет. Но цену себе всегда знал. Да, семь лет — это семь лет. Они говорят «герой»? Ну это уж слишком. А впрочем...

Он размякает окончательно.

— Спасибо... вам! — произносит Прозоров. — На Сахалине... действительно... как везде, думаете? Просто? Не-ет... Там шахты какие? На юге, где японцы были? Частная собственность... разные хозяева... У каждого своя система координат... Что требовалось? В единую систему... увязать, привязать и так далее... Я принимал, рассчитывал, увязывал... Оставил след... Не так же... Кроме всего прочего... А как же?

— Тихо! Тишина! — опять раздался властный голос Огородниковой. — Прошу поднять бокалы за женщину, жену и мать. За хозяйку этого дома! Такая самоотверженность — семь лет одной растить ребенка! Верить мужу, ждать его, понимать и разделять чувство долга, которое руководит им! За вас, милая Лариса! За ваше благородство, за вашу любовь и верность!

Прозоров увидел, как вскочила, снова села его жена,

хотела что-то сказать, разинула рот и не смогла, лицо ее побагровело, жалкие глаза наткнулись на его взгляд и отпрянули в испуге. «Так тебе и надо», — подумал он.

— Милая! Не смущайтесь! Зачем? — Над нею наклонилась улыбающаяся Огородникова. — Мы же искренне, от души. Чтоб муж ваш, — погрозила Прозорову пальцем, — ценил вас... и не зазнавался. Уж эти мужчины!

— Мо-лод-цы! Мо-лод-цы! — проскандировали гости, заполнив рюмками пустоту над столом и весело, дружелюбно улыбаясь хозяевам.

...Приблизительно в полночь, после тостов за родных и близких, за любовь, за жен, за девушек и детишек и еще за что-то, тотчас выскочившее из нетрезвой памяти, Евгений Петрович потащился в ванную освежиться холодной водой. За ним увязался Пашка. Корчась от беззвучного смеха, он шептал:

— Видал? Нелька-то моя? В монашку, в схимницу играет. А такие номерки откалывает... номерочки... Во баба! Ни-ни, я не в обиде! Пускай развлекается. Я и сам не теряюсь. Но... — Пашка набрал в рот воды, побулькал, выплюнул, — но работаю тихо, аккуратно, чтоб ни Нельке, ни начальству никакого беспокойства. Нелька-то, конечно, знает. И молчит. А чего ей? И живем мы, милок, таким образом, душа в душу. Пойди найди другую такую мирную, крепкую семью!

— А что же генерал? — спросил Евгений Петрович, припоминая, как в свое время Пашка боялся и робел своего высокого тестя.

— Нету генерала, помер генерал, — вздохнул Пашка и запечалился. — Хороший, боевой старик был, честный, уважительный. Нелька-то моя, это уж как лишай на суку, плесень декоративная. Ей-богу, жалко мне старика было, когда он смотрел на Нельку в последний свой час. Умный же, стоящий, и такое у него в глазах... Тоска, понимаешь, бешеная... так и не сообразил, как у него в доме, пока он воевал-командовал, такое дерьмо произросло. С тем и помер. — Пашка снял очки, почистил глаза пальцем. — А помнишь, Женька, как мы с тобой в армии служили? — Пашка сдернул с лица Евгения Петровича полотенце, которым тот утирался. — Помнишь, как радовались чистой постели и каше горячей? — Пашкин голос осел от тоски и ярости. — Мы, голоштанники бездомные?!

— А как в шахте вкалывали? — спросил Евгений Петрович. — Деньжата на институт заколачивали?

— Во! — воскликнул Пашка, точно журавля в кулак поймал. — И уж теперь не робей, Женька, живи на всю ка-

тушку.— Пашка полез обниматься.— Не отрывайся теперь, а лепись! Худо отрываться от своих. И все как по маслу... Где служить-то думаешь? А ты не думай. Обеспечу. Друг я тебе или нет?

Евгений Петрович тоже не на шутку рассиропился. Обнялись, покачались на месте.

— Я теперь, брат, ложе боевого генерала занимаю! — сообщил Пашка, отцепляясь.— Знал бы старик — рассвирепел! Ого-го как! Очень его смущало, что я на Нельке женился аккурат перед самым распределением. Говорю, мудрый старикан был, пронзительный.

...Гости расходились. Проворнее всех одевались подружки-библиотекарши. Обволакивая двойной подбородок лиловым шарфом, Нелли сказала им:

— Подвезти вас? Пожалуйста. У меня машина.

— Благодарим! Не нуждаемся! — горячо отозвались девы-принципиалки и канули в ночь.

— Как зна-ете,— благодушно проговорила Нелли, дожидаясь, когда Пашке удастся затянуть все пряжки на ее усложненных сапогах.— Ох обидели! А недаром говорят, нервная система у старых дев — никуда...

Огородникова укуталась с помощью супруга в пышные белые меха. Огородников застегнул крупные сияющие пуговицы на своем пальто безукоризненного кроя.

Почему-то и Лариса и Евгений Петрович, не сговариваясь, оделись и пошли провожать Огородниковых на улицу.

Когда эта пара прекрасно натренированных сообщников выходила из подъезда, Евгений Петрович заметил, как запоздавшие прохожие вдруг сбавляли шаг. Размеренной, легкой походкой королевской четы Огородниковы прошествовали к своей длинной черной машине, которая благодаря своим очертаниям казалась мчащейся даже в неподвижности. Это была какая-то иностранная марка. «Что за чушь! — опешил еще раз Прозоров.— Откуда все это у них?» Он поискал глазами Пашку. Но тот уже разворачивал бывшую генеральскую «Волгу», обремененную наследницей.

— Мы надеемся,— обратилась к Евгению Петровичу Огородникова и одарила улыбкой,— что вы непременно придете к нам. У вас очень-очень мило. Мы чудесно провели время.— Она стояла спиной к фонарю, и белый мех лучисто дымился вокруг ее прямой подтянутой фигуры.— Какие все интересные, самобытные люди.

— Очень. Очень,— подтвердил Огородников.

Длинная машина Огородниковых бесшумно сорвалась с места и помчалась по шоссе куда-то туда, в неведомую даль, где все так блистательно, утонченно, загадочно... И задние огни над колесами их авто пылали рубиновыми звездами, продолжая приковывать внимание поздних зевак.

Что-то насмешливое, подманивающее почудилось в этих огнях Евгению Петровичу, призыв и издевка.

— У всех машины,— тихо, осторожно сказала жена.

— Правда. Надо иметь машину. Раз уж мы приобщились... протиснулись...— сказал Евгений Петрович с холодной лихостью игрока, решившего не отступать. Усмехнулся: — Ну и удавы эти Огородниковы! Ну и крокодилы!

— Что ты выдумываешь! — прошептала Лариса и присела от ужаса.— Такие милые, интеллигентные люди!

— Удавы! Крокодилы! Мы по сравнению с ними так... мелкие грызуны... Тяготеем к стандарту, Чижик. А интересно, к какой именно золотой корове они присосались? Очень интересно.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

...Евгений Петрович еще отсыпался, когда загредел телефон. Пашка.

— Я к тебе с деловым предложением, паря...

— Ты мне скажи сначала, чем занимаются Огородниковы,— не утерпел Евгений Петрович.

— А-а-а! Любопытство заело? — Пашка похихикал в трубку.— Фига! Не скажу. Сам пошевели мозгами! Сейчас! Сейчас! — крикнул он кому-то там, должно быть Нелли.— Женька, так ты как насчет трудоустроиться? Собираешься вскорости или дурака поваляешь? Я к чему? К тому, что могу отрекомендовать тебя нашему управлению. Соображай: одно дело ты с улицы заявляешься, другое — уважаемый человек представит! Не сомневайся — я уважаемый! В нашем обществе что главное? Правильно, труд! А я свои сто процентов даю. Непременно! Непрестанно! Сейчас, сейчас! — крикнул он опять.

«Ну и типчик ты, Пашка,— подумал Прозоров, повертел трубкой в воздухе, ткнул ее на место.— Ну и типчик,— повторил и вздохнул. Впрочем, без особого осуждения.— Свой все-таки человек, откровенный, душа нараспашку. Циник, конечно. А я что, святой? Вот заботится... помнит. А что я ему, в конце концов?»

И пахнет чудесно: кофе, свежими булочками.

— Женья! Завтрак готов! — зовет из кухни жена.

— Сей момент! — весело откликается он, надевает шапку, набрасывает пиджак и выходит за газетами, насвистывая от хорошего, легкого настроения.

Возле почтовых ящиков звенит ключами какой-то тип, мужчина в лыжном костюме. Увидел Прозорова, выронил ключи, но тотчас поднял и произнес негромко:

— Доброе утро.

— Доброе утро, — в тон ответил Евгений Петрович и глянул ему в глаза.

И не нашел глаз. Круглые стекла очков, залепленные световыми бликами, скрыли их выражение. Это раздражило Прозорова. Ему показалось, что над ним насмеются исподтишка. Его правая рука сжалась в кулак, кулак налился тяжестью. Все-таки пересилил себя, отвернулся, засвистел, зашагал вверх по лестницам, забыв про лифт. Разозлился на собственную рассеянность и словно в наказание заставил себя и остальной путь до девятого этажа проделать скорым шагом.

Вошел к жене в кухню, бросил вместе с газетами:

— Повстречались! Как же! Этот... твой... очкастый...

Ложка с сахаром в ее руке скакнула. Сахар просыпался на стол.

— Поздоровались... чинно, благородно, — успокоил и усмехнулся.

Она опустила ложку в кофе и стала мешать и мешала долго-долго, не поднимая головы.

— Его здесь скоро не будет, — проговорила смирно. Ее опущенные веки дрожали. — В Туркмению уезжает, в экспедицию... Он по микрофлоре специалист. — Ее голос потускнел от печали и от только что отпустившего испуга.

— Очень любопытно! По микрофлоре! — Евгений Петрович чувствовал, что его опять захлестывает раздражение, на этот раз от ее стороннего, страдальческого шепота.

«Самое разумное... самое лучшее, по-моему, — уговаривала она себя и все быстрее, энергичней и бессмысленней крутила ложкой в кофе. — Что же еще?» Она подняла глаза на него и, смущаясь, завершила:

— Это самое правильное, пусть... через неделю — и все!

В ее осмелевшем голосе он учуял искреннее нетерпение покончить с щекотливым делом раз и навсегда и уже готовое восторжествовать облегчение. Это вдруг задело его. «Бабы! Вот они — бабы!» — подумал желчно. И — странно — все в нем как бы расслабилось, к нему вернулось доброе расположение духа.

— Эх вы, бабы,— проворчал презрительно и великодушно.— Все вы... Что ты, что твоя... эта... как ее, Дарья,— вспомнил внезапно женщину с синими дерзкими глазами и ту минуту, когда она хохотала и пускала дым кольцами.— Тоже небось не прочь мужу изменить.

Ах, как он хочет сейчас, чтобы было именно так, а не иначе!

— Ее муж любит. Ужасно! — быстро и пылко проговорила жена.— И она его. Ужасно!

— Что ж, красив? Знаменит? — Он опять злился.

Лариса то ли вздохнула, то ли усмехнулась и погладила себя по щеке.

— Он старый... Умный, правда, говорят... Но старше ее на двадцать лет. Правда, ужас? Я его покажу тебе когда-нибудь. Как можно любить такого? По-сумасшедшему? Не понимаю! — Она продолжала гладить себя по щеке.

— А остальное ты все понимаешь? — рявкнул он, окончательно выведенный из себя этим ее нелепым жестом.

— Ты что? Что ты? — Она уставилась на него недоуменно.

Ее настроение передалось ему. «В самом деле, что это я? — подумал он и только тут сообразил, что стоит в шапке.— Подраспустился... да... весьма... Нехорошо. Глупо. Надо держать себя в руках».

— Лариса... чепуха какая... ты уж прости меня... Не выспался, что ли? — пробормотал он и пошел в прихожую снимать шапку.

Ему навстречу зазвонил телефон. Тесть звал в гости. Евгений Петрович поблагодарил и сказал, что придут непременно.

— Правда, Лариса? Придем? Все трое? — крикнул жена, заискивая.

Вечером отправились в Кузьминки.

Поели отличного украинского борща со сметаной, выпили рому из зеленопузого керамического медведя. Аленка баловалась с котом, взрослые беседовали о том о сем, смотрели телевизор, грызли семечки. Было тепло, покойно, тянуло в сон. Тесть опять читал из «Полтавы», объяснял значение слова «ботфорты» и «мушкет».

А Евгению Петровичу вдруг пришло в голову, что тесть его, этот налившийся нездоровым жиром маленький бухгалтер, одинок и несчастлив. Он втянулся и прожил жизнь однообразную, размеренную, правильную и только теперь,

выйдя на пенсию, осознал, что вот и все, кончено. Растерялся, недоумеваает и страдает запоздало. Смешно? А смеяться не хочется. Каждого где-то там, за углом, сторожит старость. Слава аллаху, ему, Евгению Петровичу, нет резона задумываться о ней — он еще молод, у него сухие, крепкие мускулы, он многое не только хочет, но может, может!

...Когда уходили, часы на стене — подарок тестю от сослуживцев — пробили одиннадцать усердных монотонных ударов.

Евгений Петрович единым махом подхватил дочь на руки и без роздыха, в хорошем темпе донес до вагона метро.

Дома, помогая девочке раздеться, вспомнил вдруг, что давно не беседовал с ней, устыдился и решил срочно восполнить этот досадный пробел в программе семейного благополучия.

— Ну как твои рога... от оленя? — спросил между прочим присаживаясь на детскую кровать. — Еще не разонравились?

Поглядел, закрыла ли она ноги одеялом, поднял с пола, повесил на спинку кресла красные колготки.

— Нет, — отозвалась тихо девочка и натянула одеяло на глаза. — Только теперь они не мои, — глухо донеслось до Евгения Петровича.

— Почему не твои? — удивился он и оттянул одеяло так, чтобы видеть ее лицо.

— Их мама взяла... в прихожей приберет, а... а не над моей кроватью.

— Да? Ну и что ж, — не очень уверенно проговорил Евгений Петрович. — Все равно они твои. Пусть и в прихожей, но твои.

— Нет, теперь они не мои, — упрямо отказалась девочка. Большие серые глаза налились слезами, губы распустились и запрыгали.

Наедине с женой Прозоров резко спросил:

— Зачем отняла у Аленки рога? Я ей привез!

— Что? Рога? Опять придираешься? — Жена вздохнула порывисто, заходила туда-сюда, то закрывая, то открывая глаза. — И все по пустякам... Любой пустяк — и крик... Рога ребенку... Зачем? Глупости! В рогах дело? Я же вижу... чувствую... Как же можно так жить? Рога все сейчас в прихожей вешают. Лучше куклу купи. Она до сих пор любит в куклы играть. Неужели нельзя спокойно спросить? Боже мой! — Нечаянно дернула за бусы. Порвались, посыпались на пол. Наклонилась собирать.

Евгений Петрович тоже наклонился и стал молча помогать ей. «Мог спокойно спросить? Мог! — убеждал себя. — Вот черт! Псих... Базар развел... Вот же не ору, не психую, а тихо подбираю эти проклятые стекляшки!»

Жена продолжала говорить. Не видя сопротивления, она все смелее, многословней укоряла его, стыдила, со-
вестила.

— Ни черта ты не понимаешь! — внезапно против воли взорвался он, бросился в ванную и долго стоял там под жестким, холодным душем. «Вот что, надо быть вместе, все время вместе, — думал он, безжалостно растирая тело грубым полотенцем. — Вдвоем... там... тут... Скорее сблизимся, притремся, привыкнем. Старая истина! Как забыл?»

Дней десять подряд они были «без никого». Вместе за-
тракали, убирали квартиру, покупали мясо и хлеб, варили, а вечером отправлялись то в драму, то в консерваторию, то в оперетту.

В самом деле, их отношения становились теплее и проще. Евгению Петровичу нравилось, что у театральных подъездов на его жену засматриваются мужчины, а ей — что его не обходят вниманием женщины. Они то и дело шутили по этому поводу. Приятно было слышать внезапную трель театрального звонка и одними из первых входить в прохладный полумрак партера, разворачивать свежий листок программы и, сидя в удобном кресле, наблюдать, как двигаются и говорят там, на сцене, красивые, нарядные мужчины и женщины. Нравилась антракты, возможность побродить по фойе среди зеркал, фотографий актеров, чувствуя себя легко и независимо в толпе хорошо одетых людей, завернуть, между прочим, в буфет и, положив в карман горсть дорогих конфет, вернуться в зал.

Все эти вечера о дочери заботились тесть и теща, так что тут был полный порядок.

Как-то, проезжая мимо «Детского мира», Прозоров вспомнил, что собирался купить Аленке куклу. Домой вернулся с самой дорогой игрушечной красоткой, которая к тому же умела что-то говорить и ходить.

Алена кукле обрадовалась несказанно, прижала к себе и тоненько заскулила от восторга и счастья.

— О! Какая замечательная! Ужасно! — воскликнула жена и осторожно потрогала роскошную куклину прическу. — Но, между прочим, Женя-Женечка, — она нежно-небрежно мазнула пальцем по его носу, — мог бы дешевле. Там же огромный выбор! Ты уже не на Сахалине. Забыл? Тех сумасшедших заработков нет и не будет. А машина?

Сам же решил. Снимаешь, снимаешь с книжки... Досни-маешься!

У него отказало дыхание. Тяжелая беспричинная злоба вскипела в груди и, раздирая горло, рванулась наружу.

— Слушай... ты... Чижик... — прохрипел он. И умолк. Говорить нечем. Пальцем отдернул от горла крахмальный ворот рубашки. Отскочили, стукнувшись об пол, пуговицы. Глотнул воздуха. Полегчало... отлегло... Пошел в ванную, смыл пот со лба, причесался и вдруг почувствовал нечто вроде творческой радости. А как же! Вот ведь сумел, удержался, переломил себя, взнуздал, а уж как кипел, как завелся, у-ух! Что ж, это очень хороший признак. Это значит, что вот-вот и у них с Ларисой действительно все об-разуется окончательно и навсегда.

Вернулся в кухню.

— Правда, чудесные гренки? — робко, выжидающе спросила жена. — Я с сыром... в тостере... Нравятся тебе?

— Очень, — ответил Евгений Петрович и решительно откусил от жестковатого хлебца, пахнувшего горелым. «Что ж, — подумал он, — если трезво... она права. Деньги... Вода? Вода. Пора о работе подумать».

Нашел Пашкин телефон, позвонил.

— А-а, сибарит, очнулся наконец? — спросил вечно юный, энергичный Пашкин тенорок.

— Ну как там? Или забыл? — промямлил Евгений Петрович, несколько смущаясь своего положения.

— Я?! — весело ужаснулся Пашка. — Друг я тебе или не друг? Картинка такая, — заговорил деловито и даже бранчливо. — Есть тут одно прелестное местечко... раз-ведаль, обговорил. Будешь доволен. Приходи с бумагами хоть завтра к одиннадцати.

— Хорошо, Паш, спасибо.

— Да, кстати! Я сказал этому товарищу, что ты с Са-халина рога привез. Так что прихвати, не забудь. Понял?

Евгений Петрович не ответил.

— Понял, спрашиваю? Тебе-то они на кой?

— А может, и на кой? — хмуро оборвал Прозоров. Он подумал о дочери.

— Мила-ай! — Пашка никак зевнул. — Брось ерундить! Окладчик-то поболее двухсот... кабинетик... телефончик... Неужто не подходит? Осознай: мы-то окраинные, а куда вдруг? Так уж не подведи меня, захвати рожки. Товарищ увлекся. Ублажи! Грошовый-то сувенирчик. Не взятку ж я тебе предлагаю дать, мать твою за ногу?

— Ну? Что? — подскочила жена, едва он положил труб-

ку. Черную трубку с антрацитовым блеском.— Ну что? Ну как? Устроил? Что? Где? Кем? — треплет за рукав.

— В порядке,— откликнулся и поддельно равнодушно присвистнул. Отыскал взглядом рога, прибитые над дверью прихожей, и долго вприщур глядел на них.

— Оклад какой? Оклад? Две будет? Нет? А?

— Больше.— Евгений Петрович поглядел на себя в зеркало. «А что? Отлично выутюженные брюки, крахмальная рубашка, тщательно причесанные волосы. Вполне приличный человек».— Рога надо только снять. Отнести... товарищу... в качестве сувенира.— Он продолжал смотреть на себя в зеркало. «Да, да, нормальный человек. Со своими достоинствами, слабостями... Так оно и идет...»

— Больше двух? Ужас! — Жена схватилась за голову, глаза ее чудесно сияли.— Рога? Вот эти? Всего-навсего? Сними за-ради бога! Отнеси! Надо ж так сразу... великолепно! Какой замечательный у тебя приятель! Настоящий друг!

— Хватит причитать,— прервал он, поморщившись.— Надо еще посмотреть,— добавил заносчиво. Хотя чувствовал уже, что дело решено и смотреть нечего. Вот только рога... Дурак, не привез больше. Да кто ж знал!

— Па-па,— услышал очень тихий, придавленный зов.— Папа...— На пороге спальни стояла Алена. В белом праздничном фартуке поверх темного школьного платья. Напрягши слабую шею, она пыталась проглотить что-то больно застрявшее в горле.— Папа, ты совсем-совсем отдаешь мои рога? Совсем-совсем? Зачем, папа? Ты же сам говорил... Ты же сам! — Она как будто не узнавала его и пугалась возможности узнать.

Евгений Петрович сморгнул, откашлялся без надобности и, не глядя на ребенка, проговорил с напускной важностью и приторным заискиванием:

— Видишь ли... Так надо... Ты еще маленькая, Алена. Маленькая девочка... даже не октябренок, да? Но подрастешь и поймешь, что бывают такие моменты, когда... когда...

— Ну что ты ей объясняешь! Глупости! — как будто рассердилась на него жена, но он сейчас же догадался, что она несколько не сердита, а почувствовала слабость его позиции и бросилась ему на выручку.— Глупости! Ей куклу купили какую, а она опять про эти рога. Капризы! Вовсе разбаловалась,— тараторила женщина.— Ты завтракала? Нет? Боже! В школу опоздаешь! Ешь скорее! А бант как завязала? Ужас! Иди перевяжу!

— Я сама,— сказала девочка побежденным голосом и беззвучно притворила за собой дверь.

Муж и жена Прозоровы умно и понятно поглядели друг другу в глаза, сошлись, обнялись в едином желании ужиться, свыкнуться, слюбиться, несмотря ни на что, порывисто благодарные один другому за эту готовность.

Потом жена сидела перед зажженным торшером и, растопырив пальцы, мазала ногти лаком. Пахло остро и не неприятно. Во всяком случае, ему, Евгению Петровичу, всегда нравился этот аристократический, так сказать, аромат. Плебей! Плебей! Тебя, Женька, неизменно пленяло также слово «канделябры» и блеск паркетных полов.

Евгений Петрович стоял у окна, бесцельно уставясь взглядом в сырой серый сумрак, натекавший сверху и быстро расползавшийся по земле. Был январский полдень, но казалось, что вечерняя плотная мгла уничтожает контуры домов и деревьев, убивает краски.

— Слышишь? — спросила жена. Она приподняла кисточку, возвела глаза к потолку.

Где-то высоко над ними на угрюмой вопросительной ноте гудел самолет.

— Я ужасно боялась,— прошептала женщина.— Но теперь ты здесь! Какое счастье! Ничего не боюсь! Правда, правда!

— Да ты небось не слыхала, как гудят настоящие немецкие бомбардировщики,— сказал он.

— Нет, конечно,— сказала она.— Но видела в кино, и читала, и мама рассказывала.

— Ну, тогда конечно,— согласился он и подумал о том, какая она все-таки маленькая.

— А ты слышал, как гудят немецкие самолеты? — спросила она, домазывая мизинчик.— Ты хоть что-нибудь помнишь о войне? Ты хоть что-то понимал тогда? Или вы сразу сели в поезд и уехали?

В общем-то, она была близка к истине, так оно и было: они сразу сели в поезд и уехали.

...Поезд уже набрал порядочную скорость, и они вскочили в него на ходу. Мать ухватила за поручни, придавив их с Андреем своим огромным животом.

— Держись, Женя, держись, Андрюша, держитесь, детки! — умоляла мать.

Всего этого могло не быть, если бы он не потерялся в муке, в густом удушливом тумане из белой муки, заволоч-

шей вокзал. Он совсем пропал в этой муке, а когда наткнулся на материн мягкий живот своим зареванным лицом, она уже успела растерять вещи, а поезд уже уходил, все быстрее постукивая колесами на стыках.

В конце-то концов люди как-то умялись и втиснули их в вагон. Но тут что-то ухнуло, и вагон словно бы подскочил, и опять ухнуло — поезд дернулся и жестко тормознул. Взрослые кинулись к выходу узнать, в чем дело. Он бросился за ними, хотя вслед раздался протяжный, натужливый, как мычание, материн вопль. Он решил, что это она хочет остановить его, и не оглянулся.

Ухнуло еще раз, и еще, и еще...

Кое-как протиснув голову между чьих-то голых ног, он увидел с площадки вагона обыкновенную траву, только очень высокую, ярко-зеленую, а над ней чистое голубое небо. В этом чистом голубом небе, остро посверкивая крыльями, метались самолеты, штук пять-шесть, словно играли в салки, и висел угрюмый, воющий, напористый гул.

— Путь разбомбили! — прокричали снаружи. — Такая ямища — вагон стоямя уйдет!

Высокая трава нетронута волнисто отливала шелком, а над ней вытанцовывала желтая бабочка, тоже какая-то очень новенькая, очень яркая.

Вдруг один самолет смешно перекувырнулся, пыхнул дымком, словно кто-то в нем раскурил трубку, и из всех сил помчался к земле, растягивая за собой черную полосу дыма. Он упал на землю быстро, словно брошенный с высоты, и там, где сверкнул в последний раз, розово вспыхнуло и громынуло.

— Что это? Что? Немец? Да? Так ему и надо! Ура-а-а! — весело заорали дети.

— Наш, — ответил взрослый голос. — Нашего. Эх, сынок...

Еще один самолет задымился и, переворачиваясь так и сяк, словно сломанная игрушка, закувыркался к земле.

— Немец. «Мессершмитт», — объяснил взрослый.

Желтая бабочка трепетала крыльями над зеленой травой. Дети молчали.

В конце концов путь восстановили, поезд тронулся, и он вернулся к матери. Рядом с нею на чьей-то розовой подушке лежал тугой тряпичный комочек — его новорожденный брат.

— Как нам повезло! Какое счастье! Перед нами эшелон начисто! — шептали женщины срывающимися голосами.

— Счастье... счастье... повезло,— отзывалась мать. Губы у нее были белые и жесткие, как картонные...

— Что ты молчишь? Что ты молчишь? Я же тебя спрашиваю!

— Да нечего рассказывать,— ответил он.— Ничего интересного. Эвакуировались, и все.

Она была маленькая, удивительно маленькая, до смешного, до обидного. Эхма! А маленьких взрослые люди обязаны оберегать от всякого такого и прочего. А как же? Только так.

...Спустя примерно три месяца Евгений Петрович Прозоров сидел за столом в своем небольшом кабинетике и просматривал бумаги, ласково шурясь от веселого, молодого апрельского солнца. Между делом он думал о том, что сегодня славный денек, настоящий весенний, что после работы ему надо получить зарплату, что здесь, в управлении, он ровно два месяца...

Под одной из бумаг стояла изящная подпись — «К. Загородников. И. о. главного инженера». Неизвестная фамилия, выведенная тончайшим пером, чем-то расстроила его.

— Загородников! — вслух насмешливо произнес Прозоров.

И сейчас же понял, откуда в нем досада и раздражение. Огородниковы... Загадка века... Как они сумели перевоплотиться и подняться до оптимальных высот благополучия и самоуверенности? Пашка, черт, отделяется шуточками, темнит, интригует... Они молчат. Как будто провалились. Пренебрегли, значит. Вот то-то и досада! Валяй, можешь сколько влезет критиковать, поносить, охаивать. Кривляние! Не больше. Им-то что от твоего крика? От твоего пренебрежения? Они-то первыми рванули финишную ленточку, а ты отстал. На кой им теперь знакомство с каким-то едва-едва обарахлившимся инженеришкой. У них свой круг, клан. «Мы надеемся, что вы придете к нам...» Снизости, обнадежили... и забыли. А он-то, выскочка, уж и эскизик набросал: как будет вращаться в их изысканном, утонченном кругу... развлекаться... трепаться... на равных. Ан стоп! Не зарывайся! «Ладно. Обойдемся,— властно успокоил себя.— Что главное, в конце концов? У-о-ох! Работа. Работа. Работа. У кого хочешь спроси. И вовсе не обязательно раздумывать о каких-то там Огородниковых. Нечего-то нечего... А все ж обидно,— прорвалось опять.—

Работа, работа, работа! Спокойно, Прозоров! — заботливо приказал себе. — А с работой у тебя все обстоит как надо. Исчезает очередной рабочий день. Как? Нормально, достойно. Два месяца всего, а уже есть благодарность от начальства. Так держать, Прозоров! Незаменимый? Он?! Ну нет, не такой дурак тщеславный, чтобы считать себя незаменимым. Наблюдал, знает — свято место пусто не остается. И на его стул, как и на всякий другой, занимаемый им, найдутся десятки других Евгениев Петровичей или Степанов Степановичей, которые справятся с делом ничуть не хуже его.

А почему нет? Взять сегодняшний случай. Всю неделю обзванивал, составлял справку о состоянии травматизма на подшефных предприятиях за полгода.

Составил и с полным, как говорится, удовлетворением понес...

Но там даже не глянули: «Спасибо, я уже взял данные в другом управлении...»

Так что хочешь — в корзину бумажку бросай, хочешь — используй ее по своему усмотрению... Вот так.

Сознавать это Прозорову не обидно, а если и обидно, то самую малость. Он объясняет это возрастом, убеждая себя, что в тридцать пять человек мудрее, чем в двадцать, и выражается это, в частности, и в таком вот желании быть как все, не лучше, не хуже, не выделяться, не выпендриваться, простите за выражение. Словом, «скромный труженик». С него и довольно. Только в душу не лезьте. Понять не поймете, а шуму... Да хорошо еще, если от чистого сердца...

Обо всем этом Евгений Петрович думает хладнокровно и как о чем-то вполне узаконенном, неизбежном и обыкновенном.

В последнее время он все чаще склоняется к мыслям «вообще». Возможно, по контрасту с вполне определенными рабочими обязанностями и такими же определенными обязанностями семейными. Ему, например, доставляет странное удовольствие обнаруживать в себе какие-то не слишком приятные качества и при этом думать: «Ну и что? Чего же мне этого стесняться? Если это есть во мне, значит, и в ком-то еще, и еще, и еще. Я — как и все человечество...»

В молодости, помнится, он, напротив, стремился обособить себя и свой способ восприятия мира ото всех людей и их способа восприятия и часто с упоением говорил себе: «Вот так я, и только, во всем мире умею видеть, чувствовать эту ночь, это таинственное, пугающее движение облаков... И никто, никто, кроме меня!»

Теперь же поуставший, обремененный житейским опытом Евгений Петрович при всяком удобном случае старается подчеркнуть свою заурядность, свою общность с человечеством.

Солнце между тем перелилось со стола на стену. Глянул на часы. До конца работы шестнадцать минут. В перспективе представил себе, как получит деньги, примет от гардеробщика свое любимое светло-серое пальто и выйдет на улицу, где тренькает капель. Вот-вот начнут рваться почки, запахнет цветами, задышит жаром лето, он с семьей сядет в самолет и улетит куда-нибудь на юг, в Крым или на Кавказ, к пальмам, на горячий песок. Ни в Крыму, ни на Кавказе он не был ни разу в жизни.

Вдруг в кабинет без стука влетел Синицын, молодой инженер с Иисусовой бородкой и Иисусовыми вислыми усами. Страдальчески сцепив перед собой руки замком, он принимается бегать по кабинету и панически рассказывает:

— Вы только представьте! Шеф лепит выговор Воздвиженскому! Второй! Это значит непременно вынудить человека по собственному желанию! Почему все? Только потому, что Воздвиженский отказался дать в оперативке выполнение, а подписал чистые данные. Шеф смолчал — и вот итог. Низость какая! Представляете?

— Нет, пока не представляю, — ответил Евгений Петрович, с симпатией наблюдая за энергичной, бестолковой беготней молодого человека. — Не представляю, потому что не знаю подробностей.

— Так ведь все равно, это до крайности возмутительно! — Синицын стукнул кулаком о кулак. — Этак могут и с каждым...

— Успокойтесь, — говорит Евгений Петрович, закуривая, и смахивает пачку сигарет к краю стола, где приостановился Синицын.

Он уже не в первый раз вот так вот вбегает к Прозорову и с нетерпеливой откровенностью рассказывает о фактах несправедливости, потрясших его неокрепшую праведную душу. Почему получилось, что для своих откровений он избрал Прозорова? Как догадывается сам Евгений Петрович, Синицыну импонирует его сахалинская биография, для Синицына он, как для школьника, нечто вроде Амундсена. Ну и, по всей вероятности, Синицын чувствует, что на Прозорова можно положиться, — не выдаст.

Евгения Петровича такое к себе отношение интеллигентного мальчика отчасти забавляет, но и трогает, конечно.

Хочется искренне помочь ему обрести жизненную стойкость.

— Да, разумеется, всякая несправедливость возмутительна, — говорит Евгений Петрович, наблюдая сквозь дым, как нервно шевелятся длинные красивые пальцы Синицына, разминающие сигарету. — Но если поставить вопрос иначе? Кто такой Воздвиженский? Юнец? Нет. Сорокалетний мужчина. Знал он в данном случае, что делал? Знал?

— Ну-у, видимо, — прихмурился Синицын. — Но... все-таки!

— Что «все-таки»? — жестковато переспросил Евгений Петрович. — Воздвиженский совершенно сознательно шел на конфликт. Следовательно, у него для этой уверенности есть веские основания. Это одно. Второе — шеф. Что он поставил в вину Воздвиженскому? То, что тот не справился с командировкой? А такое невозможно?

Синицын присел на стул, торопливо курит и слушает. Слушает хорошо, внимательно, упершись взглядом в пол.

— Но ведь все говорят! — вскакивает внезапно.

— Все говорили и про снежного человека, и про летающие тарелки, — спокойно умиряет его запальчивость Евгений Петрович. — Короче, вступать в это стороннее путаное дело можно, но не обязательно.

— Не знаю, не знаю, — морщится Синицын, отмахиваясь от дыма своей сигареты. — Мне несколько не по себе... Хотя, видимо, действительно, если лезть во все... И если бы хотя бы Воздвиженский попросил... Но ведь как, не реагируя... Ах, черт, как все сложно, однако! — И Синицын давит сигарету в пепельнице как некую тварь, наконец-то пойманную и достойную умерщвления, вздыхает виновато, но с облегчением, как обычно после разговора с Евгением Петровичем.

Евгений Петрович удовлетворенно глядит ему вслед. Вскосность собственной аргументации не вызывает у него никаких сомнений.

...Звонит телефон. С третьего этажа. Шеф.

— Вы подготовили материалы относительно состояния вентиляционной системы на шахте «Молодежная»? — Голос усталый, нетерпеливый.

Корректно, бодро, четко:

— Материалы подготовлены. Готов доложить.

— Прекрасно. Завтра в десять прошу. Будьте здоровы.

Пиу-пиу-пиу...

Подумалось мимолетно: «Гляди, какой вежливый! А рога — не поморщился — заграбастал...»

Убрал бумаги, запер ящики стола и собрался уходить,

когда его белый элегантный телефон зазвонил еще раз.

— Евгений Петрович? — спросил незнакомый уверенный женский голос. — Добрый вечер! Не вспоминайте. Конечно, забыли. Огородникова. Мы два дня как из Карловых Вар. Да, отдохнули чудесно. Я к вам по важному делу. Шучу, конечно. Завтра в семь у нас собирается небольшое общество. Очень будем рады видеть вас с супругой. Надеюсь, не пожалеете... Благодарю за комплимент, но я в гвоздь вечера не гожусь, нет. Организовать, чтоб было интересно, постараюсь. Должна быть известная чтица поэта Брюсова и одна совершенно оригинальная художница. Итак, ждем вас. Привет жене.

«Ишь ты, ишь ты, какая приятная неожиданность! Хо! — насмешливо и радостно выдохнул Прозоров. — Ошибся, простачок! Не пренебрегли. Желают видеть, влекут в свой круг. Спроста? Черта с два! С ними такого, зуб даю, не бывает. Но все-таки зовут, нужен! Там разберемся... Любопытно, что за собрание обещает быть? Какое оно, гнездышко у этих стервятников? Что-что? Я их оскорбил, опорочил, в то время как они, «не жалея сил», «собственным трудом» и так далее? Что вы! Вам показалось! Какие «стервятники»? Никакой неразберихи. Все отлажено, упорядочено, обосновано. Малюсенькое «но»... Разумеется, с узкой, негосударственной, обывательской точки зрения. Но... есть местечки выгодные и есть не очень. Вот эти выгодные местечки и предпочитают Огородниковы. Остается уточнить детали. Распрекрасный, однако, сегодня денек!»

...Евгений Петрович вышел из управления в пальто нараспашку и, помахивая рукой с зажатými в ней перчатками, пристроился к потоку пешеходов, заполнивших тротуар.

Он шел беззаботной мальчишеской походкой, как ходят обычно в первые теплые весенние вечера, еще не привыкнув к ним, и умилялся всему, что видел вокруг, даже луже на асфальте и копошащимся в ней воробьям.

Увы, долго наслаждаться лирическими благами нельзя. Он, Е. П. Прозоров, человек семейный. У него пропасть забот. Во-первых, сберкасса. Внес на свой счет запланированные пятьдесят рублей и вышел на свет божий с сознанием добросовестно выполненного долга.

Теперь галантерея. Жена просила купить носовые платки и две катушки белых ниток. Что-то она собирается сшивать этими белыми нитками? Мать моя! Да тут никак эти самые грации! Французские! Она-то бегала, искала...

Проехав пять остановок в метро, Прозоров идет далее пешком. Воздух заметно отяжелел и холодит щеки. Однако телу под ратином тепло и уютно. А дом, его дом,— вот он, сотни метров не будет. В обеих руках Евгений Петрович несет сетки-авоськи, полные всякой всячины.

Когда он только что приехал и не огляделся еще как следует, то думал, что его дом, сиреневая башня, сооружение особенное, оригинальное. Оказалось, нет. Таких сиреневых башен в их районе пять. Сначала, фасадом к шоссе, тянутся по горизонтали три белые пятиэтажки, а потом высятся семнадцатизэтажная сиреневая башня, еще три пятиэтажки и еще сиреневая башня.

Прозоров слышал разговоры, что, мол, эта однозначность повторения наводит уныние и скуку. Нет, не согласен. Лично ему нравится геометрическая четкость современной застройки. Вообще он все более склонен любить всякую определенность и упорядоченность, систему, одним словом. И даже на расчерченное белым пунктиром шоссе, на знаки перехода улицы он взирает почти что с удовольствием. Существующие вокруг система и порядок всякий раз убеждают Прозорова в том, что жизнь его семьи, упорядоченная его собственными усилиями, протекает разумно, правильно, достойно.

Сахалин? Какой Сахалин? Разве в его жизни был Сахалин? — на ходу подумалось ему. У-у, как это далеко и неправдоподобно! И вдруг оглянулся в смущении. Почудилось, словно вот только что кто-то небрежно и грустно хохотнул ему в самое ухо и позвал: «Женя!» Но, ясное дело, никого. «Бывает же... Должно быть, от усталости. Устал и не заметил», — успокоил себя. Толчком воли застопорил мысли на скором отдыхе, так и не позволив себе признаться в том, что его уверенное настроение спугнул и обесценил на миг знакомый, независимый, милый хохоток, залетевший из прошлого...

Но сетки потяжелели будто. Остановился, повесил на штакетину, закурил.

Рядом продавала мороженое девушка в белой шапочке на вспененных волосах. Она посмотрела на него и улыбнулась. У нее был милый курносый нос и веселые глаза.

В благодарность он решил купить мороженое.

— Пожалуйста, одно... нет, три, — сказал он.

— Пожалуйста, три, — ответила она, сияя глазами.

— Вы всегда здесь? — спросил он.

— А вы не замечали? — спросила она.

На загорелом пальце у нее блестело обручальное кольцо.

Что ему нужно было от нее? Ничего, в сущности. Но если бы она не улыбалась ему изредка, он бы давно кинул недокуренную сигарету и ушел.

В конце концов он и ушел и дорогой догадался, в чем тут дело. Дело в том, что ни он, ни она ничем не были обязаны друг другу. Просто улыбались, и все. И это было похоже на отдых.

...Он поднимается на второй этаж своего дома, открывает почтовый ящик. Так и есть — пусто. А это значит, что дочь Аленка и сегодня, как каждый день, своевременно вынула дневную почту.

Свои обязанности регулярно, на высоком уровне выполняет и жена. Она успевает приготовить завтрак, убрать в квартире, прежде чем уйдет в свою библиотеку. Вечером быстро и как-то незаметно что-то там стирает, гладит, штопает, и, таким образом, у них всегда в доме чисто, можно вкусно поесть и отдохнуть в уюте и спокойствии. К этому стоит добавить, что жена его Лариса, не в пример некоторым женщинам, всегда, даже дома, красиво одета, тщательно причесана. Приятно смотреть, когда она, такая аккуратенькая, чистенькая, сидит в кресле и быстро-быстро мелькает спицами, а вокруг нее пушатся клубки разноцветной шерсти.

«Вот так и живем!» — думает Евгений Петрович, вставляя ключ в дверную скважину.

Жена в отутюженных техасах и в пестрой кофточке подсакивает к нему, целует в щеку, хватается за сетки, ужасается их тяжести, многословно жалеет его, укоряет в том, что он не жалеет себя, и уходит в кухню, покачивая широкими бедрами, плотненько обтянутыми модной дерюжкой.

Евгений Петрович забирается в ванную, закрывает дверь на защелку, раздевается и, глядя на себя в зеркало, улыбается освобожденно. «Все, на сегодня кончено. Финиш. Добежал». Вот они — его законные владения, его стены, его двери, его собственное пространство, прочно отгороженное от остального мира.

Он думает так каждый раз, возвращаясь к себе, и каждый раз эта отрадная мысль нежит его сердце.

Он поворачивает краны, и вода послушным ровным дождем льется ему на руку, не горячая, не холодная, а точно такая, какую хотел он.

«Смешно? Да ну! Я смешон, Прозоров? Может быть, может быть, — размышляет Евгений Петрович, смывая под

душем рабочий пот и обращаясь невесть к кому, кто, однако, словно бы подслушал сегодня его мысли и не того... сморщился недоумеваает... иронию изобразить настроился. «А зря! Невпопад! — предостерег Евгений Петрович, крепко растираясь намыленной мочалкой. — Погоди с иронией-то! Поостерегись! В мою бы тебя шкуру! И чем раньше, тем лучше. А я бы поглядел... Во-первых, надо бы, чтобы тебя, пацаненка семилетнего, хотя бы раз вдавила в фонарный столб сумасшедшая толпа эвакуированных. Смеху-то, смеху! Чтоб при этом ты выл от боли и страха, но на тебя никто бы не обращал внимания. Далее, положим, надо, чтобы ты, все тот же пацаненок в сандаликах, десять суток трясся в поезде, зажатый со всех сторон локтями, спиной, ягодицами, и чтобы на твоих коленях поскуливал грудной брат, пахнущий поносом.

Все? Как бы не так! Непременно надо еще, чтобы ты пожил в бараке, длинной в тоннель, где в общей кухне, черной от копоти, провонявшей кислой капустой, помойными ведрами, кое-как застиранными пеленками, то и дело скандалят солдатские вдовы, а случается — хватают друг друга за волосы. Где все обо всех, до самой малости, насквозь известно, и когда вскипает очередная ссора, самые безудержные торопятся царапнуть по заветному, больному, чтоб кровь и слезы и рев перепуганной малышни.

Но и это не конец. Это для начала, для затравки, так сказать. В дальнейшем тебя должны почаще, подбросившей и так и этак комкать, давить, притеснять, вынуждать по разным поводам, причинам, обстоятельствам. Вот тогда ты небось дозреешь до ответственного понимания, отчего и почему человек способен неотступно мечтать о собственной, со всеми полагающимися удобствами, отдельной квартире и радоваться без конца, заполучив ее наконец.

Воля, свобода, независимость — вот что такое отдельная квартира. Недостигаемость для всего и для всех: для работы, собраний — заседаний — голосований, необходимости подстраиваться, соответствовать, выглядеть, придуриваться, для уличной толпы, наконец, для магазинной бестолковщины, для толчеи в общественном транспорте и так далее, и тому подобное. Воля, свобода, независимость — вот что такое отдельная квартира. Человеку до зарезу необходима отдельная квартира, потому что ему необходима хоть временная, от и до, но абсолютная уверенность в том, что он сам по себе, сам с собой, сам для себя. Будь благословенна отдельная квартира! Будь благословен тот, кто планирует и строит современное многоэтажное

жилые, где все для человека и за человека! Будь благословен!»

Да, разумеется, он, Прозоров, отчасти удовлетворил свою мечту о собственном уединенном пространстве там, на Сахалине. Но именно отчасти. Настоящая квартира — нечто большее, значительное, чем просто убежище. Всем своим содержимым она обязана настраивать тебя на полный отдых. Поэтому в ней тебе должно быть не просто уютно, но уютно особенно, так, чтобы, глядя вокруг, ты был бы свободен от суетных, принижающих мыслей: «А у других куда лучше, современнее...» Нет, квартира обязана уже от порога радовать тебя, и успокаивать, и наполнять свежей уверенностью в твоих возможностях, в том, что ты не отстал... Только так. А как иначе?

Намыливая голову и вспоминая многословные ласковые укоры жены, Евгений Петрович рассказывает себе: «Ну, то, что не жалею себя, преувеличение. Но, конечно, для семьи стараюсь... все делаю, что от меня зависит. Не уклоняюсь, как другие. Вчера ковер выбивал. Позавчера в кухне потолок красил... этой... как ее... водоотталкивающей эмульсией. Квартира требует постоянного внимания, мужской силы и мужской сноровки. Надо. Все надо».

Зажмурился, намыливая лицо, и внезапно представил бытовку при шахтоуправлении окнами в ельник и душевую окнами на море. И как хохочут мужики, кидая друг другу из кабины в кабину соленые шуточки, и как стекает черная коллективная шахтерская грязь в решетку на плиточном полу. Как шумно, по-лошадиному отфыркиваясь, моется Рябов и приговаривает: «Ах, черт! Ах, дьявол! Ай, красотища!» Как движется, переваливаясь слегка, в раздевалку, массивный и словно бронированный, красный, с пылу с жару, точно только что выкованный, и посвистывает. А на спине, под лопаткой, движутся два схлестнувшихся шрама, похожих на зарубку топором. Корявая, крепкая зарубка аккурат против сердца. «Товарищ начальник! — кричит кто-то любознательный, из новичков. — Это у вас с войны? На спине-то?» — «Угадал, родной!» В раздевалке не торопясь натягивает слинялую тельняшку. Потом быстро, как по сигналу тревоги, вталкивает ноги в шевиотовые брюки и так же без интереса сует руки в рукава пиджака. И вот уже нет его тут, одно затяжное послегромовое колебание атмосферы. И застенчивое, унижительное желание не попадаться ему на глаза, которые умеют вдруг так глянуть из-под страхолюдных бровей, с таким каким-то излишним удивлением, что сама собой приходит на ум глупейшая мысль: «О чем

он? Мол, как оно рядом очутилось? Пристроилось? Такое-эдакое по фамилии Прозоров... На кой?»

«Но... Но при чем тут Рябов? А? На кой мне он, Рябов? А?» — со злым восхищением обращается Прозоров невесте к кому и чему, но что существует, однако, совершенно определенно и подсовывает Е. П. Прозорову куски отброшенной жизни.

Раздраженной рукой он выключает душ, вышагивает из ванны, набрасывает на себя большое полотенце — и почти успокаивается. Натягивает отглаженные и заранее повешенные женой на радиатор трусы, майку, носки, пижаму, вспоминает веселую девушку-мороженщицу и как она улыбалась ему — и успокаивается совершенно.

В кухне его ждет ужин: горячие котлеты из домашнего фарша с тушеной картошкой, чай с вишневым вареньем и куском пирога.

— Когда успела?! — поощрительно удивляется он, поднимая вилку над дымящейся пищей.

— Надо же! — смеется Лариса, расправляя бумажные салфетки в стакане. — Посмотри, как чисто у нас стало с этим свежим потолком. Ты молодец!

— Ну, Аленушка, докладывай, как твои успехи в школе? — деликатно жуя, осведомляется Евгений Петрович у дочери и старается глядеть на нее как можно проникновеннее.

Девочке, ясное дело, льстит интерес взрослых. Она перестает есть и, то и дело встряхивая головой с ярким бантом на макушке, взхлеб принимается перечислять все, чем был заполнен ее школьный день.

— А я ка-ак сяду на перила, ка-ак покачусь. А Юрка Зайцев ка-ак налетит на меня сзади. А мы ка-ак упадем!

— Да что ты? На бетонные ступени?! — ужасается мать.

— Дело не в этом, — говорит Евгений Петрович и хмурится. — Алена, разве ты не знаешь, что съезжать по перилам опасно, а главное, это непозволительное баловство.

Девочка опускает голову и молчит.

— В школе существуют определенные правила поведения, — развивает свою мысль Прозоров. — Каждый школьник обязан эти правила выполнять. Невыполнение правил ведет к неразберихе и несчастным случаям. — И так далее в том же роде. Он — родитель и обязан использовать каждую свободную минуту для воспитания дочери. — Ты поняла меня, Алена? — интересуется он.

— Да, папа.

— Больше не будешь кататься на перилах?

— Нет, папа.

— Вот и умница.— Евгений Петрович дожевывает кусок, подходит к девочке, обнимает ее за плечи и стоит так некоторое время. Вероятно, это должно означать, что если в дальнейшем она будет так же быстро, покорно признавать свои ошибки, то может рассчитывать на снисхождение и ласку.

Евгений Петрович, допивая чай, вспоминает, что во вчерашней «Вечерке» описывалось происшествие: няня оставила коляску с младенцем возле магазина, а какая-то авантюристка вытащила его из коляски и пыталась просить «под грудничка».

— Да, да, да,— сказала жена, вытирая стол тряпкой.— Я читала! Ужас! — И Алене: — Слышь? Вот почему детям нельзя гулять на улице дотемна.— И Евгению Петровичу: — Знаешь, что еще удивительно? У нас в библиотеке значительно сократился интерес к художественной литературе. А вот научно-популярную, документальную требуют и требуют. Необъяснимо, правда?

Он пожимает плечами. Хочет сказать, что она уже раз пять, не меньше, сообщала ему об этом своим открытием, но не говорит.

— Мам,— вдруг позвала Алена,— а почему дядя Толик не пишет? Он же знает адрес...

— А что ему писать? — Лариса с грохотом свалила в раковину грязные тарелки.— Что ему писать? Он же в пустыне... А что в пустыне? Песок.

— Песок...— согласилась Алена.— Но и цветы... трава... кое-где... Я читала...

— Цветы! Трава! — Лариса кинула в раковину ложки-вилки.— Только весной. Весной есть. Это же пустыня, а не...

— Мам,— Алена встала из-за стола,— можно я к Тане пойду?

— К Тане? Только застегнись... Только застегнись! Поиграйте... Только застегнись!

— Застегнусь, застегнусь,— чуть пугается девочка возбужденного без повода голоса матери.

Евгений Петрович молчит. И когда захлопнулась за Аленкой выходная дверь, продолжает молчать. Он читает газету. Он вчитывается в события, факты, имеющие мировое значение.

Жена вымыла посуду, вытерла стол и тихо спросила:

— Может, это... давай?

Кивнула в сторону холодильника.

— Давай,— согласился он.

Лариса вытащила заолодевшую бутылку муската.

— Женя... Женечка... какой ты... Ты такой! Такой! Настоящий мужчина!

— Да ну? — Он отшвырнул газету и невольно улыбнулся, до того умильно, по-детски благодарно смотрела на него Лариса, прижав к груди тяжелую бутылку. — Ну, что ты? Что? — спросил, разыгрывая приятную самому наивную непонятливость. — Наливай!

— Ох, Женя! О, Женечка! Я сейчас! Сейчас!

— Ну, будь здорова! — сказал Евгений Петрович и медленно, наслаждаясь, вытянул из рюмочки вкусную влагу. И вспомнил вдруг, что куплена грация, сбегал в прихожую, вытащил сверток из кармана пальто.

— Да что ты? Французская?! И мой размер? — разволновалась женщина, тотчас скинула с себя одежду и принялась примерять грацию, стоя у зеркала.

Евгений Петрович включил телевизор, упал в кресло и стал смотреть парное катание на коньках. Но у жены что-то там не ладилось, и он встал, чтобы помочь ей. Но когда в голубоватом полумраке увидел эти мягкие контуры нагого женского тела, быстро сходил проверил, крепко ли заперта входная дверь, поднял женщину и понес ее, шепча игривую, разжигающую чепуху...

— Нет, ты все-таки ненормальный! — фальшиво возмущалась она потом, собирая выпавшие из волос шпильки, пошла к зеркалу и продолжала примерять грацию. — Ни с того ни с сего. Ей-богу, ненормальный! — слышал он ее несерьезную воркотню.

— А кстати, ты видела, какие я сосиски принес? — спрашивает он, приводя себя в порядок.

— Нет еще... Сейчас приступлю... Разберусь,— отвечает она.

— Те особые, что не в целлофане, а в этих, как их, кишках, что ли...

— Ну, какой же ты умничка! Это теперь такая редкость — в кишках. Я ужасно люблю. С макаронами. Ой! Кстати! Ты знаешь, что Дарья Севастьянова придумала? Куда собралась? В Италию! Вообрази! У нее приличного стула нет, а она... И ведь слова не скажи... Для нее общественного мнения не существует.

Лариса ушла в кухню.

— Мне кажется,— громко сказал Прозоров,— я ее все-таки где-то когда-то встречал.

Лариса вернулась из кухни со свертком.

— Обидно,— вздохнула, печально глядя ему в глаза.— По-моему, пахнет. Чуть-чуть. Слышишь?

Подсунула сверток под нос Прозорову.

— Где ты ее мог встретить? — удивилась попутно.— Глупости! Она в Пятигорске жила. Ее муж после госпиталей всяких долечивался. Пахнет? Нет? А ты в Пятигорске никогда не был.

— В Пятигорске... нет, не был. По-моему, не пахнет. При мне привезли.

— Еще ничего не значит,— сказала Лариса.— Я, пожалуй, съем кусочек, и если не заболēju...

— Проще выбросить,— сказал он и плюхнулся в кресло перед телевизором, где на этот раз под меланхоличные переборы гитары шли куда-то вдаль дама в длинном платье и господин в котелке и с тростью.

— Эй! Чижик! — позвал жену.— Знаешь, кто мне сегодня звонил? Огородникова! Пригласила нас с тобой на завтра. У нее собираются. Великосветский раут. Есть настроение?

— И ты еще спрашиваешь? Что же молчал? Непременно! Ужасно интересно! — Она поворачивалась перед зеркалом и так и этак, оглаживая себя поверх натянутой наконец грации.— В ней и пойду, и живот совсем не заметен. Ой! А ты знаешь, какое у меня платье есть? Один раз надевала. Чудо! Вот увидишь. Настоящее мохеровое. Не проси, сейчас не покажу, завтра перед самым выходом. Умрешь, просто умрешь!

Она давно умолкла и вышла из комнаты, а он по странному капризу памяти продолжал слышать ее слова, непрерывно и однообразно возникающие где-то в глубочайшей, беспросветной пустоте.

Он пробрался в спальню, быстренько разделся. Но уснул не сразу. Возникла потребность еще раз вспомнить прожитый день. Он перебрал в памяти кое-какие основные подробности, представил себя в разных положениях с разными людьми, и нашел, что все прошло вполне на уровне. «Что ж, были минуты недовольства, некоторые срывчики,— признался себе Евгений Петрович, зевая.— Но, известно, человек никогда ничем не бывает доволен совершенно». Свалился на бок и уснул с ощущением полной гармонии со вселенной.

Вечером следующего дня Евгений Петрович искал запонки и случайно наткнулся в глубине стола на медную четырехугольную коробку. Вытащил, подержал в ладони, поглядел на магнитную стрелку, как она пляшет вправо-влево,

вправо-влево... Перевернул коробку обратной стороной: «Штурману нашему Е. П. Прозорову от коллектива шахты «Дальняя» и от меня лично. Г. Рябов».

Усмехнулся. Было дело...

— Чего ты застрял? Поспеси! — крикнула из спальни жена.

— Спешу!

...Было дело... это когда же? Лет шесть назад. Летом. Бригада Шеремета на рекорд пошла. Скреперную выработку впервые применили. Рябов сам вечером явился:

«Торопись, штурман! Нарушение. Бригада не может стоять».

Ну, ясно... Тот, кто имеет власть, что ему главное? Чтобы бригада не стояла...

По всем предварительным данным — сброс пласта... затянут вниз... по хвосту видно. Для верности надо затащить сверло и прорубить метров на пять.

Но Рябов и дослушивать не стал, завелся:

«Какой сброс? Чего городишь? Чего сверло тянуть? Я нюхом чую — вверху пласт! Что у меня, опыта не хватает? Разосторожничался! Время! Время!»

Прав вышел он, Прозоров. И еще раз, когда сбойку на «отлично» провел.

Рябов к себе вызвал, протянул вот этот самый горный компас:

«Чепуховина, а глянешь когда...»

И насчет тридцати персональных процентов к месячному окладу. Деловой мужик, ничего не скажешь...

— Поспеси! Опаздываем!

Сунул компас обратно в стол, пошел в ванную бриться. Брился и размышлял о том, что все, в общем, проходит, что все, в общем, что ни делается, к лучшему, что вот сейчас он отправится в гости и никого из начальства не обязан ставить в известность, где будет. Никаких неурочных вызовов. Спокойный, независимый явится к Огородниковым в своем отличном голландском костюме, сером с серебристой полоской, и постарается произвести там приятное впечатление, чтобы и в дальнейшем Огородниковы звали его и приветали.

Вдруг за дверью заклацали кастаньеты, отрывисто застонал аккордеон, грубый женский голос потек медленно и медвяно.

— Вы-хо-ди! — услышал зов жены.

Прошел в большую комнату. Пусто. Крутились диски магнитофона. Пожал плечами.

— Обернись! — приказали сзади. — Ну? Что?

Обернулся. Лариса шла на него мелкими, убористыми шажками, подняв руки над головой и шелкая пальцами, стараясь попасть в ритм музыки. На ней было пушистое платье. Серое... И голубое тоже... И как бы обындевевшее и слегка колющее на ощупь...

— Где... ты... его... взяла?

— Та-та-та-та... та-та... — подпевала женщина, продолжая шелкать пальцами и настойчиво изображать испанскую танцовщицу. — Как где? Купила... случайно... Англия... Чистый мохер... — Ее голос был обезоруживающе бесцен. — Ну? Как? Убила?

— Убила, — выдохнул он и припал спиной к дверному косяку. — А теперь сними. Хватит.

— Что это ты? С ума сошел?

— Сними! — Бросился к магнитофону и срыву остановил его.

— Ты это всерьез? Тебе не нравится-а? — Она подошла к нему с уже мокрыми глазами. Он увидел, как вскинулись, искривились в горькой обиде ее удлинненные карандашом брови.

— Нет, нет, — забормотал он, отводя от нее глаза. — Просто... да... просто в нашем городе... в этом Снежногорске... была пропасть таких платьев. — Солгал и постарался улыбнуться. — Не знаю почему, но пропасть...

— Да-а-а? А я случайно... через знакомых... Ну, ладно... что ж... если не нравится, сниму, — проговорила обидчиво и покорно.

— Нет... пусть... Я так... Тебе идет, — отступился он. — Очень идет. Я вижу теперь.

— Нет... правда? Я же говорила тебе! Говорила! — и пошла к зеркалу.

Когда жена, занятая примеркой бус, не могла заметить, он протянул руку к ее платью. Пальцы коснулись нежного пуха и заныли. И тотчас после этого рискованного поступка он словно в поисках спасения обежал глазами комнату, все эти полированные поверхности, все эти первосортные штучки цивилизации.

— Знала бы ты, как там было! — взмолился, цепляясь взглядом то за телевизор, то за шелковую шляпу торшера. — Скоростная проходка. Сумасшедший темп. Давай, давай! Надо начинать новый забой среди смены — меня вызывают. Зима, за полночь, пуржит. Бреду, тащусь из сугроба в сугроб... Покрутился, ничего себе.

Ему показалось, что он уже рассказывал об этом жене. Ну да ладно! Было? Было. Трудно? Трудно!

— Бедненький мой... Ужасно! — горестно вздохнула женщина и прижала его руку к своей груди. — Как хорошо, что все кончилось. Как хорошо!

— Хорошо! Да! — кивнул рьяно и встряхнулся. — Пошли. Опаздываем.

— Пошли, пошли! Как хорошо... посидеть, отдохнуть...

Мать честная, куда он попал! Уже от входной двери начинало казаться, что это и не квартира вовсе, а макет квартиры на международной выставке мебели. В просторной прихожей с зеркалом во всю стену вас просили повесить пальто в глубину черного лакированного шкафа, отделанного серебряной чеканкой. Чтобы снять, положим, сапоги, вы имели право воссесть в одно из двух кресел, обитых невиданной экзотической тканью. При этом вам светил мраморный ангел, скромно стоящий в углу с электрическими свечами в воздетых руках, и чуть-чуть насмешливо улыбался вашей робелости и смущению.

Дальше — больше: огромный толстый ковер под ногами, шкура леопарда, небрежно распластанная у камина, хрустальная люстра, а под ней белый рояль со свечами в позолоченных подсвечниках.

В соседней комнате, спальне, опять толстый, от стены до стены ковер, розовый, с порхающими там и сям пестрыми птичками и прочее и прочее.

— И еще одна комнатка, — скромно улыбаясь, сказала Огородникова и, шурша шоколадным шелком брючного костюма, провела любопытствующих в уютную келейку, где торжествовали высветленные изумрудные тона. — Детская, — сказала Огородникова и вздохнула озабоченно. — Юрий!

Подросток, сидевший лицом к окну, вскочил, обернулся, вежливо склонил голову:

— Добрый вечер.

Приглаженные волосы его блестили, переливаясь то ли от воды, то ли от бриллиантина. На столе за его спиной громоздились учебники английского языка и словари.

Огородникова взглянула на часы, висевшие у нее на золотой цепочке, как медальон:

— Тебе остается заниматься восемнадцать минут.

— Да, мама.

— После чего...

— ...Пью свою простоквашу. И пожалуйста, разреши прийти в гостиную послушать.

— Хорошо, — не сразу отозвалась Огородникова. — Но если ты...

— Постараюсь, мама..

— Поверю. Учти — в последний раз.

— Да, мама.

— Какой у вас сын! Какой воспитанный! Просто чудо! Серьезный! Дисциплинированный! Таких детей теперь и не бывает! — восклицали гости, возвращаясь в комнату с белым роялем.

— Что вы, что вы! — протестовала, впрочем без энтузиазма, Огородникова. — В нем столько легкомысленного, максималистского, детского.

Пашка Внуков потянул Прозорова за рукав, отвел в сторону, сделал вид, что демонстрирует ему бронзового танцующего Шиву, похожего на спрута со своими многими руками.

— Что, паря? Обалдел? — спросил тихо.

— Еще бы! — отозвался Евгений Петрович, трогая пальцем холодный медный живот Шивы.

— То-то! — возликовал Пашка и щелкнул Шиву в лоб. — А ты обрадовался, на Сахалине Клондайк застолбил! Дурень! Дите! Букварь! Усек теперь, к какой золотой коровенке они присосались? Два языка вызубрить — шутка ли? Дипломы с отличием — тоже не фунт изюму! Капитал, паря! Осознали и не распылили абы на что, а вложили в стоящее дело — за рубеж добились назначения. Слышал, в одной стране препаршивый климат. А они? Себя не пожалели. А че им климат? Умеют!.. Ума палата.

— Ну, стервецы! Обскакали! И теперь снисходят. Королями глядят.

— Заткнись! Не шебурши! Язык за зубы, хребет на вешалку. Зарабатывай симпатию. Чтобы звали и привечали. Почитай! Вдруг да пригодятся! С их-то связями!..

— Ну-с, пора зажечь! — громко, торжественно возвестил Огородников, щелкнул пистолетом-зажигалкой и наклонился над черной дырой камина..

Вспыхнула, затрещала сухая береста, запахло смолкой, лесом. Огородникова выключила люстру. Огородников дождался, пока пламя расцвело пышно и стало похоже на игрушечный пожар, выпрямился, обдернул на себе серую бархатную куртку с костяными пуговицами.

— Ну-с, пока суд да дело, выпьем слегка? — спросил оживленно. И первым, стоя, красивым движением поднял хрустальный бокал с вином, болтающимся на донышке. — А ля фуршет! А ля фуршет! Прошу, прошу! Шотландское виски! Яванский ром! «Белая лошадь»!

Гости окружили стол. Замелькали в руках бокалы,

бутылки, вилки с закуской. Пляшущий огонь камина за-
сверкал переменчиво на гранях хрусталя, на женских укра-
шениях.

— Черт бы взял! — выкрикнул Пашка Внуков. — Милые!
Родные! Граждане! Братья! Ура индивидуумам, которые
понимают толк в искусстве жить! И тебя приобщают... Пла-
чу от умиления... Убежден, что в такую минуту поэт ска-
зал: «Я люблю тебя, жизнь!» Выпьем!

«Черт побери, да неужели я когда-то был на Сахали-
не?» — Прозоров с бокалом в одной руке и тартинкой в дру-
гой усаживался в кресло возле огня.

Напротив него, тоже в кресле, восседала массивная
длинноногая дама, назвавшаяся критикессой Аидой Ленти-
ной. Надкусывала шоколадную конфету и, утомленно при-
спустив веки, как бы через силу, из великодушия рас-
суждала:

— Я не могу с вами согласиться. Ни в коем случае.
Это довольно милая картинка. Эти ночные, сумрачные эпи-
зоды... Этот неуловимый диссонанс... зловещего морского
пейзажа... эта звенящая цикада, олицетворяющая страсть...
Это находки... это образы... Режиссер невероятно талант-
лив, самобытен, интеллигентен.

Из своеобразного кокетства или еще почему эта дама не
выговаривала шипящие, заменяя их «ф». Получалось «ле-
фит» вместо «лежит», «фто» вместо «что», «пейзафа» вмес-
то «пейзажа».

— Интеллигентен? Хо-хо! — разгневался, и, казалось,
не на шутку, плечистый блондин в клетчатом пиджаке,
вскинул голову и сделал два решительных шага вперед и
столько же назад. — Интеллигент от слова «телега». Не
больше. Знаю я его. Хам! Я снимался у него. Вырезал! По-
чему? Не счел необходимым объяснить. — Блондин возму-
щенно потряс остатками длинных кудрей и грозно уставил-
ся на пламя огня в камине. Припудренные мешки под его
серыми, некогда красивыми глазами подергивались.

— На мой взгляд, — вкрадчивым, обезоруживающим
полусшепотом заговорил Огородников, одинаково улы-
баясь всем, — на мой взгляд, картина заслуживает внима-
ния. В ней есть... неуклонное движение к цели... Сколько
людей гибнет, растрчивает себя на мелочи лишь потому,
что им не хватает стабильного желания достичь... Карти-
на эта о многом заставляет подумать...

— О, это большое, большое искусство — уметь жить, —
проронила запоздало Аида Лентина. — Уметь жить... отрешаться от быта... обнажать свою суть... что-то изначальное,

значительное... неистребимое... Песнь души на кресте тела.

— Как это у вас всегда головокружительно, а... сразу и не поймешь,— откликнулся артист.— Но красиво! Я ваши статьи читаю, как... перец ем. Жжет, но тянет еще, еще... С восторгом сладострастья!

— Сереженька! — позвала горестно беременная.— Ты давно ничего не читаешь. Ты не прочел даже последний роман Моруа, а его все уже прочли, даже моя бабуля.

— Прелестно! — оценила ситуацию Нелли.— Мне это положительно нравится. Что-то новенькое... Кажется, сегодня не соскучишься...

— О, мой милый наив! — застонал актер.— Ты портишь мне карьеру! Ты уронила меня в глазах кинокритикессы! Аида! Окончательно уронила или я еще смею надеяться, что где-нибудь петитиком вы упомяните мое имя? Нимфа! Помянете меня в своих молитвах?

— Вот странность,— Аида Лентина прищурилась, как сквозь туман вглядываясь в жену актера.— Мне захотелось замуж. Захотелось быть беременной. Отчего это? И чтобы кто-нибудь говорил мне: «Мой милый наив!»

— В прошлый раз,— встряла Нелли,— вам, помнится, хотелось быть партнершей Смоктуновского и ощущать его руку на своей щеке...

— О, да! — вздохнула женщина.— Хочется прожить сотни, тысячи жизней, а не только одну, свою...

— Аида! Какой текст! — застонал от восторга актер.

— А мне, признаться,— заявил Пашка Внуков, вытирая салфеткой жирные, вкусные губы,— все эти бесконечные гонки, драки, крики напомнили винегрет, эдакое необычайное оживление овощей.

Он бросил салфетку, не сходя с места, на стол и попал.

В комнате рассмеялись. И самым громким, роскошным смехом — широкоплечий блондин в клетчатом пиджаке. Огородников подошел к Пашке и похлопал его по плечу — мол, благодарю, выручил, а то, чего доброго, заспорили б тут всерьез, как будто их для этого звали,— взял железный прут и полез в камин подбодрить огонь.

Критикесса и блондин щебетали интимно.

Широко раскрытые болезненные глаза жены зачарованно следили за ним. Она робко, уклончиво улыбалась и перебирала худыми пальцами кисти пончо, из которого как-то нелепо и жалко торчала ее голая девичья шея. Вдруг, уловив какой-то тонкий намек своего кумира и повелителя, юная женщина, торопясь, раскрыла свою сумочку и подала ему трубку и бисерный кисет. Казалось, даже ее свет-

лые распущенные волосы, и бархатная ленточка, стянувшая их, и синее пончо — все ласково светится, переливается наивной преданностью плечистому потрепанному мужчине с самодовольным лицом.

Евгений Петрович перевел взгляд на Ларису. Она сидела на диване рядом с Пашкиной Нелли. Приоткрыв рот, страдальчески сведя брови, перескакивала взглядом от лица к лицу, от предмета к предмету. Отметил: положила обе руки на плотно сдвинутые колени. Наивная попытка выглядеть скромно и достойно среди столь блистательного общества. «Как просто сделать ее счастливой», — подумал не без досады. На ее платье он старался не смотреть.

— Я хотела вас спросить... — Огородникова присела возле Ларисы. — Да! А как там, однако, ваша Дарья?

— Ой! — Его жена, польщенная вниманием, зарозовела и уронила сумочку. — Вообразите, что придумала! В Италию собралась, а у самой, вообразите, даже стула приличного нет!

— Я думала о таких, как ваши Севастьяновы... — Огородникова отпила из бокала. — В конечном счете это элементарное неумение жить... То есть люди они в принципе интересные, многое умеют. Это несомненно. А вот зарабатывать и тратить не способны. Что есть, то есть, убеждена, они недостаточно шепетильны и самолюбивы. Они из тех, что то и дело просят займы.

— Даша занимает... Иногда, — неуверенно согласилась Лариса.

— Ну вот! — Огородникова отвела руку с бокалом в сторону. — Как это недостойно, в сущности, в наше время! Несolidно!

— И воевал... и книги пишет... и займы берет... — Нелли кинула в фужер кусочек льда. — Разве это вообще жизнь? Так... Скучно.

— Он алкоголик, видимо? — спросил артист, не вынимая изо рта трубку.

— Писатель, — ответила Огородникова.

— По совместительству?

— Нет, нет, он совсем не пьет! — заверила Лариса. — Этого нет.

— Лучше бы пил, — решила Нелли. — Было бы оправдание. Современный мужчина обязан уметь содержать жену. Обязан!

— Но не менее всего то, — Огородникова прижала бокал к щеке, — что такие вот Севастьяновы всю декларацию свое презрение к тем, кто умеет жить... кто умеет зараба-

тывать и тратить. Мы, разумеется, по их статусу, современные мещане. Основание? Ну, видите ли, у нас рояль, ковры, машина... Мы ни у кого не занимаем. И что для их тонкого душевного склада совсем непостижимо — мы знаем, где можно хорошо заработать. Чудаки! Кто им не дает! Что им мешает!

— Чудаки украшают мир! — возгласил Пашка.

— До поры до времени, — заметил Огородников. — Точнее — украшали. Их время уходит. У нас наконец начинают понимать, что деловой человек — явление не столь уж вредное, а наоборот... Деловой человек, и только деловой человек, способен обеспечить развитие хозяйства... любой отрасли и подотрасли...

— Отбой! — Огородникова встала. — Запахло содокладом.

— Пыльным канцелярским сукном, — подтвердила Нелли.

— Евгений Петрович, дорогой, — неожиданно обратилась Огородникова, — я думаю, вы уже освоились. Как видите, все люди милые, расположенные. Не откажите рассказать о Сахалине. Это исключительно интересно. — Огородникова смотрела ему прямо в зрачки своими ясными, настойчивыми, подгримированными глазами. — Мы все с величайшим удовольствием слушаем вас.

Огородников издалека незаметно наблюдал за этой сценой, ожидая результата.

«Ага... ясненько... я приглашен сюда в качестве закуски... салат... Нет, как нечто остренькое... Для начала», — догадался Прозоров. Он сидит где? У камина. Он пьет отличное вино. Ему позволили попить ногами леопардовую шкуру. Искусственную, впрочем... Но все-таки. А теперь, значит, с него потребовали плату. Обычное дело! Жизнь! Только что он может рассказать о Сахалине? Им, утонченным, самоуверенным, всезнайкам и докам? Да и язык у него... Заурядный язык технаря.

— Что-нибудь особенное... экзотическое... типично сахалинское, — подсказывает Огородникова, и тонкая требовательная улыбка застревает на ее лице. — Например, о тайфунах.

— Попробую.

Прозоров усмехается, оглядывается, краем глаза видит жену. Ах ты, боже мой! Как осунулось, вытянулось ее круглое личико. Бедное создание, она на пределе, она боится, что он не выдержит экзамена. Нет, на нее просто смешно смотреть. Лучше смотреть на Нелли, в ее сонные, ленивые глазки.

— Что такое тайфун? — заговорил Евгений Петрович, обращаясь к Нелли, которая сквозь хрустальную рюмку разглядывала огонь. — Злой ветер и лавина воды. Думаю, всемирный потоп вот так и проходил. Что случается? Всякое. Дома тонут... нет, не большие, конечно, на окраине где-нибудь, в низине. Деревья выворачивает, столбы телеграфные сносит, глядишь — несется поток, пенится, а в нем чего только нет: доски, обувь, толь, ведро — всякое...

В комнату вошел подросток, этот благовоспитанный, с прилизанной головкой, неслышно сел на стул и уставился на Евгения Петровича.

— Случается, размывает железнодорожное полотно, поезда останавливаются. Еще что? Связь телефонная нарушается. Невесело, одним словом.

— Как же там, простите, люди живут? — поинтересовалась Нелли.

Все рассмеялись.

— Очевидно, привыкли, втянулись... Иначе ж... — вымолвила критикесса и почесала мизинцем веко.

«Очевидно... инафе ф...»

— Живут. Работают. Что ж... — счел необходимым пояснить чем-то задетый Прозоров. Почувствовал, что надо бы еще что-то добавить, порезоннее, но не нашелся, только руками развел.

— Лучшего не видели. А если б увидели, если б распробовали, — отозвалась Аида.

— Привычка свыше нам дана, замена счастью она, — продекламировал актер.

— Они не понимают! — вдруг выкрикнул раздосадованный мальчишеский голос. — Я скажу! Можно?

— Ну... если... Прозоров несколько оторопел.

— Товарищ хочет сказать, что люди живут на Сахалине потому, что им там интересно жить! Потому что там не как везде! — быстро, напористо проговорил младший Огородников.

— Что за манера, Юрий! — Огородникова особенно выпрямилась. — Приписывать свои мысли другим! Мы же с тобой договорились? Что вы хотели сказать, Евгений Петрович?

— Что, в общем, тайфуны... и всякое подобное... — Прозоров заметил, что рука у него чуть-чуть дрожит отчего-то, и сунул ее в карман, — и все такое подобное на настроение там не очень влияют. Никто работу не бросает и бежать с острова не спешит.

— Ну, я и говорю — им интересно! — обрадованно заключил Юрий.

— Я согласна! Согласна! — заторопилась в их компанию беременная жена артиста. — Пусть тайфун, пусть ливни. Но интересно... Я сама... в Мурманске жила. Там ночь, ночь... Я знаю!

— Бедняжка, — тихо сказала Огородникова Нелли, — в ее положении всякие пустяки действуют на нервную систему.

Беременная услышала и запротестовала:

— Нет, нет! Это не пустяки! Это надо почувствовать! Это же сколько от людей требует! Иначе — все пустяки! И то, что люди в подводных лодках, как мой брат... и глубоко под землей... в космосе... Не надо! Прошу!

На ее лице загорелись неровные багровые, словно заплаты, пятна. Артист обнял ее за плечи большими, сильными руками, зарокотал тихо, баюкающе:

— Мой милый, милый наив...

Огородникова налила в фужер, протянула ласково, матерински улыбаясь, беременной:

— Прошу вас. Это нарзан.

Потом подошла к Нелли и негромко, твердо сказала:

— А художницы все нет, хотя обещала... Какая бесцеремонность! Больше не приглашу!

Нашла взглядом его, Прозорова:

— Продолжайте, Евгений Петрович. Теперь о цунами. Очень, очень, очень интересно! Мы все имеем о цунами весьма приблизительное представление.

— О цунами? — Прозоров чувствовал себя виноватым за внезапный разлад и приготовился рассказывать.

Но раздался звонок. Огородникова пошла открывать.

— Пожалуйста, о цунами! Поскорее! — просительно крикнул Юрий.

— Сейчас... все соберутся, — рассудил Прозоров.

Вошла Огородникова и девушка в длинном платье, расписанном броскими декоративными мазками. Она закружилась, напевая какую-то веселую мелодию.

— Марина Рогозовская! Художница! Почти единственная в своем роде! — оповестила улыбающаяся Огородникова. — Платье, которое вы видите, сделано ею самой.

— Основание — белый мадеполам, — подхватила художница. — Но его присутствие незаметно. Платье написано масляной краской. Секрет предварительной пропитки — мой, только мой. Открыла, храню. В этом платье гастролировала за рубежом скрипачка Глауферова. Готова ответить на вопросы. Есть вопросы?

— О, несомненно! — уверила хозяйка. — Как мило, что вы пришли. Мы без вас как-то забыли, что собрались отдохнуть, повеселиться.

Очень скоро вокруг художницы сконцентрировалось все общество. Рассматривали рисунок, трогали материал, спрашивали, как, каким образом, ахали, охали.

Прозоров сидел в кресле и чувствовал себя одуроченным.

Пашка Внуков оглянулся на него и сейчас же подбежал, зашептал в ухо:

— Чего это ты так наглядно скис? Обиделся? А на что, собственно? Что предпочли эту вертушку?

— Я думал, — сквозь зубы ответил Прозоров, — они действительно Сахалином интересуются... на полном серьезе...

— Огородниковы — Сахалином?! Ну, букварь, ну, букварь! Да они столько по свету поездили и чего только не повидали!

— А зачем же тогда...

— Для общего антуража, милоч! Как элемент экзотики! Как... как вот... закуска по-мексикански... Но ведь, братец-кролик, мой милый наив, согласишься, нельзя же весь вечер питаться одной закуской по-мексикански! Теперь пошли вторые блюда. А скоро явится чтица Брюсова. Десерт. Усек? Не смей киснуть! Иль за Сахалин обиделся? Может, ты до смерти свой Сахалин любишь?

— Да нет... Но что-то в этих твоих Огородниковых такое выпирает... Уж больно самодовольны! Мы для них что-то вроде... куклы резиновой! Но я в клоунах никогда не ходил и не буду. Хочется, ох хочется какую-нибудь запяную-хохмочку отмочить. Чтоб окосели слегка... чтоб слезли с пьедестальчика...

— Но! Но! Смотри у меня! — рассерженно притопнул ногой Внуков. — Пусть кочевряжатся... Чем бы дитя ни тешилось... Но! Каким вином тебя угощают! Какой закусон предлагают! Неблагодарный! Стыдись!

— Ладно... уговорил, — Прозоров покачался на месте туда-сюда. — Вино... действительно... и закуска...

— Евгений Петрович! — прозвучало меццо-сопрано Огородниковой. — Полешко подбросьте в камин, пожалуйста...

Прозоров глянул, откуда голос. Огородниковы стояли рядом в сторонке и улыбаясь, покровительственно и чуть свысока наблюдали происходящее. «Львы, когда они сыты, позволяют антилопам пастись поблизости», — припомнилось ему читанное когда-то.

Медленно, нехотя, но он все-таки выполнил просьбу хозяйки — бросил полено в дыру камина.

Попридержав его возле себя за лацкан, Нелли проговорила раздумчиво:

— Нет, нет. Это все-таки негигиенично... масляная краска к телу. Нет доступа воздуха. Извращение... Это уж если надеть нечего... тогда... Верно?

Евгений Петрович не успел собраться и ответить. За стеной взревел мощный, безудержный голос:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!

— Вот, пожалуйста! — сказала Огородникова и поглядела на стену удрученным взглядом. Пересилила себя, улыбнулась, развела руками. — Как ни жаль, но нам, представьте, придется менять эту квартиру. Увы, за стеной живет сумасшедший.

— Мама! — позвал младший Огородников. — Люди могут подумать, что это простой сумасшедший. Но это не простой сумасшедший. Его контузило в войну, в сорок третьем. Ему было восемнадцать. Почти столько, сколько мне сейчас.

— Опять ты говоришь за других! — Огородникова переставила пепельницу. — Разумеется, все, все на свете объяснимо. Но, согласитесь, крики ночью... под утро. Мы же не можем...

— Мной не оперируйте! Я лично привык и могу, — перебил мальчишка.

«Ну, шельмец! Ну, паршивец! — подумал Прозоров, не без удовольствия обнаружив столь опасную трещину в капитально воздвигнутом благоденствии Огородниковых. — Стоп. У тебя тоже дочь растет, — напомнил себе вдруг. — Как все обернется, знаешь, что ли?» Нахмурился, отвернулся от мальчишки, прислушался к голосу Огородникова-отца.

— Вот вам и хваленые интернаты! Причем лучший из лучших! К сожалению, мы вынуждены были оставить его. — Огородников шагал по комнате размашистым, вольным шагом, демонстрируя при этом отличную посадку головы. — Он смеет перебивать мать! Смеет вмешиваться в разговоры взрослых! На что это похоже? Я спрашиваю тебя!

А песня за стеной все жила.

Сначала слова ее как бы летели над Прозоровым, слегка, неопасно овеивая его холодком. Но в какой-то непой-

манный момент они нахлынули, оторвали его от кресла, от света, звуков, запахов тысяча девятьсот шестьдесят такого-то года, подхватили и понесли... И вынесли в затоптанную привокзальную полынь сорок первого, ужав при этом до размеров семилетнего пацаненка.

...Полынь пахла горькой, горячей от солнца пылью и бездомностью. И голодная слюна, то и дело забивавшая рот, была горькой и вязкой, как клей.

Но тошнотворнее всего был запах дезинфекции, застоявшийся надо всеми этими женщинами, детьми, стариками и старухами, копошащимися вокруг, кричащими, поющими колыбельные песни, рассказывающими, как жили совсем недавно, сколько блинов пекли зараз, сколько меда ели, как в какой момент застало их известие о войне и что сказал, уходя на фронт, их муж, отец, сын...

Их высадили из поездов, чтоб пропустить через мытье в дезинфекционной бане, а потом погрузить в вагоны и отправить в глубь Средней Азии.

Отправки они ждут третьи сутки. Для них жжет с высоты белесое казахстанское солнце, для них бьет толстая струя воды из железного крана, для них гремит оловянное горло репродуктора:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!

То и дело подходят бесконечные эшелоны, останавливаются ненадолго. Из них выскакивают солдаты в шинелях и ушанках, расхватывают из квадратной узкой дыры обособленного домика положенный им пайковый хлеб и по гудку паровоза сбегаются вновь, тяжело топоча сапогами. Буфера бьют друг о дружку, скрипит песок на рельсах от первого оборота колес, и вот уже эшелон мчится во весь опор в разверстую даль, и уже нет его — заглохнуло железное, скрежещущее, ненасытное — война.

Старший брат и мать с грудным затерялись где-то тут, но искать их лень. Солнце до того напекло макушку, что на ней как будто лежит горячий блин.

Тут и станция, и каждая шпала, и вся степь вокруг — дезинфекционная камера!

Глаза слипались от жары, от голода, от вялых, однообразных мыслей. Поэтому он сначала уловил запах, а потом увидел: солдат несет полбуханки пайкового хлеба с пайковой селедкой. Ему в глаз попала соринка. Он приостановился, положил паек возле своего кирзового сапога и принялся тереть глаз.

Солдат возился с глазом, чертыхался и ничего не замечал вокруг. Женька подобрался весь, цапнул хлеб и бросился бежать.

— Сто-ой! — закричал солдат.

Женька враз оробел, распустился и встал, хотя отбежал на вполне безопасное расстояние, в степь.

Солдат неся, громыхая сапожищами. Из рукавов его шинели торчали кулаки. Вокруг не было ни души. Какая-то одинокая букашка ползла по серому стеблю полыни. Солдат наступил на нее сапогом.

— Нате, нате, нате! Я не кусал! — бормотал Женька раздавленным голосом и тянул трясущиеся руки с хлебом.

Хлеб уперся в жесткое сукно солдатской шинели. Но солдат не глядел на хлеб. Он глядел на Женьку. Глаза у него на белом лице были черные и жуткие.

— Ах вот ты какой! — тихим, подкрадывающимся шепотом проговорил солдат. Черные глаза его вспыхнули. — Хлеб у солдата? — шептал солдат и с присвистом сквозь стиснутые зубы втягивал воздух. — А я-то верил! Вы подрастете... Лучше нас...

— Нате, нате, нате! Ну пожалуйста, ну возьмите! Я ни-сколечки не укусил, ни крошечки, не лизнул даже! — без умолку надсаживался Женька, тыча полбуханкой в солдатское железное сукно.

Солдат охнул, осел в полынь, сдавил голову руками и пробормотал:

— Врешь! Врешь! Надо. В том-то и дело — надо. Всем надо! — Неожиданно подтянулся к Женьке, сгреб его руками, подпернул к себе, дыхнул в ухо горячим: — Прости меня, пацан. Забудь. Бери хлеб, бери весь, ешь!

Сквозь слезную муть Женька увидел вдруг женщину. Она стояла в полыни неподвижно, приткнув к открытой груди спеленатого младенца. Движением головы женщина отбросила с лица волосы, и Женька узнал в ней свою мать. Ее грудь, которую ребенок держал за сосок, была вся на виду, тугая, белая, как снежный ком.

Солдат глядел на эту грудь, на распоряжающегося ею младенца.

Ногами развалив высокую закрученную полынь, Женькина мать шагнула к солдату, оторвала ребенка от груди, протянула ему и сказала:

— На. Подержи.

Ребенок обиженно мяукнул. Солдат в смущении отступил, сдвинул ушанку к затылку.

— Ничего! Держи! — подбодрила его Женькина мать и

положила живой кулечек в его ладони, подставленные корытцами, а сама скинула с ноги туфлю и потрясла — либо камешек выкинула, либо песок ссыпала.

Солдат сначала присел словно от большой, внезапной тяжести, но потом выпрямился, качнул шуточную ношу скованными руками, покраснел малиново и пробормотал сквозь растекшиеся губы:

— Вот оно какое... Такое, оказывается... как его... ну, в общем, теплое... копошится...

— Тебя как зовут? — спросила Женькина мать, вытряхивая другую туфлю.

— Владимир. Смоленский я, вяземский. А что? — Солдат разглядывал младенца и морщился от веселого глуповатого недоумения.

— Значит, быть ему Владимиром, — сказала Женькина мать.

Она взяла у солдата распищавшегося новокрещенного Владимира и вернула ему свою грудь.

Солдат смотрел на мать неотрывно, во все глаза. Губы его дергались, он что-то силился сказать, но вместо этого потянулся к матери весь, преданно, охранительно и еще как-то непостижимо для детского ума.

И мать не отстранилась, не остереглась, а подняла к нему спокойные мягкие губы. И в этот миг он, Женька, открыл вдруг, что глаза у солдата вовсе не черные, а светлые, и что он вообще очень красивый и молодой, и что мать с легкой, кудрявой головой, с алыми бусами на загорелой шее тоже совсем еще молодая и красивая. Пожалуй, он никогда больше не видел ее такой красивой, ни до, ни после... Вспыхнуло и погасло...

А со стороны вокзала гремело:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна-а-а...
Идет война народная,
Священная война.

И все это, вместе взятое, называлось станция Арысь. Арысь? Как он очутился на станции Арысь? Он не желает! Не желает думать ни о чем об этом!

Но все-таки думает, черт побери! Среди тех, кто умирал тогда, в сорок первом, втором... были лучше его. Действительно, если разобраться, кто он сейчас? А кем мог быть? И уже совсем дурацкое, заметив этикетку на уголке полотняной скомканной салфетки: «Вязьма? Смоленской области? Неужели это там делают сейчас такие штучки? Неужели там тихо-тихо и вот эти салфеточки стопочками?

А бои за Вязьму? Никаких боев за Вязьму? Ни в каких военных сводках про Вязьму? Никаких военных сводок вообще?»

В конце концов он крепко разозлился на свою податливость и благодаря этой здоровой нетерпеливой злости выдернул себя из засасывающего водоворота прошлого и отряхнулся от блажных, прилипчивых, развинчивающих вопросов и услышал голос Огородниковой:

— Вот, пожалуйста, а вы говорили, какой воспитанный, дисциплинированный... Заурядная ребячливость и бестолковость.

Огородникова обращалась к его жене, к Ларисе.

— Я только уточнил,— тихо ерепенился мальчишка,— что через два года мне тоже будет восемнадцать... Я думаю... И давно думаю, что, если бы мне было восемнадцать и если бы меня спросили, что тебе лучше: смерть или такая — он кивнул на стену,— контузия. Я бы выбрал смерть...

— Ребечество... ребечество! — подытожила мать. — Никакого проблеска. «Если бы... Если бы». Иди-ка ты спать.

— Иди! Иди! Спи. Спи! — присоединился отец. — Взрослые проблемы еще не для тебя.

Мальчишка ушел.

— Что будет с ним... Что будет? — проронила Огородникова.

— С ним — неясно, — ответила Нелли, помешивая в фужере полимерной соломинкой. — Но ясно, что, если вы переедете в новостройку где-нибудь в Бирюлеве, камина у вас не будет.

— Увы, не будет, — вздохнула хозяйка. — Но сколько же терпеть! А ведь мы предпринимали... предлагали его матери... определить его в психбольницу. У нас знакомый профессор. В отличную психбольницу. Но мать ни в какую. Хоть у нее уже два инфаркта... Ждет, когда он ее совсем доконает... надо полагать...

— Ужасно! Ужасно! — пробормотала Лариса.

— Вот именно. — Огородникова вынула из пачки сигарету, закурила. — Наше положение ужасное, исключительное. Как нарочно... Вряд ли кто из вас сталкивался с подобным... чтоб через стену эти дикие вопли...

— Ой, нет, конечно! Господи спаси! — Молоденькая художница неумело перекрестилась. — Я бы сама уж попала в сумасшедший дом.

И тут вдруг как черт дернул Прозорова.

— А я сталкивался, — внятно сказал он. — Было.

— Вопли за стеной?! Ночью?! Почти каждую ночь?! — Огородникова нисколько не поверила ему.

— Ты мне никогда не рассказывал... — вставила жена как бы из чувства солидарности с хозяйкой, чтоб подкрепить раболопное ее недоверие.

— Ночью. Каждую ночь, — пресек Прозоров сомнения. — Я жил в бараке. В сорок пятом. Полный барак женщин и детей. Кое к кому стали возвращаться с фронта. Дядя Фока тоже вернулся и жил. Днем сидит, сапожничают... всякую рвань латает... Ему со всей улицы несли... Нормальный человек... улыбается, «Беломор» курит... А ночью, после полуночи, вскакивает и кричит: «Взвод, за мной!» — и еще по-матерному. На весь барак... Стенки фанерные дрожали... Дети просыпаются... рев, шум...

— И что же люди... матери? — Огородникова глубоко затянулась сигаретой.

— А несли ему кто что мог: кто сахару кусок... кто лепешку из картофельных очисток... Что было. А он все это добро нам, ребятишкам, отдавал. А мне и гимнастерку... заодно уж... последнюю... Чинил он безотказно, что ни попросят...

Тяжело задышала беременная жена актера и спросила с детским изумлением:

— А сам в чем же?

— А так... А ему ничего уже не нужно было... Он почки в окопах застудил... знал, что умрет скоро. У него болело... все болело... «Беломором» спасался. Мы, ребятишки, где могли доставали ему «Беломор»... стреляли... клянчили. Когда его хоронили, на подушке три ордена Славы несли. Полный кавалер. Таким... полным кавалерам все без очереди, только пожелай: и билет на поезд, и белье в химчистку... теперь... Вот бы попользовался...

Беременная завозилась в кресле, высморкалась в платочек, как будто всхлипнула.

Огородникова кинула в пепельницу недокуренную сигарету.

— Война... война, — произнесла озабоченно. — Огромное всенародное бедствие. Но ведь согласитесь — одно дело тогда терпеть, когда все терпят, в сорок пятом... Но сейчас, спустя столько лет!

— А я вот вспомнил своего отца, — сказал артист, вскочил с кресла и заходил по комнате. — Он тоже с фронта в сорок пятом вернулся... Играл на аккордеоне... он трофейный привез... Вдруг ослаб весь... распустился... подбегали — умер. Полгода всего на аккордеоне и поиграл...

Ну, меня из школы... навоз на поля возить. Возил. На корове. Помню до сих пор, как корову звали — Зинка.

В камине потрескивали головешки. Сморкалась в платок беременная женщина.

— Отца не знала,— заговорила, глядя в одну точку, Аида Лентина.— Он погиб в первые дни войны. Помню бомбежки. И вой сирены. Спала всегда одетая, в ботинках. На случай тревоги. Как завоет — несемся с мамой в «щель». Вылезали — все в земле: и волосы, и уши, и в ботинках полно.

— На моих глазах,— Пашка Внуков стоял возле рояля,— на моих глазах миной сестренку младшую разорвало.— Протянул руку и нажал пальцами на свечу — погасил огонь.— На моих глазах немцы нашу деревню жгли.— Выдернул свечу из подсвечника, повертел, оглядывая, всунул на место.

— Для меня война — это невыносимое, тягучее желание — есть, есть...— Огородникова говорила, закрыв глаза.— Видела я и бомбежки, и пожары, но самое страшное, по-моему, голод. Мы, дети, помню, весь мир делили на две части: что съедобно и что несъедобно. Несъедобного было полно: шпалы, рельсы, земля, кастрюли...— Открыла глаза.— Что же вы? Почему ничего не едим? Ешьте, ешьте, пожалуйста! Люблю, когда все сыты...

— Ужасно! Ужасно! — вздохнула Лариса.— Когда я читаю про это — слезы текут.

— А я не читаю военных книг,— призналась художница.— И на военные фильмы не хожу. Чтоб лишний раз не расстраиваться. Мне хватает того, что мама порассказала. Она всю войну в санитарках была...

— Эх, вы! Молодежь! — Пашка Внуков налил себе полную рюмку.— Хоть тысячи книг про войну прочитайте, хоть тысячи фильмов просмотрите. Не то! Вы — уже другой век. Не улавливаете, не прощупываете... чтоб до печенки. Вы — отсюда, мы — оттуда.

Выпил, постоял, глядя в пол.

— Жила в Чите,— Нелли завязала соломинку для коктейля узелком, развязала и снова завязала.— Мать получала по аттестату. Училась играть на пианино, ходила в театр. Что такое бомбежки, голод... слышала, но не знаю. А что, если...— усмехнулась, подержала соломинку в зубах.— Почему-то обидно... Словно меня обошли... Словно вы побывали где-то... преодолели... и теперь вам есть что вспомнить. А я тут при чем? Нет, не люблю, когда при мне о войне говорят...— приподнялась, сдвинула кресло и села лицом к камину, спиной ко всем.

— Но как же он без гимнастерки даже? — крикнула Прозорову беременная женщина.

— Кто? — не сразу сообразил он.

— Дядя Фока, — беременная вскочила и, ежась под пончо, как от холода, подошла к Прозорову. — Как? Домой хочу... хочу домой...

Муж обхватил ее за плечи:

— Идем, идем, конечно...

У двери обернулся и сказал всем извинительно:

— Мой милый наив...

— Ваш рассказ не для слабонервных, — Огородникова приостановилась около Прозорова. — И вообще зачем понадобились эти военные воспоминания? Что это мы вдруг? Какой смысл вспоминать и вспоминать? Только настроение испортили друг другу, — и прошла в прихожую.

— Друзья! К делу! А ля фуршет! А ля фуршет! — возгласил хозяин и ударил слегка, до нежного звона, бутылку о бутылку.

По телевизору во весь дух мчался паровоз и тянул череду вагонов и черный длинный бредень дыма.

— Женья, зачем ты это сделал? — зашептали Прозорову в ухо.

— Что? — он не пошевелился, наблюдая за движением паровоза.

— Рассказал... и всем не по себе.

Паровоз скрылся в лесу, вместо него по экрану скакали кони без всадников. Прозоров повернулся к жене.

— Какое на тебе платье! Какое платье... — проговорил сквозь сомкнутые зубы.

— При чем тут платье? — Лариса силилась улыбнуться, чтоб со стороны получалась веселая, добродушная семейная сцена. — Я хотела бы здесь всегда бывать, но ты... ты...

— А знаешь ли, Чижик, каков коэффициент полезного действия паровоза? — вдруг спросил он у нее. — Пыхтит, спешит, гудит... А коэффициент? Три процента! Девяносто семь процентов энергии буквально в трубу!

— Паровоз? — Лариса забыла улыбаться. — При чем здесь паровоз? Женья! Ты что? Что с тобой! Ты смотри, смотри, куда попал! Цени! Видел, что ли, такое на своем Сахалине?

— Чижик... Чижик... — Он стиснул ее плечо, она сморщилась. — Заруби себе на носу, на Сахалине тоже люди живут. И такое встречается... случается... Не приведи бог!

Дай остановиться! — разжал пальцы, убрал руку. — Отойди... не мельтеши... глазам больно...

— Ты слишком выпил? Да? — Жена старалась не смотреть ему в глаза.

— В точку! — подхватил он. — Перепил! Переел! Отойди, отойди, ради всего святого! Дай мне сообразить...

— Еще и перепил... Не позовут... А я-то думала... Какая все чепуха... Все чепуха!

Лариса отпрянула в этом пушистом своем, как будто обывдевшем слегка, а на самом деле нежном и теплом платье... Вон оно! Ослабел... ошалел, опьянел... И попался... Нечего было пить, болван! Слабак! Размазня!

С маху бросил ладонь на глаза. А когда открыл глаза, то там, на диване, где только что сидела его жена, увидел совершенно незнакомую женщину. Корона черных тяжелых волос, высокий лоб, черное платье, а на нем, на этом суровом, мертвом фоне, живым, чувственным крестом две голые руки, две узкие страдающие кисти.

Это было? Неужели? —

произнесла женщина, пристально вглядываясь во что-то дальнее, еле различимое, и умолкла, устала будто. Но широкий, низкий раскат ее голоса, казалось, еще продолжал колебать воздух и огонь свечей над клавиатурой рояля.

«Ага, чтица, — догадался Прозоров и заставил себя вспомнить, что сидит в удобном кресле и огонь камина нежно дышит ему в щеку. — Гляди и чувствуй! — сказал он себе. — Красивая женщина читает Брюсова. И тебе тоже. Сколько бы желающих нашлось очутиться на твоём месте! А ты...»

Это было? Неужели? —

громче, увлеченней повторила женщина и как бы в забытых притронулась кончиками пальцев к переносице.

Нет! и быть-то не могло,
Звезды рдели на постели,
Было в сумраке светло.

«А ты? А ты? — соображал Прозоров. — Обижаться на Огородниковых? Язвить? За что? Что они не все внимание сосредоточили на тебе? Вон же художница, получила отставку, и ничего, сидит, жуёт тартинки. А ты особенный, что ли? Ох уж эта заскорузлая плебейская заносчивость! Чумная плебейская спесь! За Сахалин обиделся... Тоже еще... Что, может, любишь его без памяти? Нет, но все-таки... Что «все-таки»? Что «все-таки»? Это... вокруг —

и Сахалин... Сравни! Созместимо? Фу ты, глупость какая! — Евгений Петрович крутнул головой, усмехнулся. — Ну конечно же никакого сравнения! Даже смешно». Откинулся на спинку кресла и точно очутился в ненавязчивых, мягких объятиях и осознал наконец, что никогда прежде, ни при каких других обстоятельствах он не чувствовал себя дальше от Сахалина и связанных с ним воспоминаний, чем сейчас, здесь. Даже представить невозможно, что он не так уж давно месил грязь малюсенького шахтерского городка пропотевшими сапожищами. Внезапное чувство освобождения охватило Прозорова, заставило улыбнуться блаженно и бессмысленно. Это была немного истеричная улыбка человека, который минуту назад думал, что болен неизлечимо, но вот ему представили неизвестные доселе убедительные доказательства ошибочности такого диагноза. И он горячо, нетерпеливо поверил в свою неуязвимость.

Сквозь туман таинственный
Голос слышу вновь,—

проник в его уши протяжный шепот,—

Голос твой единственный,
Юная любовь!

В чтении надменной женщины была напряженная, до дрожи, размашистая плавность, подобная лету качелей. Каждое слово она начинала чуть глуше, а заканчивала звонче, облегченной, словно заставляла его внезапно взлететь ввысь. Еще немного — и Прозоров поддался колдовской власти этого торжествующего в тишине голоса. Его подтолкнуло, закачало, раскачало — не остановить: вверх-вниз, вверх-вниз... И жутко и сладко до головокружения. Сумрачная, дикая лесная чащоба, грузно, опасно нависшая над ним, вдруг представилась Евгению Петровичу. Там, на Сахалине, он как-то забрел в такое глухое, сырое место. Лиственницы, ели, осины, лопухи-гиганты — все росло тут до того густо, жадно, неукротимо, что он оробел вдруг и бросился туда, где мирно, дремотно, понятно светило солнце и где обыкновенная плешивенькая тропинка вилась себе и вилась в кургузеньких бамбучках.

Тихо наклоняется
Призрак надо мной,
Призрак улыбается,
Бледный и земной.

В груди заскребло, заныло, да так явственно, что Прозоров оглянулся — не слышит ли кто. Но все сидели неподвижно, приспустив веки.

Вот зажглись жемчужные
Звезды в небесах,
И слова ненужные
Снова на устах,—

тосковал одинокий голос, изнуренный страстью и недоумением. А Прозоров, утирая пот с висков, закрыл глаза, ошеломленно и зло уверял себя: «Ну и что? Что? Она читает. Они слушают. Всего-то. Ну, Брюсов. А что Брюсов? Умер давно. И мне наплевать. На него и на его стихи! Да!»

Открыл глаза, углядел кружево комбинации, белеющее чуть из-под черного платья чтицы, и почувствовал с облегчением, что таинственная власть ее голоса над ним слабеет. Чтобы закрепить свою независимость, встал, подошел к столу, выпил залпом рюмку коньяка, еще и еще, не глядя по сторонам. А потом, когда чтица умолкла, подошел к ней на беспомощных пьяных ногах, потребовал строго и убежденно:

— Не надо Брюсова! Никаких стихов! Мало ли... К черту! Мы все со станции Арысь... Только тихо... я понимаю... ни к чему. Арысь-брысь! Правильно? Брюсов... Ну и что? Мы все не просто... Хватит! Помер давно! А мы живые! Во взаимном уважении и сочувствии! Прошу, требую — не надо поддаваться! Не надо останавливаться! Вперед и вперед, и ни-ка-ких!

Все смеялись. Чтица тоже улыбнулась, обмочила в бокале губы и стала прощаться, деловитая, неподкупная, величая.

...Прозоров брел, сунув руки в карманы пальто, уставясь взглядом в мокрый, разящий сыростью асфальт, и подводил итоги: «Вот, значит, как это будет. Культурное времяпрепровождение. Красиво, вежливо, то... се... Немного юмора, немного вина, разговорчики о том о сем, стихи, свечи... И я тут же. «Евгений Петрович, дорогой, будьте любезны, положите в камин полешко. Прекрасно. Благодарю вас, благодарю»...»

В узком каменном переулке, куда они завернули, было как-то особенно сумрачно и сонно. И звезды казались отсюда дальше, недоступнее, словно мерцали не у поверхности небесного океана, а из самой его глухой глубины.

Вдруг Прозорову показалось, что переулок и небо над ним вздрогнули. Из распахнутого окна старинного дома с колоннами ударили два мощных фортепьянных аккорда. И на непокрытую голову Прозорова обрушилась с гулом и звоном лавина гневных звуков. Прозоров инстинктивно отшатнулся от темной расщелины окна и замер, схватив-

шись рукой за каменный выступ. Старая отсыревшая штукатурка раскрошилась под пальцами. Он услышал, как она просыпалась на асфальт, потому что внезапно опять стало тихо, отчетливо тихо после такого неистового, разрушительного грома.

Прозоров отпустил выступ, шагнул было прочь, мимо. Тинь-тинь — робко, просительно вскрикнула ему вслед клавиша. Остановился, поднял голову к черному четырехугольнику окна.

— Жень, Жень, мне холодно. Чего ты? Идем! — звал голос.

Кого? Его, что ли?

— Ночь темная, два часа, — ныла и сердилась женщина. — Не имеют права. Людям спать мешают. Есть постановление Моссовета. Специальное. Вот нахалы.

Тинь-тинь?.. — доверчиво спрашивала одинокая клавиша. Тинь-тинь? — и в темном воздухе сверкнула Прозорову на миг зовущая, преданная полуулыбка. Обеими руками он потянулся к колонне, и обнял ее, и прижался к ней весь, ободрал скулу о выщербленную штукатурку и не почувствовал боли.

...Он забыл раздеться. В пальто, в грязных ботинках прошел в спальню, сел на постель. Сидел долго, свесив ненужные руки.

И так и эдак пробуя расстегнуть грацию неподдающихся утомленными пальцами, полуголая женщина время от времени заглядывала в его раскрытые остановившиеся глаза, но они не отвечали ей.

— Ты как теледиктор. Вроде смотришь в упор на меня, но вовсе меня не видишь, — попробовала она шутить.

Он не откликнулся, не сморгнул. Ее для него не существовало. Он сам по себе — она сама по себе. Так она, должно быть, поняла, и, вероятно, поняла правильно. Внезапный страх сковал ее лицо, замер в глазах.

— У тебя была женщина, — прошептали ее омертвевшие губы. — Я чувствую, чувствую! — твердила она с возрастающим ужасом перед опасностью опалы и одиночества.

— Разве? — спросил он.

— У тебя была баба! — не унималась она.

— Неужели?

— Была, была! Проститутка несчастная!

Она корчилась, тщетно, в который раз пытаясь расстегнуть «молнию» на спине и высвободиться из тесного шелкового мешка. А он посмотрел наконец на нее и увидел, как из-за туго натянутых краев материи вспучиваются из-

лишки ее полноты, как от крика безобразно вздулись жилы на ее короткой шее.

— Молчи, дура, дуреха... дурища... — устало сказал он, не поднимая обвисших рук.

— Что? Как?! Хам! — очумело и жалко вскрикнула женщина.

— Хам, — равнодушно повторил он. — Хам, Лариса, хам. Наконец-то ты выдала голую, святую правду.

Ей наконец удалось самостоятельно стянуть с себя грацию. Она скомкала ее и швырнула на кресло. Не попала. Но поднимать не захотела.

— А тебе точно нужна голая правда? — спросила хриловатым, подначивающим тоном. — Ты в этом уверен? Ну, так я скажу! Терпела, сдерживалась... Но я не такая дура, как ты думаешь. Придрался к платью... сам не свой. Я еще тогда, тогда поняла, что тут что-то не то! Не то! Но я не дала себе воли... Я опять решила приспособиться, приноровиться... Чтобы как у всех, по-хорошему, по-семейному... Все время подстраивалась! Боже! Как это тошно! Подстраиваться! Подделываться! Но я честно хотела! Чтоб все заново... как надо... А ты что хотел? Что? Ото всего отказалась... А ты что хотел? Сначала-то ты хоть что-то хотел. Вещи продать, обменять, потому что... Не продал, не обменял. Тебе все равно стало.

— Разве? — спросил он, потому что надо ж было как-то реагировать, принято реагировать.

— Ты только сначала что-то хотел, сгоряча. — Женщина дрожавшими руками вытаскивала из волос шпильки. — Я видела, я чувствовала... Аленку в зоопарк сводил... на выставку... А дальше? Глупенькая Аленка? Да? Ты думаешь? Потому что маленькая? Ошибаешься. Она все понимает! Все! Я расскажу... Вчера выхожу из лифта этажом выше по ошибке и вдруг слышу: «Карлсон! Дядя Толик! Где ты? А я тут я... вот она я». У запертой двери стояла... Одна. Холодно. Я замерзла... Зачем ты к нам приехал? Зачем? Даже интересно...

— Как зачем? А куда же?

— Чего, чего ты хочешь? Чего тебе надо? Знаешь, если бы я знала, что... Зачем? Зачем ты? Все кувыркком... а еще, еще...

Махнула рукой и убежала из комнаты.

— Зачем... Как это зачем? — вслух поинтересовался он, Прозоров. — Жить... Семейно, по-хорошему... как все... Что же тут непонятного! К чему истерики? Что я такого, собственно, сделал, чтобы на меня кричать? Упрекать... ругать-

ся? И почему вдруг все кувырком? По-моему, полный порядок. Заелась, милая. Успела! Нет, в самом деле. Квартира? Пожалуйста!.. Машина? Скоро будет... Чего еще надо? Чего? Все есть, все. Чего не у всех, между прочим... Стула и того приличного... У кого это? И живут... А, да, у Севастьяновых! У Севастьяновых, сама говорила, нет даже приличного стула. И живут... И нипочем, обходятся... Надо ж... Севастьяновы. Как это Нелли про них: «И воевал, и пишет... и не получает четыреста в месяц. Разве это жизнь? Довольствуетесь!» Как ее Дарья! Ого-го! Гонору! Между прочим, звала меня в гости? Звала... Вот и приду. «Здравствуйте, я ваша тетя». Перепил ты, Женька, перепил. Нужны тебе эти Севастьяновы... Ложись-ка спи! А может, нужны? Спи, Женька, спи! Но зачем они без приличного стула? — Он поднялся, выпрямился. — Выставляются? Мол, мы и так лучше? А чем лучше? Чем вы лучше? Чихал я на вас! Чихал на вас Женька Прозоров! Он сам по себе! Он пойдет сейчас под душ... и — в постель... и точка... и никаких...

Голова гудела. Стоило, стоило сейчас же под душ. Но он опять сел, обхватил голову растопыренными пальцами и стал качать ее туда-сюда, к правому плечу — к левому плечу, убаюкивая застрявшую в ней боль.

Наутро, едва очнувшись от сна, подхватился, отыскал еще неопробованный эспандер и принялся усердно тянуть.

Жена лежала на спине, закрыв глаза, но не спала. Он заметил это по нечаянному движению ее губ.

— Лариса, — позвал смиренно, продолжая что есть мочи растягивать туго поддающуюся пружину. — Я здорово перепил вчера. Прости, если что не так... И давай больше ни в какие компании, никаких пьянок. Ну их к бабушке!

— Тебе что, яичницу, омлет? — спросила она каким-то будничным голосом.

— Хочешь, я сегодня зайду за тобой после работы? Пойдем куда-нибудь. На какую-нибудь выставку, что ли... Погуляем. Или в кино... Как? — спросил ее в полный голос, чтоб она услышала там, в кухне.

— Зайди! — откликнулась она быстро и что-то уронила, но не разбила, кажется...

...В этот вечер и еще вечеров девять подряд он заходил за ней в библиотеку.

Разумеется, там он часто видел тех двух девиц-принципалок: толстушку с двумя желтоватыми хвостиками, торчащими из-за ушей наподобие снопиков, и худую черно-

волосую, похожую на пажа-переростка. Обе они ходили, важно закинув головы, здоровались с забавным нелепым высокомерием. Он слышал их подчеркнуто официальные, прокурорские голоса, которыми они разговаривали с читателями. Особенно та, очкастый паж. «Чудные, чудные все мы, люди», — усмехался и смутно чувствовал, что в чем-то как-то эти две упрямые девушки родственны ему. Обнаружить это было почти так же неприятно, даже оскорбительно, как открыть вдруг зловещую противоестественную связь между собой — молодым, здоровым, энергичным и дряблым, унылым тестем.

И все-таки однажды в гостях у стариков Прозоров испытал не только снисходительную жалость к смешному пузатенькому почитателю могучих, деятельных, деспотичных личностей. Неожиданно острый кончик этого случайного, предназначенного другому сострадания кольнул в сердце самого Прозорова, словно и он тоже кончился весь, вышел, выдохся, ни на что толком не годен уже, никому всерьез не нужен, и не заметил сам, когда это произошло с ним. Прощаясь, он порывисто стиснул руку своему нечаянному собрату, но тот отшатнулся от него с гримасой боли и недоумения на добром скучном лице импотента.

Что же касается девушек-библиотекарш, то и с ними Прозоров, сам тоже не желая, здоровался как-то уж очень свойски, участливо, не считаясь с их дурацкой слепой заносчивостью.

Несколько раз, мельком, встречал он и ту, Дарью, в брючках и в неизменной белой шерстяной кофточке. Она подходила к нему первой, смело протягивала руку и улыбалась, щуря синие дерзкие глаза. Он видел частый тонкий переплет морщинок возле ее глаз и на вздернутом худом носике, хорошие молодые зубы, сияющие чистым блеском. А однажды успел разглядеть аккуратную, еле приметную штопку на белой кофточке, — должно быть, прожгла горячим пеплом от сигарет.

И хотя она была любезна с ним и кокетлива, пожалуй, его не оставляло трезвое подозрение, что все это чепуха, привычная, мгновенная самозащита, ловкая, лукавая, обаятельная импровизация на тему «какое мне дело до вас, Е. П., а вам — до меня?».

Что ж, обижаться не за что, глупо. У каждого из них своя, отдельная жизнь.

И все-таки Прозоров только делал при ней вид, что несколько не задет, усиленно, беспечно улыбался и пытался острить ей в тон. Но едва она уходила — «Работа, работа,

понимаете ли!», — он с безотчетным недоумением глядел ей вслед, на ее разбросанные по плечам и взлетающие на ходу легкие темные пряди. Сама того не подозревая, она раздувала в нем какую-то притаившуюся, тихо тлеющую тревогу, которая потом долго, болезненно остывала в нем.

Это особенно беспокоило Евгения Петровича в часы досуга. На работе же он чувствовал себя в полной безопасности от подобных смущающих душу мыслей. Работа, которую он знал и толково выполнял — чему прямое свидетельство уважение сослуживцев, — неизменно поднимает его в собственных глазах. «Как трудящийся человек полезен обществу. Вот главное, что определяет мою настоящую цену», — рассудил он раз навсегда. Все остальное, всякие чувствования, поступки, не относящиеся непосредственно к его деловому «я», представлялись ему несущественными, нестоящими, чтобы на них задерживать внимание.

Он хочет от жизни простоты и ясности и не желает искусственно и бессмысленно усложнять ее всякими разными самоковыряниями, достойными разве что слезливых старых девиц, которым больше делать нечего.

А у него дел хватает. Некто Тихонов, инженер по технике безопасности шахты «Светлая», жалуется на свое полубесправное положение и на грозящее увольнение, «что есть беспринципная месть начальника шахты Андреева, который не терпит вынесения сора из избы».

В короткой записке Андреева, припиленной к многостраничной жалобе Тихонова, сказано лишь, что молодой специалист Тихонов обладает вздорным, вспыльчивым характером, рубит сплеча, отчего страдает авторитет уважаемых людей и производство.

Сдержанный, деловой тон записки вызывал невольное доверие, а многословная жалоба, написанная скверным почерком, полная восклицательных знаков, как будто в самом деле неприлично громко вопила и скандалила.

Евгений Петрович отрывает уставшие глаза от бумаги, глядит в огромное пустое окно, в голубую, освежающую взгляд небесную высь и думает о том, что жизнь каждого человека и состоит в основном из разного рода взаимоотношений с людьми, из сомнений, удовольствий, подозрений, тревог, связанных с теми, от кого сам зависишь и кто от зависит. И есть способы сделать эту зависимость необременительной для себя, и есть способы превратить ее

в тягостную, мучительную обязанность. Этот Тихонов, прав он или нет, все равно неприятен ему, потому что явно из тех, кто не хочет или не способен строить свои взаимоотношения без вывертов, под контролем разума и воли.

Лично он, Прозоров, умеет жить в коллективе. Бывало, уживался и с весьма неприятными людьми, которые относились к себе с безоговорочным забавным уважением и считали, что, если им доверено руководить, одно это доказывает их всестороннюю незаурядность, и позволяли себе с апломбом невежд судить и о тех сторонах жизни, о которых знали понаслышке.

Разумеется, можно было оборвать, противопоставить собственное суждение. Наверное, можно было... только стоило ли? Из-за чепухи рисковать положением? Трепать нервы? Евгений Петрович, сколько помнит себя, ни разу не сорвался. Он здраво продумал этот древний вопрос и настроил себя на целомудренную сдержанность по отношению к тем, от кого зависел. Приложил усилия, воспитал себя соответственно. Уверен — и делу от этого только польза.

Поглядел на дверь. Точно там кто стоял — одобряющий, кивающий, улыбочивый. Но там... сидел Рябов. За широким своим столом с шахтерской каской посреди. И морщился, и кривился, и нетерпеливо щелкал пальцем по каске. Выслушивал настырного, прилипчивого участкового механика Лапшина.

Человечишко этот, желчный, вкрадчивый, с неопрытными волосенками, был, ясно, неприятен Рябову. И, вероятно, посильнее, чем ему, Прозорову, случайному свидетелю их разговора.

Когда Лапшин исчез за дверью, Евгений Петрович улыбнулся Рябову сочувственно и сказал:

— Типичный склочник. Глядеть и то тошнит. Его, что ли, забота? Вечно суется в чужие дела! Все считает себя умнее всех!

— Мало, мало приятен, — ласково отозвался Рябов. — Не люблю. Ну и что? — И вскинул на Прозорова холодные, примеривающиеся глаза. — Что?! Противен — и точка? И по домам? Критику наводит — и сразу в склочники? А если по существу, если дело говорит? — И ни с того ни с сего поднялся и, повернувшись к Прозорову спиной, лицом к окну: — Ты умирал хоть раз? Нет? Зря. Умирать полезно. К смыслу жизни прорываешься напрямки. Истинно, брат.

Евгений Петрович вздохнул, покрутил головой и вдруг сплюнул и вслух выругался нехорошо в своем респектабельном московском кабинете:

— Опять? К черту! «Рябов, Рябов...» Дался же! Нету! Нет! Зараза!

Покосился на дверь. Был. Стоял. Ждал. Чего? Чего ему надо от Прозорова?

В дверь стукнули. Евгений Петрович обрадовался живому звуку. Заглянула кудрявая девичья головка, состроила удивление на розовом личике и скрылась.

Вспомнилось о весне, о капели за окном. О необходимости разобраться с жалобой.

Ну-с, как он поступит с этими, да вот — Андреевым и Тихоновым? Чью сторону возьмет? А вот так — беспристрастно. Именно. Несмотря на антипатию к скандалисту-инженеру и симпатию к его начальнику. Это во-первых. И в полном соответствии с законом. Это во-вторых. Что от него и требуется как от честного, добросовестного работника. Тем более что никаких страстей не хватит, если их тратить на каждую входящую-исходящую. Ну, как? Устраивает вас такая постановка вопроса... Рябов?

Прозоров кладет перед собой девственный лист бумаги и принимается сосредоточенно скрипеть пером. «А все-таки почему, почему Дарья Севастьянова? — внезапно прокрадывается в надежные, строгие рассуждения новый посторонний смущающий вопрос. — Откуда это чувство зависимости от нее? Неудобства? Пожалуй, даже робости?» Но тут очень кстати, спугивая мелкую, мирскую заботу, звонит телефон. Междугородная. Сосредоточенно, не перебивая, выслушал, вежливо, вразумительно ответил. Там, за сотни километров, несомненно, остались довольны его выдержкой и деловой хваткой. Удовлетворенный, отхлебнул воды из стакана. Поморщился — перестояла.

...Поигрывая веточкой сирени, в добром расположении духа Евгений Петрович Прозоров отправился после работы в библиотеку к жене, чтобы увести ее в Сокольники, на выставку аттракционов.

Лариса быстренько убрала свой стол, схватила сумочку: — Готово. Побежали!

Но мимо проществовала строгая девица-паж Алевтина, кивнула Прозорову, по обыкновению снисходя как бы, а у Ларисы спросила тоном классной руководительницы:

— Прозорова, ты не забыла поручение?

— Ах! — смутилась Лариса. — Жень, нужно к Дарье зайти, зарплату отдать. Забежим? Дарья заболела. На минутку. Ладно?

— Ну-у... ладно... — протянул Прозоров и обнаружил в своем безмятежном фальшивом голосе знакомую ноту тревожного любопытства.

— ...И увидишь ее мужа. Посмотришь, как это: молодая, приятная такая — и с таким стариком... — ублажала его дорогой жена, уверенная, что идет он к Севастьяновым через «не хочу». — Послушай, не говорила я тебе? У него же еще и ноги нет. Представляешь? Ужас! По колено...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

...Севастьяновы жили на первом этаже блочной стандартной пятиэтажной конструкции, которые в совокупности образовали московские, киевские, сахалинские и так далее Черемушки.

Прозоров встал. И — ни с места.

— Идем! Что с тобой? Вот их дом, вот подъезд... вот окна, — Лариса для убедительности водит рукой. В ее голове злость и слезы.

— Иди! Иди ты... к такой-то... — повернулся и зашагал прочь.

В первом попавшемся сквере сел на скамейку и просидел до темноты, вроде ни о чем не думая, ни в ком не нуждаясь, сам по себе. А когда зажглись фонари, вдруг догадался, зачем ему понадобилось сидеть тут — переживал, когда его жена уйдет от Севастьяновых. Ему нужно было, чтобы ее там не было. И пусть она тысячу раз права, а он тысячу раз не прав — не в этом дело, не в этом дело...

Дверь открыла девушка в веселом азиатском платье.

— К Севастьяновым? — спросила без улыбки и ножом, который держала в руке, указала направление. По ее спине поверх переливчатого нерусского узора медленно стекала тяжелая белокурая коса.

Прозоров постучался.

— Войдите, — ответил ему знакомый женский голос.

Вошел. И подумал: «Идиот! Зачем? Чего мне тут надо?» Спросил, чувствуя себя глуповато:

— А почему вы не удивляетесь?

И только сейчас разглядел, куда попал и как тут все. Стеллажи, стеллажи, стеллажи. Три стены задавлены стеллажами. Книги, книги, книги... У окна — письменный стол. И на нем тоже книг навалом. Даже красивое овальное зеркало подвешено к стеллажу.

В большом кожаном старинном кресле сидит Дарья. Возле круглого стола, белеющего посреди комнаты. В круж-

ке света от настольной лампы под зеленым стеклянным абажуром толпятся вазочки с вареньем, чашки, блюда с пролитым чаем.

— Пришел человек. Ну и что? Проходите, садитесь, пейте чай,— отвечает Дарья.

— Чай... чай — это хорошо,— мямлит он и замечает в глубине комнаты мужскую фигуру. Высокий седой человек держит в руке телефонную трубку.

— Милая женщина, это все было! — негромко, горестно и нежно говорит он низковатым голосом. — В точности так, как я написал. Это жизнь, милая женщина. С кровью и мясом. Что? Вы мне верите? Польщен несказанно. Тогда почему вы против?

Дарья поднесла к глазам чайную ложечку, оглядела, словно была в том необходимость, и пробормотала:

Весь день сражался: рыл картошку,
Солил грибы, колол дрова,
Ругал беременную кошку,
Хотя она была — вдова...

— Что ж вы? — спросили Прозорова сзади. — Проходите!

Обернулся: та самая девушка в веселом платье вошла с шипящим металлическим чайником, ждет, когда он посторонится. Он посторонился. Не воспользовалась.

— Обязательно вам нужно, чтоб удивлялись? — спросила, прищурив красивые глаза. — Ладно! Я удивляюсь. Ой! Ой! Смотрите! К нам человек пришел! Хватит? Или еще?

— Что? — поднял голос Севастьянов. — Вы потому против, что меня не поймут? Не так истолкуют? Милая дама, кто ж это меня не так поймет и не так истолкует?

— Хватит,— сказал Прозоров девушке. — Спасибо.

Пошел к столу, сел.

— Вам вишневого? Или клубничного? — спросила Дарья, пододвигая к нему чашку. — Что молчите?

— Все равно,— ответил он чистосердечно.

Но Дарья никаким вареньем его не одарила. Потянулась было к одной из вазочек, но так и застыла, вслушиваясь в голос Севастьянова. Всерьез о варенье для него позаботилась девушка: налила в блюдечко, прямо из банки.

— Вы меня, дорогой мой редактор, повергли в глубокую печаль,— медленно, траурно выговорил Севастьянов. И до того траурно, безысходно, что и девушка, и он, Прозоров, замерли тоже, как с перепугу. — Неужели этот старый, как мир, аргумент все еще в ходу? — как будто продолжал читать надгробную речь Севастьянов, но вдруг вы-

крикнул быстро и звонко, как пионер: — Послушайте! Юлия Петровна! Мой юный друг! Ну отчего ж вы решили, что только вы одна за Советскую власть? Вам не кажется это немного смешным? Нет? Что это значит? Это значит, что что-либо сокращать, видоизменять, то есть причесывать и маникюрить, согласно дамскому косметическому кодексу, мне не с руки... несолидно как-то... я мужик... неловко. Целую ручки, милая вы моя... дама, дамочка...

Бросил трубку, постоял, глядя себе под ноги.

— Горим? — спросила Дарья, накладывая варенье в то же блюдечко, куда только что лила из банки девушка.

Севастьянов ворошил волосы. Рукав его рубахи сполз к локтю и обнажил искалеченное запястье.

— Дай прикинуть, — сказал как самому себе, очень тихо. — Горим. По всем правилам. Зарежут как пить дать... Но как спокойно, как уверенно сорит высокими словами это почти что юное существо! Круговая оборона! А я — ни к черту... Нагрубил... — Вытаскивает из нагрудного кармашка таблетку, сует в рот. — Как там у него?

Весь день сражался: рыл картошку,
Солил грибы, колот дрова,
Ругал беременную кошку,
Хотя она была — вдова... —

Стукнул себя по груди ладонью: — Ведь хотел же, хотел! Разумно, хладнокровно. Я ж раньше... в десанниках... Старею. Сдают тормоза.

— Это есть, — сказала Дарья, не глядя на него. Она ложечкой подхватывала стекающее с блюдечка варенье и выливали опять в то же блюдечко, и снова подхватывала. — И валидол тому подтверждение.

Внезапно Севастьянов шагнул из своего угла и прямо — к Прозорову. Протянул руку:

— Знакомимся! Пора! Севастьянов Алексей Федорович!

Прозоров встал, пожал незнакомую, крепко хватающую руку.

— Ой, конечно! Что ж я... Это Евгений Петрович! — Дарья бросила возню с вареньем и рассмеялась без видимой причины. — Ларисин муж... Ну, что семь лет на Сахалине... Я тебе рассказывала...

— Это вы?! — протянула несколько ошалело девушка и схватилась за голову. — Как интересно... Который семь лет там, а жена здесь? Как же это она?! Я бы ни за что! А вы как? Это совсем смешно! — и тоже рассмеялась без толку.

— Маша... Маша... — строго позвал ее Севастьянов, а Прозорову сказал, все еще не выпуская его руку из сво-

ей: — Вот, стало быть, какой вы... Так, семь лет? Ну, что ж... чего не бывает...

— Семь лет! — охнула Маша и брякнулась на стул. — Ну, это же невозможно как смешно! Сам? По собственному желанию? А семейная жизнь? Через почту? Ха-ха-ха! Кино! Театр! Цирк!

— Мария! Уймись! — приказала Дарья.

— Нет... отчего же... Молодая, красивая... Чего ж ей и не посмеяться? — усмехнулся он, Прозоров. — У такой красивой и веселой, должно быть, очень счастливый муж...

Он хотел ее чуть осадить и выказать известную долю благодушия по отношению к ее молодости и красоте.

Однако она от его пустяковых, не шибко находчивых слов ожесточилась, как будто он, пусть и не нарочно, но ударил ее. Стиснула губы, вскинула голову и померкшим голосом выдавила:

— Чайник остыл... Я пойду... на газ поставлю...

Сдернула со стола все тот же металлический чайник и ушла из комнаты.

— Что с нею вдруг? Я что-то сморозил? — спросил Прозоров.

— Есть немного, — отозвалась Дарья, задумчиво глядя на дверь, за которой скрылась Маша.

Севастьянов сел к столу, отпил из чашки, стукнул донцем о блюдце:

— Муж у Маши счастливый — был. Четыре года назад. Был. Такие вот дела...

Зазвонил телефон. Севастьянов как сидел, так и сидел.

— Иди! — посоветовала Дарья. — Чего ж ты! Может, переиграют? Поймут! Бывает...

Он встал не торопясь, поглядел на Прозорова:

— Отличный был парень Машин муж. Узбек. Веселый! А как песни пел!

Наконец снял трубку.

— Слушаю. Здравствуйте, товарищ Егоров. Да, да, слушаю... слушаю...

Дарья постучала ложкой по блюдечку. Спросила шепотом:

— О чем ты? О Малике? Его звали Малик. Четыре года назад. Поставил свою машину поперек дороги... он шофером был... поперек... чтобы пьяный самосвал остановить, и как бабочка на иглу... в баранку грудью... — Ложечка в ее пальцах дрожала, с нее упала на скатерть капля варенья.

Прозоров хотел что-нибудь ответить, но понял — бес-

полезно, не услышит — она вся там, возле телефонной трубки. Лоб ее некрасиво перечеркнули морщины напряжения, шея вытянулась как-то косо и неловко. Ничего прежнего, загадочного, вызывающего непонятное беспокойство в ней для него уже не было.

— Так. Понятно. Признаться, от вас уж этого не ожидал. — Севастьянов оторвал трубку от уха, поднял ее перед собой и пристально посмотрел на нее, словно в лицо того человека, с которым шел разговор. Опять приладил к уху. — Ай-яй-яй-яй! Нет как нет указания сверху! А почему б вам не попробовать подумать самостоятельно? Издеваюсь? Я? Помилуйте! Вы меня попросили войти в ваше положение, я и вхожу... ищу способы, как вам в данном конкретном случае сухим из воды... Это для вас, для вас всего две страницы! Два листика! Но для меня в них-то и существо! Ах, это! Представляю! И размер... и последствия!

Бросил трубку.

— Как бабочка на иглу, — прошелестел голос Дарьи. — Малик... Четыре года назад. А для нее это все как будто вчера. Любит. Помнит. — И вдруг громко, весело: — Значит, дотла, Алеша?

Севастьянов кивнул: дотла.

Пожар отхлопотал и умер.
И умер лес, отзеленел...
Трагедию исчислил в сумме
Один хозяйственный отдел.
Медведь ушел, удрали зайцы...

От меня требуется совсем немного, как сказал товарищ Егоров: снять две страницы из трехсот. «Это ж пустяк! О чем спорить!» — сказал товарищ Егоров. Потому что товарищ Егоров желает, чтобы правда была сладенькая и лучше всего дольками, чтобы, кушая ее, человек не тянулся... к варенью, а просто запивал ее, обсахаренную, чаем... Комфортно... Голове не обременительно... Как вам это нравится?

И хотя Севастьянов прямо к нему, Прозорову, не обращался, он, Прозоров, счел необходимым ответить.

— Что ж... Мало ли... Жизнь... — сказал он.

— То-то и оно — жизнь! — вдохновился Севастьянов. — И это жизнь, и то — жизнь! И всякий раз стоишь как дурак на перепутье: по какой дороге... что найдешь, что потеряешь... Как быть с совестью... придушить мало-мало, либо все-таки. Так?

— Но ведь в принципе... две страницы... это не так уж

и... Из трехсот... Стоит ли? — раздумчиво проговорил Прозоров.

Севастьянов подошел к столу, налил в чашку, выпил.

— Думал, — качнул головой. — Не получается. Вот вы — инженер? Так? Ну и что выйдет, если два стояка в опасном месте не подобьете?

— Ну, если в опасном... Кто ж не поставит... Кретин разве...

«Вот ведь... разнервничался как... Ишь ведь... не успокоится никак, — подивился сам для себя Евгений Петрович. И вдруг кольнуло: — А ты? Ты сам? Когда? Где? Кому сказал прямо, что так-то и так-то?»

Ах, какой коварный вопрос пробрался в голову Евгения Петровича! Но Евгений Петрович оказался на высоте, вовремя заметил опасность и скинул хитрый вопросик со счетов одним верным, не раз выручавшим приемчиком. «Что и говорить, мы с Севастьяновым разные люди, — сообщил он себе с некоторой, положим, кротостью. — И обстоятельства жизни разные. Да и все люди вообще разные». И вопросик, должно быть сперва казавшийся очень горячим, способным зажечь целый пожар в душе гражданина Прозорова, скоро затух, как спичка, брошенная в сырой навоз.

А Севастьянов разорялся, митинговал, словно его тысячу окружили и слушали:

— Вот именно! Именно это я и имею в виду! Криком кричу: «Не кретин и быть кретином не хочу!» Не хочу, чтобы, читая мое, человек дремал и чай попивал! Хочу, чтобы он, дорогой мой, заодно со мной кипел-горел! Чтобы его не дремать тянуло, а дело делать! Драгоценные мои! А сколько бед у нас оттого, что не желаем называть вещи своими именами! Оговорочки в ходу... «Несмотря на отдельные недостатки...» Доколе? Как считаете, товарищ инженер, представитель научно-технического прогресса?

— Да как сказать... Есть, конечно, — признал Евгений Петрович. — Людей много... люди разные... Ну, и проблемы... Сегодня — одно, завтра — другое... Я лично... работаю... не отлыниваю... А так... что от моих усилий особенно изменится? — Он глянул Севастьянову прямо в глаза. — Иной раз видишь — непорядок, но если против — надо, может, жизнь положить! Махнешь... и к своим прямым обязанностям. Это я вам честно...

Однако оказанного доверия Севастьянов не оценил, хмыкнул, высморкался, постучал кулаком по столу, двусмысленно как-то постучал и выдал:

— Валяйте! Благоразумие — вещь добротная. Не даст сгннуть раньше срока. Это да!

И забыл про него, Прозорова, повернулся к жене:

— Даша! А ты что ж молчишь? Нет худа без добра! Напишу-ка я научную работу на тему... «Как приспособиться для борьбы с приспособленцами на данном этапе общественного развития?» Какова? Темка? Аховая? «Приспособиться»! Именно! А как не умеешь... и срываешься... вот как я, к примеру, что из сего следует... Даша! Да! Паясничаю! — Севастьянов встал со стула и, прихрамывая, заходил по комнате. — Все рухнуло! Не будет книжки! Ибо товарищ Егоров и дамочка бдят! Полетели к черту все твои красивые планы на лето и вообще... — Кинулся к жене, протянул руку для рукопожатия. — С чем и поздравляю!

Дарья не замедлила, дала ему свою руку, которую Севастьянов тряхнул с силой:

— С чем и поздравляю, Дарья Николаевна!

Утих, укротился.

— Ну и муж тебе достался. Барахло... Бедная ты моя... Я ведь понимаю...

Дарья стиснула его руку своими обеими, припала к ней лицом и поцеловала внезапно. Громко, не стесняясь, сказала:

— Барахло... барахло ты мое, барахло... Но ведь бросить как? Привыкла...

— Ну, что ты... Даша... — густо пробасил чужим голосом Севастьянов. — Люди смотрят.

— Пусть! — тряхнула она головой. — Раз они люди — поймут. Три года работы... Триста страниц... А сколько командировок, сколько архивов перерыто... Я его убью! — замахнулась на телефон. — Я ему скажу, что он негодяй, что он не имеет права с таким убогим, куцым кругозором занимать такую должность!

Севастьянов положил руку ей на голову:

— И он, конечно, сразу поверит и откажется от места...

Дарья молчала. Но из-под руки, большой и сильной, на Севастьянова глядели два ее яркие глаза, до краев заполненные счастливым страдальческим изумлением, словно на чудо, на фокус, словно все силилась объяснить его и все не могла...

И, увидев это и еще не успев осознать ничего толком, Прозоров произнес про себя: «Оля». И — точно сильный ветер качнул деревья, подмял под себя травы. Спыхватился, но было уже поздно. Его притянуло и не отпускало лицо

женщины. Он узнал эти остановившиеся влажные глаза... Он узнал эти беззаветно полураскрытые, подрагивающие, как бы мгновенно расцветающие губы. Перед ним обнажилась тайна той мучительной, тревожной зависимости, которую он неизменно испытывал подле Дарьи Севастьяновой, чужой жены. Она, Дарья Севастьянова, скрывала в себе ту безрассудную, самоотверженную, ликующую страсть, на которую способны, должно быть, только женщины... редкие женщины... очень-очень редкие...

— Вы к нам по делу? Или так... заглянули? — донеслось до Прозорова как с другой планеты.

— Как сказать? — через силу отозвался он. — Как сказать... Собственно, особого дела... Но хотелось спросить... вопрос один... Но вы сейчас... Некстати я как-то...

Он встал, потоптался на месте, старательно застегнул пуговицу на пиджаке, поправил галстук. На Дарью он старался не смотреть. Он смотрел на Севастьянова, в его усталое лицо, в его полуприкрытые веками терпеливые глаза, слишком терпеливые для такого в общем шумного, порывистого человека. И внезапно, впрочем, не без запинки решил: что если с кем вообще и стоило поговорить... обо всей этой путанице... о жизни, одним словом, то разве что вот с ним, с Севастьяновым. Один на один. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...» С ним. Да еще с Рябовым. С Рябовым? Но... А с кем же еще, если не с ними? Но...

— Почему некстати? — усомнился Севастьянов. — Есть вопрос — задавайте! Отвечать на недоуменные вопросы трудящихся — мой профессиональный долг.

Тут вошла Маша с поющим чайником. Севастьянов взял его из ее рук, ткнул на подставку.

— Ах ты, красавица, вот спасибо, горяченького принесла! — запричитал он. — А ну-ка, сядем все рядком, поговорим ладком.

Уходить в такой момент было как-то неловко. Да и не хотелось уходить, хотелось тянуть, тянуть... Хотя зачем? Какой смысл? Что он тут потерял, в конце концов? И Прозоров послушно опять подсел к столу.

— Подавайте свой вопрос! — потребовал Севастьянов, разламывая в руке сухарь. — Слушаю.

— Сейчас... Я, видите ли, давно хотел поблагодарить вас! — нашелся Евгений Петрович и сам себе поверил, что да, ради этого и пришел...

— За что? — удивился Севастьянов.

— Что это вы? — не поняла Дарья.

Он забылся, глянул на нее, и снова в груди поднялось

и затеснило до боли и потянуло на крик: «Оля-а-а!»

Однако на него смотрели и ждали ответа.

— За кооператив,— выговорил почему-то жестко, мстительно.— Вы отказались, а мы получили. Отличная квартира... Лоджия и все такое...

— А-а-а,— Севастьянов бросил в рот кусок сухаря, захрустел.

«Нет. Нельзя. Ни с ним, ни с Рябовым,— приказал себе тот Евгений Петрович, который больше всего заботился о независимости.— Глупости все это. Бред. Каждому свое. Им нужны бури? Пожалуйста! Я же им не мешаю! Я же их не неволю!»

Вспомнил, как чертовски удачно вышло с квартирой, там, на Сахалине, в первый день, как замечательно, что он отказался от нее в пользу музыкальной школы. И как несказанно, наивно обрадованный Рябов схватил впопыхах за руки, тряс и кричал: «Родной! Умница! Душа!»

Рябов, должно быть, и в мыслях не держал, что отказаться от квартиры человек способен неожиданно для себя, вопреки своей натуре. А возможно, ему очень уж хотелось лоб в лоб столкнуться с таким отчаянным бытовым героизмом.

Так или иначе в выигрыше остался он, Прозоров. Дошлый, устрашающе прямолинейный Рябов был сбит со следа, углядев вокруг физиономии Евгения Петровича застенчивое сияние благородства и бескорыстия. Сквозь эту-то дымку, надо полагать, укоренившуюся в памяти, и не смог ни разу пробиться его обыкновенно цепкий, раздевающий взгляд. Прозоров обеспечил себе безопасность. Ну, а старался не лезть лишний раз на глаза Рябову — так, на всякий случай... Мало ли! И все-таки, все-таки... полного ощущения безопасности вблизи Рябова, надо признаться, не было.

То же самое и вот тут начинается — с Севастьяновым. Есть оторопь, берет... черт ее побери! Но, может, зря? Что он такое в конце концов, этот Севастьянов? Может, вовсе и не настолько сам по себе, а только кажется? Может, за этим «а-а-а» все и прячется? Будничное, арифметическое, общечеловеческое? Вполне доступное?

И он решил добить свой вопрос до конца. Отпил несладкого чая, повторил:

— А все-таки почему? Почему вы отказались? Чем не устроило? Дом прекрасный... район... Метро рядом... А вы вот тут... в книгах... первый этаж... общая ванна...

— И туалет,— простонала Дарья.

— Шутите? — Евгений Петрович почувствовал себя так, словно вышел на улицу без брюк.

— Да ить если не шутить... — ответила Дарья и уставилась на него немигающими, прозрачными глазами.

— Энергии не хватило, — вставил Севастьянов, дожевывая сухарь. — Понимаете ли, эдакого яростного стремления к поставленной цели. На каком-то этапе страсть поиссякла, заскучали чего-то.

— Какие уж тут шутки! — подхватила Дарья. — Чего потеряли! Потом, правда, опаматовали, пожалели... Уж и легкомысленные, безалаберные мы с тобой люди, Алеша Федорович... Небось это уж и непоправимо... Вон чашка без ручки... Нехорошо... Неэстетично... Фу... Нас вам очень жаль? Очень-очень? Не увлекайтесь. Все, что ни делается, все к лучшему. На днях ордер получили на двухкомнатную, государственную. Метраж — восторг! Санузел — блеск! Соболезнования, следственно, отменяются!

— Шутите, — вякнул он, Прозоров, только тут окончательно сообразив, каким идиотом они сделали его на пару и что выбраться ему из этого положения не так-то просто.

«Ни с ним. Ни с Рябовым. Никогда. Ни за что!» — решил бесповоротно.

— Люблю я вас слушать, — внезапно заговорила Маша, которая сидела за столом, подперев голову руками. — Легко мне около вас, весело... Хотя и не всегда понятно, шутите вы или серьезно. Только про кооператив неправда, это... Врете! Вы тогда от кооператива отказались, когда Малик погиб... тогда... Но если бы... если бы... вы ушли тогда... не знаю... Я повеситься надумала... приготовила. Все равно было. Без разницы. А как бы Тимка? А? — встала, закрутила косу вокруг головы — короновала сама себя на миг. — Спит... Он когда спит — вылитый Малик. Сижу, смотрю — Малик и Малик... И так все... светло... просто... — Отпустила косу из-под руки, улыбнулась: — Ой, что это я! На горшок пора сажать, а я!

И убежала. И белокурая коса ее вновь поразила его, Прозорова, своей красотой и длиной. Такие косы он видел на сцене, у артисток ансамбля «Березка». А в жизни первый раз.

— Четыре года? Срок... — сказал он. — И помнит... реагирует? И замуж не выходит?

— Нет, — ответила Дарья. — Абитуриентов — тьма: нет и нет. Не по силам. У них же с Маликом ох и любовь была! И никуда ей теперь не деться.

— Мистика! — отрезал он и хотел добавить: «Бабы вы-

думки!» Но не посмел столь грубо, хотя уверен был, что только так и можно все это объяснить и это будет от сердца и от ума.

Помолчал. Они тоже молчали. Ждали продолжения, что ли? Ну, если им действительно интересно его суждение на этот счет, он готов дополнить, пояснить...

— Мистика, по-моему, — сказал он твердо. — Пройдет со временем. Все проходит, все! Если, конечно, в себе не раздувать, не поддаваться...

Они молчали. Дарья вынула из пачки сигарету, закурила. Севастьянов сложил грязные блюдечки одно на другое, ответил без особого энтузиазма:

— Не скажите... Жизнь — это вам не...

«Жизнь — одна. Разъединственная. Вот все, что надо о ней знать», — подумал Евгений Петрович упрямо и неподкупно.

И услышал нечаянное:

— А вы — дурак. Да, да! Ни больше ни меньше! Вот уж не ожидала!

— Даша! — вступился Севастьянов. — Гость... Что ты себе позволяешь!

— Может быть... где-то... в чем-то, — бросил Дарье Прозоров.

— С ней это бывает. — Севастьянов от смущения наморщил нос. — Она у меня ох и...

А Дарья курила и качала ногой и в упор насмешливо глядела на него, Прозорова.

Прозоров озлился не на шутку.

— У человека, — с ядом в голосе отчеканил он, — у любого... между прочим, если хотите знать, и без того сложностей ого-го сколько! И хорошо, правильно, гуманно, что все постепенно проходит... удаляется... смывается... Надо только не распускаться! Держать себя и свою память! А иначе...

Дарья закачала ногой быстрее и резче.

— Вы не столько дурак, сколько... — стиснула сигарету между зубов, оскалилась нехорошо. — Вы — жалкий человечisko! Убогий и пошлый! Как смеете вы рассуждать о том, о чем...

— Даша! Остынь! — приказал Севастьянов.

Но куда там! Ее понесло! И так знакомо, господи спаси и помилуй!

— ...О чем такие, как вы, ни малейшего права не имеют рассуждать! Кто вы? Потребитель! А вас поразвелось! Я понимаю, еще как понимаю Таню и Алю, наших библио-

течных девочек. Чем за такого выходить — лучше одной... Лучше! Достойнее! Потребители! Клиенты! И еще берутся о любви рассуждать... О любви... Вам, таким, что любовь, что супа тарелка или картошка тушеная... Лишь бы поскорее... пока хочется...

— Как ты права в своем гневе, Дарья! — воскликнул Севастьянов и стукнул чашкой о чашку. — Действительно, и научно обоснованно, и подкреплено примерами, как-то: Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда... что:

Любовь не картошка,
Не бросишь в окошко,
Она всех собою манит.
Сначала — забвенье,
Потом — наслаждение,
Потом — поясница болит.

— Что это ты вдруг развеселился? Как будто выиграл? — подколола Дарья и пустила дым с фокусом — кольцами, одно в другом.

— Но и не проиграл! — заявил Севастьянов, встал, выпрямился, выстучал ногой какую-то мелодию, ведомую только ему самому. — Еще не проиграл! Егоров Егоровым... дамочка дамочкой, но и кроме них есть люди! Которые понимают, должны понимать! Для чего, за что, как! Мы еще повоюем! Мы еще... Дарья! — вскричал с яростным изумлением. — А что ж ты? Что ж ты не напомнила мне хотя бы тот случай, когда мы Десну форсировали? Или как Нарев брали? Я же тебе для чего рассказывал? Чтобы ты мне в нужный момент: «Алеша Севастьянов! Кончай мерехлюндию! То ли было! Через то ли прошел! Забыл, кто ты есть? Оглянись назад!» Нет! Нет! Не отнимешь! Рокоссовец... А вы помните, что это такое? «Спросите вы у тишины...» Брали Нарев, брали Прагу, брали... брали... брали Берлин. Так что мы еще! Мы не из тех! Нет! Еще чего...

Что-то молниеносно вскипело в груди Прозорова и едва-едва не выплеснулось наружу чередой напористых, сбивчивых слов: «Если вам... например... нужны деньги... я займу! С удовольствием! У меня есть! Лишние, как говорится! Я от души! Послушайте!»

Севастьянов сложил руки на груди и смотрел на жену с веселой укоризной. Потом схватил стул, поднял его искалеченной рукой за ножку, подержал с усилием над собой.

— Алеша... Алеша Федорович! — Дарья не сводила с него глаз. — Признаю свою ошибку и в следующий раз... Ах ты-ы...

Севастьянов опустил стул, сел на него, улыбаясь удовлетворенно. Дарья молчала и смотрела на него и едва заметно кивала головой в такт каким-то своим медленным, покладистым мыслям.

На висках Севастьянова, у корней волос, блеснул пот. Вдруг женщина встрепенулась, повернула лицо к нему, Прозорову, уставилась глаза в глаза и сказала с уверенностью удачливого отгадывателя кроссвордов:

— Послушайте, а мне жаль вас! Вдруг, вот сейчас — жаль. Я знаю! Я догадывалась, а теперь знаю. Я все про вас знаю. Если вы рассуждаете о любви вот так, как вы... Значит, вы никогда в жизни никого не любили... не знали настоящей любви... Настоящей... ослепляющей... оглушающей... когда не идешь — летишь, когда...

Его шатнуло, словно порывом сахалинской бешеной пурги. Глаза заволокло слепящей белизной. Дыхание поддержалось на тонюсенькой ниточке и оборвалось начисто. Внезапная, стервенеющая от секунды к секунде ненависть, вплавленная в обиду, свинцом налила голову и перевернула его вверх тормашками.

— Что вы про меня знаете? — просипел он. — Что вы можете про меня знать?!

На улице отдышался. Ноги дрожали, словно лез, лез, и все по крутизне...

— Что вы можете обо мне знать?! Что?! — повторил вслух, не примериваясь, слышит его кто или нет. — Была! Ясно? Была у меня любовь! Была! Была! Оля... Оля... Оля-а-а!

Огни, огни, огни... Яркие и тусклые, сияющие и мягкие... зеленые, красные... всякие. «А ведь и кроме паровозов бывали машины, пускавшие в трубу бешеное количество энергии, — подумалось Евгению Петровичу. — Пароатмосферная машина Ньюкомена, например. Она могла работать только на шахте — так много жрала угля. А воду откачивала еле-еле. Коэффициент полезного действия — две десятых процента. Лишь жалкие остатки угля шли на отопление лондонских каминов».

И побрел домой. Ему открыла встревоженная Лариса. Он говорил ей какие-то необходимые в тот момент оправдания и успокоения, говорил, говорил... А потом спросил вдруг, какой телефон у Севастьяновых. Она дала. Он записал. А зачем?

Зачем ему понадобилось иметь при себе телефон Севастьянова? Должно быть, и сам не знал. Так, на всякий случай, что ли...

...Ночью ему снилась мать. Пьяная, косматая, она бежала за ним с веником, кричала: «А он ей письма! А она ему письма! Любовь у них! Любовь! Ну, сволочь! Ну, гады! А дети? Дети? Дети?» Он старался думать, что маленький, и неся к сараю, к зарослям паслена, рассчитывая нырнуть в них, спрятаться. Но это ему не удалось, потому что он был высоким мужчиной в тяжелом дорогом пальто и шляпе.

Подхватывался, мчался дальше, скатывался в овражек, вздыхал облегченно, и вдруг зазвенело прямо над ухом. Что такое? Пуля? Пули звенят? Мать честная — стреляют! В него. Слева, справа, сзади! Как долго это могло продолжаться? А если какая без промаха...

Вскакивает, несется не разбирая куда, потный от страха, задыхающийся, но пули упорно, насмешливо звенят следом, настигают и уже щекочут вставшие дыбом волосы, взрывают мимолетом виски и края ушей. Мгновение — череп хрясь и разможжится, разлетится кровавыми осколками. «А-а-а!» — взвыл и очнулся от сна.

В прихожей звенел телефон. Дверь туда была распахнута. В темноте проема мелькнул бледно-голубой подол Ларисино халата. У дверного косяка валялась на боку потертая ею тапка с белым мехом внутри.

Трезвон оборвался.

— Ах это ты, Софочка! — раздался голос жены, томный, сипловатый со сна, но постепенно набирающий целеустремленность и звонкость. — Я ужасно, ужасно благодарна тебе!.. Понимаю, понимаю. Ну какая же ты умничка!

Прозоров повернул голову в сторону детской кровати. Дочь спала, укрывшись с головой одеялом. Не было видно ни ее слабых, неопытных рук, ни беззащитной худобы ее подбородка и шеи — нечто неопределенное и бесформенное. Это как-то странно обрадовало и успокоило его.

— Неужели? Да что ты? Да ну? — вдохновенно изумлялась по телефону жена. — Я понимаю, понимаю. Фирма!.. Да нет, нет, совершенно, совершенно точно! Просто блаженство! Нега! А застешки? Мечта! Очарование!

«Это о чем она так?» — подумалось Прозорову. И когда жена пришла с раскрасневшимся, сияющим лицом, он спросил ее.

— Как о чем? О перчатках. Настоящие английские! — добродушно, с неостывшим увлечением сообщила она. — Представляешь? Софочка достала. Я тебе не показывала еще? Просто чудо! Софочка — моя читательница. Такая крашенная мини-блондинка. Из соседней «Галантереи».

— О перчатках? Такими словами? Ты что, дура голая? Схватил брюки, пошел в ванную.

— Опять за свое хамство? — раздался под дверью вздернутый голос жены. — Я умею оскорбляться! Умею! Ты не думай...

Вспомнил про эспандер. Вытащил, ушел в большую комнату и там, не снимая халата, попробовал поработать. Но терпения хватило лишь на пару минут. Мускулы, не освеженные тяжелым сном, отказывались напрягаться. Да и за чем? На кой вообще сдался ему этот эспандер?

Перед ним на стене висела картина: трамвай, похожий на крейсер, и какие-то круглые предметы около — то ли овощи, то ли фрукты, а может быть, и мотки шерсти. Вспомнил, как выворотило его, когда впервые обнаружил эту дешевую, беспардонную мазню. Хотел снять. А вот же — висит, присмотрелся, притерпелся. И сейчас, конечно, не поздно рвануть эту дрянь с гвоздем. Только — смысл? Все одно уж. Виси! Еще и мебель сменить собирался. С чего? На уровне... вполне мебель... со вкусом. Со вкусом того, очкарика, — вот в чем дело. Вытащить, сдать в комиссионку, найти подходящее, привезти, втащить. «Да неужто я всерьез собирался такую прорву забот на себя взвалить? Надо же!»

Сунул эспандер в карман, побрел в ванную, встал под теплый-теплый душ и вдруг подумал с холодным, бессердечным озорством: «Эх ты... Чижик... В том-то и дело, что не умеешь ты оскорбляться. Нисколько не умеешь. Не дано. Ну и прекрасно, между прочим, — одернул себя равнодушно, по привычке. — Жена и должна быть такой. Такой... снисходительной, уступчивой. Вон и в газетах пишут. В самом деле — что? Крики, истерики по всякому поводу? Лучше, что ли? Зачем? Ах, Чижик, Чижик, не умеешь обижаться, ну нисколько, ну никак. Не по твоей части, радость моя! Вот Оля...» Вздогнул, выключил горячую воду и предоставил ледяной безжалостно сечь свое неразумное, грешное тело, в котором распорядился уже не голос рассудка и совести, а этот второй, упорный, горячечный, опасный.

Нет! Что вы! Она не какая-нибудь, чтоб вопить или там ногами топать, вещи кидать. Тем более слезы пускать. Ничего подобного. Не дождешься. Она не замечает тебя, и только. Она занимается своим делом, и тебя для нее не существует. Будто не ты только что хлопнул дверью и громко, внятно позвал:

— Добрый день, Оля!

Бровью не поведет. Пишет, если писала, читает, если читала, играет, если играла. Чаще всего, разумеется, играет.

— Здравствуй, Оля! Это я, Оля!

— Послушай,— говорит она своему очередному ученику или ученице.— Ты стучишь по клавишам. А надо? Надо играть. Смотри на мою руку. Слышишь? Вот птичка опустилась на ветку, и ветка закачалась, закачалась... Сначала сильно, потом все слабее, слабее...

— Оля, я тебя не понимаю. Разве можно изо всякой ерунды...

— ...Птичка опустилась на ветку, и ветка закачалась, закачалась... Полегче, полегче... Вот так, умница.

Он ушел, хлопнув дверью. Но вечером какая-то безмозглая, нерассуждающая, подлая сила притащила его опять к порогу этой узкой белой двери с металлической ручкой, заляпанной старыми белилами.

— Женья! Что в ванне застрял? Опаздываешь! — прозвучал надрывный женский голос.

Спихватился, поспешно вытерся, оделся, пришел в кухню. Женщина в бледно-голубом что-то говорила ему, улыбалась чему-то. Он ел, пил, что-то отвечал и, кажется, тоже улыбался, старательно делая вид, что здесь, с ней, все обыкновенно, как всегда.

Однако на самом деле... он стучит в белую узкую неприступную дверь. Сначала согнутым указательным пальцем. Потом кулаком. Потом двумя кулаками.

Дверь молчит. Только вздрагивает под его кулаками от яростных звуков, несущихся изнутри в каком-то сумасшедшем, бешеном ритме. Он слышит устрашающее гудение перенапряженных, будто раскалившихся струн.

Обходит вокруг дома, осматривает, нет ли поблизости любопытных, и, уцепившись за подоконник, заглядывает в комнату.

Ну да, она сидит к нему спиной. Черные волосы, стянутые на макушке лентой, лисий хвостом мечутся туда-сюда. На черной плоскости пианино на самом краю сотрясается ваза с желтыми листьями — вот-вот соскользнет и разобьется.

Он барабанит в стекло.

Но черный лисий хвост там, глубоко, за двойными рамами, как ни в чем не бывало продолжает летать слева-направо, справа-налево над прямой спиной, затянутой в желтое.

Вернулся к себе в пустые две комнаты, грохнул чайник на электроплитку. «Подумаешь! Плевал! — разорялся, шастая по скрипучим, усыхающим половицам, свирепо вгрызаясь в ломоть хлеба с салом. — Ну из-за чего?! Из-за чего?! Бешеная! Сумасшедшая! И сколько зла! Сколько зла, оказывается! У-у-у! Рябов, Рябов, Рябов... Черт его побери! А что Рябов? Что? Старикана ругнул. Сорвалось. С кем не бывает! Знал, что ли, что старикан в этот день на пенсию вышел? Рубаха белая, ордена... А у Рябова землетрясение! Да и как это практически начальнику шахты всех сторожей биографию знать? Чушь! В идеале да, конечно. А если реально? — Останавливался, чтоб лучше сосредоточиться и прочнее аргументировать, глядел в широкие мутноватые стекла, к которым лип серо-черный, тоже какой-то нечистый мрак. — А и старикан хорош! Видит — занят человек, нет, лезет со своей черепицей. Люди аварию расхлебывают, у Митрофанова завалило, у Лизунова газ потек. До черепицы тут? Нет, приперло! Рябов и гаркнул под горячую руку. И нате вам, нежности какие — insult. — Снова ходил туда-сюда, лил в кружку, проливал на пол кипятком, глотал его, обжигался, стонал, кривился, как будто кому назло, опять глотал. — Ну жалко деда, ясно. Но так кто же знал?! Оборвать Рябова? Одернуть? Выругать? При деде? При всех? Мой долг? Моя обязанность? Почему именно моя? Почему именно я? Да я сам только-только от Митрофанова пришел. В глине, мокрый. Так почему, почему я оказался виноват больше всех, чуть не больше Рябова? Где логика? Где твоя логика? Ну? К черту? К черту-у!»

Это была их первая ссора. И, видит бог, он не хотел больше идти к ней. Ни за что! Есть же мера. Поунижался! Пооправдывался! Всякому терпению приходит конец. Сама опомнится, сама пожалеет, сама вернется и покается. Да завтра же утром. Проспится и... Непременно.

Но едва рассвело и солнечный луч пробился сквозь пыльные стекла, как он торопливо вскочил с переметой кровати и, кое-как собравшись, помчался к ней.

Ах, черт побери! Ну на кой ему это было нужно?! На кой?!

...Ее дверь была заперта. Но она-то была там, внутри. Тут, рядом. Он слышал знакомые расторопные шаги, и как по-утреннему звонко бренчит посуда в ее руках, и как частенько, чистоплотно шаркает веник у самого порога.

Постучал. Позвал. Беглый перестук унес ее в глубь ком-

наты, и она как растворилась там, исчезла, неприступная, бесплотная, чужая.

Он приходил к ее порогу целую неделю утром и вечером. Стучал просительно и настойчиво, робко и требовательно. Бесполезно. Как умерла.

Ах, задуматься бы ему еще тогда, что это за человек, что за характер, что за женщина!

И вдруг поздно вечером сама впервые является к нему.

Проходит молча по пустым комнатам, останавливается возле кривоногой табуретки, тычет пальцем в белой перчатке в электроплитку, заскорузлую от пролитых в разное время консервных соусов.

На лице — в расширенных глазах, в высоко поднятых бровях — недоумение, похожее на испуг:

— И это — ты? Ты?

Он готов был провалиться сквозь землю... Он стоял перед ней дурак дураком...

Но она не унималась:

— И тебя это устраивает? Да? А не слишком ли многое тебя устраивает? Других не устраивает, а тебе нипочем! Это как понимать?

— А что? Прекрасное качество, — осмелился сострить. — Для тех, кто понимает.

— Да ну? А я не понимаю. И вряд ли пойму. Еще не одет? Одевайся. Пошли... понимать.

Ничего не понял, но одеться поторопился. Шли рядом молча, только ночная растревоженная трава сердито шуршала под ногами. Отыскал и попытался взять ее за руку. Вывалась, не проронив ни звука, пошла впереди, на ходу стаскивая с рук и засовывая в карман белые нарядные перчатки.

Он первым взбежал на ее крыльцо. Но она остановилась внизу и холодно сказала:

— Слезай. Дай руку.

Слез, дал руку. Она стиснула ее своими жестковатыми, сильными пальцами и уверенно повела его невидимой тропой вокруг дома, мимо каких-то куч, слегка белевших в темноте безлунной ночи.

— Оля... Оля... — умолял он ее. — Ну куда же мы? Куда?

Подвела к крыльцу своих соседей, толкнула дверь.

Он очутился в большой комнате, в зеленоватом полумраке от абажура настольной лампы. На полу крестом — бумажные полосатенькие дорожки, на окнах, на двери, на

русской печи занавески в огромных ситцевых розах. Посапывает сонно, благодушно электрический самовар на столе. А на диване, что рядом с печкой, стоит будильник и громко, строго напоминает, что время не стоит, уходит, исчезает, унося с собой частицу жизни — его, твоей, моей...

Под будильником в белом сугробе подушки — ветхая, сухая, старческая голова с остренькой колючей бородашкой. Поверх темно-зеленого ватного одеяла — тощие руки с кривыми ногтями. Один старческий глаз прикрыт морщинистым веком, второй, выпуклый и зоркий, уставился на вошедших.

Прозоров вежливо, даже вкрадчиво как-то произнес «здравствуйте». Старик не ответил. Оторвал от него взгляд единственного глаза, воткнул в пустую стену напротив. Сосредоточенно стучал будильник, убежденный в необходимости спешить, действовать. Но Прозорова только раздражал этот неугомонный деловой стук, мешал думать на тему: «Зачем я тут? Что мне тут?»

В уголке, полуприкрытая простыней, висела знакомая белая рубаха. На ней тускло поблескивал старый орден Красной Звезды. «Зачем я тут? Что это она?»

А она стояла рядом, не мигая смотрела, как уныло, без охоты отрывались водяные капли с носика самовара, падали в переполненное блюдо.

За спиной стукнула дверь. С улицы вошла высокая бабка с суровым костистым лицом, поскидывала с головы платков пять, сказала, потянув Ольгу за болонью:

— Как? Видела, Васильевна? Во дворе-то? Ишь ты, привезли! Завтра и покроют. Обещались. — Бабка усадила Ольгу у стола, повернула к старику скорбное лицо, позвала протяжно, как через поле: — Стари-ик! Привезли шиферу, привезли! Что молчишь-то? Скажи хоть что! Аль не понимаешь, что говорю? А вы что ж? Пожалуйте к столу, — позвала Прозорова, а когда он сел, налила всем по чашке чая, поставила миску, полную пирогов. — Пейте, ешьте, свежее, свое. — Отпила глоток из чашки, пододвинула пироги поближе к Ольге, сказала ей шепотом: — Врачи сообщили, не должен молчать, полегчало ему, дай бог через месяцикшо и вовсе оправится. Ох, дура я, дура, Васильевна... Чего самото не пошла, чего его, старого, снарядила? По правде — надоело-то просить. То-то и не пошла. А и куда им, занятым, образованным, до нас, старых? Верно говорю?

— Нет, неверно, — сказала Ольга и прямым, бесцеремонным пальцем ткнула в него, в Прозорова. — Видите, пришел человек. Тоже с образованием. А сочувствует, переживает.

Бабка поглядела в лицо Прозорова. Он зачем-то улыбнулся. Вышло глупо. Разозлился: «Ну чего придумала! Вот уж... Никогда не знаешь, что выкинет».

— А днем-то, днем,— хвастала и горевала одновременно старуха.— Сам Рябов пришел. Грамоту старику принес и премию, пятьдесят рубликов. Извинения просил. Надо ж!

Ольгино лицо зарозовело...

— А старый? Промолчал. Глядеть глядел, а рта не разомкнул. Хорошо ль? Господь каких еще грешных прощает, а ты-ы? — Старуха подседа к старику, прикрыла своей живой, черной от загара рукой его белесые неподвижные пальцы.— Что ж так-то? Негоже, старый. Ох гордец! Ох упрямый! — упрекала, совестила и оглаживала мягко и аккуратно безответные стариковы пальцы.— Они же какие? Они ж, руки эти, еще в гражданскую винтовку держали. А то! И в финскую. А то! И в Отечественную. Плотничали, столярничали, детишков нянчили. А уж земли-то, земли перелопатили — и! Да я же тебе, Васильевна, рассказывала про огород наш.

— Нет, нет, расскажите еще раз. Этому человеку очень интересно. Он послушать пришел,— не сбиваясь, нагло и уверенно соврала сумасбродка и, когда он, Прозоров, зло глянул на нее, даже не отвела глаз.

Ну, ясно теперь, зачем она затащила его сюда. Так сказать, перевоспитание методом последующего общения преступника с жертвой. Ибо — что тоже абсолютно ясно — она видит в нем преступника, не меньше.

— Огород опытный из года в год садит. И чего только не выращивает! Потом на семена. Кто попросит, тому и шлет. С выгодой какой? Да нисколечки! Бесплатно все,— рассказывала старуха и не уставая гладила и гладила иссохшие, уродливые стариковы руки.— У нас почты этой! Что ты! Тоже и благодарят. С Киева благодарят, с Новгорода, с Астрахани...— Старуха вдруг съежилась, закрылась ладонями, расплакалась. — С Риги, с Рязани, с Москвы даже... все благодарят, благодарят.

— Будет, Груня,— внезапно зло произнес старик.— Чего реветь? Помер я? Нет.

Но старуха при звуке его маломощного гневливого голоса зарыдала пуще и запричитала:

— Заговорил, старый, спасибо тебе, слава богу, заговорил! Да не по тебе, не по тебе. Я по последенькому нашему, которого в землянке родила, на Брянщине. Радости! Немцев-то аккурат вчера прогнали. А он возьми и помри. Все в чурочки играл, все утро в чурочки играл. От молочка

отказался — мол, ни к чему уже. Как понимал что... Потом взял и помер. Без мучений, по-хорошему. А и что? За что б ему мучиться? Он и себя еще не успел обидеть, не то что кого.

Старик засипел, понатужился, привстал, обхватил старуху длинными костлявыми руками, позвал жалостно:

— Грунюшка, Грунятка-а! Ну не надо, уймись.— Ткнулся и глухо, виновато вроде забормотал ей в кофту: — Скажи лучше, как там капуста моя, морозец не пробрал? А? «Хибинку»?

— Не, Федюша, не пробрал,— глубоко, утомленно вздохнула старуха, освобождаясь наконец от изнурившего тело и душу гнета.— Нисколючки не пробрал.— Качнулась женственно и крепко прижала к себе плешистую старикову голову.

— Пошли,— шепнула Оля.— Ну? — спросила нетерпеливо, задиристо, едва они вышли на воздух.— Осознал? Понял? Или как?

Она медлила спускаться с крыльца. Он стоял на земле. Она была чуть-чуть выше его, и, должно быть, это ее устраивало.

— Осознал! — шепнул он горячо и обреченно, выбросил руки, стиснул, поднял и прижал ее к себе. И рассмеялся от счастья чувствовать легкую, дорогую, желанную тяжесть, от счастья страдать, жить, любить, видеть над собой молоденький месяц, дышать ночным весенним воздухом, полным сочных, крепких, будоражащих запахов земли, трав, моря.— Все, все осознал! — уверял он в упоении жизнью.

— Правда? Правда? Я знала, знала! — быстро откликнулась она и сама обхватила его сильными истосковавшимися руками, и ее белый беретик упал в мокрую траву, и месяц закачался в небесах, а она расплакалась вдруг ни с того ни с сего: — Прости... прости... но... прости... тебе действительно стыдно? Ты бы теперь... после... не стал молчать? Ты бы сказал Рябову? Одернул?

— Обязательно! Непременно! Поверь! — успокаивал он ее.

Только на кой, на кой, зачем было ему все это нужно?!

— Да посторонитесь вы! Дайте же пройти! — услышал внезапно раздраженное, будничное.

Очнулся. Едет в троллейбусе. Народу — битком. И это ему кричат, его толкают, чтоб в сторону откачнулся, не

мешал, не путался под ногами. Поспешно послушно подался вбок, куда отжимали.

...И опять его нет в московском утреннем троллейбусе. Опять он на Сахалине, шагает по широкой лесной дорожке. Справа, между темных стволов старых лиственниц голубеет море, слева — огромный белоколонный зал — березовый лес, шелестящий блескучей, новорожденной листвою.

Утро солнечное, ветреное. В канавах кое-где еще ледок синее. Но уже сверкает на солнце свежая лягушачья икра, молодая ель так густо пахнет смолой, что ноздрям щеотно и жарко.

Чем ближе к шахте, тем кучнее идет народ, тем громче, шутивее разговоры, дружнее хохот.

Покой в мире, дружелюбие, ясность.

И вдруг — Рябов. Взял за плечо, остановил. Носком сапожища пробует сбить мокрый глиняный бугор, не поднимая глаз, бубнит хмуро:

— Твоя-то... у-ух! Гоношистая! Сил нет! Поди, жареный петух не клевал ни разу. Вчера ворвалась в кабинет, секретаршу отпихнула. А у меня люди из области. Совещаемся. Раскричалась, наоскорбляла. Меня. Что ей? Бис-сектри-са. Все за деда того. Пришлось в тот же день и шифер организовать, и грамоту, и... А уж не ты ли, Прозоров, подогрел ее? Не ты?

— Что вы, нет, конечно, — открестился он тотчас.

— И то... — Рябов выпустил его плечо из тисков своих железных пальцев и ухмыльнулся вдруг из-под ржавых бровей: — Куда, куда тебе, ангел! Не по твоему замаху сосенка! Скорей она тебя подогреет. Эх, мне годков тридцать бы скосить! Отнял бы, уберег. Так-то, человеке! — Рябов приметил и скинул сапогом в канаву усыхающий на траве зеленоватый ячеистый лоскут лягушачьей икры и двинулся вперед споро и угрюмо, как бульдозер.

А у него, Прозорова, надолго осталось ощущение уязвленности, точно его щелкнули по носу, а он не сразу сообразил, что это оскорбительно, и не собрался ответить.

— Мне стыдиться? А чего? Что я люблю тебя? Этого? Но я тебя люблю. И городок наш маленький. И всем это видно.

И снова несется ему навстречу, разбрызгивая пенистую кромку прибоя, босая, хохочущая, с лентами морской капусты в кулаке. Обнимает, целует суматошно, лепечет всякий сумасшедший вздор, и плевать ей на все.

— Оленька, Оленька! — умоляет он. — Вон мужик в лодке.

— Какой мужик? Какая лодка? Я целый день ждала тебя, целый день! — И губами трогает ссадины на его руках.

— Но почему без туфель? Вечер же, холод!

— Бежать мешали. Бросила. Вон там.

Он видит ее покрасневшие, сморщенные от морской суrowой воды ступни, еще влажную пену на щиколотках. А-а, все одно уж! И, забывая всех мужиков в лодках, садится на камень, достает свой большой носовой платок, вытирает эти ее глупые, несчастные ноги, согревает руками, за пазухой.

«Фу, ненормальные! — фыркает Прозоров, усаживаясь за свой рабочий стол. — Был ненормальный», — добавляет сердито, предусмотрительно и лживо.

Рабочий день тянется для него утомительно долго, бессмысленно и никчемно. Ему, еще недавно такому собранному, деловитому, хочется ненавидеть себя за такое недопустимое, унижительное отношение к своим обязанностям. Он старательно сосредоточивается на телефонных разговорах, на писании бумаг, подчеркнуто озабоченно принимает посетителей, с особенным, целеустремленным выражением на лице выслушивает приказания начальника. И все-таки ловит себя на том, что теряет нить своей и чужой мысли, что память оказывается ярче, требовательнее действительности.

Он внимательно смотрит в глаза собеседника, но видит совсем другие глаза, и брови, и лоб, и волосы, черный лисий хвост, перехваченный ленточкой, и голубой след в снегу там, где ступила нога в белом легком сапожке.

«Да зачем, зачем думать мне обо всем этом? — отчаянно недоумевает он, возвращаясь издалека в текущий момент. — А вот зачем! — радуется поспешно и обосновывает второпях: — Вспоминаю, чтобы забыть, выбросить из головы. Чем больше вспоминаю, тем скорее забуду. Раз уж невозможно без этого, — изворачивается перед собой, и плохо верит себе, и еще пуще страдает от этого. — Да и что помнить-то?! Что?»

Изнуренный двойственностью своего существования, кое-как притащился домой, сел в кухне, развернул газету.

— Ешь, стынет, — напомнила жена.

Послушался. Пошевелил вилкой салат, быстро, кое-как прожевал котлеты, выпил компот, сладкий до тошноты.

— Представляешь? — звучал голос женщины, которая

маячила напротив расплывчатым пятном. — Представляешь, сегодня к нам новенькая пришла в читальный зал. Кофточка из мохера, потрясающий цвет. Принесла вязание. Как только читатель отошел от барьерчика — берет и вяжет. Длинный бежевый шарф с белыми кистями. В первый же день! Представляешь? Я бы не решилась, не поступила бы так.

— Да? — сказал Прозоров, продолжая соблюдать ритуал семейного разговора. Однако голос внутри него прокомментировал рассказ женщины на свой лад: «Поступила? Даже так?.. Поступки... Да неужели? Постой-ка, Чижик, погоди, а какие и когда числились за тобой поступки? Были разве? Или есть? Охо-хо-хо... Действия — да, ну вроде хождения на работу, в театр, в гости. Но поступки... Нет, Чижик, увы, поступки не по твоей части. Разве что когда созналась... насчет очкарика... Но не довела, нет, раз — и на попятную, и очкарика побоку. Куда тебе! Куда!»

Ослепительно белое, душное, наваливающееся. Он по пояс прочно увяз в сыром топком снегу. По спине под ватой подкладки, мешаясь с тающим снегом, течет жидкий пот слабости и изнеможения, ноги тяжело гудят от усталости. А пурга еще в самой силе, яростно гудит, словно пламя в топке.

— Ха-ха-ха! — звучит, прерываемое гудом.

Две цепкие дружественные руки, но тоже давно изнемогшие в неравном поединке с осатаневшей природой, тшчатся вытянуть его из безбрежной снежной топи. Конечно, не получается. Снег мгновенно скапливается на шапке, на плечах, и давит, и забивает ноздри, лезет в глаза. Но бедовый хохот ничуть не смирнеет, становится заливистой, вызывающей. Ну не глупая ли? Дорогу потеряли с час назад. И где теперь — то ли ближе к поселку лесорубов, где выступали, то ли к городу, то ли в чистом поле. Неужели не понимает, что положение катастрофическое?

На ощупь отыскал ее исхлестанное пургой узенькое тело, поднатужился, дернул к себе. Но только пуговицы оторвал с ее набухшей влагой шубки. Разозлился на свое жалкое бессилие и вытащил девушку из сугроба, поднял, понес.

Сколько бы хватило духу нести — неизвестно, только она неожиданно задела какую-то стену, оказавшуюся стеной окраинного городского дома-новостройки.

Ощупью, посмеиваясь над слепым своим везением, отыскали дверь, надавили, легко сорвали внутренний прово-

дочный крючок и попали в чистые неуютные коммунальные сенцы, кое-как освещенные вдовьим светом электрической лампочки. Чтобы разглядеть вблизи этот убогий обобществленный светильник, надо было подняться по узким ступеням деревянной лестницы. Они, понятно, подниматься не стали. И слабенький свет лампешки показался им очень даже симпатичным и ярким, а занозистые лестничные ступеньки уютными и удобными. Они посбивали друг с друга снег, сели на лестничку и поцеловались долго и крепко. И он осторожно провел пальцем по ее жестковатым бровям, сметая с них капли влаги; уже было ясно, что она потеряла не только свои ноты, но и конспект его лекции «Искусство эпохи Возрождения», над которым он по ее наущению честно трудился в читальне три вечера кряду.

Он напомнил ей об этом, и она снова захохотала, только тихо, чтоб не разбудить никого в доме.

— Ну чего ты? — пытался строгостью тона образумить ее и безо всякого перехода набрасывался и целовал сужившиеся от смеха глаза, защищенные колючей путаницей ресниц, от которых губам щекотно...

— Что? Прочитал лекцию? — дразнила девчоночьим вредным шепотом. — А говорил: «Ни за какие коврижки». Эх ты! А краснел-то, когда хлопали! От самодовольства, надо полагать. Ух и глупый! Ух и глупый! — И тоже безо всякого перехода гладила ладошкой его холодную щеку.

И вот тут вдруг со второго этажа по деревянной лестнице кувырком и прямо им в спину загремело ведро. Следом, они едва успели отскочить, рухнул тючок с бельем.

— Что же вы? Как же это? — оторопел и захлебнулся молодой истончившийся женский голос.

— Такую твою мать, — негромко, рассудительно отозвался басистый и, по всей вероятности, здоровенный мужчина. — Посуществовали — и будя. Моя жилплощадь. Я — хозяин.

— Да пурга же! Метет! — потерянно выкрикнула молодая женщина.

— Пурга? Ишь... А нам что за дело? — ввинтился с язвительным подвизгом торжествующий бабий вопль.

Заплакал было, но тотчас затих, как умер, ребенок.

Он еще стоял, соображая, что к чему, а она, бешеная, неукротимая, как снежный вихрь, взлетела наверх, и ее внезапный яростный крик «а-а-а!» перехлестнул, утопил остальные голоса.

Испуг за нее подхватил Прозорова и мгновенно перенес на верхнюю лестничную площадку, где проходило действие.

Тут он увидел большеголового лысого дядю в галифе и в тапках на босу ногу. Голая грудь его так густо заросла черными волосами, что походила на воронье гнездо. Из карманов галифе кругло выпячивались здоровенные кулаки.

За его спиной мельтешилась тощая безбровая баба, держала ноздрями, то и дело облизывала острым языком тонкие губы, науськивала своего мужика на одинокую квартир-рантку.

А квартирантка — прехорошенькая, пухленькая, белолицая, в пуховом сером платке, с заплаканными глазами и выпяченной обиженно нижней губешкой. Ребеночка прижала головой к своему виску, и руки у нее дрожат, и кисточка на шапочке у ребенка дрожит.

— Мотай, мотай отселева, — благодушно вроде угрожает мужик, поигрывая кулачищами в карманах. — А то моды... пеленки свои поганые стирать, свет по ночам жечь.

— Ах, негодяй, кулачье недобитое! — взвилась Оля и, безоглядная, худенькая, смешная в скособоченной шапке, подступилась к мужику.

Мужик крутнул головой, оторопело выпучил глаза, вынул из карманов волосатые кувалды.

— Эта-то откуда? Э? — бормотал ошалело. Поднял руку, чтоб оттолкнуть ее, что ли.

Прозоров выхватил из кармана тяжелый металлический фонарик.

— Отец! — предупреждающе охнул еще кто-то — мальчишка лет шестнадцати, в выутюженном пиджаке поверх голубой шелковой майки. Он выставился из-за приотворенной двери — тыловая охрана, можно было понять.

— А-а-а! Подсвинок явился! — зло обрадовалась Оля. — С комсомольским значком на курточке! Честь по чести! Оборону держать выставился? Давай! Жилплощадь свою от младенца оборонять вылез? Похвально! Образец мужества и чести!

— Это откуда? Э? Э? — пыхтел в недоумении мужик, окончательно сбитый с толку безбоязненным лихим напором, и косился смущенно на жену, онемевшую от неожиданного вторжения посторонней опасной силы в ее тонко обдуманный план. Ведь как хотелось, представлялось? Очень просто: пурга, народу нигде, все втихую и обстригаем.

Соседи? Еще кого опасаться! Вежливые, культурные, в чужие дела соваться не торопятся. Квартирантка? А куда, в какой исполком она с жалобой потопает в такую непогодь со своим прижитым младенцем на руках? Разве что

к кому на ночь приткнется да поплачется. Пусть ее! Велик ли урон от ее языка. Переживем!

— Эй ты, чемпион! — Оля дернула подбородком в сторону юного здоровяка и приказала: — Сейчас же, слышишь? Сейчас же подбери вещи и отнеси в квартиру. Понятно? Или тебе разъяснение какое добавочное требуется?

Парень стоял бледный, насупившийся, ни на кого не глядел. Когда услышал обращенные к себе злые, грубые слова, метнул в девушку затравленный взгляд. И вдруг послушно стронулся с места, побрел по тяжко заскрипевшей лестнице, подхватил тючок, ведро, прочее...

— Мать твою перемать, — выразился мужик, но когда широкоплечий угрюмый сын проходил мимо с вещами, отодвинулся, уступил дорогу.

Язва-баба успела, однако, заскочить в дверь своей квартиры и заперлась изнутри.

Парень приостановился и недолго думая грохнул в дверь ботинком, прогудел свежим, строптивым, тоскующим баском:

— Кончай, мать! Отопри, слышишь? Хватит мне... Впусти квартирантку! Ну? По горло сыт. Не отопрешь — сбегу. Хватит позориться. В чем есть уйду.

В двери писклявенько, побежденно вертанулся ключ.

Всю дорогу от того окраинного дома Олю трясло, и у него хватило сил довести ее только до своей холостяцкой квартиры.

Он силой уложил ее, вызвал «скорую». Она проболела почти две недели. Лежала у него, и он неслся с работы в страхе, как бы без него чего не случилось.

Однажды, когда она добаливала уже у себя дома, он сидел, как обычно, на диване у ее ног. Она лежала на высоких подушках и, опустив ресницы, вертела золотое колечко вокруг исхудавшего пальца.

— Совсем свежий, мне специально буфетчица сберегла, — настаивал он и совал ей стакан с кефиром.

— А ты знаешь, откуда у меня колечко? — спросила вдруг, не поднимая глаз.

Он не знал.

— Какой же ты не любопытный, однако, — грустно сказала она и сдвинула брови. — Я ждала, ждала, думала, поинтересуешься. Ладно. Кольцо это мне папа подарил. Давно-о... Очень рано. Мне было тринадцать лет... Послушай! Ты! — Она уперлась в него дурным, жестоким, вызывающим взглядом. — Видел когда-нибудь, как человек падает? Ему ножом в спину — и он падает...

— Нет,— отозвался он.— Тебе не холодно? Налить чаю?

У нее побелели щеки, и он испугался, что это опять болезнь, бред.

— Не бойся, не бред,— сказала она и усмехнулась углами обесцвеченных губ.— Ножом в спину убили моего отца. При мне. Он был удивительный... Приносил в карманах сладости, хоть мне уже тринадцать лет. Читал книги вечером вслух, и кружился со мной на карусели, и рассказывал про жизнь, про войну, про товарищей. Он заступился за девушку. Мы возвращались из порта. Я встретила его после рейса... Было прохладно. Он накинул на меня китель и даже фуражку свою морскую нахлобучил. Он все смеялся, какая я смешная... Какая вся в него и смешная... Их было пятеро. Еще бы! Он был сильный, высокий, плавал как, нырял... Он крикнул мне: «Беги, дочка, беги!» Я и побежала. А когда остановилась... опомнилась... он уже на земле... какой-то старичок около... Почему? Почему послушалась и побежала?! Почему не бросилась на этих подлецов — и руками, ногами, зубами?!

— И все-таки ты — счастливая,— сказал он.— Счастливей меня.

— Я счастливая? — остывшим, насмешливым голосом спросила она.— Потому что у меня вот так погиб отец?

— И все-таки,— подтвердил он.— И потому, что отец вот так, и потому, что... И ты не знаешь того, что знаю я... Как родная мать...

Она рванулась к нему, обхватила, стиснула. Он почувствовал на своей щеке теплую тяжесть ее слезы и, может, впервые в жизни очень спокойно подумал: «Обратно в Москву? А зачем?»

Надо же... Надо же, как откровенен бывал с нею! А зачем?

— Ты что-то совсем тихий сегодня. Не заболел? — спросила жена.— Тогда проветрись, хлеб кончился.

Он самоотверженно бросился искать пустой полиэтиленовый мешочек, проворно оделся, вышел на свежий воздух.

Лиловатые майские сумерки дохнули в окаменевшее от дум лицо тополиным теплом. Стучали в полутьме каблучки девочек-прыгалок. Исходили угрожающим криком «домо-ой!» материнские голоса. Но «классики», кривовато начерченные посреди двора, не пускали, торжествуя над страхом перед грядущим возмездием.

Прозоров обошел эти волшебные «классики», подумал и обогнул корявенькую вишенку так, чтобы не давить по-

дошвами легкий белый цвет, осыпавший грубую шкуру асфальта.

За домом на углу горел фонарь. В его свете лаково взблеснули на миг волосы девушки, убегавшей от парня. Парень, впрочем, живо догнал ее, схватил за запястье. Проходя мимо, Прозоров слышал их торопливый ласковый шепоток и следом полужук быстрого поцелуя. На Прозорова, которому были чем-то дороги эти незнакомые люди, они не обратили ни малейшего внимания. Он был не из их молодой, полной сил и надежд команды. Это его обидело. Хотя... что ж тут такого?

Отвернулся, увидел — издалека приближается такси с зеленым огоньком. Ничейное, готовое услужить... Захотелось поднять руку, сесть и поехать. Куда?

Дальше побрел, то и дело неловко задевая прохожих, рассеянно глаза по сторонам. Улица переливалась разноцветным неоновым светом. Горели названия магазинов, кинотеатра, кафе, а на высоком здании вдали вспыхивал ритмично, слово за словом, изумрудный призыв: «Переходите улицу только при зеленом свете». У него было чувство, что он впервые идет по этой улице большого, уютного многолюдного, незнакомого города. И зачем? Не знает.

Впереди возле заборчика из штакетника на прежнем месте стояла знакомая мороженщица в белом. Он представил ее веселые глаза, фирменную шапочку на вспененных волосах, курносый девичий носик... Захотелось подойти и убедиться, что все это так и есть. Он притулится где-то около, а она, как тогда, будет изредка посматривать на него и улыбаться. И никто никому ничего... Никаких обязательств. Никаких необходимостей. Никакой памяти.

Евгений Петрович ускорил шаг. И оторопел: при ближайшем рассмотрении мороженщица оказалась высокой худой тетей в очках на горбатом носу.

Он прошел мимо нее. Неожиданно она окликнула его настойчивым, хриловатым от курения голосом:

— Молодой человек, купите мороженое. Последняя пачка осталась.

Он повиновался машинально. Про булочную забыл, повернул домой.

— А где же хлеб? — удивилась жена. — Уже закрыто? Какое безобразие!

Он кивнул, протянул ей подрасплавившийся в руке брикет мороженого:

— Алене вот...— И чтобы совсем убедить женщину в неопасной обыденности случившегося, спросил с фальшивым интересом.— Ты чем это занимаешься без меня?

— Ой, знаешь, в шкафу перебирала. Нашла что! — Женщина оживилась.— Альбом! Представляешь?! За седьмой класс. Ужас! Мне девочки в него писали. Хочешь почитать?

— Очень,— сказал он, кажется, вполне в унисон ее дшевенькому восторгу.

В альбоме, сшитом из нескольких школьных тетрадей в клеточку, им были обнаружены срисованные с открыток остроугольные розы и восточные женщины с косящими глазами и бровями до ушей. Все это сопровождалось четверостишиями вроде:

Прыгай, как зайка,
Резвись, как дитя,
Но знай, что наука
Полезна всегда.

1951 год

«Тысяча девятьсот пятьдесят первый... Лето. Шестнадцать лет. Лесосплав. С утра до ночи в воде. Комары жрут. Ночами от усталости тело деревянное. Перепрыгивал через залом, бревно подвернулось — ухнул с головой в ледяную воду. Рабочие вытащили, откачали», — сказал в нем холодный, неподкупный голос.

...На другой день, с трудом досидев в управлении положенные часы, Прозоров не отправился по обыкновению домой. Он завернул на почту, и словно это было давно и твердо решено, взял бланк для телеграммы, сел за стол и без единой заминки написал: «Сахалинская область Снежногорск Крузенштерна 16 Смирновой О В Оля Оля Оля Где ты Где ты Отзовись Отзовись Прошу Прошу Прошу».

Телеграфистка, деловито простукав текст острием карандаша, с профессиональной безапелляционностью сказала:

— Чего вы столько одинаковых слов написали? Вычеркнуть?

— Вычеркнуть? Почему? — не понял он и покраснел. Ему показалось, что седая приемщица с пучком пожелтевших от времени волос скажет сейчас: «Потому что незачем все это. Раньше надо было думать».

Старая женщина, разумеется, ничего такого ему не сказала, но он ушел с ощущением, что услышал от нее именно эти слова.

Сначала он был терпелив и только дважды, утром и вечером, заходил на почту к окну «До востребования». Но недели через две непрерывного, взвинчивающего, изматывающего ожидания не выдержал и послал вдогонку, подряд две телеграммы. «Только бы скорее! Скорее! И ничего больше не надо! Любой, но конец. Хватит! Довольно! Чтoб никаких вопросов... ясность, точка!» — убеждал себя и шагал слепо, напролом, расталкивая прохожих.

...Во дворе под вишнями стучал молоток, шаркала пила. Евгений Петрович прошел было мимо, но его окликнули:

— Сосед! А сосед!

Оглянулся и увидел электрика, того самого, у которого умерла жена и который жутко кричал тогда за стеной.

— Огонька не найдется?

Когда электрик наклонился над прозоровской зажигалкой, Евгений Петрович углядел мазок седины в его черных молодых волосах.

— Вечер какой,— сказал электрик, вглядываясь в проходящих мимо людей. Один раз затянувшись, он вертел сигарету в пальцах, как палочку.

— Хорош вечерок,— подтвердил Евгений Петрович, закуривая. Он был рад заговорить, заговориться.— Вы что тут? Плотничаєте?

— Вроде. Женщины попросили. Стол под вишнями, скамейки... Как у бабушки в садочке. По-домашнему...

Он забыл курить и не сводил глаз с проходящих мимо, словно искал кого-то, и не находил, и опять искал...

«Неужели у него до сих пор так?! — ужаснулся Евгений Петрович.— И болит, и тоска, и давит, и хочется бежать, а куда, зачем, как?» Он продолжал стоять рядом с электриком, словно надеялся вот-вот каким-то непонятным образом получить от него ответы на все свои отравленные вопросы — и сейчас же все в нем как-то упрямится, недоуменное, мучающее, лишнее отбросится, вытолкнется наружу и рассеется без следа.

— Мы с вами незнакомы толком,— сказал, чтоб как-то оправдать свое никчемное стояние. Протянул руку, назвался.

Электрик стиснул его пальцы прочно, жестко, как рукоять механизма:

— Арабов Сергей... А верно говорят, вы с Сахалина? — спросил чуть погодя.

— Верно. Был там.

— Сколько же?

— Семь лет.
— Порядком. И кем?
— Маркшейдером на шахте.
— А здесь? Покрупнее небось?
— Покрупнее...
— Ну и где вернее? Там? Тут?
— Кто его знает, — отмахнулся было Прозоров, но вдруг сам задумался. — Где? Там? Там что ж — живое дело... Понимаете?

— Понимаю. Ну а тут?
— Тут? Тоже ведь кому-то и в Москве работать надо, — отшутился старой прибауткой.
— Это точно, — улыбнулся Арабов, наклонился, принялся доколачивать низкую круглую скамейку вокруг низкого, должно быть детского, столика.

На его лбу у корней волос поблескивал пот. Рядом с ним, не поднимая головы, работал кудрявый лопоухий паренек. От усердия загнув язык за щеку, он до того старательно, медленно подпиливал доску, что смотреть тошно.

«Этот-то ясно, что, как, — размышлял Евгений Петрович, отворачиваясь от паренька. — Но Арабов... Тоже ведь усердничает, налегает... Значит, все-таки ушло, стерлось, забыл? Значит, есть предел? Или это он вид делает? Отталкивается? Защищается? Попробовать, что ли? Может, тоже отпустит?»

Скинул пальто.

— Ну, что я могу, Сергей?
— Ножки для стола в землю врыть. Идет?
— Идет.

Поплевал на руки, взялся за лопату и принялся энергично долбить, выворачивать землю. Спина загорелась, намокла горячо, слиплась с рубахой, и Евгению Петровичу показалось вдруг, что, работая вот так, беззаветно, он этим самым как-то задабривает те затаившиеся силы, от которых зависит ответ на телеграмму и все его будущее. Развороченная весенняя земля пахла вкусно, обнадеживающе.

Подкатил на своей синей «Волге» летчик из второго подъезда, поглядел на их работу, присвистнул:

— Ну, ребятки, ну даете!

Сбегал переодеться и явился, дожевывая что-то, в облезлых джинсах на длинных ногах.

— А мне какой приказ, Серега?

— Крышку для стола. И будет порядок, — ответил Арабов.

Провозились до темноты, до тех пор, пока не явилась жена летчика, громкоголосая толстушка, такая же веснушчатая, как и он. Вытащила из сумки, положила на свежесбитый стол пакеты молока, пироги в газете. Сели, ели, а кудрявый паренек с летчиком и его женой пели, чокаясь пакетами:

Налей полней бокалы.
Кто врет, что мы, брат, пьяны?
Мы веселы просто, ей-богу.
Ну кто так бессовестно вре-ет?

Кудрявый паренек оказался их сыном.

Жена летчика, приобняв Араובה за плечи, очень правдоподобно горевала:

— Сережка! Ну где ты был раньше? Ну неужели ж я его б выбрала, конопатого?

— Ишь ты, ишь ты! А сама-то! — Летчик схватился за голову.

Их сын переводил глаза с отца на мать, лукаво прикусив губу щербатенькими плоскими зубами.

Арабов усмехался, постукивая по столу пустым бумажным пакетом.

Но Прозорова уже давно тяготила такая остановка жизни, и он жестоко рассердился про себя на беспечно болтающую женщину. Она, мнилось ему, оттолкнула от него Араובה, и потому в его груди опять набухает бесформенная, надсадная тяжесть.

Как назло, подошли старушки и бритый старик в серых валенках с галошами, долго кивали головами, похваливали работу. Старик пообещал важно:

— Завтрева утречком я все это делоотрегулирую, покрашу в зеленую светлую.

Наконец потянулись по домам. Прозоров остался сидеть. Не спешил и Арабов, неторопливо собирал инструменты. Прозоров наблюдал за ним и думал: «Простой работающий человек. Нет, вряд ли с ним до сих пор такое. Все проще. Этого не выдержать. Это и правильно. Пришло — ушло...»

— Время идет, — произнес Прозоров тихо, неопределенно, на пробу. — Все проходит...

Арабов выпрямился. Черные брови его сдвинулись.

— Думаете?

В сумраке на его черных волосах ярко белели лепестки вишен. Забрал инструменты в обе руки, отвернулся и пошел прочь.

Глядя на его удаляющуюся спину, Евгений Петрович не-

обидчиво решил: «Что ж, значит, ему еще хуже... У него все потеряно, все... А у меня еще может быть и...»

...И снова ждал и жил надеждой.

Но однажды очнулся и понял, что ждать нечего. Отошел от окошечка «До востребования» и, вконец обессиленный, опустошенный, упал на стул, уставился бесцельно в матовое блюдо плафона, полное призрачного, мертвого света.

Никогда прежде не знакомый с такой выматывающей тоской, с такой неотступной, цепкой болью, он воспринимал и тоску и боль как нечто противоестественное, противозаконное. Поднялся и тяжелой, неустойчивой походкой выбрался на улицу. Только и на свежем вечернем воздухе ощущение не изменилось. «Да за что же? За что?» — повторял он и обводил прохожих, машины, окна домов болезненным, искательным взглядом. Один, один в пустоте, несмотря на шум и гул огромного многолюдного города...

Вдруг кто-то тронул его за рукав:

— Евгений Петрович!

Прозоров увидел перед собой Иисусовы вислые усы, Иисусову бородку, а под ней какие-то цветики бледным облачком.

— Помните, Евгений Петрович? — жадно, весело заговорил Синицын, перекладывая букетик из руки в руку. — Помните наш разговор?

Прозоров не помнил, но кивнул.

— О Воздвиженском? Как ему шеф второй выговор? Ну и так далее?

— Ну, — нетерпеливо отозвался Прозоров.

От букетика шел приторный, назойливый запах.

— Восстановили! — торжественно провозгласил Синицын и улыбнулся широчайшей победоносной улыбкой.

— Да ну! — подыграл Прозоров.

— А вы не знали? Ничего не знали? — испуганно изумился Синицын. — Как же! Прав вышел именно Воздвиженский! А выговор шефу! Правда, устный, но все-таки! Стоило только вникнуть. И все оказалось очень просто. Наши товарищи из месткома вникли. Представляете, какой шефу пинок? — И молодой человек залился непорочным ребячьим смехом.

Вдруг утих, насупился, сунул цветы за спину, спросил не глядя и вымученно:

— Как же? А вы говорили...

Он так и не поднял глаз, но по тому, как расслабились мускулы на его лице, Прозоров догадался, что все это зна-

чило. Молодой человек долго готовился высказать ему, Прозорову, свое «пфе», исполнить, так сказать, долг перед своей суетной совестью. И вот — дерзнул, отделался, облегчился.

— Я? Что ж я? — насмешливо переспросил Прозоров. — А ты что ж? Ты? Ты? Ты?

Синицын сморгнул ошарашенно, вытянулся и застыл с букетиком в свисшей руке. В ярком свете, падавшем из широкого окна почтового отделения, было хорошо заметно, как налилось краской его лицо и даже узенький иконописный нос прихватило. «Так-то оно и лучше».

— Витя! Витенька! — подскочила к Синицыну высокая тоненькая девушка с распущенными волосами и помахала в воздухе бумажкой, должно быть квитанцией.

При виде ее краска на лице Синицына сгустилась, и он кинул в Прозорова такой отчаянный, беззащитный взгляд, что Прозоров неожиданно для себя протянул ему руку и девушке тоже, попрощался и отправился домой. «Мальчишка, — подумал вяло. — А шеф слегка погорел, выходит... Как говорится, правда рано или поздно...»

И снова брел по улицам, шаря потерянными глазами, бессознательно искал спасения, лекарства, которое бы вернуло ему физическое и душевное благополучие. Вдруг ему почудилось, что такое лекарство, совершенно оригинальное, всесильное, найдено. Вот оно: «Зачем, собственно, мне нужна она? Чего мне, дураку, не хватает? Страдать из-за какой-то взбалмошной, вздорной женщины! Ну что за бред! Радоваться надо! Освободился! Распутался!»

А это неизменное, связывающее, лишающее свободы ощущение, что за тобой все время наблюдают? Что каждый твой поступок оценивается? Что от тебя все время ждут неких свершений? Жить под этим грузом очень легко?!

Он продолжает без цели брести по вечерней людной московской улице, зачем-то останавливается возле винного магазина, глядит на витрину, уставленную бутылками.

— Шеф, а шеф! — позвали его и дернули за пиджак. — Присоединяйся? Скинулись? Ага? Чего раздумался? Вино — солнечный луч, проникающий в душу. Желаете? Луч в душу?

— А? А-а-а... Что же, можно, — отозвался Прозоров, приглядываясь к маленькому человечку с мокрыми губами. Вытащил деньги.

— Что такое душа, голубчик? — витийствовал разбитой запущенный человечек, зубами сдирая с поллитровки алюминиевую нашлепку.

Он быстренько нашел третьего партнера, сутулого, угрюмого, в кепке козырьком назад, отыскал подходящее место под каменной, безлюдной аркой, где было темно, сыро и пахло мочой.

— Душа, голубь,— кусок дикого мяса. Ты своего желаешь, а она, тудить твою растудить,— своего. Одно спасение — солнечный луч. Ах, любо-дорого!

Третий партнер молчком проглотил свою долю и удалился, хрипло откашливаясь.

— Что за тип? — спросил Прозоров.

— Тип! — ухмыльнулся человек, наблюдая с ненавистью, как Прозоров сосет бутылку. — Марь Петровна это! Не хочешь? Баба! Была куколка, все при всем, самостоятельная. Втрескалась в одного тут — и с тормозов. Ох и пьет теперь, ох и пьет, стерва! Кончилась! Уже и права отобрали. Одна дорога — в дурдом! — сладострастно измывался над чужим падением дрянной человечешко и подмигивал Прозорову как единомышленнику.

Прозоров высочил из-под арки, перебежал улицу, бросился в первый попавшийся троллейбус, долго ехал, потом долго в неизвестном направлении шел пешком, лишь бы подальше от вонючей грязи.

Остановился на какой-то узенькой, немощеной, как будто деревенской улочке, заросшей старыми раскидистыми деревьями. Под ними укромно ютились одноэтажные домишки с палисадниками и скамейками у деревянных ворот.

Часть домиков уже порушили. На груде щебня высился бульдозер. Белели вдали пирамиды бетонных плит и чернела нацеленная на них гигантская улочка подъемного крана. Там и сям, сколько хватало света от фонаря, виднелись брошенные за ненадобностью вещи: кастрюли с ржавыми дырками на дне, плетеные, еще, может, дореволюционного образца, детские коляски с огромными, почти велосипедными колесами, матрацы вспоротым брюхом вверх, откуда лезла стружка, венские стулья с проломанными сиденьями. И все это напоминало разруху после бомбежки. Если чего и не хватало для полного впечатления, так совсем небольшого тела, перед которым он тогда стоял в сумерках. Стоял и ждал, когда оно пошевелится, потому что, по его тогдашнему разумению, всякому телу положено шевелиться.

Но это тело никак не хотело шевелиться и все лежало и лежало перед ним, неловко изогнувшееся, с запрокинутой головой, с разбросанными вкривь-вкось руками и ногами —

и без лица. На месте лица — слипшиеся палые листья в красном, вязком, густом, как кисель.

Но синяя латаная рубашка с белыми пуговками, но серые в белую полоску порточки, но желтые ботинки с веревочками вместо шнурков требовали от него, от Женьки Прозорова, признать в этом нелепом, ничейном теле Гришу Грошева, друга и приятеля, с которым играли в чапаевцев, в челюскинцев и в подкидного дурака и который во всех играх был до обидного проворнее, отчаяннее, смысленнее его, Женьки.

Признать он не смог. Ему показалось, что если он признает Гришу Грошева в этом неподвижном уродливом теле, значит, заодно признает и то, что признать никак нельзя, невозможно, невероятно, а именно — что и с ним, Женькой Прозоровым, может легко произойти такое же и он окажется спиной на земле, неспособный пошевелиться и стереть с лица красный густой кисель с налипшими листьями.

Он убежал от бестолкового, пугающего тела в колючие заросли малины.

...Мать приткнула его к своему большому, как подушка, животу и сказала:

— Хватит. Эвакуируемся. Выбери любимую игрушку. Только одну.

Любимой его игрушкой была палка с лошадиной головой. На этой палке любил скакать и Гриша. Он не взял эту палку, даже не притронулся к ней, вообще никаких игрушек не взял. Потянул у матери из рук синий чайник и фотографию в рамке. Чайник мать ему дала нести, а фотографию вынула из рамки и сунула себе под кофту.

На фотографии были она и отец, смеющиеся, в одинаковых полосатых футболках, в обнимку.

— Ничего. Все еще вернется. Все будет по-прежнему, — сказала мать, пряча в карман пальто любимый галстук отца, серый, в косую красную полоску. — А ты у меня, Женья, молодец. Я всегда знала, что ты у меня молодец.

Старший брат Андрей по собственной инициативе забил себе в карман отцовы подтяжки и ту самую полосатую футболку и, будучи уже слегка грамотным, отыскал на полке любимую книгу отца «Статистический учет» и сунул себе под ремень. Кроме того, он не забыл захватить отцовы домашние туфли, коричневые, с растоптанными задниками, на войлочной подошве. Так что если бы война оборвалась внезапно и отец внезапно встретился им на какой-нибудь станции, он имел возможность переодеться в гражданское сообразно своим вкусам и привычкам.

Впоследствии Андрей постоянно выставлял эти отцовы туфли к порогу. И когда кончилась война и стало ясно, что у отца есть другие домашние туфли, как есть другая женщина вместо матери, Андрей не сдался и продолжал упорно ставить эти никчемные туфли к порогу. Мать злилась, ругалась, кидала их в угол. Андрей гнул свое: молча подобрал, подставлял под порог, садился на корточки, глядел на них и чего-то ждал. Мать не знала, что с ним делать. Впрочем, она так никогда и не узнала, что с ними делать. А если брать глубже, все они — и мать и сыновья — так никогда и не узнали, что им делать друг с другом. Ну да это особый вопрос...

А вот что касается той фотографии, где отец и мать в одинаковых футболках, где они обнимаются и смеются... Мать прятала ее под своим матрацем. Так же, под матрацем, она хранила в конверте первые Вовкины волосенки (они же, собственно, и последние), карандашный контур Вовкиной руки на серой бумаге, который сделала сама, расправив мертвые детские пальцы на своем колене. Еще там, помнится, лежал крутой бумажный рулон из билетов военных займов, донорская книжка и первая школьная тетрадь Андрея.

Однажды мать, трезвая, причесанная, взяла ножницы и одним махом отрезала себя от отца на той знаменитой фотографии. Отца скомкала и швырнула в помойное ведро, а на себя смотрела долго, сосредоточенно и насмешливо.

По неопытности он решил, что мать совершила нечто из ряда вон выходящее, глупое и безобразное. Однако впоследствии убедился, что подобные половинки фотографий с причудливой линией среза являют собой заурядную принадлежность покинутых женщин. Между прочим, ему встречались и такие половинки, где случайно осталась необрезанной чья-то мужественная верная рука, обхватившая женщину за талию. Но мать поработала на совесть и отрезала отцовскую руку начисто, как не бывало.

Потянуло дымом. В одном месте в развалинах дома горел костер. Это мальчишки окончательно и бестрепетно уничтожали следы обитавших здесь людей.

Прозоров подошел близко к костру и услышал разговор.

— А в подвале череп и кинжал... Хороший кинжал, не заржавленный... Золотой потому что... — возбужденно, пугающе рассказывал худой мальчик в отцовской кожанке, сидя на донышке старого ведра.

— Настоящий? — тоненьким обиженным шепотом пере-

спросил белобрысый мальчик с сильно оттопыренными ушами и подпрыгнул на перевернутом детском горшке.

— Еще бы не настоящий! — Худой высокомерно цвиркнул сквозь зубы слюной.

— Вот бы и нам найти! — Ушастик с надеждой в круглых щенячьих глазах оглянулся на груды битого кирпича и разной трухи.

«Поверил... До чего ж глупый», — снисходительно подумал Прозоров, но тоже невольно повел взглядом вокруг.

— А еще... з-знаете? — сказал, заикаясь, третий, самый маленький мальчик. — За обоями в т-т-тайнике, старый-старый пистолет нашли.

— Настоящий?! — Ушастик опять подпрыгнул от возбуждения.

«Глупые», — вздохнул Прозоров, приглядываясь к тому, как огонь деловито уничтожает прочные гнутые ножки венского стула.

Хотел отвернуться от мальчишек и уйти. Но не уходило чего-то, навertyвались одна на одну отрывочные нечаянные мысли. Он и они... Они и он... Он что ж, просто-напросто видел больше закатов и рассветов, чем они? Разница возраста? А не слишком ли просто так сказать? И разве он прожил тридцать пять лет? Только-то? Не пойдет!

Мать честная! Да сколько ж в нем, однако, всего, всякого! Сколько чего потрогал, пощупал, узнал, осознал! А сколько недоглядел, недооткрыл, недоосознал и по независящим обстоятельствам и потому, что помешала, остановила, уладила каждодневная привычная суета!

А зачем? А? К чему ему столько всего? Только для того, чтобы он сейчас испытывал эту мутную, вязкую, бездарную усталость, выпотрошенность, потерянность? Только для этого? И беды, и знания, и опыт, и все, все?

Ему стало жаль себя. За то как будто, что он совершенно не способен вот так, как этот ушастый мальчик, вытаращив глаза, глядеть на мир и ждать от него необычайного, каких-то восхитительных подарков и откровений. За то, что он сам такой старый, потрепанный, унылый по сравнению с этими пацанами. Хотя на нем все новехонькое, наглаженное, а на них ветхие тренировочные брючата, разбитые кеды, и щеки и руки у них в грязи и саже.

«А собственно, для чего, зачем появляются на свет такие, как я, ходят, едят, существуют?» Венский стул. Недавно — Прозоров помнит эти времена — внушительный символ семейного благополучия, материальной обеспеченности, предмет зависти соседей, вещь модная, уважаемая, сгорал в

огне в одной куче с лоскутами обоев, почтовым фанерным ящиком и прочим хламом. Вокруг, радуясь силе и беспощадности пламени, сидели мальчишки. Вечные мальчишки на развалинах уходящей жизни... Так было, так будет...

Да ведь он тоже умел когда-то умиляться до слез крошечным желтым звездочкам первых безымянных весенних цветов! И однажды еще как ревел над несчастной судьбой маленького художника из книжки «Нелло и Патраш». Надо же, нищий мальчик нарисовал прекрасную картину углем. Картину признали лучшей, победителю готова огромная премия. Но ее уже некому получать. Нелло замерз, обняв верного пса, у дверей выставочного зала, не дождавшись часа своего торжества.

Та-ак... И что же вышло из Женьки Прозорова? Во что обратилась его симпатичная детская чувствительность? Ну, учился... Все учились — и он... Можно сказать, старательно. В институт, чтоб «корочки». Чтоб и зарплата как зарплата, но ни потом, ни мазутом от тебя не воняет, при галстукe с утра до вечера, в белом халате. В школе прямо так и пугали: «Опять двойка? У станка стоять захотел или коровам хвосты крутить?» Гордость подстегивали, одним словом. Ну и все такое прочее, соблазнительное, заносчивое.

Потому и в Бауманское не пошел, хотя намеревался. В Горный сунулся, где конкурс не слишком... Выгорело.

Выслушал в актовом зале вместе со всеми поздравление ректора с осуществлением мечты, прикинул еще раз, что, в сущности, не только не прогадал, а скорее выиграл, отказавшись от Бауманского: кто-кто, а шахтеры зарабатывают будь здоров!

Тугрики... тугрики... И когда почуял запах крупных купюр, бросил не раздумывая жену с ребенком и умчался. А чтоб совесть не грызла, сумел все так повернуть, что неопытная молодая женщина осталась уверенной, будто бы это она толкнула его на такой рискованный, опрометчивый шаг. Дошлый умник, он даже не попытался объяснить ей, какие сложности неизбежны, если он отправляется на заработки, а сделал вид, будто покорился ее нетерпеливой женской воле. Да он мог сказать ей все что угодно и как угодно повернуть ее жизнь!.. Она и в самом деле не очень далекая и очень слабая. Ну а он? Муж? Что он сделал для того, чтобы она стала другой, и мог ли что сделать? Да и нужно ли ему это было?

Прозоров передохнул, постоял опустив голову. Ветер

кинул ему в лицо дым от костра. Отмахнулся, внятно, вслух произнес:

— Теперь — работа.

Как бы то ни было, он работал, приносил пользу обществу. Ну, а если бы не платили, мог бы без шахты жить? Есть ведь такие, что втянулись, завязли и не могут? Нет, он бы вполне смог. Другим чем-нибудь занялся. Живописью, может... Способности были большие, тот старик говорил. Высокий худой ленинградец, переживший блокаду. Замотал шею драным кашне, поглядел жуткими, подозрительными глазами, ткнул в воздух пальцем, позвал: «Прозоров! У тебя талант! Дар божий! Решай. Шестнадцать. Пора. Готов? С головой в живопись? Бедность презреть? Тысячу разочарований? Наплевать на мирскую суетность? Работать, работать, постигать, карабкаться! Приходи, жду, возлюблю!»

Он не пришел. Подумал — и не пришел.

О чем подумал? Может, о том, что старый художник ютился в узкой комнатенке со вздутыми от сырости обоями, что под ржавой железной койкой, прикрытой кусачим солдатским одеялом, у него стоит жалконький прогнутый чемоданишко с отломанными металлическими уголками и что его замечательные оранжево-голубые картины никто не покупает и они торчат у стен, отвернувшись от мира с печальным осуждением? Или о том вспомнил, как однажды ворвалась к художнику толстая раскрашенная тетка из домоуправления и, сверкая золотым зубом, орала на него за то, что не платил вовремя за квартиру? Художник слушал ее стоя, виновато свесив измазанные краской руки, тихо, учтиво, бесправно повторяя: «Милая женщина, я постараюсь... Милая женщина, я постараюсь...» А это было тогда, когда некоторые уже повысили свой материальный уровень и навострились покупать не какие-то там кастрюльки-бирюльки, а приемники с проигрывателями, габардиновые китайские пальто на шелковой подкладке, фотоаппараты и даже мотоциклы. Когда по воскресеньям медлительно, величаво прогуливались супружеские пары в этих самых длиннополых габардиновых пальто и с супруга непременно свешивался на длинном ремне ФЭД или «Зоркий», сверкающий свежей кожей футляра.

Взбаламученная окаянная память не дала передохнуть — с самого потаенного дна вытолкнула вдруг отвратительное воспоминание юности. Это случилось ночью. Он, свеженький чемпион, сидел за уроками, изредка с благодарностью и уважением поглядывая на свои боксерские перчатки, висевшие на гвозде. Внезапные крики за темным

окном отвлекли его. Он потушил свет, выглянул за занавеску. Так и есть — пьяная драка. Двое бьют третьего. Да как: взяв за руки, за ноги, ахают об асфальт позвоночником, и он, этот третий, уже и не воет, его голова мотается безжизненно, а тело на глазах становится меньше, съеживается, уничтожается... Задернул занавеску, подумал, что надо бы выскочить, вмешаться, отнять... Пока думал, выскочили другие.

И если бы это один раз! Всю жизнь не спешил вмешиваться. Всю жизнь только и делал, что «вкалывал» без особого энтузиазма, «на уровне», по необходимости, по привычке. Соблюдал нейтралитет в скользких ситуациях. То есть лгал, лгал... И надо ж, мальчишка, Синицын этот, подметил, ухватил! Не понравилось? Еще бы! Симулировал интеллигентность, волнение, возмущение... Чтоб из общего хора не выпасть.

Хотел тормознуть, остановить бег злых, сокрушительных мыслей. Но вместо этого вдруг поразился с жестокой отрадой: «Надо же, какие слова выклеваются! Какие точные, веские! Хук с правой! Хук с левой! На честность! Без подсуживания! А чего мелочиться? Все на кон!»

Разобрало, разохотился и пристал к себе с едким, зловещим любопытством: «Так кто ты, Прозоров? Что? Ржа, плесень, выходец с того света? — Вздрогнул от неожиданного мощного рева, раскатившегося над головой, и восхитился фальшиво: — Ага! Реактивный! Сила! Силища! Двадцатый век, одним словом. Вот и задачка: реактивные скорости, гигантские мощности, сногшибательные открытия, космические полеты... кипим-бурлим. Партия и правительство принимают решения и постановления. Вывают к гражданской совести, к долгу перед обществом, растолковывают смысл гармонического развития личности, активного отношения к жизни. А я между тем — вот он. Как будто со всеми! Вот оно! Как будто! При случае ввернешь в разговор вычитанную мыслишку, фактик, засвидетельствуешь, стало быть, свой достаточный культурный уровень, политическую грамотность, и порядок: «вместе со всеми», «в общем строю».

...Где-то как-то доживает свой век больная, несчастная мать. Изредка он высылает ей небольшие деньги. «Ах, благородный сынок!» Куда! Это он собственную совесть прикармливает, не больше. Где-то как-то выбивается в люди старший брат, который, по слухам, решил честно зарабатывать на хлеб. Может, ему надо чем-то помочь? Хоть словом родственного внимания? Хотел, хотел... знаете ли... соби-

рался написать... Да так как-то все... Тапочки, тапотулечки... Вернувшись из детской колонии, Андрей первым делом осведомился: «Мать, где его тапочки, тапотулечки?» — «Я их сожгла», — ответила мать. «Умница», — похвалил Андрей. «Сынок, родной, возмись за ум! Разве можно жить, как ты живешь? Над людьми измываться? Стыд какой! Позор! — сказала мать. — Остановись, начни новую жизнь». — «Ха! Я давно начал новую жизнь! — сообщил сын. — Кончил глядеть на те тапочки и начал новую жизнь. Что стыдно-то? Что?! В этой жизни, мать, все можно! Это мне те тапотулечки объяснили».

Но самое интересное — мать отцовские тапки вовсе не сожгла. Она спрятала их туда же, под свой матрац. И вполне возможно, что они и сейчас там. Ради одного этого, чтобы убедиться, стоило съездить в родной город. Сколько раз намеревался!

...И повидать, поблагодарить тех добрых людей, которые в свое время помогали ему на ноги подняться...

Людмила Александровна Нечаева, зубной врач. Величавая, надменная. Приводила грязного, голодного мальчика Женю к себе в одинокую комнатку, умывала и при свете военной коптилки резала свой пайковый хлеб на две честные доли, разливала морковный чай в великолепные фарфоровые чашки. Потом надевала на большой добрый нос старинное пенсне и читала из Некрасова, своего любимого поэта, объясняла значение слов «эмансипация», «реакционер», «деспотия».

...Скворчиха, жена дяди Фоки, тоже из той породы. Когда дядя Фока умер, отдала Женьке последнюю мужнину рубашку, и он ходил в ней долго, несколько лет, рукава за-сучивал и ходил.

Собирался... Надо... Совестно... Да так как-то все тоже...

Художник... О художнике он давным-давно забыл. Никакого практического смысла не было помнить о нем. Он до того ловко, основательно запамятовал на этот счет, что когда ему пришло письмо из московского журнала, долго не мог сообразить, чего от него хотят. Письмо нашло его на Сахалине года три назад. В нем была просьба поделиться с читателями своими воспоминаниями о некогда безвестном, но впоследствии широко признанном художнике В. В. Горелове, который, «как Вы знаете, скончался недавно в возрасте шестидесяти пяти лет».

Его поразило несоответствие его представлений и действительности. Получалось, он знал художника вовсе не стариком, а мужчиной сорока с небольшим лет.

Он и об этом написал в журнал, и о многом другом, что вынырнуло вдруг из запасливых глубин памяти, пространно написал, тщательно перечислил подробности поведения и быта своего бывшего учителя.

Когда же вручил почте толстый заказной конверт, почувствовал такое сладкое облегчение, словно выплатил старый, внезапно всплывший и очень неприятный должок.

...Мальчишки с воплями воинственного восторга забросили в костер матрац, набитый стружками. Огонь взметнулся высоко и опасно. Прозоров очнулся от дум. «Да-а-а... Та-кая вот петрушка...— вздохнул он.— Впрочем, что ж, один я такой, что ли? Взять пацанов этих. Сейчас-то они чисты, милы, трогают... Только все ли они проживут достойно, совестливо, бесстрашно?» Однако думать исподтишка, коварно и недобро расхотелось, стыд пробрал.

— Мы ей конфет купили, целую коробку... Зефир в шоколаде,— рассказывал Ушастик.

— Много вас было? — серьезно спросил худой, в отцовской кожанке.

— Мно-ого. Все пацаны, весь класс. Мы все в нее влюбились.

— А к-какая она? — спросил, заикаясь, самый маленький.

— Да такая... У нее брат на мотоцикле ездит...

Замолчали, раздумались.

— А вы знаете,— Ушастик вдохновенно оглядел друзей,— лошади мороженое едят. Еще как!

Прозоров привалился плечом к развалинам. Он стоял совсем близко от ребят, но они как будто не замечали его присутствия. Да зачем он им сдался?

Это ему, изнуренному одиночеством, хотелось, чтобы кто-то обратил на него внимание, чтобы кто-то понимающий, сочувствующий, прощающий обогрел его, приласкал, утешил. Он готов был сам погладить по головам этих забавных мальчишек, и чтоб они признали его своим, пришли, поговорили как с равным, поверили, что он тоже чист и наивен и дерзко верит во всемогущество и таинственное очарование жизни, в ее праздничность, бесконечность, в непременность огромного сияющего счастья. И вспомнил маленький круглый рот, шевелящийся быстро-быстро в инстинктивном порыве защитить дорогого человека: «Дядя Толя хороший. Он умеет из снега лебедя делать и жирафу... У него есть скворец Кир... «Доброе утро» говорить умеет». Она пыталась ввести его в свою игру, в свою жизнь.

Как старательно выговаривала в первые минуты встречи «па-па»... Не успела, не осилила. Он ушел в свою игру. «Па-па... ты совсем-совсем рога отдаешь? Такие красивые... мои?» В серых крупных глазах ужас, она не узнавала его, отца, не признавала. Тихонько притворила дверь, ушла. От него ушла. Осудила. Пренебрегла. «Ах ты, пигалица!»

Глядя в тихо чадающие головешки костра, Прозоров с ясностью, ужаснувшей самого, подумал, что вот так же тянется к исходу и его собственное сытое, праведное, размеренное существование.

Внезапно в углях вспыхнула какая-то свежая щепочка и на миг отодвинула границы темноты.

«Оля! — позвал Прозоров. — Ссудил бог... А за что? За какие доблести? Если в лоб, честно — это мне все с той отданной нечаянно квартиры дивиденд. «Не твоего замаха со-сенка»... На что Рябов намекал? На это самое и намекал... Чужое, мол, Прозоров хапнул... лишнее... Но ведь все-таки, все-таки! — озадачил сам себя. — Все-таки избрала? Пусть я не стоил, такой-сякой, но чем-то задел, зацепил! Предпочла, загорелась? Такая девушка! Такая девушка! — возликовал запоздалой тщеславной радостью. — И меня — до одури! До мальчишества!..

Не жил — летел! Я-то! Я! Ах, черт побери. Как летел! Коробочка, компас от Рябова с тех времен... С той эпохи... Работалось как! Все нипочем! Только давайте! Чтoб все, все поняли наконец, а она прежде всего, какой замечательный, необыкновенный человек этот Женька Прозоров!

Порвал...

Когда порвал? В последнюю встречу в ее доме... когда она вернулась оттуда? Или когда сидел в южносахалинском аэропорту, готовый лететь в Москву?.. Тогда... Если не вглядываться вглубь. А если без подсуживания? Раньше, давно все порвалось. Да что там! С самой первой встречи было многое ясно... И разошлось, провисло... задержалось на тоненькой, негодной ниточке. Чтoбы жить по ее, надо было столько в себе перевернуть... отказаться... сломать...

Что же получается! Что? Получается, что только на Сахалине, «в этой дыре», ты и жил по-настоящему? Сколько-то, на сколько тебя хватило, но по-настоящему. И счастлив был... там, только там», — совершил он вдруг самое неожиданное для себя открытие, и оно-то окончательно сразило его, уничтожило как бы и физически. От него в мире всего-то осталось что одинокая свербящая боль.

— М-м-м, — издал он, изнемогая от этой боли, одичалый безысходный звук.

...Со стороны тротуара донеслось два громко спорящих голоса. Прозоров уловил: «экономический эффект», «ни в какое сравнение», «обыкновенных людей полно», «функционируй!», «теряешь интерес к размышлениям о высоком, к эпистолярному слогу», «а пошел он, ваш Агафонов...» Еще где-то неподалеку безмятежно пела скрипка, посылая в мягкую темень призывные изощренные рулады. Еще дальше глухо и грубо гремели по рельсам поезда, звенели трамваи. Все шло своим чередом. Без него, без Е. П. Прозорова.

А если его не будет вовсе? Что в мире изменится? «Да ничего. Как не изменилось на Сахалине», — подсказала ему все та же лихая сила, которая вынудила его вывернуться наизнанку. Он припомнил свой сахалинский кабинет в подробностях, вплоть до выжженного сигаретой пятна на столе, до коротковатой ножки книжного шкафа, под которую подсунул спичечный коробок. Там он сидел, чертил, подсчитывал, объяснялся с подчиненными, размышлял, тосковал. И все, вплоть до шнура от фрамуги, считал собственным, верным себе, своим привычкам. А сейчас? Сейчас там Тютюнников — на его стуле, за его столом! Хозяин. Неожиданная ревность скребанула по сердцу. И в его квартире тоже Тютюнников со своей Аллочкой. Ходят, топчутся, хлопают дверьми... Все переиначили, конечно, выскоблили, замазали, никаких следов, словно он, Прозоров, и не существовал там вовсе. «И все? И начисто? Был-был, есть-есть, нет-нет? — спросил себя с поддельным смирением. — Лишний, необязательный... Прямо взять и согласиться с этим не сходя с места? Ась?»

Ночь ответила ему свистом, хохотом, топотом ног, собачьим лаем: мимо промчалась молодая компания — парни, девочки и белый лохматый пес.

Выплыли зацепившиеся за сознание фразы: «обыкновенных людей полно», «функционируй!», «теряешь интерес к размышлениям о высоком, к эпистолярному слогу». И оказались очень кстати. «Именно, именно! — подхватил Евгений Петрович. — Обыкновенных людей тысячи тысяч! Не тщимся хватать звезды с неба, но и бюллетенем не часто, не пьем, никаких ЧП не устраиваем. Ну, ошибаемся, бывает. И опять вкальваем потихоньку на благо общества. «Давай, давай!» И даем... проценты, план... функционируем, одним словом. И чего же тут плохого? Недостойного? Для совести обременительного? Не на нас ли, на таких вот обыкновенных, рядовых людях, все и держится? И чем же я тогда хуже других, ничтожней, виноватее?! Ась?»

Последняя фраза должна была вроде окончательно утвердить Евгения Петровича в логичности выставленных аргументов и достойно завершить оправдательный акт. Нерасчетливо, голой рукой растормошил какой-то куст, весь в густой мокроватой листве, накололся на шипы, но боль перенес покладисто и удовлетворенно. И вдруг она, эта с виду такая крепкая, верная фраза, как будто подломилась в середке и просыпалась пустой породой. Не довел. Ошибка в расчете. «С вагонеткой советовался, не иначе», — говорит в таких случаях Рябов.

Евгений Петрович смутился чего-то. Особенного своего пафоса, что ли? Согласился поспешно: может, и впрямь пафос был ни к чему. Но, по существу, разве его оправдания такие уж наивные? Пусто, неопределенно, гнетет. Словно в старой штольне заблудился, пропал — вот такая белибердистика. Потянуло назад — в общее, обжитое, притершееся, к людям. Быстренько выбрался из развалин на асфальт и зашагал туда, где приветливо дребезжал трамвай.

На глаза попалась телефонная будка. Остановился, усмехнулся и кинулся к ней, словно кто-то хотел обогнать его. «Идиот, кретин, спятил!» — ругал себя, листая записную книжку в вымученном свете дальнего фонаря. Однако потребность получить отпущение грехов оказалась ожесточенней и ругательных слов, и здравого смысла.

— Слушаю, — отозвался сонный недовольный Пашкин голос. — Ты, Женька? Ну отмочил! Ночь же! Два часа! Сдурел?

— Пашка! — притворяясь веселым и беззаботным, воскликнул Прозоров. — Ты меня уважаешь?

— Что? Пьян никак?

— Не-ет. Совершенно серьезно, — обычным своим ровным голосом сказал Прозоров. — Уважаешь? Отвечай!

— Да уважаю! Уважаю! А чего нет? Шизик! Иди спи! — заверил Пашка, бросил трубку и, должно быть, тут же захрапел, захрюкал, свойский паря, сытенький, чистенький, всем довольный бодрячок.

Пашкино уважение? Дурак он, что ли, Прозоров? Что стоит оно, Пашкино уважение! Так-к... Кому же в таком случае он может позвонить еще? Разве что Огородниковым.

«О! Огородниковы! А что? Чем? Почему? Люди как люди, не кусаются. Чего я на них окрысился тогда? Какие веские причины? Откуда? Нечто... так... из области подсознательного. Из зависти, скорей всего. Недотянул, а они —

пожалуйста. А ведь они, как и я... собственной волей, трудом, прилежанием... А что, если и с ними бывает? И на них накатывает? И вот эта тоска сволочная, и неуверенность, и мозги набекрень? Что предпринимают? Чем спасаются? За что цепляются, чтобы высвободиться? А может, я и впрямь сдурел? Растолкуют, посочувствуют, утвердят! Что-то? За ними ничего такого нет, не числится, чтоб подкусывало? Ой ли! Вот возьму и позвоню им сейчас. Ночь темная? А они из графов, что ли? Позвоню и убедюсь... то есть... ну, в общем, все равно, смысл ясен».

Поджег себя таким образом, подождал, пока займется пошире, и набрал номер Огородниковых.

— Слушаю,— ответил свежий женский голос.

— Вы спите? Простите, это я, Прозоров.

— Ради бога! Я работаю.

— Все равно простите. Но мне... у меня... не по себе здорово. Мысли разные лезут. И так как-то все — врасплох. Что-то вроде не то в жизни получается. Куда-то не туда вроде... У вас бывает такое? Знакомо? Накатывает?

— Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду,— ответила Огородникова, подумав,— но нервы, случается, сдают, переутомление, сна нет. Следует взять себя в руки. Постараться — и взять.

— Я и хочу взять себя в руки! — почему-то очень сердито сказал он.— Я только этим и занимаюсь, что хочу взять себя в руки! Может, и вправду блажь? Но как прицепилось то — не отодрать! Навязалось — и держит, и водит...

— Да что прицепилось? Что навязалось? — перебила Огородникова.

— Что? — Прозоров передохнул.— Черт его знает что! Я же говорю — непонятное что-то... чушь собачья, психология... Оправдываться тянет, аргументировать! Вот дьявольщина!

— Действительно странновато,— согласилась Огородникова.— Мне встречалось подобное, но это случалось с людьми крайне неблагополучными, несобранными. Вы же при всем отличный работник, начальство о вас, я слышала, наилучшего мнения. Верно? — подсказала заботливо и подождала.

— В общем-то, да... — отмахнулся Прозоров.— Даю процент на всеобщее благо... Функционирую.

— А ирония к чему? — вдруг раздражилась Огородникова.— Это мало — добросовестно выполнять порученное дело? — Она не знала, что он уже использовал этот ход.

Ответил с насмешливым упорством:

— Ну если все дело в этом... Однако человек не только план...

— Ах, кажется, я поняла вас! — воскликнула Огородникова. — Голубчик, вы правы. Только зачем делать вид, будто только что с луны свалились? Будем честными. Что главное на сегодня в нашем обществе? Ребенок ответит: труд. Какой главный критерий оценки человека, соответственно? Его отношение к труду. Вас это не устраивает? Почему же? Видимо, на данном этапе развития нашего общества иначе и быть не может... нецелесообразно. Наконец, не мы тут и ответственные... Разумеется, судить о человеке преимущественно по его отношению к делу — не безупречный метод, есть издержки... В известном смысле подмяты все другие критерии оценки личности... Но раз уж мы сформированы заданными обстоятельствами... Одним словом, за что крепче спрашивают, на то и налегаем. Было бы иное положение вещей — и мы были бы иными, возможно в чем-то совершеннее... А пока что ж, вполне на уровне. К чему ж комплексовать? Попусту энергию тратить? Работать надо, голубчик! В том же духе... не расслабляясь. Умному человеку работа дает все, в том числе и возможность самоутверждения. Вы меня понимаете?

— Понимаю. Спасибо. Убедительно, — сказал Прозоров. — Но... если бы... снимало. Нет, не снимает. Остается. Все равно какая-то незавершенность, неточность... Словно на меня рассчитывали, а я недотянул...

— Да кто рассчитывал? — нетерпеливо удивилась Огородникова. — Перед кем вы, собственно, вину чувствуете? Перед всем светом, что ли?

— Перед кем? — сам себя спросил Прозоров, и ожил, и завелся: — В точку! Перед кем? Вопросик-то какой вы нужный кинули! Именно — перед кем? Ну, нет, не перед всем светом... Ну да! К чему! Но есть люди... И еще люди... Как у каждого, полагаю. Есть такие, над которыми я сам свысока, не считаясь... Но есть другие. Есть! Хочу — не хочу. Докопался с вашей помощью! Взял интеграл! Вы, я — мы же те, оттуда! Чего-чего не пережили! Те, которым сейчас тридцать, уже другой век. У нас с вами по живому припаяно. Связаны. С теми, кто воевал, за чьей спиной мы... ну и так далее. Так оно? Так?

— Продолжайте. Я слушаю.

— Связаны, черт возьми! Да еще как! Их поражениями жили, их победами, их ранениями, их песнями-письмами. Слишком привыкли зависеть от них. Вот! И до сих пор завишу! Абсурд? Но есть, не ушло... Нет-нет, а и оглянусь... Понимаете?

— Силюсь... Но, по-моему, вы все перепутали. Какая может быть сверхзависимость? Они сделали свое... Мы, естественно, чтим. Но к чему преувеличивать? К чему вам это понадобилось? Все назад да назад? Существуют другие, более реальные факторы. Каждый из нас от себя зависит прежде всего. Сколько прожито! Мы давно принадлежим иному времени, решаем иные, но достаточно сложные проблемы. Очевидность! Вы, голубчик, простите, не выпили?

— Нет... Вот вам как-то все ясно: сзади, спереди... на- всегда... А ведь и другие есть... Они, может, не воевали, а живут иначе... И работают...

— Ложитесь-ка, голубчик, спать. Утром, на свежую голову... Проснетесь в своей квартире... Уверю вас, вы поймете, как я права... Напускаете на себя... придумываете... Простите, с каждым случается... самоконтроль отказал... спать, чем скорее, тем...

Воскресло ощущение, словно он вознамерился взять высоту с первой попытки, но сбил планку и шлепнулся мордой в опилки.

— Да как же придумываю,— проговорил сквозь зубы, отряхиваясь, готовясь к новому разбегу.— Если тоска! Тесно! Нуждаюсь!

— Примите димедрол. Есть? Вот и прекрасно. Одной таблетки вполне достаточно.

— Очень извиняюсь...— сказал он.— Очень-очень... Но как вам удалось? Такое спокойствие... уверенность?

— Голубчик, а как же без спокойствия? Иначе и жить нельзя.

По изменившемуся голосу женщины Прозоров догадался, что Огородникова улыбается.

— Понятно,— сказал он.— Простите еще раз.

— Ради бога.

Он опять лежал мордой в опилках. Ах поганцы! Как умеют! Как наловчились!

Вылез из будки. Мимо, сверкнув стеклянным глазом, прошмыгнула кошка. За ней вторая, третья... Должно быть, бездомные. Бездомных кошек поразвелось. Хозяева переезжают из развалюх в новые дома, в новые районы, а кошек бросают. Кошки дичают прямо в столице. Настоящие дикие кошки. Ни с кем не хотят знаться, никому не доверяют. Как-то умудряются жить сами по себе.

«Кошки... А при чем тут кошки? Кошки какие-то... Что-то в последнее время ты, Женька, совсем развинтился. Годы, что ли? Соберись, вернись в исходное положение и... Может, и впрямь димедрол, сон, «утро вечера»?.. Дьяволь-

щина! Да что это я вовсе раскис! Тут мадам Огородникова в точку. Навертел черт те чего! Что уж я, вовсе ничто против того же Рябова и прочих! И никогда ничего не осилю им доказать? Я справедливости хочу. Насчет доказательств — будьте уверены — ничего не утаю, выставлю все как есть, последней заветной откровенностью обрушусь. Ну уж и вы извольте! Да! От души, по-честному. Хорошенько взвесьте и поразмыслите, что, к чему, отчего. Должны понять. Стало быть, и снизойдете, и оправдаете. Оправдайте!»

И Евгению Петровичу почудилось, что пришла-таки хмельная, безумная минута, когда он готов открыться весь, от макушки до пят, выволочь душу из потемок сомнений, развернуть — и под рябовский сапог: топчи, если заслужил! Но — какой тут Рябов? Где Рябов?

Отчаянная, несуразная, ребяческая мысль вскочила в голову. Прозоров отмахнулся от нее: «Дурак! Тоже мне... Ему-то зачем в два часа ночи выслушивать откровения какого-то полужнакомого идиота? Бросит трубку еще быстрее Пашки...»

Остановился. Понял: «Вру». Тот, о ком он вспомнил, не бросит трубку, даже если ему звонят в два часа ночи, тем более если в два часа ночи.

Перелистал записную книжку, нашел: «Севастьянов — 160-96...» Помедлил. Вытащил сигареты, закурил. Подкинул в руке две копейки... Снял с рычага трубку, прижал, тяжелую, прохладную, к разгоревшемуся от волнения уху...

«Здравствуйте, Алексей Федорович. Не удивляйтесь, не сердитесь... Я понимаю... но все-таки два ночи. Мне нужны вы... Вам доверяю. И поверю... Я из телефонной будки. Не подумайте, что пьян. Запутался. Сам не знаю что... Думал... и довольно долго, верил, что все... устроится, теперь навек, до гроба. Спокойная, честная, уравновешенная жизнь. В доме достаток, все есть. Жена... дочь. Все рухнуло. Раз — и в пыль. Сам себе не доверяю. Что за черт! Тяжко, гнусно. Женщина. Ну да, тривиальная причина. Голова раскалывается. Нет, сама она никогда ничего подобного... Но я знал... всегда, чего она хочет, чем живет. Она хотела, надеялась, что я останусь с ней, то есть на Сахалине. Мужчина всегда знает, чего хочет любимая женщина. В том-то и дело, что любимая, близкая, ближе невозможно. Но странная, несомненно. Как вам объяснить? Мы познакомились... В известном смысле это тоже странно. Это случилось осенью. Я только что приехал в Снежногорск. День как работал. Попросту сидел у себя в кабинете, осматривался, свыкал-

ся. Было муторно, беспокойно, неопределенно. Ну, в общем, обычное дело... новое место, семья далеко. Ближе к сути. Выхожу в коридор. А коридор в шахтоуправлении, надо сказать, длинный, полутемный, неприглядный. Только в самом конце окно большое, во всю стену, и сияет в него солнце. Приглядываюсь — девушка у окна стоит, но смотрит не в окно, не на солнце, а прямо перед собой в казенную коричневую стену. Желтая кофточка, черная юбка, черные туфли на длинных легких ногах. Что-то... сам не пойму что... заставило меня подойти к ней.

— Вы ко мне? — спросил я ее первое, что пришло в голову. — Вы ко мне? — повторил я, но она даже не повернулась. Только глаз скосила.

— Нет, не к вам, — ответила резко. — И мне уже отказали.

Что мне оставалось делать? Нет, я не ушел. Я стал добиваться связного, вразумительного объяснения. Я был навязчивым.

Она повернулась ко мне, подняла руку, словно ударить хотела. Я увидел ее глаза... то есть... гнев в его самой последней фазе.

— Все! Хватит! — говорит и задыхается. — Им не нужно, а мне что! Больше, чем им? Только делали вид, что нужно. Ханжи несчастные, лицемеры, болтуны! Уеду! Нет, что ли? Противно! Все! — Прикрыла лицо ладонями и пошла прочь.

Я догнал ее, схватил за руку, привел к себе в кабинет, и обещал помочь, и уверял, что это в моих силах, все в моих силах. И, видит бог, я сам верил, что для нее могу все... Она поверила, объяснила: шахтком обещал отдать музшколе две освободившиеся комнаты. Учеников очень много, теснота, шум, заниматься трудно.

— И представьте! Тот же шахтком, который так много-словно сочувствовал нам, преподавателям, отказывается от данного слова! Комнаты, вернее, двухкомнатная квартира передается какому-то явившемуся из Москвы инженеру!

Поверьте, я громко, с величайшим облегчением вздохнул, я был рад, что все свелось к такой ерунде. Я был счастлив уступить свою квартиру. Такое, честно говоря, случилось со мной впервые в жизни. Я тут же пошел к Рябову, он выслушал меня и долго благодарно жал мне руку:

— Родной! Умница! Душа!

Обещал через три месяца предоставить мне квартиру в новом доме. Так оно потом и было. Только и эта квартира оказалась мне ни к чему. Я переехал в нее и делал вид, что жду жену и дочь. Семь лет делал вид...

...Когда мы с ней вместе вышли от Рябова, она вдруг обняла меня и поцеловала.

Вечером после работы я пришел к ней. Она ждала меня. Нет, мы ни о чем заранее не договаривались. Но она ждала... Никакого удивления, никаких восклицаний. Я пришел в ее комнату, пошевелил желтые листья в вазе, сел на диван, отодвинул раскрытую книгу. Она села за пианино. Не спросила, люблю ли я музыку, — стала играть, уверенная, что люблю. Не знаю, что она играла в этот вечер... Я слушал, слушал... Вдруг схватил со стола лист нотной бумаги и в несколько минут набросал ее профиль. Подошла, посмотрела на рисунок, потом в окно, за которым было темно, неясно, пасмурно, потом на меня... Я обнял ее... Такая неопытная, доверчивая, что я... испугался.

— Ну что ты, что? — спросила она.

Когда я уходил от нее одуревший от счастья, кто-то хорошим ударом сбил меня с ног.

— Сволочь! Ну успел явиться — уже пакостничать! И кого выбрал! Подлюга!

Несколько ночей подряд пудовые кулаки швыряли меня на землю, встряхивали и опять швыряли. Никаких слов. Мы бились молчком. Я знал, кто меня... Забойщик Батурин, здоровый, кудрявый, бас в хоре, которым она руководила. «Вниз по Волге-реке» пел. Великолепно, должен сказать. «Люди гибнут за металл...», «Уймись, волнения страсти». Любил ее. Очень. Когда понял, что не одолеть меня, не физически, разумеется, уехал с острова, на весь почет, на все надбавки наплевал. Решительный парень.

И вот... я и она... она и я... Изо дня в день семь лет подряд... Если бы я сказал Ларисе, что там, на острове, рисовать пытался, она бы не поверила... При ней, для нее я не рисовал. Но это только одно. Нет, что я? К чему упрекать Ларису? Только поймите, Лариса — это совсем другое... Да, пытался. Пытался рисовать, но ничего не получалось. Только в тот единственный раз я был художником, смог... Ее профиль. Легко, внезапно... Озарило и ушло. Не достоин оказался... дальше, потом. Так надо понимать?..

Так о чем я? Да! Я и она. Целых семь лет я жил для нее одной. Делал то, что хотела она. Не стану врать. Это доставляло радость не одной ей, но и мне.

Но, согласитесь, да... согласитесь, не могло же это продолжаться вечно? Хотя бы потому, что у меня жена и ребенок, семья? Ведь правда? И я же искренне надеялся, что жизнь, настоящую, нужную мне, в Москве оставил... И я ведь по природе не легкомысленный человек. Меня угнета-

ло сознание, что вот так все получается... я здесь, счастлив, и ничего мне больше не надо, а жена где-то одна... и ребенок без отца. Мысль эта все чаще стала цепляться за меня. Тем более что я, признаюсь, несколько поугас... уже не летел. Любил, но, знаете... Одним словом, выработалась своего рода привычка быть любимым... Она? Она все еще летела и не замечала, что ее любовь для меня стала несколько чрезмерной, утомительной... Я настроился на Москву, моя фантазия в этом направлении заработала.

Жестоко? Не спешите, не спешите казнить! Ну мыслимо ли бесконечно тянуться за ней, подстраиваться, приспособливаться? Взвесил, обдумал. Один выход. Слишком разные мы с ней, и тут уж ничего не поделаешь. Рву и улетаю.

Вот в этот-то момент — надо же! — она захотела ребенка. Я, по правде, опешил. Я как-то не задумывался обо всем таком. Я любил ее, она любила меня, мне было с ней хорошо, привычно — и чего же еще? А ей, оказывается, было мало любить меня. Женщина... Говорю:

— Ни за что.

Я знаю, тут, Алексей Федорович, вы меня не поймете. Прошу лишь, не перебивайте, выслушайте мои аргументы. Я-то знаю, как расти без отца, и поэтому, прежде всего поэтому сказал: «Ни за что». А она в ответ:

— Опоздал, опоздал со своим «ни за что».

Ухватила за меня, дергает, трясет, и глаза безумные, жалкие глаза. Вижу, сама не знает, что говорит, не понимает нисколько, какую беду для себя придумала. Одни пересуды чего ей стоит будут. Не мне же терпеть — ей! Как же? А ребенок, если родится? Что, безотцовщину плодить? Нищету? Ну мог ли я с легкостью воспринять ее сообщение? Что другое имел право сказать? Я сказал, что, если, если... она не... да, если она не сходит в больницу немедленно, я тотчас уеду.

Она взяла мою руку, гладит, шепчет:

— Ты не злой... не жестокий. Не верю. Меня проверяешь? Скажи! Мою решимость? Скажи!

Но я крепко держал себя в руках. Я знал, стоит мне чуть расслабиться, расчувствоваться — и все мои планы, вся жизнь к черту, кувырком. Да и кто-то ж из нас двоих должен проявить разумную твердость? Ведь правда? Верно? А она все не отпускает мою руку.

— Это мальчик... я знаю... Наш мальчик! Мой и твой! Убить его? За что?

Вот ведь до чего договорилась... Она вообще всегда умела всякое суждение до крайности доводить.

— Кого «его»? — кричу. — Разве это человек? Эмбрион! Нечто! А я? Как я? Подумала? Как я жить буду, если знаю, что где-то без меня растет мой ребенок? Зачем мне такие терзания? Я же не подлец! У меня совесть есть!

Не понимает. Глядит робко, ждет, надеется...

— Вот что, — говорю тихо, но твердо, — если ты пойдешь в больницу — остаюсь. В противном случае... собираю вещи. — И еще говорю, последнее: — Мать свою вспомни. Каково ей с тобой было? И ты туда же? Мать-одиночка? Опомнись! Остановись!

...Три дня ее в нашем городе не было. Уезжала куда-то, ну, чтоб разговоров поменьше. Это-то понять можно. Меня, однако, не предупредила куда, на сколько. Показалось странным. Но главное, послушалась. Жду с нетерпением, готов благодарить, нежить. Затосковал, соскучился. Опять загорелось во мне что-то... Где же? Где? Прихожу ночью к ее темным окнам и глажу раму, стекло... До чего дошел...

На третий день вечером гляжу — свет. Рву дверь. Она. Пальто сняла, а ушанка еще на голове. Уши лохматые до плеч достают... За платье задевают. А на ней то самое пушистое, непонятного цвета... Самое теплое из всего, что у нее было. Стоит, значит, в этом своем теплом платье, в шапке заячьей, а щеки белые, и подбородок трясется... Вроде холодно ей, не согрелась еще с дороги. В пальцах варежку вертит красную, улыбается, однако, и смотрит на меня. Право, ничуть особенно не изменилась. Разве что под глазами темненько... Я как был, в пальто, кинулся, обнять хочу, пожалеть, приласкать, обогреть.

— Родная, — говорю, — родная ты моя. Ну ничего, ничего... Я вылечу, я умею. Совсем забудется.

Слушает. Но к себе не подпускает. Я шаг к ней — она шаг от меня. И вертит, вертит красную варежку и улыбается. И в глазах блеск, нехороший такой, нечистый, горячечный. Тут только я увидел вдруг ее сухие, спекшиеся, совсем незнакомые мне губы.

— Постой! Остановись! — крикнул я, хотя что же? Она стояла там, где стояла, и вертела красную варежку, на которую почему-то я старался не смотреть. Я упал перед ней, уткнулся лицом в ее платье...

— Встань! — говорит. — Встань! — нетерпеливо, без сожаления.

Послушался. Встал. Показалось, так будет лучше.

— Ну а теперь, — говорит, — иди.

Я заплакал. Никогда в жизни, поверьте, я не плакал, а тут... Разве ребенком...

— Поздно, — говорит, — опоздал. Встань и уходи.

С тех пор я ее не видел. Пытался — не удалось. Наде-
ялся, что, может, проститься придет... Сидел в аэропорту,
ждал, ждал... Недели три назад дал ей первую телеграм-
му. Потом еще, еще, еще. Не ответила. Как я и предпола-
гал, в общем-то. Такая история... Алексей Федорович. А те-
перь скажите мне, вы — мне! Что уж такого ужасного, не-
простительного, из ряда вон выходящего я совершил?!
Что я, преступник, что ли? И разве она поступила как нор-
мальная женщина? Помимо желания есть же разум! Дол-
жен же быть? Ну что мне было делать? Имел ли я право
остаться с ней? То есть семью бросить? Ведь правда? А у
меня дочь... девочка. Вы слушаете меня? И был ли смысл?
Вот именно — смысл? Что, разве я рассуждаю примитивно?
Глупо? Я вернулся к семье. Да. Обеспечил! Жену, дочь...
Несмотря на то... да, несмотря на то, что любил ее, толь-
ко ее. И люблю. Отказался. Во имя, ради... И я не прав?
Как же не прав? Почему не прав? Ответьте!»

Но трубка молчала. Евгений Петрович Прозоров так и
не решился набрать номер, который был нужен ему. Не
осмелился. Не осилил. Не рискнул.

Вышагнул из будки, закурил. Руки дрожали. Первую си-
гарету подпалил с середины, выкинул.

Тишина и мрак. Мрак густой, добротный, чуть разжи-
женный понизу светом высоких фонарей.

Налетел ветерок, хлопбыстнул над самой головой полот-
нищем флага, вправленного в держатель при фонаре, и
опять тихо. Лишь где-то, далеко-далеко, словно в ином ми-
ре, катится какое-то легонькое, необременительное для
слуха дребезжание. Вроде как девочка игрушечную коляс-
ку с куклой везет. Но чем ближе это незначительное, крот-
кое дребезжание, тем все грубее, увесистей и как бы
практичней.

Из-за поворота прямо под свет углового фонаря вдруг
выныривает человеческий обрубок, из тех, что восседают на
такой небольшой, деревянной платформочке или тележке о
четырех колесах и движутся на манер пресмыкающихся,
отталкиваясь от земли двумя деревянными колодками или
как это там у них называется...

Вот такое и подкатывает неожиданно под самые ноги
Прозорова и, задравши огромную, лохматую голову, зовет:

— Эй, парень, чего тут околачиваешься? Нашел место
покурить! Веселее не придумаешь!

— А вы что же? — возразил Прозоров стеснительно —
от беспричинной самоуверенности калеки.

— Я-то? Тут дом мой стоял. Спасибо властям, переселили поблизости. Вот и наезжаю,— спесиво объяснил инвалид.

— Сигарету хотите? — спросил Прозоров, приглядываясь к несуразному, жалкому человеку, который как будто стоял перед ним на коленях, отчего так неловко, хоть беги.

— Не, я сигаретами не балуюсь. Не удовлетворяют,— объяснил инвалид.— Я «Беломорчику» верность сохраняю. Вот он голубчик. Морячок я, морячок...

Вытащил пачку, а она — пустая.

— Во! Нету! — засмеялся.— Забыл заправиться! Во душень! Ладно. Дай твою... одну... побалуюсь...

— Пожалуйста, пожалуйста! — Прозоров протянул инвалиду пачку сигарет и спросил как-то увереннее, с каким-то как будто иным, окрепшим правом на чужую откровенность.— Где это вас так?

— Подстригли-то? — Инвалид хмыкнул. Затянулся сигаретой до треска.— Данциг. Слыхал? Миной. Аккуратная работа. Ну, будь здоров. До дому помчусь, а то жена приревнует еще к кому.

Хохотнул, отпихнулся колодками, ловконько, в момент, перевернулся на своем самокатике спиной к Прозорову и затарахтел, запресмыкался.

Прозоров поглядел, как согласованно, как удачно действуют его туловище, руки, а потом перевел глаза на торчащие лишние обрубки ног. И вдруг эти толсто обмотанные обрубки словно ударили Прозорова под дых. Тело от паха до горла передернуло судорога ужаса и ликования: «Вон как! Вон! А я! Целенький! Настоящий! Слава тебе, слава тебе, господи!»

— Стойте! — крикнул он инвалиду, еще смутно представляя зачем.

Инвалид остановился, развернулся все с той же прекрасной ловкостью.

— Сейчас! Вот! Сию минуту! — Прозорова уже осенило, и он принялся лихорадочно рыться в карманах, повытаскивал трешек, пятерок, даже, кажется, десятка попалась,— словом, выгреб все, что было, подскочил к инвалиду и сунул тому в руку.— Натё! Натё! Может, вам надо! У меня есть! Берите! Все!

— Ты это чо? — подрастерялся тот, разглядывая ворох денег.— Ты, часом, не чокнутый? Не? Богатство прямо! Капитал! Ух ты! — Внезапно его глаза ужались и уставились на Прозорова задумчиво и въедливо.— Ты с чего это щедрый такой? — подозрительно спросил он.— У тебя чо,

может, куры денег не клюют? Ты ограбил кого? Может, убил? А?

— Что-о? Я-а-а? Да вы что! — выкрикнул Прозоров.

Инвалид подкатил под самые мыски прозоровских туфель и ткнул его в живот кулаком с деньгами:

— Забирай.

— Так вы серьезно? Я? Да вы что? Это же смешно! — надсаживался Прозоров, чувствуя себя при этом совершеннейшим идиотом. Он даже попробовал рассмеяться, но вышло какое-то придурковатое, поганенькое хихиканье — чуть самого не стошнило. — Нате, глядите! Видите? Мое удостоверение личности! — закричал припадочно.

— Чхал я на твое удостоверение! — разозлился инвалид. — Таких корочек навалом нарисовать можно. Наука шагнула! Пошел ты!..

Шлепнул ладонь о ладонь, отпихнулся колодками от места, где стоял Прозоров, и покатил себя, не оглядываясь, прочь. На повороте вдруг свистнул разбойничьи и запел напористым голосом:

Тринадцать ранений хирург насчитал,
Две пули засели глубоко.

В бреду непрерывно моряк напевал:
«Раскинулось море широко».

А после тихонько меня он спросил:
«Быть может, заедешь в Ахтырку?»
Жене передай мой прощальный привет,
А сыну отдай бескозырку».

Налетевший ветер дернул полотнище флага, шевельнул бумажки в руке Прозорова и в последний раз донес издалека:

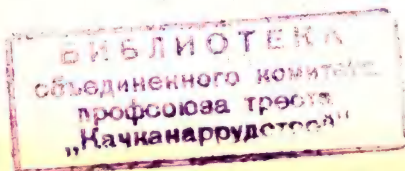
А сыну отдай бескозырку...

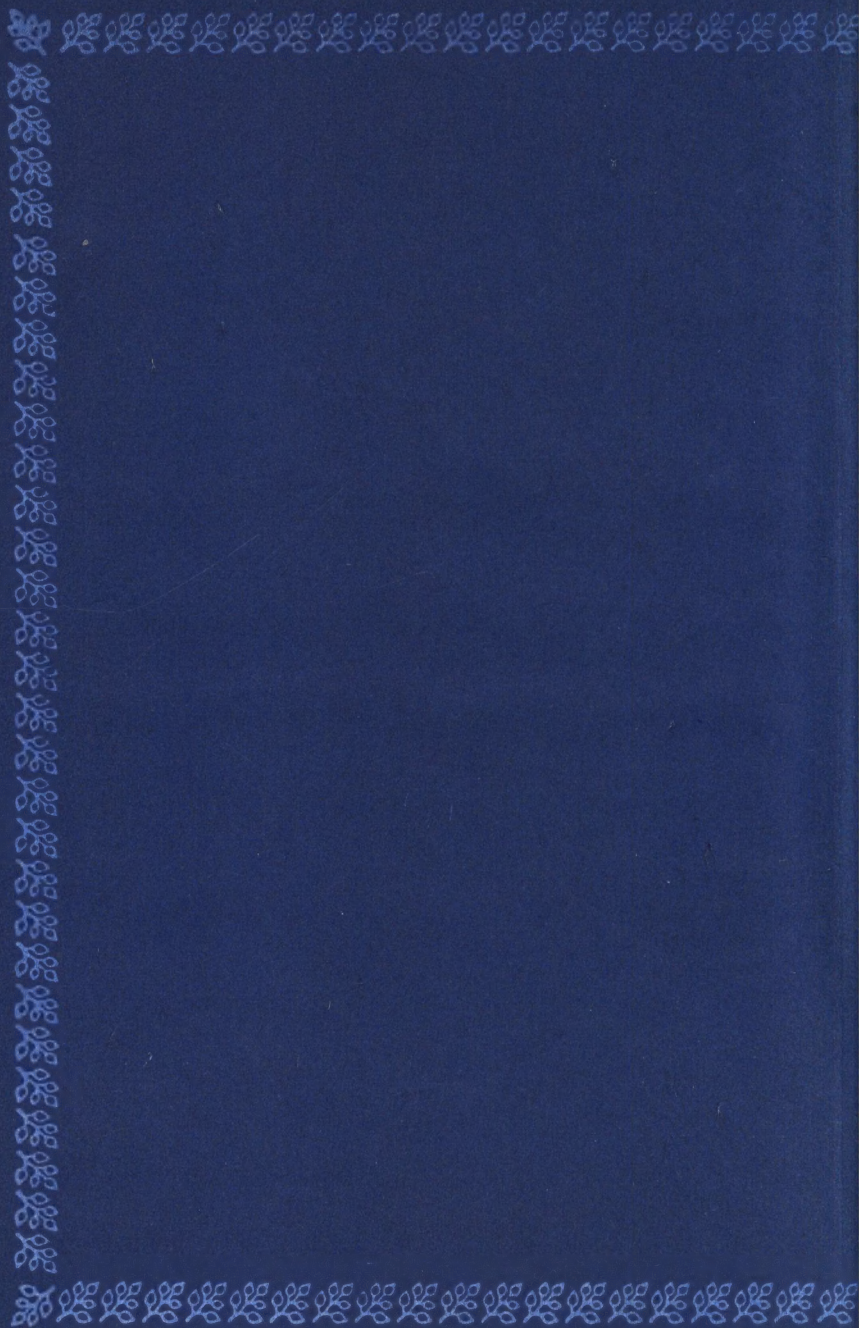
Закрапал дождь, сначала едва слышно, словно на ощупь, потом громыхнул гром и полило.

Прозоров стоял и глядел в ту сторону, куда угнал обрубленный человек на своем убогом самокатном пьедесталишке.

1973 г.

122234





092879830

Таштумба

